

Всеволод Сергеевич Шмаков  
Тула, осень, 2012 год

\*\*\*

# И В И

роман-притча, или – повествование о происходящем прямо сейчас

## *с о д е р ж а н и е :*

эпиграф-пролог – ДОРОГА К ГОРИЗОНТУ.....2

1 ТРИ НОЧИ.....5

2 ЗАЛ ОЖИДАНИЯ.....33

3 ЖЕНЩИНА.....51

4 У ОБОЧИНЫ.....60

5 МУЗЕЙ.....108

6 ОТШЕЛЬНИК.....131

7 ПЁС.....170

8 ТЕАТР ПИСЕМ.....188

9 КАЛЕЙДОСКОП.....219

10 МАЛЬЧИК, КОШКА, ЧЕТЫРЕ СТЕНЫ, ПОЛ И КРЫША.....243

ДОРОГА К ГОРИЗОНТУ

1

«Я не настолько богат, - сказал Кузнечик, - чтобы искать сухие слова на берегу дождя.»  
Но потом – усомнился.

- Так! Так! – закивали жёлтые человечки.
- Так! Так! Так! – закивали жёлтые человечки.
- Эй! – закричали жёлтые человечки.
- Качать Кузнечика! – закричали жёлтые человечки.
- О-о! ...

И подбежал к Кузнечику жёлтый человечек. И преклонил жёлтый человечек перед Кузнечиком колено.

И подбежали к Кузнечику жёлтые человечки. И были – да! – чистыми их щёки и пальцы, - не было ни на щеках, ни на пальцах пятен печали.

И жёлтым оказалось утро, и день тоже – жёлтым. Но сквозь жёлтое – то, что желтизну рождает.

«...То, что качнулось из цветка – цветок.  
Узнают ли друг друга? Не разминутся ли?  
Да: им ли не узнать друг друга? им ли разминутся?»...

И коснулся Кузнечик губ Океана струнами светлых ног. И спросил:

- Кто рядом с тобой, о Океан?

И Океан ответил:

- Ты.

О!: удивился Кузнечик, удивился Океан. Все удивились.

«...там белый песок, и возлежат на песке дивные добрые устрицы, упёршись локотками в тимьян и бархат. Там льются пантеры и искры от всякого места; где прежде замков и печатей было толпленье – льются пантеры и искры, и многое льётся иное. ...там белый белый песок... там нет печали...»

2

«Мы переползаем из пункта А в пункт Б, и повсюду стоят сторожевые псы с перламутровыми глазами. Псы смотрят на нас... Псы кивают нам вслед... Псы отмыкают пасти, высовывают длинные – бесконечно длинные – языки из мягкого пламени и полыни, норовя приласкать дрогнувший за нашими спинами воздух.

Они уже соскучились. Затосковали.

...Мы оглядываемся.

Мы машем шляпами и кричим псам, что мы вовсе их не покидаем, что мы никуда не деваемся, - просто: мы мчимся по кругу, из круга, в круге; мы норовим залечить круг, и именно поэтому так грозно рычит наш локомотив, так грузно, так громко перестукиваются вагоны.

...Мы оглядываемся.

Мы замечаем: наши колёса – наши замёрзшие лапки – мчат-переступают по мягкому пламени и полыни... по рекам... по льдам и туманам... по отблескам разных имён и бликам желаний. И очень неспешны мы, и очень спокойны.

Так замечаем: мы знаем куда идём; нам известна наша дорога.»

Улитка смеялась целых три дня, а на четвёртый сказала:

- Уф-ф...

- Вот как! – вскинулся Сизый Журавль. – Именно так!?... вы не ошиблись?

- Ну откуда же мне это знать? – искренне удивилась Улитка. – Откуда? – хмыкнула; смешливо вскинула брови. – Ошиблась... не ошиблась... Вот чепуха!

- Не скажите, голубушка, - осержено возмущился Журавль. – Вот... – он махнул крылом в сторону звёздного неба, - мы все смотрим на вас, все ждём ваших указаний!

- Ну ничего себе... – прямо-таки обалдела Улитка. – Вот-так-так!

- Да-да, - назидательно произнёс Журавль, - именно так: ждём ваших указаний.

- ...А может, не стоит? – робко и грустно попросила Улитка.

- Стоит, - твёрдо ответил Журавль.

Утром, пока все спали, Улитка собрала свои пожитки и поползла... поползла... поползла...

**«...Тот, кто уползает-ползёт в сторону одиночества, - неизбежно встречается сразу со всеми, со всем. Разом. ...Больше в той стороне никого нет, ничего нет...**

**...А может и есть... Вот.»**

Тысячу раз зачищали эту чернильную надпись всевозможными моющими средствами, но она всё равно проступала – какое-то время спустя или сразу – вновь. И по-прежнему – проступая вновь – она была всё такой же неопределённой, такой же расплывчатой и недосказанной.

Ну что ты тут поделаешь! – так и бывает.

А тем, кто соприкасался с надписью, хотелось хоть какой-нибудь определённости. Может быть потому, что они больше не могли – хоть взорвись! – без определённости жить... а может быть потому, что определённость, в отличие от неопределённости, легко поддаётся зачистке даже при наличии отсутствия моющих средств: р-раз...»

Очень трудно голубям и синицам добывать деньги.

Они так заметили: у людей есть деньги – и им с большой охотой в разных местах меняют деньги на хлеб. И люди лопают хлеб вдосталь. Даже зимой.

А что же голуби и синицы? – на них смотрят снисходительно и с пожатием плеч; знают: у этих типов в перьях нет денег.

Очень трудно голубям и синицам добывать деньги.

И хлеб.

- Видел ли ты когда-нибудь берега своего острова? берега из влаги и шёлка...?

- Нет, - ответил Путник.

*«...Я иду по снегу. Я шепчу снегу своё имя, и снег – снег! – отвечает мне, и называет имя своё.*

*Мы шепчем, шепчем друг другу свои имена. Наш шёпот возносится, наш шёпот восходит повсюду... Он замирает-трепещет где-то там, на самых верхних границах... Шёпот сливается-сплетается в ноту одну, верную, указующую на данность родную: мы шепчем друг другу свои имена... мы шепчем друг другу одно и то же имя... у нас одно имя... мы – одно.»*

*Я иду по снегу.*

*Я иду по снегу голый. Я только что родился.*

*Мне не нужна одежда и пища; я не собираюсь – нет! – брать-губить чью-то жизнь (жизни...) возвращая свою. Мне не нужны слова. Мне не нужны начало и конец. ...Но это вовсе не означает, что мне ничего не нужно, - мне нужно ВСЁ, всё-всё-всё – имеющее одно имя. Да.*

***Светлая песенка... – радужный мячик, пляшущий по небосклону... одинокое золото на подбродке ветра... мир и ласканье.***

***Ты любезна мне, и всякому ты любезна, - от всякого неотделима; все тобою согреты... Кто же согреет тебя?***

*«...Когда я сидел на берегу реки, некая рыба шепнула мне:*

*- Малыш, там, - рыба махнула плавником, - неподалёку отсюда, есть гора. Эта гора – ты.*

*Я пошёл туда, куда показала мне рыба. Я нашёл гору. И она оказалась мною.*

*Клянусь! – она оказалась мною.»*

*Это просто океан... Просто белая вода...*

*Это просто океан изо льда...*

*Он из жёлтой мостовой приподнялся надо мной, и – качнулся над моей головой. Он стонался, он рыдал, он смеялся, лепетал... и – качался над моей головой.*

*...Вот представьте: океан – к вам! «Неужели это нам!?...» - вам!*

*Это попросту – подарок.*

*Это попросту – подарок.*

3

*Нежность, где ты?*

*...Почему-то (ох...) с трудом отыскиваются листки с номерами телефонов, с адресами... И вечер ввисает-впрыгивается в жилое огромным арбузом, надлопнутым и глубоким...; он – вот; он вертится, вытрескивая-мельтеша из себя – минуты, часы, годы... и нет ничего окрест, что не вертелось бы вместе с ним... возможно – всегда; всё вертится вместе с ним... вокруг меня... вокруг нас...*

*Кажется: апрельская колыбель поднялась над городом; город в себя вобрала, впитала...; расплеснулась широкими рукавами над миром – Миром-Городом. Вот как!*

*(Скажите, что вам стоит посмотреть в глаза котёнку, шагающему по лужам? что вам мешает? ...Ну уж не котёнок же вам мешает, верно ведь...) Мы с вами шагаем по лужам и не заглядываем друг другу в глаза, нет, - даже не задумываемся о такой возможности. Мы переступаем через опавшие листья, через реки, через страны и миражи, иногда – спотыкаясь, но – не роняя взгляда, спотыкаясь лицом целокупно. Вот как... Потому что – умеем, и умение это далось нам легко.*

*Так: ..... (но здесь – пауза)*

*...я пошёл в ванную, открыл кран, и из него хлынул Род Человеческий вперемешку с дождём...*

(Я из снега, как из родины, вышел, и направился в сторону горизонта. По дороге многие мне встречались, так говорили: - «Горизонт на плечах твоих – пылью и смехом! Стоит ли дальше идти? быть на этой дороге? – оставайся с нами! ...Что тебе стоит? – замри и останься!»

Но я не замер – нет! – не остался, - направлялся в сторону горизонта. И чем дальше и дальше шёл, тем, конечно же, ближе и ближе придвигался. Близко-близко! Нос к носу... ...Даже если я не продвинулся и на пол-улиткиных-шага, натужно шаркая-скрежеща индewelыми зубцами подошв, всё равно!: всё ближе и ближе. Теперь – приближаясь...

...Вот: здесь. )

«Некая устрица брела по берегу океана в милую-милую сторону. В той стороне, куда брела устрица, цвели каштаны, тренькал дождик в асфальт, плясали по крышам коты и грелись на карнизах голуби...

...и – дальше, дальше! ещё и ещё дальше, - туда, за ширмы, отделяющие всё, что она могла пройти и увидеть, от милой стороны.

Ей было трудно, - её так и тянуло обернуться. Ей было тяжело, - её манило вернуться в океан; бежать, бежать от берега-дороги!... Устрица всхлипывала, устрица кого-то звала, роняла вещи, падала. Устрице казалось, что она вот-вот сойдёт с ума, и даже (и это её капельку утешало, было приятным, близким, добрым), возможно, умрёт.

И вот в тот момент, когда ей стало совсем-совсем трудно и совсем-совсем тяжело, - неожиданно, в безмолвии и простоте, разверзлись – перемешивая, удивляя – земля и небо и светила и океан. И из чудесных разверстий-дверей хлынули к изнемогающей устрице стайки каштанов, крылатые колокольцы дождей, необижальные радужные хороводы голубей и котов. Они подхватили – кружась, хохоча – обрадованную устрицу на руки, и понеслись, понеслись как можно скорее, горсточками трепета и надежды, к милой стороне.

...Вот они уже и там. Уже там.»

«Мальчик, мальчик мой...»

Я наклоняюсь (я совсем маленький, крошечный, немногим выше белки) низко-низко... далеко...

...Далеко-далеко внизу раскинулись огни города. ...Но – далеко. Нужно было наклониться, вытрёпывая – растяжкой костей, мышц, кожи – края рубахи из-под бедренной обтяжки штанов – нижась, нижась – солнышко-лицо, - нижась, нижась, - стараясь, чтобы только за солнышко его и приняли, только за солнышко-солнце. Или вообще – упасть на колени, намокая камневыми крошками и пылью, намокая предместьями города; каждым штрихом – вот-вот – рябь, но вместе – небо. (Да, ты понимаешь: сделать это ты мог только тогда, когда был горизонтом, и вспомнить это ты сможешь только тогда, когда вновь горизонтом станешь.)

Мальчик, мальчик мой...

Милый, милый мой, что это? – будто бы город покрылся пухом и тишиной... И я – топочу, зарываюсь в пух подошвами, пятнаю пух цепочкой мелких следов. Я по-всякому здесь. Я здесь почти что всуе, но уходить-покидать – нет, не собираюсь, - надеюсь, что будет иначе, что образуется всё, что...

*Милый мой, милый, что же это такое? Откуда – за что? – милость, милость такая? Запрокинешься – не вобратъ, - а и нет печали. Распластаться – руками и сердцем объятия не осилить, - да не грущу, стараюсь. Мне б выть, скрежетать зубами, но нет – весел, весел...*

*Милый мой, милый! – остров далёкий – тот самый остров! – краями острыми ударяет в рёбра мои... бьётся! бьётся птица чудесная! – зовёт, настаивает...*

*Милый мой, милый мой, что это?..*

*Зима...*

*«...из города – песок. Из грозди урагана – песок и город.*

*Я почти пришёл. И здесь увидел смятую равнину, где тени дел, деревьев и огней обвязанны кирпичною стеною и сжаты в узел. Я расплёл его... Я подобрал серебряные смехи и выстелил дорогу к горизонту. ...Но: показалось...*

*Я пришёл, пришёл. И те, кто рядом – тоже. И теперь... ..»*

*Зима.*

*Я удивляюсь. Я молчу.*

*Я говорю. Мне сразу отвечают. И возникает некий разговор, которому возникнуть было нужно.*

*И вновь молчу. И мне молчат в ответ... : Мы говорим. Мы долго говорим... Мы говорим и нынче*

## ТРИ НОЧИ

### 1 первая ночь

*«Иви! Иви! Иви!»*

*...А исполнилось ему ровно шесть лет. Вот именно!..*

*Шесть... – шесть... – шесть лет прошло с того удивительного дня, как он, мучаясь и ничегошеньки не понимая, покинул место, где в течение девяти месяцев обрастал-заворачивался плотью и предвзятостью. Так: выцепило его душу, стиснуло, и бесчисленное множество розовых тёплых комков облепило её, утяжеляя и растворяя. ...Так началась его очередная жизнь, - щелчок двустороннего рубильника, свист и эхо.*

*...А на пироге было ровно шесть свечей. Они теплились, уютно допрежь угнездившись, над бугристой шероховатой равниной слоёного теста, крема и ягод; поплёскивали – намекая, дразня, приближая... – в зрачках собравшихся за круглым деньрожденьевым столом. И собравшиеся, как бы отталкиваясь, как бы отцепляясь от залиvistых, острых, пронзительных язычков пламени – вскакивали, истягиваясь по очереди, и по очереди же, но – шумно, в перебив друг другу, поздравляли маленького именинника, желая ему: «Эй, малыш, расти здоровым и сильным!..» «Расти большой!..» «Расти удачливым, это тебе понадобится!..» «Расти красивым!..» «Слушайся родителей!..» «В школу пойдёшь, так*

чтоб – отличником! понял?..» «Будь умным! Помни, что ты – человек, а не какая-нибудь блоха. Это – обязывает. Гордись!..» И т. д. и т. п. ...Впрочем, бабушка – укладывая его, объевшегося, в постель – шепнула: - «Желаю – ох, крепко-крепко желаю, Ивушка! – чтобы сбылись *все твои истинные желания*; все, что известны тебе и все, что не известны. А хотенья зряшные – так чтоб отсохли-усохли-отвалились!» - «Ну, если там что-то усохнет и отвалится, - прошептал в ответ полусонный Иви, - то мусору будет! – о-го-го! Ругайся не ругайся – сплошная помойка...» - «А я подмету, внучек, - сказала бабушка, легонько шлёпая болтуна по затылку. – Возьму веник, совок и – подмету. Чисто-чисто будет!» Она укрыла Иви до ушей одеялом, выключила свет и побрела-поторопилась на кухню – помогать Ивиной маме мыть послепраздничную посуду.

(А тарелки: звяк-бряк! Будто б плещутся колокольцы по небосводу. Будто б заря окунулась в молоко, потянулась-выгнулась кошечкой... догадалась о чём-то.

Так бывает.)

Прежде чем заснуть, – Иви вспоминал... и ещё раз вспоминал... и ещё...: он не хотел задувать пляшущие над свечками огоньки... А взрослые – смеялись и урезонивали... А он – разревелся и убежал.

Иви чувствовал тогда – так отчётливо, так ясно! – что огоньки эти – живые, и что нет у него права всеми своими шестью годами вот так взять и смять шесть крохотулечных сияющих жизней. ...Это как – убить, что ли!? Вот ещё!.. Ну ничего себе!! Так и не стал задувать, и в обход – никому задувать не позволил; все сидели, все терпеливо ждали пока свечки погаснут сами собой, догорят до корешочка. ...И – догорели.

Он посопел, поворочался с боку на бок, прижал-обхватил покрепче плюшевого ушастого зайца... уснул.

(...О, крылья были белые-белые-белые!.. и даже ещё чуточку белее... и во всём этом – белизна: в полный опор, в опрометь – *белоснежье*... Сон...)

...Он проснулся глубокой ночью.

Проснулся напрочь, сразу; сел, обжимая руками колени, сдвигая плечи; насторожился: в доме кто-то был, кто-то, помимо бабушки и мамы, спящих в соседней комнате, и этот *КТО-ТО* – здесь, рядом... он стоял за дверью Ивиной комнаты.

Широко распахнув глаза, затаив дыхание, Иви не отрываясь смотрел на дверь. В нём – сию секунду! – было сразу всё: испуг... волнительность... бесшабашность... весёлость... замирательность... И ещё много чего, что, пожалуй, и разбирать не стоило (разберёшь – и как с этим быть? а?).

Дверь дрогнула. Потихонечку, полегонечку – капельку поскрипывая, малость хрипя – отворялась... отворялась... всё шире и шире...

Иви смотрел, смотрел, смотрел.

Дверь ползла, ползла...

...Ветер! Сильный порыв ветра наотмашь дораскрыл дверь. Он пах смородиной и дождями, бурным апрельским морем, небом, радугой, лунной шерстью... Ветер заскакал-запестрил<sup>ил</sup>ся беспечным котёнком, - по всему, по-во всюду – везде, где только находилось место его лёгким тающим лапкам.

Ветер! Ветер! Ветер!

И там – за ветром – силуэт разомкнутых крыльев, белых-белых! Сапфировый взгляд...

Взгляд – подарок.

Всю растормошенность Иви, всю перепутанность, весь фейерверк ощущений, волнений, мыслей – слизнуло, рассеяло. Будто бы и не было ничего! а – так: мальчик-струна, расположенный между землёй и небом. Ни смысла, ни явности, - ничего, но – готовность (уже!), но – сила.

Крылатая белоснежность не была страшной.

Крылатая белоснежность не была чужой и нелепой.

Иви пошевелился. Иви медленно – медленно... – сдвинул в сторону одеяло и встал.

Рубчики половики под ступнями – шероховато-приятные, прохладные, очень и очень знакомые. Это придало бодрости, придало уверенности, качнуло маятник открытости и любопытства: живее, живее... быстрее! Стал интересно (хотя и всё равно – немножечко жутковато).

- Слушай... а ты – кто? – Иви подшмыгнул трусики и зябко повёл плечом. – А?..

- Слушай... Слушай... Ну и чего вскочил? Одеяло тяжёлое, да?

- Нет...

- Значит, зацепился ушами за подушку, и – свалился? – голос Существа казался озабоченным, но из озабоченности – искорки лёгкого живого смеха.

- Ну вот ещё! – Иви так возмутился, что позабыл даже о любопытстве. Чуть-чуть... – Ага, как же!..

- Иви, Иви, не сердись. Не обижайся, Иви. Это была шутка. Всего лишь несколько – уже забытых – слов, между теми, кому давным-давно пора познакомиться. – Существо фыркнуло. – Давным-давно! – Существо капельку помолчало. - ...Ты хочешь знакомиться, Иви?..

Иви хотел знакомиться. Существо, несмотря на некоторую насмешливость, ему очень понравилось; даже немножко больше, чем очень. Как-то просто становилось рядом с ним, легко, спокойно. Чем-то веяло от него, и это «чем-то» – было ослепительно прекрасным и невероятно родным.

- Я – Иви...

Существо поклонилось.

- А я – Большая Белая Птица... а может – Рыба... а может – Зверь... А может – всё вместе! ...А? Как ты думаешь?

Так и познакомились.

...Правда, Иви не очень понимал, что – познакомились; ему казалось, что он знает это Существо всегда-всегда, и нынешнее знакомство – всего лишь встреча, всего лишь узнавание после долгой дальней разлуки...

Может час прошёл, или – два. Может быть – прошёл век.

Но – вышагнула Большая Белая Птица-Рыба-Зверь в окно... в ночь. А напоследок – махнула крылом.

И забыл Иви о встрече с Большим Белым Существом, и о том что было после – забыл. Только: тишина, беготня древесных теней по стенам и потолку, а сквозь это – странное ощущение *осознанности*, ещё не проявленной, не вылупившейся, не очерченной в досталь.

Иви шагнул к стулу, стоявшему возле коробки с игрушками, и сел на него. Так захотелось.

Замереть. Напружинить пружиночки. Не двигаться. Не.....

«Иви, Иви...»

- А...? – колыхнулся, приподнял брови.

...То ли шёпот пришёл извне, то ли сам он шепнул из просевших древесных изломин и сам же услышал. Но...

«Иви, Иви...»

(А имя это – «Иви» – признакомилось с ним так:



Видете ли, Иви не повезло. Не повезло, как и большинству других мальчиков и девочек: как только он родился, его сразу оименовали чужим именем. Вот так. (Не имеет значения, что это было за имя. Никакого! Мало ли имён...) ...И Иви мучился. И Иви страдал хронической неуютностью. А когда его по имени окликали, то не всегда понимал, что окликнули – его...

Да.

«Ну что это такое, - думал Иви. – Ну разве так можно!? Какой же я – никакой, что ли? ...Ну и ерунда!!»

...Однажды, рано-рано утром, мама вела его в детский садик (как обычно).

Долгая, долгая дорога, полная интересов и зыбких раздумий. И камешков. И бабочек. И всяких там разноразных прохожих. ...О, на такой дороге, если ходить по ней изо дня в день, многое можно понять и увидеть, а также – многому удивиться... на многое закрыть глаза.

Вот и теперь он закрыл глаза.

(Ничего не видно, но – звуки, звуки, звуки...)

Бух!!!

...Со старушкой столкнулся. Мама вскрикнула, старушка охнула, а потом они обе рассмеялись, сами, видно, толком не понимая – зачем и почему и откуда пришёл к ним смех.

- Ох... Какой он у вас! – старушка улыбнулась.

- Да уж... такой вот нескладный, такой растопыренный уродился, - мама виновато развела руками. Засмушалась.

- Что вы! Что вы! – старушка прямо-таки изумилась. – Ну что ж вы такое говорите! Вон он у вас какой: прямо-таки... – ивовый листочек. Ну уж! Ни дать ни взять – Ивовый Листочек!..

А и впрямь! В салатовой рубашке и серо-зелёных шортах, тоненький, изогнуто-мелькающий – как по ветру – в трепете рассмотреть всё, что только ни на есть по сторонам! Лёгкий и звончатый, с ног до головы в солнечной мороси, в шелесте-шуме деревьев, трав... Вот!

...И ему и маме очень этот «Ивовый Листочек» понравился (ему – особо...). И всем остальным понравился (славное имя! только чудное немножко). Разве что – произносить долго, а потому оно как-то само собой укоротилось и стало маленьким-маленьким, размером с крошечную и, несомненно, прекрасную птичку: И в и .)

...Он сидел на стуле и **понимал**. Понимал сразу всё: всё, весь мир, его возвышенности и низины, значения и обличья. Понимание осыпалось в него осколками, крошками. Краешками. Фрагментами. Кусочками. О, человек увидел себя, увидел своё отражение, но – во множестве крошечных – крошечных! – зеркал, быстро обмелькивающих ниц в **маревном** скором потоке. Так трудно и ярко! так изобильно! так остро! Так мучительно...

Всё это моталось, вспыхивало, чехардило; оскальзывало на стремнинной кромке вращения и вновь поднималось на кромку. Высвечивалось – то там, то сям. Проступало, **явилось**: то – зверем истощным, то – вьюгой, где вместо крупинки снега веялись письма: большие и маленькие... прямоугольные, квадратные, свёрнутые в трубочку... важные, важные, важные... всякие...

Почему? Зачем?..

...Он сидел на стуле. Ни малейшего желания – встать, встряхнуться, избыть... Нет! Иви казалось, что он стоит под брызжущим опахалом **драгоценного** **дождя**, и каждая капелька – драгоценность – впитываясь, пропитывая насквозь, наполняя, - **доверие и радость**, нечто такое, что хочется собрать во все многоликие вёдра мира, но – только ладошковые горсти и есть (как мало!).

Иви теперь знал, знал: у этой ночи длинное, почти бесконечное тело, - змея-намёк, змея-стук в приотворённую дверь, прошение. И ещё: эта ночь – для него! Вот.

*О, он любил её, эту ночь; он влюбился в неё сразу и навсегда, и, когда почувствовал это, - ощутил как быжатие маленькой тёплой руки, а из жатия – благодарность и благословение. Да.*

«Иви, Иви...»

...Иви смотрел в окно. Ему почудилось так: пляшущие и плачущие в порывах ветра деревья, низкое небо, шорохи, скрипы, сипение – *нерасторжимо*, одно без другого немисливо и невозможно. И это, и то что предшествовало, и то что последует – одномоментно и вечно. Одновременно. Внеграницно.

Ох, такое следовало как-то уместить в себе, а уместив – сохранить. Великое дело! Тяжкое... Иви догадывался, что – трудно, почти невозможно, но трудностей и невозможностей не боялся ничуть: за чем их замечать? разве это что-то изменит? ...разве это когда-нибудь что-то меняло? Да и вообще: способно ли что бы то ни было меняться? Может ли такое быть?

«Впрочем, взрослые бы этого не поняли, - подумал Иви. – Их постоянно тянет что-нибудь менять; они даже не догадываются как это глупо и бесполезно! – Иви покачал головой и привалился к спинке стула. - ...И меня они всё время пытаются менять. А я от них убегаю. ...Но у взрослых ноги длиннее, - куда от них убежишь? Они повсюду... И дети, мальчики и девочки... многие из них так стараются походить на взрослых, что часто почти такие же, почти – взрослые... Вот гадость-то!»

(Больше всего Иви нравилось – забраться в какой-нибудь отдалённый уголок детского сада и, усевшись на землю, любоваться: высокой травинкой... ползущим по травинке жучком... мельтешащей в гладкой яблоневои листве бабочкой... Он смотрел и смотрел; вовсе не замечал времени; сутками мог сидеть, если б дали!

Вот: полурастаявший в воздухе обрывок паутины плюхнулся на белоголовый взъерошенный одуванчик. И – о, чудо! – мечтательный мальчик-одуванчик тут же превратился в озорную косичковую девочку.

Вот: махнула под ветром горстями тяжёлыми – в цветах и букашках – сирень; поднялась на цыпочки, - осыпала запахом знойным ноздри и сердце.

Вот: на пригорке малом суматошной галдящей кучкой вспенились муравьи; шумят, обсуждают... Ну и гомон!

Вот: оловянный солдатик – забытый, забытый, забытый... - разлёгся себе привольно; и будто б – отбросил ружьё... и будто б – уже не солдатик...

- И что ж ты дурной такой! и что ж ты таким олухом уродился! – сердито бухтела детсадовская воспитательница, выволакивая Иви из зарослей. – Все нормальные дети – поиграли-побегали, да кушают теперь в столовой кисель с запеканкой, а этот – *на* тебе...! ищи его, *нелюдя*, по закоулкам!

Иви давно уже не пытался ничего объяснить: бесполезно. Взрослые – они странные очень, какие-то совсем-совсем другие... глухие какие-то... Он только отпихивался, и, при никчёмности слов, скулил.

- Чудиком он у вас растёт, - укоризненно говорила воспитательница ивиной маме. – Чудной! Вы его к врачу свели бы, что ли... а то вдруг – с головой что не так... Вот! уж что-что, а головкой-то – заметно – слаб.

- Да нет, - виновато и зябко тревожилась мама, - нет, не может такого быть! Он у нас не драчун... Книжки любит читать... И аппетит! – хороший аппетит!

- Да уж лучше бы дрался, да с плохим аппетитом, чем...

Воспитательница не договаривала, обрывала себя на полуфразе. Вздыхала; махала рукой и поспешно прощалась до завтра.

- Что это она? – спрашивала мама. – Ты чем-то обидел её? обидел?

- Не-а... - отвечал Иви, взбрыкивая перепутавшимися за день вихрами.

- Небось, опять за своими букашками елозил? С цветами разговоры разговаривал? – наклонилась к нему мама. – Глупенький! они же всё равно ничего не поймут, они – не люди!

Иви ничего не отвечал. Иви заинтересованно смотрел под ноги и размышлял: сами ноги идут туда, куда идут или сандаletки, что на ногах, ведут их? ...А может – улица? и сандаletки и ноги – ведёт улица?..

- Эй, философ, ты где? – окликала его мама.

- А? – Иви вскидывал голову и тарашил глаза.

- Б-э, - мама ерошила ему волосы, улыбалась. – Давай-ка пошустрее. Ну, поторапливайся же, малыш! – бабушка, наверное, уже второй раз ужин греет.

- Мам, мам, - заторапливался он сказать только что понятное. – А и Б сидели на трубе; А – упала, Б – пропала, кто остался на трубе?

- Да это же все знают, - отвечала мама. – Осталась буква «и».

- А вот и нет! Нет-нет-нет.

- Ну? – удивлялась мама. – И кто же остался?

- Ворона!

- Ворона? – ещё больше удивлялась мама. – А откуда же ворона там взялась?

- Мам, так она раньше всех прилетела. И уселась на трубу! Все посваивались, а она – осталась.

- Вот так-так, - говорила мама. - Вот оно как.

Ох... Мама смеялась, мама покачивала головой. А Иви смотрел на неё и пытался понять: почему, когда смеётся мама – так хорошо дышится и живётся? Может быть, она – волшебница, только сама об этом не знает, не догадывается даже?)

«Иви, Иви... Малыш...»

Мама...

... Это обручи, обручи катятся; катятся, катятся по гранитному крошеву небесного свода, по ковровым дорожкам радуг, по обморочному сиянному ворсу никем не примятой росы...

...Сны...

(Каждый раз, засыпая, он видел себя – то поездом, бешено мчащим сквозь ослепь пурги, то розовым бутонem шиповника, качнувшимся на лёгкой июньской ветке в сторону солнца. А иногда – асфальтовой маревной гладью: асфальт, изнурённый окаблученным тысяченожеством, спал; положив под тёплую щёку твёрдые кулачки – асфальт видел себя протянутым меж песков и вод, где покой и забота были так очевидны, само собой разумелись.

Он видел себя аистом, зыбью речной, песчинкою, лошадей, небом... И – мамой.

Этот сон повторялся несколько раз: ...они были с мамой единым целым, неразрывной сущностью-явностью; целую жизнь проживали так, в бедах и радостях, в озарениях и глухоте. А иной раз – и несколько жизней подряд; тысячу тысяч жизней.

Когда мама утром будила его, первое, что делал Иви, - заглядывал маме в глаза. Он заглядывал – и сразу становилось ясно: мама видела тот же самый сон...

- Мам, а что тебе снилось? – заинтересованно спрашивал Иви, стараясь не дать ей стянуть с себя одеяло.

- Ой, да я не помню... - отвечала мама, покачивая головой. Сердилась: - Да вставай же ты, сокровище непутёвое! Сколько можно дрыхнуть!?

- Ещё часок! – скороговоркой сообщал Иви и покрепче закручивался в одеяло.

- Часок!?? – мамины брови изумлённо взлетали вверх. – Ча-сок??!

Она решительно сгребала Иви в охапку, вместе со всеми постельными принадлежностями, и тащила его в ванну, под душ.

- Ну всё! Ну я встал! ...Я больше не бу-ду!! – отчаянно верещал Иви; пыхтел, норовил вывернуться.

- Ладно, - мама осторожно опускала его на пол. – Будем считать, что на сегодня душ отменяется. ...Но, - грозно добавляла она, - только на сегодня. А завтра – посмотрим!

И уходила на кухню готовить завтрак.

...Она ничего не помнила. Иви это было досадно, но – не слишком: главное – он всё помнит. Всё-всё.)

Ночь раздвигалась, разворачивалась, подобно дверкам огромного платяного шкафа. Ночь растрескивалась на щели. Лопалась по швам.

Всё пространство заполнил белёсый пух. Воздух продёрнулся свежестью, стал терпким и ясным. Лиловые лилии на обоях – потренькивая, дрожа – стали распрямляться; позёвывали; расправляли лепестки и покачивались из стороны в сторону.

Прогнулся и заскрипел старый восьмидесятиквартирный дом.

Шевельнулась улица.

Открыл глаза и улыбнулся М И Р.

: ...р а с с в е т...

Утром маме впервые не потребовалось будить своего малыша: выпрямив спину, сложив на коленях руки – Иви сидел на стуле возле коробки с игрушками. Его глаза были открыты, и в глазах (мама впервые в жизни увидела такое!) – перемешались день и ночь, горе и радость, отчаяние и надежда...

Мама испугалась.

Иви быстро встал со стула, подошёл и обнял её, крепко-крепко вжимая прохладную мордашку в мамину кофту.

- ...Чего ты? – ласкался он. – Всё ведь хорошо. Всё замечательно-раззамечательно!

- Мне почему-то немного страшно... - шёпотом сказала мама.

- Страшно не то, что страшно, а то, что страхом питается, - спокойно ответил Иви.

Он сказал это не совсем обычно, и не совсем обычным голосом. Что-то изменилось в нём, что-то раскрылось и проступило. Он стал ещё непонятней, чем был всегда... отдалённей...

Иви угадал мамину растерянность; задёргал за пуговицу на кофте, заглянул в глаза.

- Мам, а, мам... - улыбнулся, шмыгнул носом, - ну мы-то ведь питаемся гренками с бульоном, а никаким не страхом... правда? Давай питаться!

- Ты что, голодный?

- Ага! – Иви сморщил нос и сиротливо погладил себя по животу.

- Что ж... - мама вздохнула и поправила передник под кофтой. – Иди умывайся, питон-питатель, - будут тебе гренки.

Она вышла из комнаты.

Иви тихонько вернулся к стулу; бережно погладил сиденье, коснулся щекой спинки... Посмотрел в окно: ...д е н ь...

День – Ночь, День – Ночь, День – Ночь... динь-дон-н-н-ден-н-нь...

На следующую ночь Большое Белое Существо появилось снова.

На этот раз оно пришло со стороны распахнутого окна; ничуть не задев – миновало шторы, скользнуло по подоконнику и уселось на витой, с круглым сиденьем деревянный стул у кроватного изголовья (тот самый, на котором всё утро и – по чуть-чуть – весь день просидел Иви).

...А Иви не спал. Как и вчера, прежде появления Существа – пришло предчувствие появления: разбудило, стряхнуло дрему, тренькнуло акварельно множеством эховых колокольчиков.

Иви замер. Иви задрожал. Иви вспомнил: Большая Белая Птица-Рыба-Зверь... Да! Вспомнил! И это воспоминание – наполнило радостью, а вдвойне – радостью – предчувствие...

- Ой... привет!

Существо в ответ качнуло ресницами и улыбнулось. Оно наклонилось к Иви, - тонкой прозрачной лапкой-ладошкой коснулось его щеки.

Прикосновение было очень приятным и тёплым.

- Ой... А почему я тебя весь день не помнил?

- Ты помнил что-то другое... - Существо, поёрзав, поудобнее устроилось на стуле и уютственно вздохнуло. – Меня не было днём. Я ушло ещё ночью.

- А ты что, - с сожалением спросил Иви, - уходишь и из комнаты и из головы – разом? да?

- Так получилось, малыш. ...Но разве ты не был занят весь сегодняшний день? разве было хоть одно свободное местечко у тебя в голове?

- Ага!.. Я столько всего сегодня передумал – ужас просто! Никаких свободных местечек, как в маминой сумке, когда она приходит с базара! – Иви искрился, искрился-переливался; лицо его сияло. – Вот здорово! ...А почему так? Ты что-нибудь со мной сделало? ...заколдовало?

- Ну что ты, что ты! – перья Существа вздыбились и колыхнулись от смеха. – Ни за что! – я только присутствовало. Всё получилось так, как и должно было получиться, Иви...

- Что получилось?

- Ты изменился. Изменился не меняясь. Маятник твоих часов остановился, ничуть – вообще! – не замедлив хода, и теперь твои часы получили возможность шагнуть за грань самих себя – к себе.

- Как? Как могут часы шагнуть за грань самих себя?

- Просто. Ведь и само **Время** – шагнув – может стать кошкой. А кошка – это всякому известно! – ходит где вздумается.

- Кошкой? Зачем?

- Чтобы пойти рядом.

- Не очень-то и понятно... - Иви усупленно задумался над словами Существа. Его лицо стало похоже на мордочку лисёнка-философа, обнюхивающего незнакомый гриб. – Не очень-то... - Иви взъерошил волосы, и, нерешительно помаргивая, посмотрел в глаза Существа. – Может быть... Я что – повзрослел? становлюсь взрослым, да?

- Нет! – Существо даже капельку возмутилось. – Нет, конечно! Наоборот: твоё детство решило остаться с тобой.

- Со мной?..

- Да. И не уходить в спячку.

Иви встрепнулся. Он перекрутился в постели и, подогнув колени, уселся на пятки; лихо обмотал себя простынёй.

- А почему детство уходит в спячку?

- Потому что ему становится неуютно... тягостно ему становится жить там, где оно жило до сих пор, не зная отчаяния и печали. Но: о нём забывают, к нему поворачиваются спиной, лишают места и дела...

- Существо помолчало немножечко, а потом продолжило: - Да-да, малыш, приходит и такая – страшная

– пауза: детство с головой накрывается большим пыльным покрывалом и – замирает. Постепенно, белая пыль становится снегом, снег – сугробом, обильным и плотным, сугроб – льдами, бронёй, почти не имеющей ни трещинок ни зазоров.. ...Вчера твоему детству определилось – решать: уходить в спячку или остаться с тобой. Оно осталось. С тобой.

- Так оно что, во всех – спит?.. (Вновь проглянул лисёнок-философ, только вместо гриба он обнюхивал разлапистый яркий куст, с неведомыми, затаённой окраски ягодами.)

- Почти. Да. – Большое Белое Существо наклонилось к Иви, мимолётно щекотнув его кожу кончиками мягких перьев. Спросило: - Тебя это испугало, обидело?

- Немножко... Трудно понять: кто же тогда ходит по земле, живёт? – льдинки, что ли? Одни сплошные льдинки кругом? сугробы? пыль?

Существо встревожилось. Существо поспешливо и легко покинуло стул и пересело на кровать, к Иви. Оно обняло его, закутав крылом, прижало к себе.

Иви слышал как бьётся большое горячее сердце Птицы...-Рыбы...-Зверя... но теперь – Птицы; он даже видел сверкание этого сердца, ничем не замутнённого, светлого, необъятного, сердца искреннего. Он, прижимаясь, чувствовал, что прижимается к **Силе и Нежности**, к тому, во что легко поверить и что легко любить. ...Так надёжно здесь (ну, сразу же понятно!), так ласково...

- Сколько раз... - тихонько продолжало Большое Белое Существо (Большая Белая Птица), - о, сколько же раз ты рождался и рос! Ты, как и все тебя окружающие, увеличивался в размерах, накручивал на себя липкие нити опыта, обрастал никчёмными знаниями. Но всегда – слышишь? всегда! – в тебе, как и во всех, бодрствовал ребёнок, никогда не терявший ни голоса, ни ясности, ни всемогущества своего детства! Проклёвывался из каждого разлома, из каждой трещинки, из каждой царапинки... *И Детство и Время...*

Иви слушал, слушал... Ему больше ни о чём не хотелось спрашивать, - ему хотелось просто слушать... просто сидеть вот так долго-долго, может быть – сто лет... слышать голос Большой Белой Птицы, её дыхание, нежиться **облизь** прекрасного, **взмывного** в выси костра её сердца...

- ...Встретились **Детство и Время**; встретились, сокоснулись, сплелись ветвями. И это – в тебе, ты. Нерасторжимое дело! Чудесная забота и правильная судьба!

Иви по-прежнему ничего не хотелось спрашивать, но он всё-таки спросил:

- Почему – во мне? Почему – я?..

- Почему? – Птица хмыкнула и дурашливо озаботилась. – Почему... почему... - Хмыкнула ещё раз и весело посмотрела на придремливающего Иви. – Почему бы нет? ...Видишь ли, малыш, можно сказать и так и сяк, - бесконечность бесконечно разнолика, бесконечность бесконечно однообразна, - это будет ни так, ни сяк... *А правильнее: ты и всё – всё-всё-всё – одно и то же, о д н о .*

- Как это?..

Иви засыпал. Всё вокруг звенело, всё кружилось, хороводилось, мельтешило приятно и небывало. «А как это, - ты узнаешь потом... потом... Завтра...» - услышал он откуда-то отовсюду, но – из далёкого далека. И – засыпал... засыпал... засыпал...

Ему снились рёв моря... песчаная отмель, там, где рёв моря становился отчётливее и громче... шумный высокий лес, нескончаемо поднимавшийся из отмели, машущий зеленью и прохладой... хлюпкие застенчивые болота, отаённые... коса-островок посреди болот, и – посерёд островка – домик... В домике ярко горели окошки, из трубы вытемливался дымок, слышались голоса...

Иви не знал, зачем он оказался здесь, но оказавшись – радовался: ему так хотелось сюда, всегда, только прежде он не знал об этом, а теперь, оказавшись, - понял и принял, и возликовал! ...Но – робел, но – боязно было подойти к двери... постучать в неё... услышать призыв: «Войдите!», и узнать в призыве свой голос...

А потом – он увидел горизонт... И горизонт – только подумайте! – и горизонт увидел его; увидел – опрокинулся, как знающий ласку щенок, забарахтал в воздухе лапами; опрокинулся... замер... обернулся *дорогой*...

Дорога лилась, журчала; дорога обшёптывала домик. А Иви стоял между домиком и дорогой, осознавая необходимость шага, но самого шага никак не угадывая.

А пахло здесь! – лесом, цветами, травами... морем... Пахло сыростью и тишиной, ветром и облаками... Пахло чудесным... несказанным... пониманием и приимностью... возвращением... А ещё: знакомый, но незнакомо приятный запах – сквозь запахи иные – всякие – присутствовал небывало; он доносился от двери, от окон дома, от дыма... он клубился над болотами и промеж древесных стволов... он вплетался в северные сквозняки и в густые повеивания морские...

Иви не выдержал. Иви заглянул в окошко. Удивительно! но почти ничего нельзя было разглядеть, хотя – понималось сразу – в домике чего только не было, домик был напоён, наполнен, пропитан многими присутствиями. Но: каким бы числом и мерой ни обладало присутствие-присутствия, - ни что не облекалось в образ или штрих, ни что не *явилось*, не определялось, - взбрыкивало, просвистывало, пенилось... оплёскивалось неярким светом, одновременно и пропадая и возникая вновь... Всё, что можно было угадать, а угадав – различить: край стола (только край...)... туманная лёгкая чашка на самом краю... Чашка была полна.

О, как пронзительно, как неотвязно – на грани бесстыдства и *муки* – захотелось испытать из неё! Чудилось: *измаянные* дымящиеся подмётки свисают в вечность, и вечность – и вечность... – в зубьях и воплях – ожидает босых ног; такая усталость... такая усталость! и только – о! – здесь, в рывковом сращивании чашки и губ – отдохновение, отстранённость...

Такая жажда... Такая жажда!

(Иви, во сне, метнулся головой по подушке; скрипнул зубами; скользнул языком – торопливо, надрывно – по шершавой сухости губ.)

Иви – сквозь стекло – потянулся к чашке. О-о-о! Нет! – он не размахивал руками, он даже не шелохнулся. Вот: всем собой... отовсюду...

И чашка – ка-ач-ну-у-увшись – упала. С края стола. Ах!.. Вдребезги.

О-о-о!..

Но – вот: ни одного осколка... ни одной капли (а чашка была полна)... а: звон, так – похоже – звенит напоённый букашками, солнцем – солнцем! – летний луг, так звенят, соприкоснувшись, сердца, так смеётся омытое эхо, обретая горстями любовь. ...Так: стало понятно: в чашке-то и была решающая нелепость, качнувшая, стёршая грань – саму себя, гранью, несуществующим стержнем являющуюся. Тут – облегчённый вздох, и – вспышка...

Иви увидел себя... четыре стены... пол... крышу... Только это и было... А ещё – то, что вокруг: мир, мир...

«Мур-р-р!»

Уже пробудившись – почти... - но Иви заметил: скользновение быстрого внятного следа... следов...: кошка. Кошка вошла и уселась у ног мальчика.

...Решающая нелепость. Это могло быть что угодно, но – вот: чашка. Но – вот: ни одного осколка, ни одной капли, а: звон-н-н...

...Тот запах... - что в нём необычного? что? ничего... Тот запах, - но мог быть какой угодно! – да вот поди ж ты... - да – запах, проступивший гранью, чтобы факт грани получил обозначение, и к обозначению – слился с ним, и – ... ..но ведь для того и проступила грань – да, - чтобы быть стёртой, самой собой.

Первое, что Иви почувствовал, проснувшись – запах (тот самый!). Он мгновенно отбросил шуршнувшее от такой беспардонности одеяло, и, сидя в постели, полусонный ещё, крикнул:

- Ма-ам! Ма-ма!

Мама испуганно влетела в его комнату. Она была уверена, что случилось что-то ужасное, что-то кошмарное (вчера – целый день почти! – сидение Иви на стуле всерьёз испугало и её и бабушку).

- Что!?... что случилось!!??

- Да ничего... - Иви и сам чуточку перепугался, увидев мамино лицо. – Ну ты что, мам... Что ты...

- У тебя где-нибудь болит? Тебе плохо?!? – мама лихорадочно оглядывала сына со всех сторон, пытаясь таким образом отыскать причину его недуга. Потрогала лоб. Ничего не нашла; всё было цело, щёки – розовые, температура нормальная, глаза ясные... Притиснула Иви к себе, крепко-крепко, - поняла, что может сейчас зареветь, но – сдержалась, изо всех сил! – прижала утреннего крикуна к себе ещё крепче.

- Мам... ну всё хорошо, мам... - Иви потёрся щекой о мамину руку. Насупился.

Мама шлёпнула его – пустяково, понарошку – чуть пониже спины и спросила:

- Ты чего орал, как перегревшийся верблюд? а?

- Так просто... Ты испугалась, да?

- Тут испугаешься... «Так просто»! – ну уж это...

- Мам, - затеребил её Иви, углядев, что мама немного успокоилась, - мам, а чем у нас вовсю пахнет? Такой запах... Вкусно!

- Пахнет? Запах?... – мама недоумевающе посмотрела на сына. - ...А, пахнет! - ремнём пахнет, вот чем! – заявила она с жалобной свирепостью. – Замечательный запах! Сейчас принесу вам, молодой человек, это блюдо. Прямо в постель.

- Нет, я серьёзно! Такой запах! Он мне приснился...

- Запах приснился? Вот как! – Мама подумала немножко. – Я не знаю, малышонок, - тут у нас много всяких запахов, как и в любом другом месте. ...Может – чаем?

- Чаем?

- Да. Я сейчас как раз заваривала чай.

Мама поднялась с постели и потянула Иви за руку, за собой. Засмеялась:

- Пойдём, понюхаешь! Заодно и выпьем с тобой по чашечке, - мне ещё успокоиться нужно.

Они отправились, рука об руку, на кухню, где по полу, по стенам и потолку, по мебели, по посуде – везде – прыгали беззаботно-игривые солнечные зайчики, где в опрятности и чистоте окружения довольно гудел старенький облезлый холодильник, и где, под пёстро расшитой шапчонкой, раздумчиво и сурово потел толстый заварочный чайник. Мама сняла с него шапчонку, приподняла крышку, и кухню опахло пряным разноцветным запахом, - тем самым, из сна! - ...запахом памяти и забвения, запахом опрометы и покоя... узнавания...

...Он вспомнил: Большая Белая Птица...-Рыба...-Зверь... Птица...

Нынешний день, как и день вчерашний, был выходным, а потому детский сад Иви не грозил. Замечательно! Хотя завтра... Иви с трудом представлялось теперь, что снова придётся идти в это отвратительно тоскливое место, где ему опять не дадут остаться с самим собой, опять накажут за что-нибудь... а Славка и Юрка, из параллельной группы, снова будут дразниться и показывать кулаки, или... (Неделю назад было так: он разговаривал с веткой сирени; ветка сирени пожаловалась ему на отсутствие влаги. И только Иви задумался: как бы ему раздобыть воду, так тут и подскочил Юрка, - крикнул: - «Дурачок! – с деревьями болтает!», да за ветку-то и ухватился, - обломить хотел. Дерево аж застонало! Но Иви не



дал обломить ветку: Юрку оттолкнул, насупился, - приготовился к драке. Юрка драться не стал; Юрка убежал с хохотом, выкрикивая: - «Дурачок! Дурачок!». А дерево – плакало после; больно было ему, дереву... страшно и больно... Иви долго пробыл с ним рядом.)

...Сегодня – с бабушкой, на улице. Гулять с бабушкой – одно наслаждение: она всегда идёт с Иви именно туда, куда ему больше всего и хочется; строгая, - но никогда не мешает; всегда отвечает на Ивины вопросы, отвечает без вранья, честно, а если не знает чего-то, то так и говорит: не знаю. А обед бабушка всегда брала с собой: термос с чаем, сок, бутерброды... конфеты... Обеденье! Известное дело: побегаешь, попрыгаешь, - аппетит, как с горы летит! – летит, руками размахивает, рот разевает.

- Ты не егози, не егози, - говорила бабушка, поудобнее примачиваясь на пригорке и стеля к трапезе скатёрку-платок. – Не егози, не тормози сумку! Сейчас сама всё достану. – Выкладывала снедь, доставала термос, бутылки с соком. Подбрасывала с краешка салфетки. – Ишь как по буеракам бабку проелозил, басурман: всё платье в колючках, сверху донизу, в колючках да трухе!

- Я тоже в колючках, - гордо говорил Иви, выдирая из волос вздыбленные мячики репейника. – Вон, видишь какие!

- Так тебе ведь и поделом, - сообщала бабушка, деловито сошлёпывая со спины внука мусор, - ты сам дорогу выбираешь. А мне-то за что такая мука? Для какой такой цели? Ох...

...А вокруг – буйствовало многотравье-многоцветье, сновала крылатая и ползучая мелюзга, гомонились песенки со всякой-любой стороны. Ласковый знойный июньский воздух подрагивал и переливался, шевелил, обнадёживал, согревал, умудряясь при том удерживать безтревожно на плечах своих неспешные перистые облака. ...О чём-то шептала бабочке юная полынь. Про что-то рассказывал мушкетер-хохотуньям большущий глянцевого жука, развываясь и жмурясь, на мушек поглядывая лукаво.

Иви плеснул жуку капельку сока, рядышком, чтоб и жук мог тоже – поддержать компанию, принять своё, посильное, участие в трапезе. Но жук почему-то нахохлился и улетел.

- Ты колбасу и сыр ешь с хлебом, а не друг с дружкой, - назидательно говорила бабушка. – Повздорился, охломондился, бутерброды разорвать! ...Да и соком, соком перекармливай, чтоб не всушмятку.

- Сок – жукам, - информировал бабушку Иви, - а мне – чаю. Только доверху!

Он задумчиво смотрел на мягкий чайный парок, оглядывал его со всех сторон; касался ладонью тёплых влажных завитков, дул на них, убыстряя и всячески напутствуя их бег к солнцу.

Иви часто приводил бабушку на эти пустыри. Ему было здесь хорошо и спокойно, ему было здесь летуче. Он любил здешние места, - во всяком настроении, во всякое время года, - он любил эти места всем сердцем. И старался не обидеть никого, и его – не обижали, привечали, старались утешить, когда ему было грустно, скучали, когда его долго не было.

Бабушка понимала Иви. По-своему. По крайней мере, она никогда не донимала его опекой или приглядом, - бродил где вздумается и как вздумается. А бабушка тем временем занималась своими делами: читала, разглядывала букашек, вязала, или попросту – грелась на солнышке.

А Иви – Иви носился по травным лабиринтам, без помех и чуждых вмешательств растворяясь во всём, в чём только желал раствориться, и – приветствовал, и – узнавал, и – принимал участие.

...Впрочем, весь сегодняшний день он был чуточку иным, не таким как всегда. Гуляя в пространстве внешнем – то и дело проваливался во внутреннее, а потому не всегда оказывал надобное внимание здешним друзьям, редко узнавал знакомых... Все мысли Иви были были в прежних – двух прошедших – ночах, и – в ночи грядущей (скоро уж...). ...Он всматривался и оглядывался... Он бродил – не видя... Он оглядывался-озирался, пристально всматриваясь в плясье мятущихся под покрывалом ветра кустарниковых теней: Иви пытался увидеть Птицу, её силуэт, её появление здесь и сейчас, задолго до ночного-обещанного.

- Эй! Ау-аушки! Стрекоза голоногая, ты где? – Бабушка смотрела из-под козырька ладони, - смотрела-озиралась, пытаюсь углядеть внука. Не углядела; ух и заросли! и впрямь – хорошо здесь... - А-у, Ивушка! Не пора ли собираться?... Да где ты!? – Бабушка ещё поозиралась. – А-у! – «Ну точно, спрятался, непослушник!» - Ну смотри, сейчас я одна уйду. А как уйду, - прискачут сюда козы, озорницы боро-  
датые, и съедят тебя!

...«Ага... Как же... Делать им больше нечего...»

Иви фыркнул, и крепче и внятней вжался лицом в траву. Вдохнул поглубже. ...Перевернулся на спину. Прищурился...

Небо... небо качается, - сквозь всё и повсюду, - на сиянных плечах лебеды, на летящих ушах ромашек... Небо... Небо и трава переплелись-перемешались, сомкнулись в бессвязном танцующем взмахе... Ясная неделимость...

Неудивительно, думалось Иви, что цветы часто смеются людям вслед, – ахают и жалеют, - да, - пожимают плечами. ...Вот: Иви лежал и слушал шепчущийся где-то неподалёку (но и для него!) рассказ об унылом мужчине, который повстречался с фиалкой. ...А может быть и не рассказ, но: повстречался унылый мужчина с фиалкой, и завязался у них разговор, короткий разговор, внятный. А Иви слушал... а Иви улыбался... а Иви смотрел на небо...

*« - А ты, однако, мимолётное существо, - удивлённо сказала фиалка Унылому Мужчине. – Это ж надо ж! Такая огромадина – и полные дритатушки!*

*- Ну, ты полегче... - уныло сказал Унылый Мужчина. – Ты уж не тово... Ну уж как-то так – не так...*

*- Это как? – поинтересовалась фиалка.*

*- Ну, поделикатней, что ли... Мне и так не сладко, - ответил Унылый Мужчина.*

*- Вот как? – фиалка прищурилась.*

*- Ну да!.. Ты бы мне приятное что сказала... или – подарок какой... А? Денег бы дала.*

*- Вот как!*

*Фиалка захохотала.*

*- А что? жалко тебе? Взяла бы и дала.*

*- Да на!*

*И перед Унылым Мужчиной возник – а хоть бы и так: из ниоткуда! – мешок с деньгами. Большой.*

*- Доволен?*

*- Доволен... - уныло сказал Унылый Мужчина. И, мешок на плечи взвалив, отправился себе... непоймёшь-куда... - уныло... уныло...»*

Иви рассмеялся.

- А, вот ты где, - торжествующе сказала бабушка, заслышав негромкий залиvistый смех. – Попался!

- Слушай, а тебе Унылые Мужчины встречались? – спросил Иви. Раскинувшись по траве, он смотрел на бабушку снизу вверх и пытался разглядеть сквозь неё небо.

- Да тыщу раз! – бодро ответила бабушка. – И унылые мужчины и женщины и даже каракатицы. ...А ну, вылезай из травы!

*...(с белого лёгкого неба  
мягкий струится хлеб*

*льются кусты к тропинке  
пляшет сосна под сурдинку  
аист растёт из дымки –  
                        клювом колышет мир*

*.....  
льнётся и дышит мир –  
мир облачённый в свирель –  
звук: это – я  
а рядом: маленький жук Мирабель*

*.....  
...вспомни меня малышка – маленький жук Мирабель  
ты прожужжишь – встрепенёшься  
ты прожужжишь – улыбнёшься  
я проплываю на лодке мимо травинки твоей*

*.....  
я проплываю на лодке –  
в яркой зелёной шляпе –  
ты мне качнёшь крылами  
шляпой махну в ответ  
ты самовар раздуешь  
ты приготовишь чашки:  
я, Мирабель и лодка сядем вокруг стола*

*.....  
ластится чай, кивает –  
где по реке проплывает  
                        жук Мирабель на лодке мимо травинки моей*

*.....  
вспомни меня малышка – маленький жук Мирабель –*

*.....  
где золотятся звёзды –  
вместе плывём на лодке –  
я, Мирабель и травинка –  
вместе плывём на лодке...)*

Вечером Иви забрался в постель раньше обычного времени.

- То не уложишь тебя, то – сам в постель заскакиваешь. С чего бы это? - поинтересовалась мама. –  
Может, нездоровится?

- Нет, всё хорошо, - быстро ответил Иви, натягивая одеяло. – Здоровее всех быков и драконов на свете.

- Уж и драконов? – недоверчиво поинтересовалась мама.

- Ага! – подтвердили из-под одеяла.

- Да!.. Всегда – ты бабушку на пустырях своих ухаживаешь, а сегодня, видать, она тебя уходила. –  
Мама приподняла край одеяла и сообщила таинственно – туда, в темноту постельной пещеры: - Между прочим, по телевизору через десять минут – мультики. Что скажешь?

- Ну и фиг с ними! – весело донеслось из пещеры.

- Вот дела! – мама удивлённо покачала головой. – Вот ведь...

Она поправила свесившуюся подушку, выключила свет и вышла из комнаты.

...Иви решил: не засыпая – ждать. Ждать, и всё тут!

Он хотел собрать-приготовить все-все вопросы, что накопились у него за долгую шестилетнюю жизнь (а заодно – и за сегодняшний день), подсчитать и выложить на ладошках – трепетно, гордо! – все-все накопленные догадки, все понимания. ...Иви подоткнул одеяло со всех сторон, включил фонарик, подаренный ему на день рождения и ещё не опробованный, и – вообразил: он – степняк, он – козочет, и вот теперь разбил посреди степи шатёр и ждёт на полночный пир важного гостя – друга – из далёких краёв. А в степи – ветер, дождь...

Тут и впрямь – поднялся за окнами ветер, забарабанил по карнизу дождь. Стало уютно повсюду, где только были стены и крыша, а в Ивином шатре – вдвойне. Стало мечтательно и приятно.

Иви – довольный – глубоко вздохнул. Он закрыл глаза; прижимая к груди фонарик, заёрзал-закрутился, устраиваясь поудобнее, выискивая самые милые и желанные местечки своего шатра. Устроился. Замер.

А дальше... - каким-то образом вышло так, что Иви уснул...

### 3 третья ночь

«Иви, Иви... Где ты, Иви...»

Иви открыл глаза. На стуле, у изголовья, сидела Большая Белая Птица-...Рыба-...Зверь. Но скорее всего нынче – Рыба. Рыбьи пёрышки-чешуйки напоминали капельный певный поток летнего ливня. Крылья-жабры посверкивали слюдяными огоньками, разноцветными и спокойными, такими же, как россыпи небесных светил в крошечных, но уверенных лапках снежинок. Тонкие прозрачные линии-завитки невесомых охвостных кружев разбрызгивались куда-то в темноту, и в темноте – таяли, наполняя, завеивая её собою.

- Привет тебе, Иви, - прошелестела-пропела Большая Белая Рыба. – Ты что-то всё спишь и спишь, будто бы – не ночь вовсе...

- Привет! – Иви старательно захлопал ресницами и тут уж проснулся окончательно. – А я ждал тебя. Ждал-ждал, ждал-ждал... а потом как-то взяло и уснулось...

- Ну уснулось – и уснулось. Делов-то! – Покладисто сказала Существо. – Главное – себя не проспать, а в остальном – сплошная приятность.

- А как это – себя проспать?

- Это, милый, когда ты всё время спишь, и только иногда – во сне – тебе кажется, что ты бодрствуешь, что ты навроде как и не спишь...

- А часто такое бывает?

- Да сплошь и рядом, - в голосе Большого Белого Существа промелькнула грустинка. – Сколько угодно, малыш...

- Почему же так? Зачем?

- Лень... да и ещё кое-что... - Существо вздохнуло. – Проснувшись – наполнение, спящему – лежи себе да лежи, раз уж лежится. Или – сидится... Или – идётся... Сну ведь не важно – в каком положении замер-застыл пришедший в него: пришедший-сновидец – сновидение в сновидении, поток в потоке. Иллюзия. ...Сновидец – иллюзия в иллюзии, проснувшийся – намёк на реальность в иллюзии, возможность воплощения намёка...

Как ни странно, но всё, о чём говорило Большое Белое Существо, было Иви понятно. Он даже не перебил ни разу, - ему попросту не о чем было переспрашивать. Всё ясно, всё так отчётливо! Смысл непонятных слов проникал сам собой, шёл напрямую, минуя привычное и усвоенное. Смысл приходил вне слов, ничуть не теряя от этого своей очерченности и сути.

(Раньше для Иви в говоримом со стороны было так много непонятного, колобродного. Значения звуков, из которых слова состоят и значения предполагаемых смыслов были совсем не вместе, вяло игнорировали друг друга. Теперь же он понял: почти все слова, скользящие ныне по миру, - лишь пустые шкурки от того, что прежде – жило, а теперь – дохлость. А нужно так: зашагивать, запрыгивать за слова, прикикая к тому, что этими словами движет, что ищет выражение и форму, и вот – всё что есть...)

Большая Белая Рыба – проплёскивая крыльями-плавниками – шелестела по комнате. Она внимательно всматривалась в углы, изучала стены, приглядывалась к трещинам в половицах.

- Ты нравишься своей комнате, - оборотясь к Иви, сказала она. – Ты ей мил.

А Иви и сам знал об этом, вернее – чувствовал.

- Она скучает, когда меня долго нет. – Вздыхнул, крепче обхватил руками колени. – А когда мне плохо – успокаивает, напевает, о хорошем говорит. ... И ты знаешь, - глаза Иви засияли, много-много интересного рассказывает! Часто!

(Месяц назад Иви захотелось написать письмо. Вдруг... Только вот – это «вдруг» было такое, что хоть криком кричи, до того приспичило-потянуло, до того занудилось!

Так: написать письмо, а в письмо – всё самое важное, истерпленное, прожитое, самое неотложное. Непременно! Обязательно! Самое-самое-самое! Написать, не утаивая ничего, делясь всем, - до донышка, без остатка.

И (иначе зачем и писать) – чтоб поняли. Чтоб поняли и приняли. Посоветовали. Утешили. Изумились!... Это нужно всем. Каждому. И маленькому и большому. ...А когда ты переполнен...! – о!!...

...Иви не написал письма. Оказалось, что хотя он и прожил так мало лет, ему уже некуда писать. ...Иви удивился, Иви испугался, - ему это совсем-совсем не понравилось!

Но тут... тут комната окружила его со всех сторон! закружила, залопотала: «Иви! Иви!» Да: комната получила его письмо, комната прочитала и поняла. Комната написала ответ...

Иви улыбнулся. Иви ухватил листок бумаги, на котором собирался кричать, кричать, шептать... и – нарисовал большого ушастого кита. Кит был зелёный, круглый, над собою держал зонтик... И плыл и плыл зелёный кит под зонтиком... плыл по зелёному морю... в неведомые края...)

Иви – да с чего бы? но вот: мир... Иви увидел мир. Большой и крошечный, - всё сразу; ...весь, сразу. Мир спал, но не было в этом покоя и тепла, а было – оцепенение. А было: мир натужился из всех сил, мир натужился – оцепенелый, - клокотал, лихорадился, хрипло дышал, пел... пел!

«Это я, - подумал Иви. – Мир – я...»

«Что же со мной? – подумал Иви. – Как мне быть?»

Холодным острым коготком царапнулось, скуля, одиночество; проскользнуло, из глуби – в глубь, оставляя за собой тусклый протяжный след... выдохнуло...

Иви мотнул головой. Поёжился. ...Вспомнил: вчерашний сон...

- А что такое сны? Это то, что есть или то, чего нет?

- Сны – намёк на очевидность. – Большая Белая Рыба, подрагивая, колыхалась посреди комнаты. Раскачивалась-наклонялась, поглядывая на Иви то левым, то правым глазом. ...Неожиданно – плавным

сполохом молнии, белоснежьем – метнулась к креслу, стоявшему напротив кровати. Уселась-проплеснулась-подобралась...; вот: это уже не Рыба, скорее – что-то похожее на Зверя. – Да-да! сны – всего лишь намёк на очевидность, – улыбочиво мерцая, повторил Большой Белый Зверь. – До той поры намёк, пока не осознается: попросту – очевидность, ничего иного и быть не может. Но, разумеется, будучи очевидностью – это то, чего нет. ...Не очень понятно?

- Понятно...

Иви рассматривал Зверя, восхищённо дивясь-угадывая: вот – обмельк лосиной морды... печальный оскал енота... лукавый зигзаг белки... Вот – слон, внимательный и трубящий... мышь... обезьяна... жираф... мокрое лицо крокодила... Вот – тюлень, листающий быстрыми зрачками стальные искры звёзд... талая мордочка жабы... румянец – картофельный, затаённый – черепахи... Вот – треугольные кружева лиса... пламенный взгляд медведя... кобра... пёс... полынная морщина скунса... кролик... зебра... дракон... корова... лев... улитка... Всё это не менялось, не чехардило, но – было одновременно, рядом. Так: одно лицо, ничуть не делимое, ничуть не размывное, и – вмещающее в себя всё.

Иви встал с кровати, подошёл к Большому Белому Зверю и втиснулся рядом с ним в кресло.

- Мне часто снится, что я иду к горизонту. Иду, иду... Долго-долго иду... И мне нужно туда, так хочется там оказаться! Понимаешь?

- Конечно, конечно, Иви. Чего ж тут не понять! – Зверь улыбнулся.

- И это не только снится, – это хочется постоянно. – Иви врылся поглубже в тёплую мшистую морось звериной шерсти...-перьев...-чешуек. – Стою на дороге, смотрю... А мне всё говорят: нельзя до горизонта дойти, – горизонт, это то, чего нет... ..Его нет?

- Есть, малыш.

Дыхание Зверя напоминало терпкую пляску ромашек, клевера, земляники. Казалось – август, и ты весь – в августе, с ног до головы. Здесь замечательно! Здесь безопасно: никто не тревожит, никто не суетится, никто не оттаскивает за уши от земли и неба. Даже попросту смутить – нет. Непроницаемо!..

(«Иви! Иви! Иди скорее обедать! ...Да ступай, ступай же, наконец, сюда, непослушник!»)

...Он обернулся. Он закрыл руками уши, упал в траву. ...Вот: закачался над ним, разгоняя облака и стрекоз, конский каштан, проплеснули тонкими волнами строгие линии подорожника, заплясали-заторопились лиловые колокольцы. Вот. ...И голос – тугой, протяжный, имеющий лапы и смутное тело, проскочил по верхушкам трав, оскользнулся у кромки пруда, – растёкся дымкою над водой и осокой.

«Иви! Иви!...»

- А до него можно дойти?

- До горизонта? Можно! – Зверь, ликующе оскалясь, дунул на Ивину чёлку. Затормошил ободряюще. – Конечно! Без всяких сомнений! ...А зачем тебе туда, Ивушка?

- Ну как это...! Ну... Ну я не знаю... - засумбурился немножко. – Мне же нужно туда!

- Зачем, малыш? – Большое Белое Существо неотрывно и ласково смотрело на Иви.

- Сейчас... - Задумался, заморгал. - ...Мне кажется, что если я доберусь... что если кто-нибудь доберётся до горизонта, то везде – везде, везде! – станет хорошо.

(Ему часто приходило в голову, что МИР – болен. МИР – разорван. Что все беды, обижения, непонятности, одиночества – это разорванность МИРА, его бесприютность и сиротливость в ошибке разорванности.

...Вот поэтому никто до сих пор не смог дойти до горизонта.

...Вот поэтому – так ясно!: стоит только дойти до горизонта, обнять его, сцепить-склеить собою МИР – и всё станет так, как надо, как необходимо, как правильно. По-настоящему правильно!)

- Я глупости говорю, да?..

- Нет, малыш. Ты говоришь вовсе не глупости. ...Да не смущайся же, - говори! Говори, Ивушка.

- А что?.. А! – я видел вчера сон: дом... дорога... я разбил чашку... и ещё, кажется, - какая-то кошка, но это я не очень помню...

- Знаю.

- Знаешь? ...Мне показалось, что этот дом – он совсем рядышком с горизонтом: стоит только шаг шагнуть, и ты уже...

- Так и есть, - сказала Существо. – Так оно и есть.

- Тебе знакомо это место?

- О, оно знакомо всем, кто хочет его знать!

- А где оно?

- Там, где ты сейчас... Везде.

Этого Иви совсем не понял.

- А что...

- И «везде» - ты, - улыбнулось Существо.

- Ага... Ещё скажи, что ты – это я...

- А разве здесь ещё кто-то есть, кроме тебя?

- Комната! Она-то есть!

- Ты уверен?..

Качнулись шторы, по комнате прошелестел сквозняк. Плотный, упругий, подвижный – сквозняк напоминал густой невидимый кисель, пребывающий вне ёмкостей и удержания. Иви показалось, что сквозняк прошёл сквозь него; прошёл – и ушёл... но что-то осталось...

...Ах! Огромная звенящая волна, и гребень этой волны – ты. И – из гребня – лёт карусели; истошный пронзительный лёт; выпадающий: всё медленнее, медленнее кружение, всё задумчивее, тише витки карусельного пляса... Так: не крутится ничего, не вертится, не егозит, и можно разглядеть всё, что под тобою, что над тобою, что раскинулось по сторонам и «под» и «над» в себя вбирая, извисаясь собой-из себя-в себе сферой, расплётнутой на бесконечное множество сфер-капель, трущихся и ударяющихся боками, ищущих себя.

Померещилось: ярмарка...: кто-то что-то покупает, кто-то кого-то развлекает, кто-то в чём-то убеждает, кто-то где-то плачет... Многие долгие лица, прель и туман, горелые обрывки мелодий... Солнце и луна стучаются лбами, выстукивая неразборчивую, исходящую в веер речь... дожди наматываются ватными ручейками на дроглые пальцы... Кто-то садится на землю, и закрывает глаза, и – встаёт, не размыкая глаз, - наощупь веется к выходу...

...Он брёл с тяжёлым рюкзаком по пыльной дороге, и... - было ли, было ли что за спиной?.. Он метался в хрипящей воющей кубатуре, и длинные редкие волосы – волосы раздирающей себя в клочья женщины – обхлёстывая, влипали в сырое лицо... Он сидел, прижимаясь к самому себе двумя разноликими мужчинами, и жёлтые и красные листья – осенняя снежь земли – мерцали в вопящих зрачках... Он бежал; настывший на лапы лёд выбивал из тропного льда вмятый негаснущий след... Он, сдерживая дыхание, вжимался в кулисы, выискивая в шорохе писем и тьмы своё начало... Он размахивал сильными тонкими ветвями, и пел и был, истраживая строки, речения, имена, ибо не мог иначе...

Иви заплакал, - руки взметнул к голове, голову накрыл руками. И подошёл к себе – белой молнией, многим обличьем – утешил и высветил и направил. Иви встал; всхлипнув, уселся на стул; вытер слёзы; на сжатые напряжённые колени его прыгнуло Время, мурлыча, ласкаясь, выгибая спину, и Иви коснулся шёрстки Времени тёплой ладонью, и Иви прижал его к себе...

- Что это?..

Иви чуть помотал головой и посмотрел на улыбающееся Существо.

- Это – мой подарок тебе, на день рождения: твоя дорога, подошедшая к зеркалу, малый её промежуток. А если ты захочешь увидеть всё, - только загляни в зеркало; каждый раз, когда тебе покажется что ты готов заблудиться, - только загляни! – зеркало всегда будет с тобой, в тебе.

- Спасибо.

Иви почувствовал, что голова у него ещё немножко туманится и поэтому торопливо сказал:

- Я сейчас как-то не совсем понимаю: у меня сейчас не голова, а какие-то попрыгушки... Но ты мне объяснишь всё? Завтра, да?..

- Нет, - голос Большого Белого Существа был спокойный и чуточку грустный. – Мы теперь очень долго с тобой не увидимся.

- Оставайся... Ну пожалуйста!

- Нет, малыш, мне пора...

- Оставайся! – голос стал торопливым, язык непослушным и сбивчивым. - Оставайся! ...Вот зачем, зачем тебе куда-то деваться!? Зачем?? ...Я не хочу!..

- Иви, Иви, - терпеливо, но и укоризненно остановило его Большое Белое Существо. – Всё не так... Всё совсем не так, как тебе сейчас чувствуется.

- Ага! – не так... ...Я не хочу, не хочу! ...Ну как я без тебя?!

Большая Белая Птица-...Рыба-...Зверь (но сейчас – Птица) – дрогнула крыльями, чуть взбаламучивая пространство комнаты. Отовсюду заматались, сплетаясь в радужные гирлянды, тени: гася, утишивая, намекая...

В окошке засветился-заприглядывался месяц.

- Без меня – мне трудно, а тебе – без тебя, - сказала Птица. – Пойми. Себя не увидишь – себя не вспомнишь, не вспомнишь – не забудешь... Сейчас и завтра ты больше нуждаешься в себе самом.

...То ли месяц так полыхнул, закручинясь, тревожась, то ли звёзды, то ли само собой: в смолы светлые рыжие всё обмакнулось, пропиталось насквозь, отовсюду – ливнем, насыщенным, ярким. Празднично так!

Всё из себя светило!

Старенькие часы на стене (прадедушкины ещё) – тик-так-тук, тик-так-тук... - засияли бронзовых листьев плетеньем – переливчато, небывало! – пронзительнее, чем шёрстка озёрных солнечных зайчиков. Грузные контуры мебели подёрнулись рябью протуберанцев, смешливых и озорных. Запунцовели, зазеленели, окрасились в спелый янтарь шторы. Взбрызнулись вереском-золотом половицы. ...Вот ведь!

«Здорово... Красиво... Ну до чего же красиво! – подумал Иви, уже во второй раз за эту ночь вытирая слёзы. – Сто лет бы смотрел и смотрел! Красивое – оно очень простое: и получается просто, и понять просто.»

Он очень обрадовался, выудив из рассиявшейся чехарды такое простое, такое верное заключение. Действительно, - просто же! Хотя...

(К дню маминого рождения Иви приблизился невыспавшийся и довольный.



Он всю ночь ворочался с боку на бок, ёрзал, сопел: он придумывал подарок для мамы. Иногда, конечно, засыпал, но спустя малое время – просыпался вновь, и вновь – думал, думал, думал... Никак не выходило! – сплошная ерунда лезла в голову.

А утром... он увидел в окне деревья, запрокинутые – лепетом листьев, звоном плеснувших ветвей – в ветер, в небо... И ещё – облака... Ему вспомнилось тихое лесное озеро, к которому мама возила его в свой прошлый летний отпуск... глубина и прозрачность озера... и...

Всё стало просто. Всё придумалось!

Иви вскочил с постели и бросился на кухню. Ура! ...Он открыл вентиль крана, подставив под бурную выбежавшую воду первую попавшуюся кастрюлю... Ну вот!

...Мама проснулась, встала, надела халат, вышла из спальни и увидела следующее: возле окна, промеж телевизора и торшера, возлежала на половицах – причудливым изогнутым – огромная лужа воды. Лужа влажно, лукаво поблёскивала, милостиво позволяя балконному сквознячку терзать себя знобкой рябью, ерошить свои прибрежья маленькими пыльными вихорьками. Она была многовозможна и самоприимна; она вбирала... она отталкивала... она отражала (всё, что только ей хотелось, в том числе и маму).

- С Днём Рождения!

- Спасибо... - мама медленно присела на кресло.

- Тебе нравится? – Иви был очень доволен.

Мама ещё раз, внимательно – от края до края – оглядела лужу.

- ...И зачем же ты распустил по полу столько воды, обормотище?!

- Чтобы смотреть на деревья.

Он не понимал – совсем! – почему мама сердится.

- На что?!?

- На деревья, - Иви ткнул пальцем в лужу, - вот на них, там! Получается, как озерко, которое обступил лес... Лесное озеро, понимаешь? ...У нас, - он немножко заикнулся от волнения, - у нас в квартире – лесное озеро! Правда, красиво? Это – подарок.

А мама ничего красивого не увидела. Она поморщилась, досадливо посмотрела на сына, покачала головой, - да и отправилась в ванную комнату, за тряпкой.

...В ведре – отжатое из тряпки – озеро съёжилось, потемнело и больше не отражало деревьев...)

- Иви, Иви, - пропела Птица. – Слушай, слушай меня, Иви, - позвала она. – Скоро рассвет, малыш – время моей дороги.

- А может, всё-таки...

- Нет, Иви. Мне пора. ...Мы встретимся; не скоро, но – встретимся. Обязательно.

Иви всхлипнул, - не заплакал, сдержался, - уткнулся носом в белые перья... в белую чешую... в белую мякоть шерсти.

- У тебя впереди столько всего... ты забыл? Впереди – горизонт.

- Ну да... Где это он – впереди? – Как защита от разлучальности – выползла из слёз сварливость. – И что это за «впереди» такое... где оно?

- Впереди тебя, - ответило Большое Белое Существо. Оно всё, конечно, понимало, и не принимало мёрзнувшие уши за хвост тигра. – По крайней мере, до тех пор, пока ты – позади.

Приступ сварливости канул-миновал, - он выветрился также быстро, как и нагрелся. Просто: перемешались день да ночь – и всё перемешалось, пересцепилось крючками-пуговками... Да надолго ли это? Разумеется, нет! Всё наладится, образуется, и, образовавшись, - образует что-то иное, совсем не то что было прежде. Иви, может быть, этого ещё и не понимал, но – предчувствовал своё понимание.

(И ночь и день давно превратились у него в своих: без всякого там, запросто... Ну разумеется: какие они могут быть чужие, если ты слышишь то, что не мешало бы слышать каждому, и что – безусловно! – учит ещё и говорить.

Буквально на днях у Иви придумались стихи (ох, он уже почти два года сочинял стихи!) как раз по этому поводу:

*«и ночь и день ко мне приходят  
в мои зелёные дома  
они заходят  
и живут  
и на балкон выходят с книжкой  
и говорят слова из мёда*

*а иногда а иногда –  
они к другим заходят людям  
в других домах они бывают  
и чай там пьют и лимонад*

*но так бывает иногда  
я это точно говорю  
я наблюдал  
я это знаю  
я это знаю знаю знаю  
я наблюдал и это знаю  
я это точно говорю»*

Бабушка сказала: - «Ну, почти как Лермонтов, только вот без рифм и знаков препинания. Ай-яй-яй!»

Дядя Вася, из соседнего подъезда, сказал: - « Ну, паря, на таких раскоряках далеко не уедешь! Ты бы лучше к делу какому полезному разумение да охотку приращивал. Скажем, к ремеслу столярному, или – по механической части...»

Про «раскоряк» и «механическую часть» Иви почти совсем ничего не понял. А про рифмы, про знаки препинания... - а зачем они тут? Тут они вообще не к месту! Есть у него и с рифмами...

А бабушке так он сказал: - « Лопух твой Лермонтов!» Бабушка – у-ух! – крайне возмутилась! Крайне!)

- А как мне впереди оказаться?

- Окажешься впереди – всё равно останешься позади. Ты лучше – вровень. - Большая Белая Птица наклонилась к Иви, клювом едва – чуть-чуть – коснувшись его щеки. – Вровень и вместе. Будь вместе, вместе-нерасторжимо...

Крыльевыми горстями Птица слепила в воздухе два комочка пыли. Подбросила их. Комочки закрутились-закрутились друг возле друга, - то одним, то другим боком друг к дружке лья... норовя сцепиться... быть... Нет, не выходило.

- Пока они не одно – они не вместе.

Птица крикнула, пронзительно и стеклянно, будто б – молнию сплела, - в них, в комочки. «Трень-день-динь!» - подвески на люстре. «Тик-так...бум! Бум-бум, бум-бум, бум!» - часы. Затрещали, засверкотели, проступая инеем царственным, новогодним, крупинки пыли: многие-повсеместные, - в изобилии и отовсюду, - крупинки стягивались, исполняясь вьюгой и кличем, в трепетную центробежность... стянулись (два прежних комочка пыли – с ними, вместе!)... слепились в вихревой ком (который, казалось, пронизал-вместил в себя не только квартиру, но и весь город... но и совсем-совсем всё!)... стиснулись... уплотнились... *вспыхнули!*

Не было больше пыли, нигде (ни пунктира...), а была, в центре-серёдке комнаты покачиваясь-сверкая, **Звезда**. ...Она покачалась-побыла немного и, измахнув блистанием и восторгом приветственный поклон: Большому Белому Существу, Иви (получив и от них по поклону – напутственному), - выпорхнула из окна, возносясь к братьям, к сёстрам... в высь... в звёздное небо.

- Ты всё понял, Иви?

- Не совсем... - Иви никак не мог отвести взгляд от звёздных ворот – своего окна.

- Ерунда! – Птица, удерживая смех, вспенила перья и поболтала в воздухе клювом. Клюв её – что за клюв! – был похож на хрустальный стебель, проросший из солнцесветного горного ледника – в эхо... в надежду... в нежность... - Ерунда! Тебе просто пора спать; проснёшься, - поймёшь.

- Да не хочу я спать!

- Вот как... - почти что маминым голосом и с маминой интонацией сказала Птица.

- Милая, милая Птица!.. – заговорил Иви. – Ой... (блеснули чешуйки, залоснилась округлость черт) Рыба, милая Рыба!... (он опять не договорил, - одыбью добродушной шевельнулась шерсть, высветились смешливые клыки) Зверь! милый мой, тёплый, я...

- Да, Ивушка, да, солнышко... слушаю тебя, - выдохнул Большой Белый Зверь.

Чудилось, что он уже знает, о чём спросит его мальчик, знает и готов ответить, объяснить, протянуться помощью к каждой капельке трепетного порыва.

- Я... я боюсь... Мне страшно... - прошептал Иви. – Мы же все – ну, вообще! ну, все-все! – не одно... да? не вместе... Вот: сколько вокруг всего! – и животных и цветов-деревьев и людей и камней и мыслей и букашек всяких... есть шкафы и машины, дожди и звуки... - и ещё, ещё! – и не вместе, поодиночке; как зёрна в мешке: шуршим, трёмся боками, давимся, задыхаемся, толкаем друг друга...

- Да, Иви... да...

- Вот из пылинок слепилась звезда, и им стало хорошо... но только на чуть-чуть! Теперь: звезда среди звёзд, и звёзды – поодиночке... А так неправильно!

- Да, Иви... да...

- Я понимаю!: любое движение любого существа – даже самое гадкое, даже самое глупое – направлено в сторону СЧАСТЬЯ. Но СЧАСТЬЕ – это состояние ЦЕЛОГО, ЕДИНОГО, и нельзя прийти к СЧАСТЬЮ поодиночке, а только – всем, всем-всем-всем, вместе-сразу!

- А ты это точно понял, Иви?

- Не знаю...

- А ты узнай.

- Как?..

- О, это очень просто!: сядь на стул и не вставай, пока не поймёшь.

- Ну... Ну я не знаю... Я подумаю... - Иви ткнулся носом в мягкую душистую шерсть Зверя. - ...Скажи, а как мне попасть в том дом... в тот, который я видел во сне? ...И что это за кошка? а?..

- А ты у стула спроси – как! ...Кошка же... - кошка эта обернулась вокруг каждого, каждого прижала к своему горячему, к своему ледяному животику и чутко дремлет... Это – Время.

- А зачем она приснилась мне?

- Она просит разрешения сопровождать тебя. Тогда, когда ты шагнёшь, Ивушка.

- А когда?

- Это ты у стула спроси – когда!

Иви рассмеялся:

- У меня стул, как справочное бюро получается!

- Конечно! ...Впрочем, ты можешь сесть на чемодан или на холодильник, тогда «справочным бюро» будут чемодан или холодильник. Главное, быть искренним и не оглядываться.

- Не оглядываться?

- Да. Не оставлять за спиной возвратной тропы. Осознать, что иначе – враньё и кромешность, что больше некуда деваться, - только туда и так, а от «туда и так» - раз и навсегда.

Иви засыпал, засыпал... Иви баюкался в дремучих звонных пригоршнях Зверя... Иви засыпал, засыпал...

Засыпая, вспомнил о лётчике Егоре. И, вспомнив, увидел; увидев – помахал приветственно рукой. Э-ге-гей! И лётчик Егор замахал ему обеими, одетыми в тяжёлые огромные перчатки, руками.

(Это случилось в конце нынешней весны.

В их доме, на комоде, со всегдашних – с очень давних – времён, стояла крошечная мраморная статуэтка: из странно маленького, немножечко квадратного самолёта по пояс высовывается человек в кепке и больших очках. Мама сказала, что человечек этот – авиатор. Иви не понял. Тогда мама объяснила, что авиатор – это лётчик, так давным-давно называли самых первых лётчиков, и что высовывается он из аэроплана, так тогда называли самолёты.

Приглядевшись к лётчику, Иви как-то сразу понял, что зовут того – Егор, что он очень добрый и очень смелый. И Иви стал брать с собой лётчика Егора, на все свои гуляния. Таскал он его в кармане; хоть статуэтка оказалась тяжёлая и оттягивала карман – помехи не было: с Егором бродилось очень уютно, спокойно, бродилось храбро и прямо.

Однажды Иви почувствовал – мгновенно, как только положил Егора в карман: Егор что-то решил, решил окончательно и бесповоротно. Статуэтка, казалось, пылала, хоть совсем не была горячей... пылала, звенела, пропеллер аэроплана дрожал... Первое, что случилось, когда Иви вышел на улицу – он споткнулся и упал рядом с полуоткрытым канализационным люком. Конечно, упасть туда Иви не мог – люк был приоткрыт чуть-чуть... но туда упал лётчик Егор!: выкатился из кармана и молнией – уверенно, решительно – скользнул в темноту узкого лаза. ...Ух как Иви заревел! – и коленка ободралась и Егора жалко!... А потом – вдруг – перестал; он понял: лётчик Егор сам так пожелал, сам отправился внутрь планеты, чтобы помочь ей, что иначе он не мог, иначе – ну никак! А коленка... коленка – заживёт.

Иви побежал домой, прихрамывая, сопя, - плюхнулся на диван, ухватил тетрадку и написал о лётчике Егоре стихотворение:

*«лётчик Егор под планетой сидит*

*греет планету*

*греет планету*

*греет планету своим животом*

*греет планету своими плечами*

*греет ушами*

*греет щеками*

*что-то*

лепечет

планете

Егор...

«ты не замёрзнешь...

будешь согрета

хоть тяжело мне сидеть под планетой –

хочется крыльев ветра и пыли –

хоть тяжело мне сидеть под планетой –

хочется сосен весны пирожков... –

хоть тяжело мне сидеть под планетой –

буду сидеть под планетой всю жизнь

ты не замёрзнешь!

будешь согрета!

ты не замёрзнешь...

будешь...

держишь!»

лётчик Егор под планетой сидит

я рассказал вам об этом теперь» )

Иви спал.

По стенам чехардило-кружилось: тени, события, имена, даты... - сплетались и распадались... веялись, веялись... кружились... сплетались вновь. Вот: костёр горит, и потрескивает, и перебирает в искрящих лапах чётки сухих древес... катится, поскрипывая, повозка к спящему городу... шуршат, шуршат из травы маленькие лёгкие лапы... два человека всматриваются друг в друга, два человека узнают друг в друге себя... хлещет по гулким стенкам ржавой железной бочки позёмка, хлещет-укутывает... осыпаются письма, - рассыпаются, - отверзают входы...

Иви лежал в чехарде-кружении, как в дышащем, свивающемся прямо теперь гнезде. И нельзя было различить, где – Иви, а где – гнездо, но вместе – сиятельная колыбель, горсть к истечению родника. О-о-о!... Дыхание ровное, свободное, чистое... Дыхание родника, осознающего себя течением...

#### 4 день

Проснувшись, мама решила, что сегодня на работу она не пойдёт. Нет! Ни за что! Ей было очень тревожно, чересчур беспокойно: всю ночь снились какие-то странные рыбы, звери, птицы... какие-то люди – мужчины и женщины... шуршащие речеваньем листы... танцующие ветви... лесные поляны, в изморози по верхушкам высоких трав... И ещё многое, многое, многое... Мама понимала: видимое ею – Иви, её Иви, малыш... только в бесконечном множестве образов она всё никак – ну никак! – не могла отыскать привычного ей образа, близкого и понятного... А ещё... ещё видела она себя: промельком, завитком, едва уловимым намёком; всё в том же многом бурлящем потоке, всё с тем же пониманием: это – Иви... а отсюда: это – она, она! и многий поток и Иви... и всё-всё-всё!

Встала она совершенно растревоженная и ни капельки не выспавшаяся. Вздохнула, надела халат и решительно направилась в прихожую, к телефону, звонить Зиночке – своей начальнице и давней по-

друге, с тем, чтобы попросить на сегодня отгул, за свой счёт. Проходя мимо Ивиной комнаты мама прислушалась: тихо... Но совсем не успокоила её эта тишина, нет! – растревожила ещё больше...

С начальницей всё устроилось сразу. Зиночка покладисто согласилась, что – да, что – разумеется! что – «...работа не волк, а нервы в наше время в магазине не купишь!». Побеседовали немного о делах служебных; промежду прочим – об одном из типографских разнорабочих, Семёне Семёновиче. Зиночка сказала: - «Гнать его надо, дармоеда, в шею! Всё по углам трясётся, от дела лынит! – мечтает себе, мечтатель, да в блокнотике пописывает, дурак очкастый...» Ивина мама не соглашалась: - «Что ты, он хороший.... Нескладный только, немножечко чуждой. А работа? – ну не ладится... но – образуется, образуется всё, вот увидишь!» - «Нет, - твёрдо сказала Зиночка, - это ты увидишь, как он ядром – ядром! слышишь? – вылетит из типографии с трудовой книжкой в зубах! ...Вот прямо сегодня я ему выволочку и устрою!» - «Не надо! Давай лучше я с ним поговорю, завтра...» - «Ну давай, поговори...» - неохотно, после некоторого молчания, согласилась Зиночка.

Тут мама вспомнила, что, кажется и Семёна Семёновича она видела во сне... Ну да! – он сидел на крыше и говорил, говорил... (о чём?) Мама нахмурилась; мама попрощалась по телефону с Зиночкой, положила трубку и неуверенно, робко направилась к Ивиной комнате. Подошла. Приоткрыла дверь...

Сын её полулежал на полу, голову левой рукой подперев, правую же – что-то быстро писал на листке бумаги. Несколько примятых, уже исписанных, листков валялось вокруг. Маме показалось, что глаза его – закрыты, и это было непонятно... хотя самым непонятным проступало его непонятное быстроеписание, чего раньше не было и – да ну правильно! – быть не могло. Дети так не пишут! Да ещё: откуда же мыслей столько набрать (и каких?), чтобы их так быстро записывать?

Мама громко постучала в дверь и, не дожидаясь никаких приглашений, вошла.

Иви улыбнулся.

- Привет!

- Привет... Ты так рано встал?

- Ну да. Мне нужно было кое-что сделать.

- А что ты делаешь, Иви?

- Вспоминаю и отдыхаю.

- Как это?..

- Ну... Ну, вчера я вспоминал быстро и много, а теперь – медленно и только одно. По-одному. Понимаешь?

Лицо мамы было непонимающим и напряжённым.

- Вспоминаешь – что?...

- Себя, - терпеливо сказал Иви. – Себя; из себя; помимо себя; всё. – Помолчал. – А теперь – отдыхаю и пишу. Да-да! Мне нужно немножечко помочь себе; себе, который теперь не я, но который – я, и нуждается в помощи.

- Что?? – обалдело спросила мама.

Иви рассмеялся.

- Ой, ну ладно! Я тебе потом всё объясню. А теперь я чуточку ещё напишу, ладно?

- Ладно...

Маме очень хотелось схватиться руками за голову. Ох... Хоть в трубы дуй, - ничего она, решительно, не понимала. Ну что же... Ох! И говорит-то – совсем непонятно, а глаза ясные, спокойные. Так и впрямь тронуться недолго!

Мама робко посмотрела на своего загадочного сына.

- Можно я почитаю?

- Конечно!

Иви уже снова писал.

Мама уселась, скрестив ноги, на пол, аккуратно подоткнула полы халата и взяла листок, тот что лежал ближе...

*«А он сидит на лавке... А ветер дует...*

*А он сидит на лавке. А ветер дует, дует, - продувает насквозь, - выдувает напрочь тягости и изъяны. Так бы, казалось, сидеть и сидеть... и сидеть и сидеть, покуда ветер не переменит тебя наново, не переоценит – до капельки – каждый высвет тебя. Сидеть, ни о чём не думать, а думать только о том, что само подумается, что само сумеет войти в очищенного тебя и быть впору.*

*«Мир гораздо теплее – и теплее и ближе, - чем наши мысли о нём.»*

*Ну конечно! ...А он сидит на лавке. А ветер дует, дует, дует. ...И никто не знает, до каких пределов можно добраться, покуда ветер дует, покуда ветру не надоело – покуда ветру приятно – замечать тебя.*

*Смотри!: заяц забрался на мачту и крепит снасти. О! этому кораблю неминуемо отплыть в шторма, и о шторма не разбиться. Вот: трезвонно! трезвонно! – вздулся парус, и вздулся мир – одновременно, навстречь друг другу.» ...*

Иви быстро вымелькнул взглядом: от тетради – к маме.

- Ты всё поняла?

- Ой, нет... нет, Ивушка...

Мама растерянно оглянулась по сторонам и взяла ещё листок.

*«...В Условной Реальности-бесконечности нет противоположностей, нет начал, нет завершений. Нет и бесконечности. И вместе с тем – есть и противоположности, есть начала и завершения, есть и она сама.*

*Условная Реальность-бесконечность бесконечно полна и бесконечно пуста – одновременно. Полнота и пустота являются одним и тем же, являясь при том (как любые качества-проявления) противоборствующими противоположностями.»...*

Мама выронила листки. Листки плавно и изящно спланировали в разные стороны и улеглись невдалеке друг от друга, призывные и осмысленные, как блестящая лужица мёда на ладошке медведя.

- Вот уж вот это... Ну уж это совсем!..

- Не поняла?

- Какая-то бессмыслица... А разве тут есть что понимать? Особенно вот в этом, во втором...

- Ага.

Иви, не вставая, подполз к сидящей на полу маме и уткнулся улыбающейся мордочкой в её колени. Мурлыкнул.

- Чего «ага»? Ты объясни!

- То, что ты сейчас прочитала – направлено не к тебе. – Иви извернулся на спину и посмотрел маме в глаза. – Это для меня... другого меня.

- Который теперь не ты, но который – ты?

- Так ты всё поняла!? – обрадовался Иви.

- **Фи**гушки. – Мама крепко обняла сына. – Ничего я не поняла, Ивёныш. Хотя что-то... - Вздохнула. – Слушай, пойдём завтракать, а? У нас там – в шкафу – ещё с твоего дня рождения большущий пряник остался.

- А какой – большущий?

- Со слона!

Мама сколько могла широко развела по сторонам руки, показывая, какой пряник. Иви захохотал:

- Так это со слонёнка!

- Да хоть и с кролика, - бодро сказала мама. – Пряник же!

- А бабушка? – беспокоился Иви.

- А и бабушка уже встаёт. Вместе будем чаёвничать. – Приобняла сына за плечи. – Пошли?

- Ты иди. Ты сейчас иди, - Иви задумчиво поёрзал ручкой в руке, - а я потом, через полчаса. Хорошо?

- Хорошо...

Мама пришла на кухню, стала посерёд, закручинилась; всё никак не могла сообразить, что ей теперь делать: зачем она пришла сюда... для чего?.. Усильно встряхнулась, - заметалась по кухне; с маху села на табурет; вскочила; и вновь заметалась. Наконец, вспомнила: схватила чайник, наполнила под краном водой и поставила на плиту. Промыла чайник заварочный. Нарезала и выложила на тарелку пряник. ...Мысли, мысли... - из повседневной возни мысли мотались-веялись, как мотаются в прибое водоросли, к берегу близкие, от берега неотделимые.

Может быть, это игра, думалось маме. Ну что же за игра такая! – сплошное мучение и нервотрёпка... Да нет, вразумляла она себя, не игра, - куда уж... (никак у неё не шло из головы прочитанное); складно да непонятно, - а и есть что-то (что?...). К Ивиным косолапым стишкам мама уже привыкла, даже научилась находить в них – в некоторых, по крайней мере – свою прелесть, своё содержание. Тут же – всему нужно учиться заново... но – как?: пугало её это самое «тут же», пугало и выбивало из-под ног твердь земную.

Мама, пальцы прижав к губам, всхлипнула... - тоненько-тоненько, тихонько-тихонько.

Так.

...Вот и вода закипела. Вот и чайник заварен. ...Вот: зашумела вода в ванной, - всё зашумело в доме! – Иви и бабушка, умываясь, плескались друг в друга водой. Ворчанье и верещанье! – сплошное удовольствие и сырость.

Чаепитие, да с пряником, - дело обстоятельное, улыбчивое, дело облизывательное. Можно год на это потратить, можно и сто лет: вопрос только в количестве чая и в величине пряника. ...Пряник с зайца (а, пожалуй что – с черепахи) съеден был довольно быстро, чай выпит. Бабушка улыбнулась; бабушка облизнулась; пробормотав: «спасибочки!» засобиравшись на рынок; быстро оделась и ушла. Мама стала прибирать со стола. Иви сидел на табурете, болтал в воздухе ножками и собирал, наминая на палец, сладкие крошки с тарелки.

- Ивушка, - мама обернулась от раковины, - а как тот, который ты... не ты...

Она немного запуталась и сбилась.

- Я, который теперь не я, но который – я, - поправил-напомнил Иви.

- Правильно... Так как этот ты-не ты-но ты узнает что ты написал?

- Из письма!

Иви закончил собирать крошки и уже стоял возле раковины, протягивая маме тарелку – к мытью. Впрочем, мыть такую тарелку – никчёмная формальность да надсмеянье: чище посуды трудно было придумать! – к тому же, Иви её ещё и облизал, на всякий случай.

- Так ты письмо будешь отправлять? А куда? – у тебя есть адрес?

- Письмо уже отправилось, мам. И уже получено.

«Нет, так и есть – игра, - подумала мама. – Конечно же игра! ...Или – что?..» Мама поставила тарелку в сушилку. Мама вытерла руки и сняла фартук. Мама посмотрела на сына.

- Я сейчас тебе объясню!

Иви выскочил из кухни. Через минуту он уже сидел напротив мамы, за столом и показывал ей принесённые листки.



- Вот, посмотри, - протянул один из листков. – Только внимательно-внимательно, не отводи взгляда!

Мама, поджав губы, нерешительно взяла листок.

- А на что смотреть? – читать, да?

- Просто смотри. Смотри – и всё.

Мама смотрела, смотрела, смотрела... Буквы начали расплываться, сливаться в сплошные широкие нити... - разливаться по бумаге.... Ничего не понять! – но маме показалось, что всё в её руках замерцало и пришло в движение... Да нет, не показалось! – вот: с невероятной высоты рухнула на землю осень... не ушиблась, не поцарапалась, - крылья оправила – расправила из края в край!

Мама поспешно отложила листок; взяла другой.

...Лес, высокий и тихий; высокий и строгий; спокойный. Большая поляна – белым бела, даже кусты, даже невысокий утлый шалашик, и только чёрное – в просверках – пятно костровища... Вот: человек спит, а по белому – белому-белому – чистому мягкому снегу протягивается цепочка письмён. Одна, другая... Вся поляна покрыта тренькающими буквенными гирляндами. ...Человек проснётся. Человек сделает столько шагов, сколько необходимо. Человек удивится. Человек прочтает; состукнется – вспыхнет – в нём недостающее звёнышко...

...Шарахнулся в плавном визге занавес. Высветилась сцена. ...И сцена – нет, не разверзлась, выщёлкивая из кулисных скорлуп актёров, а – опрокинулась; опрокинулась, обняла, - не отпустила никого, покуда каждый не проиграет свою роль до конца, до самого донышка, покуда не проделает в донышке трещину, достаточную для ухода – раз и навсегда – из истощного свива личин...

Мама рассеянно отодвинула от себя листки - ...дальше, дальше... Закрыла глаза.

- Вот ты и поняла! – весело воскликнул Иви. – Я пойду, ладно? Мне ещё нужно...

Мама, не открывая глаз, молча кивнула.

Иви умчался. А она... а она теперь уже совсем ничего не понимала! – наверное потому, что хотела сразу всё... немедленно! ...Ходить в детский сад, учить уроки в школе, учить уроки в институте, ходить на работу, воспитывать сына, готовить, стирать, ходить по улицам, читать книги... болеть и выздоравливать, очаровываться и разочаровываться... стареть... Столько кирпичиков! – зачем? для чего? что такое строится из них? ...и где, где оно, то что строится? ...Кто она? Почему? ...Наметь пыли – на щеках, на платье, на соломе нутра, - муки куклы в кладовке кукольного театра... Так показалось...

Мама сгорбилась, всё дальше и глубже пряча лицо в ладони. Ей совсем не хотелось плакать. Ей совсем не хотелось бегать и кричать. Ей хотелось думать, думать, думать, думать... Думать туда, куда всегда не хотелось думать... куда многим не хочется думать, потому что – трудно, кажется – совсем невозможно, и... О чём? Да кто ж его знает!

Да никто и не узнает, пока не начнёт – думать.

### ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

Да! да! да! – всё именно так и было!...

Тяжёлая бетонная коробка станционного домика – переливалась, осверкивалась, дрожала, сияющим драгоценным камнем выщёлкиваясь из леса, из обмякшего ленточного марева троп и дорожек, из

плавных, из заунывных рельсовых лесенок. Окна пригашено светились; так: пригашенность, напоённая, внятная, будто б – слепились тысячи светлячков, но не обернулись в костёр, - обозначились мирозда- ньем. Стены – стены! – шершавая вязь – так замелькало: отринули коробковость и углы, испили темеч- ком ледниковую шапковость горных высей.

Гукая, выметнул к станции длинное тело поезд. Фыркнул. Царапнул – навзрыд скрежетнул – ко- лёсными лапами (лапы еловые вздохнули, вздохнули, качнулись...). Так: встыли на двести секунд у края платформы.

Никто не покинул вагоны. Никто не взошёл в вагоны. Вот: зряшно топтанье поезда... так помере- щилось бы иному зеваке, окажись он тут. ...А поезд – примчался к смотрению.

Смотреньем теперь напоённый – стронулся, отряхнулся (подобно собаке взъерошенной водами, вдосталь омытой), - умчал.

- И-из-эх!..

Человечек грохнул большущую грузную сумку у края платформы, и досадливо посмотрел вслед уходящему поезду.

Это же надо! Это ж...! Да и то сказать: идиотство; одно сплошное идиотство и ничего кроме. А так ведь, можно сказать, пёр... Ну что там – пёр! – нёсся! ураганом хрипел, ног под собой не чуя, а чуя лишь сердца исстервенелый стук, да хлюпанье, да чавканье, да скрежетанье в непомерно нагруженной сум- ке. Вот... ..Эх, пожадничал, дурак! Надо было в две сумки наложить, да и поменьше, поменьше... Ну уж что теперь.

Человечек помотал головой. Обмакнул лоб и лицо краем рубахи, стирая пот. Вздыхнул; зябко по- вёл плечами; поплёлся к станционному домику, натужливо волоча за собой сумку.

...А и только распахнул он, сердито бормоча себе что-то под нос, тугую плавную дверь, а и только ударился о косяк да, охнув, скрылся за дверью, - тут же появилась из-за угла домика странная круглая физиономия, кошачьей в подобие, и – вслед вошедшему – отчётливо и озорно хихикнула.

Зал ожидания – гулкий, квадратный, с расставленными вдоль стен фанерными лавками, с окошеч- ком кассы в правом дальнем углу – не очень-то понравился человеку. Да и чему тут нравиться! Вопре- ки вот уже с месяц как начавшейся осени – отопление не было включено, и спёртый холодный воздух никак не улучшал раздражённого настроения. Англо-буквенные и порно-видовые подростковые граф- фити по лавкам и стенам – ущербные, тоскливые – вытряхивали из зрителя омерзение и буйную пе- чаль. Окна – грязны до непроглядности. Пол – замызган, усеян бумажками, ветошью какой-то, окурка- ми... И – пусто, никого, за исключением одинокого представительного гражданина, сидящего возле са- мой кассы с шуршливой обильной газетой.

Человечек грохнул облизь двери сумку. Потёр-побаюкал утомлённую долго влекомым грузом ру- ку. И снова – в который уж нынче раз – вздохнул.

- Эй, паренёк! Как вас там...

Человечек вздрогнул. Обернулся. Оторопело посмотрел на гражданина с газетой.

- Простите, это вы мне?

- Тебе-тебе... Во даёт: «это вы мне?» Да нас тут двое всего!

- Семён Семёныч...

Семёну Семёновичу буквально несколько месяцев назад исполнилось сорок лет, и ему никак не ожидалось услышать в свой адрес оклик «паренёк». Да и потом, что это за фамильярность такая! Что это...

- Сеня, значит. Ладно. – Гражданин схлопнул газету и вкусно зевнул. – А не знаете ли, Сеня, когда там у нас последняя электричка? Тут расписание намазюканное какое-то, неразборчивое... а и спросить не у кого, - касса закрыта. Да ко всему прочему, похоже, что кроме нас в этом монументальном сарайчике никого нет. ...А?

- Ну... она ушла только что. Вот только что. Я и сам на неё минутой разве что не успел!

Семён Семёнович почувствовал даже некоторую виноватость перед невоспитанным гражданином. Ему захотелось похлопать по плечу, всплеснуть руками, помотать головой, - утешить хоть как-то, хоть чем-то (сам-то уж – свылся...).

- Что?!?

Вопль ещё висел в воздухе, вылетевшая из рук газета ещё не коснулась пола, а гражданин – исчез. Вылетел, дверь едва не снявши с петель; ругнулся на улице.

Семён Семёнович потоптался растерянно. Поозирался. Подошёл к газете; ах, как жалко ему стало газету! Она была похожа на распластавшуюся в комковатом заснеженном поле птицу, птицу изнурённую, но ещё полную сил, но ещё готовую к новым свершеньям, к дальнему пути. Семён Семёнович поднял её и, аккуратно разгладив, положил на лавку. Птица – газета – благодарно обмякла.

Шумнула дверь. В зал ожидания, хмурясь и грозно надувая толстые небритые щёки, вкатился невоспитанный гражданин.

- Нет, ну это ж супостатство сплошное! – грохнул он, свирепо косясь на закрытое окошечко кассы. – Ну уж это... Да я им разнесу сейчас всё за такие кренделя! Я вот сейчас лавку возьму и нашествие Батия им заделаю сверху донизу!

Гражданин обхватил ближнюю к нему лавку поперёк – спинку и сиденье лапищами охавив, поелозил её, от пола чуточку отодрав, но всерьёз поднять не осилил, - забабхнул лавку на место; плюхнулся на неё же, ногу – в забабхе неловком ушибленную – потирая и что-то невнятное бормоча.

- Да не огорчайтесь вы так, - посочувствовал Семён Семёнович. – Что вы...

Бывший читальщик газеты, столь очевидно – невзирая на солидное обличье – проявивший себя невоспитанным и буйным хулиганом, уставился на него с мрачным, но несомненно живым интересом.

- Ну?

- Что – «ну»?..

Семён Семёнович немножечко испугался.

- Электричка следующая когда – знаешь? ...Когда?

- Следующая – утром... Через восемь часов.

- Ну-у... Ну и начудил ты, Сеня..!

- А я-то здесь при чём? – удивился Семён Семёнович. – А? При чём здесь я-то!?

- Да это я так... – солидный, но хулиганистый гражданин, опрокинув на лоб шляпу, крепко потёр затылок. – Так... Шутю, понимаешь?

- Вы, между прочим, здесь были, когда электричка подошла, - язвительно заметил Семён Семёнович, - что ж не сели?

- Не искри соплями, а то уши загорятся, - грубовато посоветовал гражданин. Вдохнул. – Ладно... нам тут всю ночь на двоих одну грушу околачивать, - давай знакомиться.

- Я давным-давно уже представился... – вы ж меня всё «Сеней» кличете! Кстати, я вам не давал ни малейшего повода для такой фамильярности. И вообще – на «ты»...

- Говорено же: не искри. «Ты», «вы»... - не на рауте, не в опере... Что ты, прямо, как не родной!

- Да какой я вам родной...

- Не понял.

Гражданин так крепко теранул затылок, что шляпа, и прежде совсем уж проглотившая брови, ныне совсем свалилась с его головы.

Свалилась – покатилась к двери. Оба собеседника проводили её взглядами отрешёнными, едва ли и заметив бегство наголовной одежды.

- Так я не понял: ты мужик или не мужик?

- Ну что вы ко мне привязались...

- Нет, ты – родной или не родной?

- Да родной я, родной! – закричал, сорвавшись, Семён Семёнович. – Вот ведь пристал!..

- А раз родной, значит – на «ты».

Гражданин встал с лавки, распрямил плечи и торжественно протянул огромную, похожую на ковш экскаватора, ладонь. Встал и растеряно улыбавшийся Семён Семёнович; протянул ладошку в ответ.

- Капитан Немо.

Ладони слиплись в рукопожатие.

- Простите, как?..

Рукопожатье разъялось. Семён Семёнович и гражданин-Капитан уселись на лавку вновь.

- Капитан Немо.

- Удивительное поименование...

- Обычное. – Капитан поёрзал на лавке, устраиваясь поудобнее. – Я, Сеня, уже привык. ...Это меня во дворе нашем так прозвали, когда я у себя в гараже подводную лодку клепал. Мне нравится.

- Вы...

- «Ты». И можно просто: Капитан.

- А?.. Ах, ну верно. Так ты построил настоящую подводную лодку!? Маленькую, да? ...Настоящую?

- Ага, настоящую... Из фанеры! – Капитан показал Семёну Семёновичу язык и лучезарно ухмыльнулся. – Я подзаработать крепко собирался, вот и выдумал разных пейзажей понаделать, а на их фоне – фотографировать. Понимаешь? Верблюды там всякие с пальмами, крепости да дворцы, подводная лодка... Малышни у нас, во дворе, много было – от двух до двадцати, - кому романтику, кому лирику; разбогател бы – от нечего делать, хоть унитаза себе из платины варгань!

- И что?

- И то! Лень стало. – Капитан расхохотался. – Так подумал: зачем миллионерить, добираясь к вершине творения – платиновому унитазу, если мне и на фаянсовом, как соколу в гнезде! – Гулко хлопнул себя по коленям. – Только лодку и успел сделать; из гаража вынес, посерёд двора пришвартовал, - пусть море помнят, поплавки сухопутные. ...Отсюда и прозвище.

В Семёне Семёновиче колыхнулась симпатия к своему вокзальному сосидельцу.

- Ох, да ты, наверное, моряком был? да?

- Не-а. И на море не бывал никогда. Не довелось.

Капитан пригорюнился.

(Ох... – о-хо-хо...! – как жалел Капитан, что – не довелось...

И носило, носило его... И пески пустынные руками трогал, и об острые горные выпендюшки бока обдирали, и ноги стирал до кровавых проплешин на таёжных тропах... Два десятка профессий переменил, - ни в какой не осел... Три семьи изведаль... Кнуты да пряники по жизни – мешками собирал... И – носило, носило, носило его... а к морю не выносило ни разу.

Как же, как же так? А и сунься – не разберёшь! Сто раз – запаха шального (ах, солёного!) завиток учуя – лыжи вострил он в милые сердцу края, где дельфины плещут росой в лицо горизонта, где пья-

ные ходят ветра, где облака омыты невнятицей птичьих игрищ, где скалы приподняты над землёй, и землю несут на себе и машут руками.

...А вот в детстве... )

- Да... - Семён Семёнович сочувственно поёрзал в кресле. – А я вот бывал, целых три раза. Маленького ещё родители возили, - дикарями у старушки какой-то устроились. У неё ещё дерево – шелковица – светлое такое, большое, во дворе росло... Два раза с женой в санатории. ...Жарко там.

- Чудак! – Капитан глянул на него несколько обалдело и укоризненно, как водолаз на курящего карпа. – Да разве на море *бывают*? Вот ведь вздор! Морем – дышат.

- Это как?

- Ну... - Капитан задумался. – Вот, скажем, женщина, которую ты любишь... да! ...прижмёшь к себе – уж дальше, кажется и нельзя, аж кожа трещит! – а всё мало. Вот она здесь, рядом, а отошла от тебя на минутку, положим, супу сварить, - ты уж задыхаешься, тебе уж воздуха мало: к ней! к ней! Трёшься по близости, пока она этот суп варит, не отходишь ни на шаг. ...Понял?

- Да как-то не очень. Но что-то, конечно...

- Балда! – Капитан с жирным смачным хрустом поскрёб двухнедельную щетину на подбородке и взглядом снисходительным, сожалеющим в Семёна Семёновича упёрся. Вздохнул. – Академик, ты когда-нибудь женщину любил?

- Я не академик, - машинально, но твёрдо отрёкся Семён Семёнович.

- Раз очки носишь, значит – академик, - наставительно сказал Капитан. – Так как, любил? или... - Тут он с демонстративным ужасом выпятил свои шоколадные шальные глазищи на Семёна Семёновича: - Сеня, не пугай меня! Неужто без любви жизнь прожить умудрился?

- Да отвяжись ты от меня, - вяло отпихнулся тот.

- Неужто, Сеня?...

- Ну тебя, - буркнул Семён Семёнович, и досадливо отвернулся от назойливого любопытника.

(Женат Семён Семёнович был всего один раз, и – по сей день...

А жену – не любил. Вот как... Да, конечно, прожили они вместе целых пятнадцать лет и уже давно – прочно и безнадёжно – привыкли друг к другу, но... но и вначале любви не было! Не было! Вот ведь...

...Но была любовь! Была! Та девочка на балконе...

Он ходил возле этого балкона несколько лет, и смотрел, смотрел. Месяцы сбивались-слипались в часы, годы – в дни, - сумасшедше и мимолётно!

...Юный Семён Семёнович, взглядом пылающим, взглядом невесомым упёршись в мягкость подушки, смеялся, всхлипывал, яростно мотал головой, растирая по наволочке слёзы и звуки и милые сердцу видения.

Потом вскакивал – снова бежал к смотренью, если и не *той* девочки (о, может быть она спала...) то хотя бы *того* балкона.

И смотрел, смотрел...

Но так и не решился обратиться к балконным небесам хотя бы с одним словом. А зато – за все проведённые в радостях и муках годы – ухитрился скопить целых четыре взгляда (оттуда! с небес!..), а в одном из них различил понемногу – годами перетирая – узнавание и привет.

...Спустя какое-то время девочка уехала. Куда?.. Куда – Семён Семёнович не знал. Да и не пытался узнать, просто – помнил.)

- Ну что, академик, время позднее. А? Что, спать будем ложиться или, может, яблочком угостишь?

Капитан грузно хохотнул.

Он вообще, такой как есть – шумный, грубоватый, - здесь, в строгом квадратном крошечном зале ожидания, всё больше и больше напоминал Семёну Семёновичу заплутавшего в железной бочке бобра. ...И – гулкие шаги; хотя Капитан всё время сидел на одном месте, только ворочался мало-помалу – Семёну Семёновичу явственно представлялись исходящие из него гулкие беспокойные шаги. Вот бы... Хотелось взять и опрокинуть бочку, чтобы бобёр, наконец-то выбрался, наконец-то перестал грохотать и суетиться.

- Какие яблоки? – Семён Семёнович подвинул ногой к Капитану скрежетнувшую сумку. – Там только дачный инвентарь. Жена велела забрать с дачи посуду и прочее...

- Да ты что, Семён!? – Капитан шумно и обиженно засопел. – У тебя что, в этом тюке груздя-кочевника съестного совсем нет? ни крошки?

- Ага, - грустно подтвердил Семён Семёнович. – Только тарелки, половники, сковородки, кастрюли...

- И д о ж д ь.

Вокзальные сидельцы вздрогнули. Голос (а может и не голос, а миллион сквозняков, сложившихся в короткую фразу...) показался каждому из них рядошним, чуть ли не над ухом.

Капитан вскочил и быстро, чуть не опрокинув лавку – заглянул под неё. Семён Семёнович же замер; испуганно поблёскивая очками, мелким натужным оглядом – осмотрелся.

- Никого.

Капитан выпрямился. Растерянно покрутил головой. Фыркнул. Потоптался, даже не замечая, что топчется на собственной шляпе.

- Никого, Сеня... Ты что-нибудь понимаешь?

- Никого... - прошептал Семён Семёнович. Чуть расслабился; провёл рукой по лицу, задирая и косясь при этом очки. – Никого...

Шуршнуло.

Тут оба вокзальных сидельца, не сговариваясь, скосили глаза на сумку. Сумка, только что стоявшая неприметно и грузно, потемнела, набухла сыростью и на все свои брезентовые засаленные бока вытолкнула, из глубин – наружу, блестящие мелкие капли. Сумка чуть осела, чуть накренилась и выглядела в таком положении довольной, признательной, убоготворённой.

- Что у тебя там с половниками, Сеня?

- С половниками?..

Семён Семёнович опасливо посмотрел на сумку. Нет, не узнавал он сумку – дикое дело! – странная такая нынче... да и вообще: просочилось прочное неотгоняемое ощущение, что сумка сама – смотрит... внимательно смотрит, с намёком... Вот ещё!..

- Что-то там у тебя растеклось, Сеня, - озабоченно сказал Капитан. – Ну явно!

- Да чему там течёт-то...

- Может, ты какую-нибудь кастрюлю вместе с супом прихватил? а, Семён?

- Ага! и чайник с кипятком...

- Ай!

Капитан быстро поджал ноги. Семён Семёнович ног поджать не успел, - остолбенел, таращась...

Сумка распахнулась. Колыхнулась, переваливаясь с боку на бок, как Ванька-встанька. Будто бы – так показалось и Капитану – простонала...

Ох, - ну что за сумка!

Из глубины, из чрева невнятного и неразглядного, выпорхнула тучка. Выпорхнула – обернулась больше самой сумки, очертаниями своими более сумку не напоминая. О! она несомненно была слеп-

лена из множества всяческих предметов – это угадывалось: тут и кастрюли и сковородка и ложки с вилками... и старые брюки... и чашки... Туча – из множества тучек, уже теряющих отчётливый – да и вообще какой бы то ни было – облик, в новом своём пребывании – призрачных и пушистых; они ещё не приняли какой-то иной, особой и общей для всех формы, но уже (так ощущалось), втискиваясь – оставляя прежнее обличье – ссоединялись друг с другом.

Туча поднималась, поднималась, поднималась к потолку, плавно, неторопливо. Она как бы осторожничала, как бы не желала пугать и опрокидывать своей чрезмерной летучестью. Так! Так! Взмыла, отблёскивая, переливаясь, – скоснулась с потолком.

А как туча поднялась, замерла, – так сумка, облепчённая и развёрстая, закрутилась юлой на полу; закрутилась-завертелась, верчением стягиваясь в шар. Стала шаром. Но – на мгновение... На совсем на немножко... А чуть погода – рассыпалась, выюжа зал ожидания в шурный бумажный вихрь, тысячей тысяч листков.

- Что это?.. – Дребёзгл был голос Семёна Семёновича, просителен. – Что это? ...а?

Капитан молчал.

Семён Семёнович обвёл пришалелым беспомощным взглядом заплёснутые в бумажные сугробы окрестности. Икнул.

- Ты чего? – сурово спросил Капитан, нервно потирая пятернёй скулу. – Заняться больше нечем, что ли?

- Как это?.. – снова икнул.

Тут, без всяких предупреждений и громовых раскатов, из тучи под потолком рухнул дождь. Дождь заплясал на изузоренной множеством буковок белизне листов, нисколько не затирая ни белизны ни узоров, но напитывая собой насквозь. Дождь забарабанил по шляпе Капитана, по побелевшему, выгнутому стучанью навстречу, лицу Семёна Семёновича. Зафырчал ручьями по стенам, смывая-сбивая известь и краску, прокладывая многие, причудливо и неожиданно сплётшиеся русла; звонко, журчливо заболботал по окнам; запрудил лавки, выбиваясь из округлых углов – к полу – весёлыми булькающими водопадами.

Дождь не был холодным, – нет! – не был знобким или промозглым, невзирая на прочную погружённость приютившего его пространства в осень. Дождь не был натужным, не был колким. Вот так: веянье – летнее, долгое – одуванчиковых лохмотьев, оседлавших солнечные блики; по сбиву волос, по векам, по губам – горячая, в сумасшедших травных запахах ладонь. Ах! И хочется вздохнуть. И хочется запрокинуть руки под голову – опрокидываясь в сон... и сон – настоящее пробуждение, долгожданное, дорогое.

Но ещё – опрометь, лязгающая тугая горячка, так похожая на ужас, что будто и не ужас, не ужас совсем, а – так: дрожь застоялого, продёрнутого ржавью механизма; упдающий – взрыв! – грохот опомнившихся-двинувшихся сочленений; скрип, скрип, скрип... осознание себя как ноши, как – может быть – чуда.

Зал ожидания преобразился; вот ведь: распрямился, замерцал каждой точечкой. Он вообще перестал быть похожим на зал ожидания, напоминая нынче, и в том – находя всевозможные приятности, ночную заснеженную поляну в чащобном зимнем лесу: лес, лес, лес... дубы да осины, да берёзы, да иные деревья... строгий дремучий разлёт ельника... и – поляна посеред... мерцающие сугробы... лукавая лизь позёмки... Промелькнул след. Целая цепочка следов. Следы, следы, следы – во всякое направление... из всяких мест...

Семёну Семёновичу стало страшно. Дыхание обернулось частым, разбросанным, – рваные короткие вдохи и выдохи мотались по истошно напряжённому организму скоротечными шариками-пузырьками.

- Что же у тебя за сумка такая, Сеня? ...Это ж в каком магазине ты её купил??

- А?..

Лицо Семёна Семёновича побелело. Уши наполнились мелким стеклянным шумом. В дурнотном обмороке стал он оползать по лавке – вниз... вниз... вниз...

- Эй! Сеня!

Капитан вскочил – резкий, быстрый, - ухватил Семёна Семёновича под мышки, втянул по лавке обратно.

...А и только вскочил он, как туча – растеклась, облепив потолок, качнулась... всосалась сквозь... девалась куда-то. Ни тучи, ни сумки, ни содержимого, только: исписанные листы, разбросанные повсюду; мерцающий зал ожидания; огромная – невероятно огромная!... – осень за окнами.

- Семён! ну-ка, очухивайся! – Капитан пару раз, несильно, охлестнул бедолагу по щекам. – Очухивайся, очухивайся, суслёха кучерявая! Приходи в себя...

Веки Семёна Семёновича дрогнули. Мотнулась голова.

Капитан одарил страдальца ещё одной пощёчиной. Голова мотнулась сильнее, глаза приоткрылись.

- А...

- А и Б сидели на трубе, - бодро откликнулся Капитан.

- В смысле? – непонимающе моргнул Семён Семёнович.

- В смысле – «А» упало, «Б» пропало... Что осталось на трубе?

- Ничего не понимаю... - жалобно поморщился Семён Семёнович. – Где... *это*? Ну... Туча. Да? ...Где она?

- Ни тучи, ни сумки, - лучезарно улыбаясь, обрисовал ситуацию Капитан. – Надаёт тебе по шее жена! А? Начисто вывеску обкусает, а то и щупальца в косички заплетёт.

- Да что ты городишь! – возмутился Семён Семёнович. – Да что ты вообще несёшь-то!..

- Не кипятись, суслик, - охолонил собеседника Капитан. – Это я тебя заместо нашатыря... развлекаю. – Плечом тяжело навалился, зашептал: - Мы тут во что-то вляпались... понять бы во что! Ты-то как?

- В смысле? – тоже шёпотом.

- Ну-у... Соображения какие есть? Ты вот как полагаешь, это с нами – что? ...Да что ж ты всё глазами-то лупаешь, - рассердился Капитан. – Очки носишь, а мозгой пошевелить лень!?

- А ты – шляпу, - огрызнулся Семён Семёнович.

Шепотливая перебранка сосидельцев-собеседников нервными гулками хлопьями раскатнулась по залу, зашелестела, загудела в углах. Загустел, шёпоту – блюдом, воздух. Загустела, совсем уж шлёпнувшись-обволокнув со всех сторон, темь.

- Э-э, говорить с тобой... - досадливо сморщился Капитан.

(...А было Капитану сорок... да: сорок лет. А допрежь того, как исполнилось ему сорок лет, было ему и четыре... и десять... и двадцать пять... Но ни разу не помнил он случая, чтобы что-то изменилось в нём вверх тормашками, перескочило куда-то в сторону; и в четыре – он, и в десять – он, и в двадцать пять, и в сорок.

Ему с самых ранних пор талдычили, что вот он – Борюсик, Боря, Боренька, Борюшка – младенец-ребятишок, и пребывает, можно сказать, в состоянии бессознательном, в детстве. А дальше – дальше совсем-совсем другое!: он станет юношей... Но и этим дело не ограничится – нет! – он станет взрослым.

Да-да, - говорили взрослые, - ты тоже будешь взрослым, как мы... Ты перестанешь быть ребёнком и станешь взрослым...



О! и впрямь, он видел, что эти существа, говорившие с ним снисходительно и убеждённо, - иные, чем он, другие. Отличий было много, но самое главное – хозяйское, неоглядчивое *право* на всё, что вокруг. В том числе и на него, Борюсика. ...Неужто он тоже сможет так!?

«Боренька, ну что же ты делаешь! – возмущалась мама, наблюдая, как её сын – в очередной раз – наклоняется к пёстроу камушку на окоёмке лужи, к причудливо изогнутому куску проволоки, к необычайно красивому и загадочному обломку *чего-то*. – Что ты всякую гадость руками хватаешь! Тебе что, игрушек мало?»

Ну конечно, мало! ...Нет, он помнил о своих игрушках, и даже охотно, правда, не слишком часто, играл в них. Но... его всё время, безотчётно, не определимо никак, смущала некая законченность, односторонность того, что называлось «игрушками». Застывшесть, что ли... Может быть потому, что их делали взрослые, давным-давно всё позабывшие и ничего – давным-давно – ничегошеньки! – не понимавшие.

Но это вовсе не означало что ему не хотелось стать взрослым. Наоборот – до дрожи хотелось (как, впрочем, и большинству детей). С одной стороны – избавиться от мучительного надсадного опекуинства, с другой – вкусить прославляемую повсюду сладость метаморфозы: ребёнок – взрослый; стать совсем другим существом, почти марсианином. ...Вот так, должно быть: ползала гусеница по листу, ...ползала, ползала... хлоп! – бабочка.

...Шли годы. Всё взрослее и взрослее становился – когда-то совсем маленький – Борюсик. И снова – шли, шли, шли годы, да иной раз при прохождении так топали! Так топали... Но – снова выравнивались в вереницевый струйный шаг, и – шли, шли, шли... А метаморфоза всё никак не наступала. Уж казалось бы: щетинистая физиономия, как напильник круглый, ручищи – лопатами, дети свои появились, да... и окликали уже не «Борюсик», а «Борис Григорьевич» или приятельски «Капитан», - да поди ж ты! не наступала метаморфоза; всё в нём снаружи стало иначе, а внутри – прежний мальчонка-ребятёнок, только пригнувшийся, согбенный...

И так заметил он, что у других – то же. Да! Только – притворяшки! ух, какие притворяшки!: делают вид, что метаморфоза благополучна совершилась и остервенело играют-живут по раз и навсегда сляпанному, зарамленному сценарию – кто как может, но стараясь, стараясь... Вот: пригнувшиеся, согбенные дети с паутиным взглядом. ...О! ...Впрочем, Борис Григорьевич и сам в игру втянулся; как говорил он в бытность свою третьим мужем у пятой жены: «Со временем и гусь сопьётся, если бутылку не отнять». ...Тоскливой – вдрызг и до хохота – была ему его взрослость. Да и другим... Однако, большинство взрослых старательно да с немалым апломбом делало вид, что – вполне привыкли, что даже находят удовольствие... (а глаза-то – сиротские!), и старательно, старательно-старательно, готовили к будущей взрослости своих детей. Сам повзрослевший Борюсик ничем подобным не занимался, утвердительно полагая это мерзостью и воровством, а к своим родительским обязанностям относился наплевательски и сумасбродно.

...Борюсику – Борису Григорьевичу, Капитану – казалось, что если он доберётся до моря и, разбежавшись, бухнется в первую же попавшуюся волну, то его сразу омоет, очистит, выметет набело, заново! – вернёт обратно... Он сумеет! ...Ох, жизнь, вероятно, подозревала в нём это умение и настойчиво, прочно отодвигала Борюсика, раз за разом пытавшегося *прорваться и обрести*, от пронзительных морских объятий.

Но почему!

Да что ж ты... )

- Не гуди, калина, лучше песню спой, - гудёжно бормотнул Капитан.

И так гулко, так безответно прозвучалось в нём напевание, что сразу понялось: задремал; дрёма окатила-ольнула-заволокла... так неожиданно, так мимолётно! Как он с этим очкастым горбылём заболтался – так и ухнул по ходу, будто горой песка лягнули; лягнули – и истряхнули обратно. Дела! Прямо, как этот... с обмороком его идиотским!

- Послушайте... Послушай... Да послушай же! – затеребил Семён Семёнович.

- Баклажан ты недоваренный, вот что, - вяло сообщил Капитан.

- Оставь ты свои насмешки! – взбеленился Семён Семёнович. – Что ж такое! ...Вот при чём тут баклажан?

- Ни-ни, - зевнул Капитан, - никакой насмешки. – Доброжелательно посмотрел на соседа: - Я только подумал, что тебе будет интересно, вот и поделился.

Семён Семёнович напряжённо застыл. Капитан всмотрелся: лицо мягкое, топкое, руки дрожат.

- А ты поплохел, Сеня.

Капитан решил проявить заботу, и даже одернул, оправляя, на Семёне Семёновиче плащ. Достал пачку сигарет; вытряхнул две сигаретины.

- На, кури.

- Я не курю...

- Я, когда сплю, - тоже. Ну и чего?

Щелкнул зажигалкой. Задымил.

- Неважно, Сеня, выглядишь. Это тебя, наверное, ещё прежде теперешнего жена попримяла, а ты, значит, надумал нынче – пока сумку пёр – обидеться и публично поплохеть. Да?

Семён Семёнович молчал.

- Так это ты, я тебе скажу, зря. Обижаться надо сразу, Сеня. – Капитан огляделся; обтряхнул брюки; примерился к вставанию. Встал. – Ну? – и надо тебе это?

Семён Семёнович молчал. Губы его подёргивались.

Капитан вздохнул.

- Ты что такой серьёзный? – Потрепал соседа по плечу. – Вставай давай. Попробуем выйти, - посмотрим, что снаружи.

Семён Семёнович разлепил губы.

- Я боюсь.

- Почему? – Капитан удивился. – Ничего ж страшного не произошло. Вот только непонятно всё напрочь, а так – даже забавно: дождик... сумка твоя... листки какие-то...

Капитан нагнулся и поднял с пола один из листков. Подумал. Снова нагнулся – подобрал ещё один. Вгляделся.

- Смотри-ка, тут написано что-то: «А он сидит на лавке... А ветер дует... А он сидит на лавке. А ветер дует, дует, - продувает насквозь, - выдувает напрочь тягости и изъяны....» Слушай, почерк-то знакомый!

Капитан хлюпнулся на лавку рядом с Семёном Семёновичем.

- На мой почерк похож, вот те на! – Капитан выволок из кармана записную книжку, открыл – приложил рядом. – Смотри!

- ...И на мой, - тихонько, как луговой сквознячок, прошелестел Семён Семёнович.

- Ну-ка, напиши что-нибудь здесь, на полях... - Капитан выцепил из того же кармана шариковую ручку. – На, держи. ...Да вот тут, вот тут давай, - прямо на полях.

Почерки и впрямь были чем-то похожи. Все три. И не то, чтобы написание букв виделось одинаковым или там – наклон. Нет. Что-то присутствовало общее здесь, и присутствовало явно, во всеуслышание... что-то помимо внешнего облика текста, но от текста неотрывное, наполняющее напролёт, до капелюшечки.

От близкого дыхания соседа у Семёна Семёновича запотели очки. Он снял их, протёр драной свитерной полкой, и, водрузив разглядалки обратно, несколько отодвинулся по лавке от держащего листки Капитана. Закрыв глаза.

(Тот кусочек времени, в который судьбе было угодно затиснуть его детство, Семён Семёнович помнил как очень длинную, как очень короткую, как очень ухабистую дорожку. А может быть и не дорожку – тропку; заковыристая звериная тропка, утопанная копытами травоядных и отлакированная мягкими лапами хищников – она вовсе не предназначалась для колёсного продвижения. Но – вот: толкнул кто-то тележку (а в тележке – Семён Семёнович) по этой тропке и покатила она, вихляя, дрожа, дребезжа всеми своими молекулами (а заодно – содержимым), покатила, покатила... Прикатилась куда-то... Куда?

А и не поинтересовался до сей поры. Некогда было. Выхватило его из тележки – вынудило самого ногами перебирать. ...Да таких колдобин *«то-что-выхватило»* ему под ступни набросало, что и колёса тележные, на звериной тропке оббитые, должны были его пожалеть. И, должно быть, жалели.

Ох, устал Семён Семёнович. Крепко устал. Еле ноги волочил, вот как устал. Из детства вырванное существо – как вырванное сердце, изнемогающее трепетать в чужой среде.

Учился Семён Семёнович в школе, как и большинство других, - отбывая надрывную, тошнотворную повинность – каторжный срок, плюхнутый посерёд детства. О, до чего же в детстве зорки глаза, звонок голос, горячо сердце! – тут бы оглядеться, осмысливая жизнь, жизнь переосмысливая и тормозя. Тут бы... Но – не дозволялось, и даже оберегалось строго *детьми прежними*, прежде искалеченными: *взрослыми*. ...Семён Семёнович и опомнится не успел – как облачился с ног до головы в страшную перемену: во взрослое платье... во взрослую жизнь... Переменился; перемена-подмена – вот как ощущал это Семён Семёнович, - вихлястый облезлый обман... несчастные глаза... бедствие!..

...Женился. И жили они с женой, жили... И были у них дети... И было у них всё, чего быть не должно, но что приходит всегда неожиданно, как явь, как свист: отчуждение, боль, тоска.

Только на службе, где Семён Семёнович прослыл лодырем и дурошлёпом (а служил он в типографии, разнорабочим) высверкивалась ему маленькая отдушина, такая дырка в потолке – книги. Хватал Семён Семёнович, случалось, какую-нибудь книжицу – ещё тёплую, остро пахнущую, безобложковую – угадывая дальним чутьём именно в этой книге сияющее и небывалое. Выхватывал – прятался в уголке в обнимку с драгоценностью; читал, читал, читал... читал – покуда не заметят, не наорут криком, не погонят службу служить в поте лица своего. Давно бы уж совсем прогнали запойного читателя, если б не крепкая нехватка в работниках, пусть и таких. Но нехватка была, и Семёну Семёновичу пока удавалось – цепляясь за книги – служить вполсилы да кое-как. ...Худой, сутулый, затишенный – он казался своим сослуживцам привидением, сохлым призраком здешних мест, чем-то сближавшим их обжитую привычную-обычную типографию со средневековым замком.

В месте своего квартирования – избегая семьи – Семён Семёнович обычно запирался на балконе. На балконе, хоть бы и зимой, он думал (много-много), мечтал, а иногда – прижав к коленям такую же измятую, худую, сутулую, как и сам он, тетрадку, к тетрадке прижав карандаш – пробовал писать. Получалось ни то ни сё... но Семён Семёнович не унывал; вот: что же унывать, когда за спиной ни моста, ни плюгавой дрожленькой перекидушки... – ничего...? А? ...Разве что – урывками, с оглядкой... Это плохо, он понимал: связанное устремлённое усилие чуждается дразглых пауз, - слова кособочатся и начинают рассыпаться. Иной раз – ну нестерпимо! – хочется зареветь...

А ещё: дача. Когда не было там жены, без конца находившей Семёну Семёновичу полезные хозяйственные применения, без конца раздражавшейся, без конца рассуждавшей о своей бессмысленно загубленной рядом с ним жизни... – тогда!: тогда склонённому над тетрадью Семёну Семёновичу начи-

нало казаться, что что-то и впрямь готово проступить – памятью, ветром, свирелью – из крошечных лужайковых прядей тетрадных страниц. А может – впрямь...)

«А ведь и впрямь, - мешалось в мысли Капитану, - похоже, что это я писал. Всё так знакомо... но – не помню. Вот никак... - Встряхивался: - Что за недодумец! – я ж так и написать не сумею! ...А – сумел?.. Уф-ф...»

Листки с письменами, – ах, как много! как их много... - были, по первому взгляду, на внешность свою довольно обычными: белые, бумажные, обычно-прямоугольные... Но – сиюсекундность не транжиря – стоило лишь приглядеться: ...это древесные листья... сошедшие с дерева листья... к кому-то сошедшие листья... зачем-то сошедшие листья... Да! – смотри не смотри: белые, бумажные, прямоугольные, а смотри чуть иначе – древесные, и всё тут... А до чего же хороши!: зелёные, полупрозрачные, во множестве свивов-прожилок!

- Сеня, - неуверенно спросил Капитан, отнимая от взгляда листок, - может это – ты?.. может, твоё это всё?.. Случайно, в писатели не метишь, егоза?

- М-мечу, - чуть заикнувшись, ответил Семён Семёнович. – Но это – не я, не... Не знаю... Я в тетради пишу, она там, на даче... под тумбочкой...

- Главное – не в сумке, - хихикнул Капитан. - А то бы нас ещё и тетрадь твою шандарахнуло!

- Тебя бы в сумку, - буркнул Семён Семёнович. – Шутник...

- Н-да... - задумался Капитан. Огляделся. – Какой-то театр... Да ты не бери в голову, Семён, - сам стихи пишу.

- А я редко бывал в театре, - неведь к чему ляпнул Семён Семёнович. – То да сё...

Капитан оживился:

- А я, милоч, в театре служил! Месяца два. ...Пока не выгнали. – Капитан закурил. – Ну и насмотрелся!.. Но такого...

- За что выгнали-то? - поддержал тему Семён Семёнович. Ему хотелось послушать, поговорить – немного отвлечься от всего происходящего. Капитан не возражал.

- Дикое дело. ...Рабочим сцены я там был: декорации монтировал, бутафорскую хренятину чинил, гром за сценой помогал вызвучивать... Барышни там, знаешь, голые бегают!

- Зачем?

- Костюмы меняют... - Капитан кашлянул. – Ты не отвлекайся, Семён. Ишь, разлакомился!..

- И не думал!

- Ну да... - Капитан погрузился в воспоминания. – В-общем – выпихнули меня, как-то раз, на сцену, в эпизоде играть: никого другого, понимаешь, не оказалось... кто выходить должен – выпивши, вот меня и выпихнули. А должен я там был в поединке – секунд на тридцать – победить другого рыцаря. Проткнуть, значит...

- Как это – проткнуть? – слегка обеспокоился Семён Семёнович.

- А так! Долбаемся мы, лязгая, мечами, делаем несколько фигур и – пронзаю: под мышку он меч ловит, делает вид, что – скапустился. Понял? За час до выхода показали мне – как, что. Невелика хитрость. ...Вышел. А там, понимаешь, ляпнулась такая ерунда: в зале темно, на сцене темно, только свечи фальшивые горят, а от рамп – свет по глазам лупит... и не вижу ничего! – только жмурюсь под забралом. Тут реплика соответствующая означилась; слышу я шаги своего поединщика, - ко мне, значит, топает, чтобы мечом шибануть. А мечи у нас, Сеня, огромные, двуручные; не острые, конечно, но весом – вровень с кувалдой. Он первый должен был меня мечом стукнуть, по голове, а я – парировать. Да куда там – парировать!... не вижу ж ничего; сейчас, чую, шандарахнет, супостат, по коlobку, и – привет бабушке! – шлем-то из картона... Ну, думаю, надо как-то защищаться, надо его хоть не подпустить к себе.

Стал я мечом изо всех сил по сторонам размахивать. Машу, Сеня, верчу, что твой пропеллер! Долго верчу... Бух! Чую, попал во что-то... А?! ...Тот-то мой поединщик – он привычный к игрулькам, разглядистый – засёк мой боевой раж и удрал за кулисы, а режиссёр – дурак! – сам латы нацепил и попёрся меня со сцены уводить; это он, романтик, спектакль спасал, а заодно – актёров: там под столом герцогиня с двумя пажамися засела, да ещё ейная дочка за столбом пряталась. ...В общем, зашиб дурошлёпа.

Капитан шмыгнул носом.

- Совсем?!?

- Что ты! Жив-здоров, глаза весёлые... правда, косят малость. Ну да что! – он в больнице и двух недель не пролежал, - прибежал в театр, меня увольнять.

- Бывает...

- Ясное дело. Не впервой! Но театр меня заинтересовал. На сцену тянет... Занятное дело! – Задумчиво усупился. – Я и меч с собой спёр, заточил даже... Зря лежит.

- Да зачем он у тебя лежит? Выбросил бы!

- Может, выброшу...

Капитан нагнулся и поднял с пола ещё несколько листов. Прищурился, вчитываясь.

Семён Семёнович закрыл глаза. Ему не хотелось сейчас читать – ему хотелось прийти в себя, раз и навсегда! Ему хотелось принять происходящее с ним, как само собой разумеющееся, как радующее, приятное, что, собственно, Семён Семёнович – где-то глубоко, в настоящем себе – и чувствовал. Но вот ведь! – тонкая нервная организация; Семён Семёнович сам толком не знал, что ему от этой организации ждаться. Вон как давеча, с обмороком. Хотя иной раз это приносило неожиданную пользу... (Случилось, что на него как-то – с год и несколько месяцев тому назад – нашумело начальство. Зинаида Юльевна, женщина молодая, но строгая и горластая, вызвала Семёна Семёновича к себе в кабинет, - ой! жуткое дело! – стучала на него кулаками по столу, называла лодырем, дураком, говорила, что – не потерпит, что созерцателям место в космосе, а не в серьёзном учреждении. Долго гудела и бузотерила... Семён Семёнович слушал, слушал... слушал, слушал... - да как расплатится! Слёзы рухнули из него подобием ливня тропического – столь же обильно и шустро. Зинаида Юльевна отродясь такого не видывала! Плачет, слёзы рукавами утирает, горбится. ... Начальница аж в кресло булькнулась; глазищи вылупила, кричалку чуть не к столу отвесила: шалееет, дивится. Семёну Семёновичу только прорычала, чтоб – убирался. ...С тех пор не трогает, нет, - в покое оставила; чуть завидит где – по большой дуге обходит, стережётся, прячет глаза. Вот как!)

Семён Семёнович открыл глаза. Капитан нагрёб к себе целую кучу листов и копался в них, что-то куда-то перекладывая, сортируя. Рассортировал. Напряжённо выпрямился.

- Смотри, Семён, что я нарыл! Это что-то вроде дневника...

Семён Семёнович заглянул через плечо Капитана.

- Да тут и написано, что – дневник.

- Где? – Капитан всмотрелся. – А действительно...

На одном из листов – по полям – шла размашистая корявая надпись, почерком со всеми другими письменами ничуть не схожая.

«ИЗ ДНЕВНИКА ОТШЕЛЬНИКА»

- Какого ещё отшельника? – оторопел Капитан.

- Давай прочтём... - шёпотом попросил Семён Семёнович.

Они сдвинулись – плечо к плечу – и стали читать.

из дневника отшельника

\*

«...Я держал – я ласкал – в онемевших руках много древесных обломков, кусочков, кусков, но так и не построил хижины, в которой смог бы скоротать свой век. Я тридцать лет любил, и, кажется, был иногда любимым... но родных людей нет рядом со мной: мы потерялись... (Да, верно, это я их потерял. Должно быть, так оно и было...)

Я ходил по кладбищам, по полям, и теперь облипли тяжёлой землёй мои башмаки. Я не счищал земли; я уносил её – замедляя свою дорогу. Я заболел, исцелялся, и снова заболел; как-то суетно всё это было, но теперь проходит.

Вот нынче: пробредаю мимо стёкол, за которыми отсвет чужих очагов. Они так отчётливы в эту пору! ...Даже, когда непогода или я покаянно слеп – *всё равно очевидны...*

\*\*

*...песню поёт одуванчик...  
песню поёт одуванчик...  
тихую песню поёт...  
...и кто-то ещё поёт...  
еле слышно поёт*

*где-то*

Приятная мелодия... Слушаю её...

...Отзвучала.

Пришли мелодии неприятные; в изобилии пришли они, в назойливом множестве... Пришли и вокруг меня расположились плотным кольцом; великими непроходимыми стадами окружили меня... всё пространство окрест...

Что ж теперь?.. Откидываю одеяло: день настанет очередной. Обычный. Надо проложить в нём тропинку понеобычней, поярче, чтобы окрасился день тропинкой моей, хотя бы этой яркой ленточкой украсился.

Хватит ли сил?

Сил у меня становится с каждым днём всё меньше и меньше. Убывают они, как убывает вьюжным паром вода из железной кружки, поставленной на раскалённый песок посреди пустыни. Как мало осталось воды!..

Вот и вставать стало трудно: туман какой-то в глазах, искры – искры! – перед глазами... Сердце моё утратило многую лёгкость и стало раскалённым; воспалённым стало сердце моё, - не ведает сердце радости, не знает отдушины...

Встаю. Холодно. Согреваюсь чаем. Холодно. Заворачиваюсь в одеяло и поглубже затискиваюсь в кресло. Задумываюсь... (Никак не складывается тропинка. Надо очнуться. Надо встряхнуться и зашагать.)

...Прислушиваюсь...: вон там... там! о-о... Мой Дом... (Опять! Стоп. Назад.)

...Сижу в кресле, занавесившись одеялом от льющегося дождя. Он падает с потолка, размывая штукатурку; он сочится сквозь стены, напитывая собою ковёр и обои; он бурлит в моей чашке, поднимая из глубины обрывки обессоченных чайных листьев. Сыпется древесная листва, перемешиваясь с моими волосами, с одеялом на мне, с мыслями во мне; листья покрывают всё, что есть «я»... - и ворохом, уже согревшись, в кресле возвышается инообличное «я».

(Мне всё говорят: «Ну какой ты поэт! Нет у тебя и единой книжицы, которую ты мог бы поставить на полку!» Я раньше, по глупости, спорил. Теперь не спорю – соглашаюсь. И впрямь, ну какой я поэт? – нет у меня и единой книжицы, которую мог бы поставить на полку, вызывая умеренно-благоговейный

трепет знакомых, соседей, родственников. А с ней – призадуматься уже и о второй книжице... третьей... (чтоб стояли по-соседству). Или поучаствовать в тайном конкурсе лириков-интеллектуалов, и – чего не бывает! – получить приз (новые штаны да куль картошки, например... очень бы кстати). Но – нету книжицы. Куда ж деваться? Нету... Ха! – я же не поэт, я – кораблик из шероховатой тонкой бумаги. Кораблик размокший, разбитый... Но – кораблик плывущий!

...Вот: земли неведомые, где нет ничего чужого, а всё – родное. Вот: моря, щекочущие длинными пенистыми языками брюхо неба, *родные моря*.

Вот: м о й Д о м ...

(Стоп. Пока не надо!.. Назад.) )

...В кресло, раздирая ворох инообликового «я» пришёл ветер. Громыкнул гром. Колыхнулась молния...

Стало уютно.

Пройдёт немного времени – и уют ускользнёт, оглядываясь виновато, в щели половиц (ему пора, я понимаю). Но пока он здесь, со мной. Рядом.

Мои глаза закрыты.

- Привет!

Я слышу это совсем неподалёку.

- Привет, - говорю я, не открывая глаз.

- Привет, привет, хороший мой! Ты бы всё-таки открыл глаза...

- А ты кто? – спросил я, зажмурившись ещё сильнее.

- Я? Я – Большая Белая Птица. Я пришла к тебе в гости.

- Ох, спасибо тебе...! ...

- Пожалуйста! Открывай глаза, ...ну же!

\*\*\*

Большая Белая Птица посетила нынче утром мою квартиру. Я не знаю, откуда появилось это Существо, но увидев её в кресле напротив – сидящую прямо и строго – мне подумалось, что, верно, Птица всегда тут находилась, просто я её не замечал.

Сидя напротив друг друга мы завели беседу. Птица смотрела на меня, не мигая, и тихонько шевелила клювом. Она была спокойна. Я же, напротив, был растрёпан и суетлив.

Но постепенно лихорадочный оскал встречи покинул меня. ...Я увидел ОКЕАН... огромный, невозмутимый в своей огромности ОКЕАН! Два острова стояли посере́д него: остров Мудрости и остров Со-страдания. Это был дом Большой Белой Птицы. ...На острове Мудрости она наполнялась, на острове Со-страдания – опустошалась. И – раскинув крыла меж островами – пребывала вечно...

Я почувствовал, как усталость и боль последних лет отступили куда-то вдаль. В почти безоглядную даль, в дальнюю даль. Совсем ненадолго, на крошечную кроху жизни моей отступили они, но стало мне так хорошо... так хорошо!..

Мы любили друг друга, и понимали друг друга с полуслова. Меж нами не было тайн, не было горечи, разделённости; не было меня и не было её, но были: *Мы*.

Много и небывало были мы друг с другом. Час прошёл или век – кто знает... Но воды снов подступили к глазам моим, и плеск их волн был шумен...

...Но биение волн себе подчиняющий переливчатый голос Птицы, сидящей на краешке моей постели, доносился ясно и чисто, минуя дрёму...

«Далеко-далеко, а может быть и совсем неподалёку, там – на самом краю земли и воды, и пламени, и небес – есть *место*, где *Мироздание* ещё не появилось на свет, но уже закончилось. В этом *месте*

нет ничего – ни образа, ни движения. Ни что не может вытечь из него, ни что не может изойти... но исходит оттуда всё... – так появляется мир...»

- ...А что же за этим *местом*? есть ли что?

Полусонный язык мой – невнятен, слышен едва.... Но всё услышала Птица, всё поняла. Тёплым крылом провела она по моим волосам, стряхивая седину, утишая печаль. Птица наклонилась, низко-низко, клювом почти касаясь моей щеки, и прошептала:

- Есть. Но об этом как-нибудь потом... когда-нибудь... ладно?

- Ладно, - согласился я, - только смотри, не забудь. Пожалуйста...

- Я не забуду, - пообещала Птица.

И вновь, кожей вращая в шероховатый полёт простыней, я слушал голос, родной, нездешний. И с голосом соприкасаясь – плечами в явь прорастал иную...

«...пурга стирала их следы. А они знай себе шли вереницами неисчислимыми; тянулись нитью не мерянной по бело-блестящим пустым полям. Пурга облепляла тела и лица, закрепляя в пространстве строгие голые абрисы, приминала их потаённо: слой за слоем, ровным, сыпким излётом позёмки... примяв же, вовсе – съедала...

Но съев – изрыгала обратно. И вереницы, нитью шальной и светлой, тянулись в запредельное **куда-то**, словно наматывались, наматывались, наматывались, сматывались они в клубок, не смея остановиться, остановиться... И будто бы – проникали... И будто бы, – но это невероятно! – обретали **нечто**.»

Я заснул. Я не слышал, что говорила мне Птица.

Откуда-то с высоты, кувыряясь, упал я в озеро. В мелкое озеро. ...Встал, сырой, удивлённый. Огляделся: ...нет берегов; подо мною – песок и камни, надо мною – небо. Песчинки босыми ногами в иные сдвигая узоры, - бреду по озеру. Вроде бы, приятно мне здесь, и брести – уютно. Почти хорошо...

Вышагиваю к берегу. Вот нету берегов, – а я вышагиваю! И ветер, что в спину дует, верно – попутный. Я рад ему.

...Музыка... Клавесин... Берег. Звуки клавесина – оттуда, с берега – мне радостны, несмотря на усталость.

Осторожно раздвигаю пушащиеся камыши, и, не оскользнувшись ни разу, выбираюсь на берег. Клавесин уже не слышен... да он теперь, как будто бы ни к чему: мне интересно так, самому по себе.

Топаю ногой! – и прямо из ничего возникает на песке костёр. Жаркий, красивый. Снимаю с себя одежду – вокруг костра развешиваю для просушки; голый совсем стал, но не зябко. И комаров нет.

Прогуливаюсь, посматривая по сторонам; оглядываюсь: место пустое. То ли отмель, то ли островок малый. Возвращаюсь к костру, надеваю просохшую одежду и сажусь смотреть на огонь.

Я люблю смотреть на огонь. Долго на него смотрю.

Засыпаю.» ...

Маленькие мерцающие капельки, облепившие потолок, стянулись в каплю одну. Большая блестящая плюха, с чавканьем покинув потолок, упала на Семёна Семёновича, прямёхонко за шиворот...

- Ай!

Семён Семёнович задёргался; вскочил.

- Что ж ты прыгучий такой! – неодобрительно воскликнул Капитан, подбирая выпавший из его рук листок. – Ну – капля, ну... Ну и что? – Погрозил пальцем: - Поди, мыться не любишь? а, Сеня?

- Холодная!

- Делов-то... - пренебрежительно отмахнулся мужественный сосед, но свой воротник на всякий случай поднял. С сомнением посмотрел на потолок. – Давай, подсаживайся. Похоже – всё, под занавес тебе досталось...



Семён Семёнович, нервно вздохнув, вернулся на место.

... «...И вереницы, стягиваясь к обрыву, - ссыпались с него, рассеиваясь в полёте. И то, что рассеивалось, напоминало зонтики луговых одуванчиков, рисующих направление своё волею многих и разных сил, предназначение имеющих, а равно – Пункт Прибытия, предназначением тем предопределённый.

И преобразовывались вереницы прежние – в вереницы новые. В разных мирах разный облик приобретало шествие их. Но вжимаясь в единый ритм, сливающий и изливающий вереницы, - миры прорастали друг в друга, срастались, перемешивались.»

Я понял, что уже некоторое время не сплю. И Птица сидит у изголовья моего. И крылья её, защищающие от невзгод, окутывают меня невесомо, нетягостно.

- Ты знаешь, я уже проснулся...

Птица улыбнулась.

- Разве ты спал? Вот уж не заметила! Я думала, ты отлучался по важному делу.

- ...Отлучался?... Ну, может и так. ...А по какому делу?

- Ты зажёл костёр. Он будет гореть всегда. Он нужен.

- Кому?

- Вообще: н у ж е н.

Я хотел спросить Птицу, каково ей там, меж двух островов: не зябко ли? не одиноко? Но ничего не спросил. Укутался поудобней в крылья, и лежал так неведомо сколько времени.

Я не спал. Я вспоминал разные места, где доводилось мне бывать. Вспоминал жилища, обжитые мною и мною оставленные. Вспоминал Дом, просевший от ветхости и поросший лебедой окрест своего стояния. ...И вспоминал улыбчивого взлохмаченного мальчишку в одном из окошек Дома. Мальчишка смотрел на меня лукаво и капельку настороженно... а мне, - мне так хотелось обнять его, как можно крепче обнять! Взлететь с ним к Солнцу – и подарить ему Солнце! Всё, целиком! Насовсем! А заодно – похвастаться крыльями...

...И я отводил взгляд; я не мог взлететь – у меня проросло только одно крыло, - далеко не улетишь на одном крыле... Мальчик смотрел с укором. Мне было так стыдно!

Я всё отводил и отводил взгляд, пока в снежных полях взгляд мой вовсе не потерялся...

...И потерялся мальчик. Потерялся Дом... Только лебеда потрескивала сухими зимними стеблями, где-то вдалеке, едва слышно...

\*\*\*

...Мальчик спал. Примяв щекой запястье, дыша спокойно и ровно – мальчик спал.

Сброшенная на пол подушка белела призрачным сугробом. Тёмное пространство комнаты словно бы стянулось, сжалось куполом острым и лёгким над спящим ребёнком (так, во время молитвы, жмутся ладошки – над сердцем – куполом острым и лёгким, куполом неподвижным...).

Мальчик проснулся. Открыл глаза. Приподнял голову... Но всё это ненадолго. Ровно на столько, чтобы услышать бьющую мягко в стекло ледяную январскую морось, увидеть – мельком и смутно – движение тёплых теней над собою... снова уснуть...

\*\*\*\*

сон мальчика:

Он идёт по пустыне. Жара. Всюду очень крупный, очень жёлтый песок. Ох, как трудно идти по песку! Да вот – валенки ещё всё время с ног сползают...

...И крокодилы кругом: маленькие, со спичечный коробок... лиловые, с изумрудными пятнышками по ушам... хвостатые – невероятно! А хвосты – лохматые, рыжие...

Вдруг – сразу и вдруг – город посреди пустыни. Большой город. И вроде бы – так поначалу видится – он совсем опустелый, а кажется так от того, что люди все собрались на большой площади; стоят люди, собравшись в кружок, и что-то разглядывают.

Протиснулся мальчик в серёдку (он как-то сразу понял: надо – туда!), протиснулся без труда: все расступались – давали ему дорогу; протиснулся и увидел Её...

Большая мохнатая *Снежинка*, - она лежала на горячих – пронзительно горячих! – камнях мостовой и совсем не таяла. Даже не собиралась! Чувствовалось: она по-прежнему царственна, холодна, спокойна, как и положено снежинке.

Белое... голубое... красное... зелёное... - казалось нет такого цвета, которого не было бы в ней.

Мальчик знал, знал наверняка, что холод её не обжигающий, а ласковый и доверчивый, - ну, буд-то бы нос щенка! И ещё он знал, что здесь, на горячих камнях, *ждала Снежинка его*, именно его... и было ей немножечко одиноко прежде, а теперь – песенно, радостно, хорошо!

Ах! возникли из мальчика – прямо из самого сердца – лучики светлые, - протянулись к Снежинке. И от Снежинки – лучики тонкие, робкие-робкие...

Вобрало сердце мальчика Снежинку в себя, став большим – огромным!!! – большее всего мира... всех миров...

Вот: стало понятно: нет больше *сна*, и не будет больше *яви*, а есть теперь что-то иное, совсем-совсем новое...

\*\*\*\*\*

Мальчик сидел на крыше и смотрел вокруг-повсюду.

Мальчик смотрел на мир, в котором грохотало железо, шумел жёлтый ночной свет, а трескучие, суматошные толпы дядечек и тёточек носились туда-сюда, оставляя после себя кучу смятых, еле различимых следов. Следы тускло мерцали, переливались, образуя всяческих чудищ. Чудища тут же расплывались, куда ни попадя, свисали отовсюду, подобно гроздьям винограда, и при том – всевозможно шипели.

А дядечки, а тёточки – всё суматошились, трескотели. Железо грохотало. Жёлтый ночной свет, который вовсе не походил на солнце, шумел сильнее и сильнее.

Мальчик наблюдал. Он был внимателен, любопытство и напряжение танцевали из него навряд ли крошечных бенгальских искр.

Но вот уж чего не было в нём, так это боязни. Мальчик ни капельки не боялся грозной, визгливой мешанины и суеты!

Он знал: это – будто бы слова, ровными рядами наполняющие невесёлую некрасивую книгу. Ужасную книгу. ...Здесь может быть – даже! – страшно... невыносимо страшно... Но когда такое случится: *мальчик возьмёт карандаш и всё это перечеркнёт* »...

- Похоже, мною написано! – в один голос воскликнули Семён Семёнович и Капитан.

Воскликнули – посмотрели друг на друга. Одновременное восклицание рассмешило обоих; рассмешило – не удивило; не удивило – удивились, - удивление сквозило в хохоте новорождённым галчонком.

- Ай да мы! – тонко смеясь, всхлипывал Семён Семёнович.

Капитан, развеселясь, гулко саданул его по спине ладонью.

- Ты что, одурел!? – поперхнулся Семён Семёнович. – Лапища, как у медведя!

- Извини, Сеня, не рассчитал.

...А за окнами исхлёстывался ливень. Клонились, гудя, деревья, барабанно просыпая по окнам, по стенам, по крыше сухие ветки. Липла к стёклам мягкая сентябрьская листва. Где-то вдалёке пророкотал – грохнув – гром. Ветер, завывая, зашуршал по-снаружи, засвистел в щелях.

- Пошли, подышим, - потянул за рукав Капитан. – Пошли, пошли, а то до утра закиснем.

- Вот ещё! – упирался Семён Семёнович. – Темень, ливень, вон – ветер поднялся... Да куда ты меня тащишь? Не хочу!

- Идём-идём, за десять минут не расклеишься.

Капитан – в нажатие – распахнул тяжёлую двустворчатую дверь и вышагнул наружу. Семён Семёнович, заранее кутая в воротник скислившееся от неохоты лицо, вышагнул вослед.

...За дверью были день и море.

## ЖЕНЩИНА

Она – не глядя, не задумываясь – выбрала с полки книгу. Перелистнула несколько страниц; оскользнулась-потерялась в строчках невидящим взглядом. Рука её разжалась, - книга, обмахнув гармошковым веером воздух, гулко шлёпнулась в половицы. Женщина вздрогнула. Женщина коснулась лица пальцами, ещё хранившими память-промятость твёрдой книжной плоти... Мимолётное изумление, как лёгкий электрический выдох... изумлению вслед – забвенье.

Тренькнули, дрогнув часы. Обезумевшим, хохочущим скульптором втреснулся в подоконник дождь. Изогнулась, слепливаясь в пронзительный долгий мешок, квартира.

Женщина заметалась. ...Она давно металась, очень давно: из мира в мир – от стены к стене, - стучаясь лицом, грудью, коленями о всегдашне невовремя выступающие края зыбко-знобкой жилой кубатуры. Метания-сбор-урожая, урожая постылого, - так собиралось: края кубатуры – заведомы и изначальны, и нет никакой возможности миновать дробящие режущие сокасания... есть возможность, но там, где она проступает – только намёк... или сон... или бред...; там удары яростнее, сильнее... там края свиваются-сщёлкиваются в прашу, а ты – в камень. Но и не метаться ж нельзя! – налетает сквозняк, и носит, носит. Будь ты слоном иль скалою – ему безразлично... хлопья звенящей пыли – из угла в угол... Будь ты слоном иль скалою...

Женщина заплакала. И слёзы её были злыми, холодными. И слёзы её были просящими, горячими. И отливали слёзы багрянцем. И били, били, били – мотыльками в ламповый плафон – в рукава, в руки.

На что она злилась? о чём просила? – всё вперемешку, ничего не разобрать. Да и слезами разве толкуешь? Только – омоешься...

Нынешний год безумно походил на прошлый. А прошлый – на позапрошлый. Годы были, так ей казалось, покладисты к уплотнению и вмещали в себя многое. Каждый год, чудилось, доверху нагру-

жался узорами замысловатыми; чуть коснись, чуть заворачайся – и узоры, а следом – год, сворачивались в кувшин, до горлышка полным-полнѐхонький душным булькающим варевом. ...Ах, прямо из горлышка! – и обожжѐнное вопящее нѐбо... Но, чуть подождав, чуть остудив – дуя, мотая, жадно дыша, – kloкочущее пойло и жадность рта свизгивались в один рывок; кувшин пустел; нутро наполнялось, но оставалось неопределимым, в смуте... количество и качество вобранного-принятого: что? почему? зачем? Но в привкусе стынѐ ядовитая – горечь. ...И каждый год – так: ураганом. Может, в иные года урагана и не было... но то, что было – так: ураганом. И каждый ураган – своего цвета, масштаба, в своём, только ему присущем облачении.... А – все одинаковы; один за другим: похожие, наразличные... проливные.

О, женщина так запуталась-заѐрзалась в своих годах, что, когда её окликали по имени, она подхватывала это имя, даже не подозревая – ну совсем, совсем, – что оно её собственное.

- Эй, - говорили ей.

- Эй, - соглашалась она.

А потом плакала – злилась и умоляла, - потому что была не согласна, но опять опоздала это понять.

Вся в сумбуре, узлах, разверстьях – она алкала лета, полагая, что время погодного потепления сумеет её обогреть. Так: утешенье и ласка... Да-да, обогреть, обласкать, утешить, а может – и поделиться умением: в ней самой ничего подобного не было, даже самую малость, а так хотелось...

И приходило лето. И отталкивалось от игольчатого, алчущего, кричащего напропалую соседства. И убегало прочь. ...А женщина плакала... А женщина звала лето... А женщина плакала... плакала... плакала... И садилась в пыльное кресло; из кресла – к себе была недобра и к тем, кто рядом.

А рядом-то почти никого и не было. Были цветы в горшках; был старый кот, умирающий от одиночества; было что-то ещё... и кто-то ещё... и где-то, и как-то... И, кажется, не было себя. Нет-нет! – вот: взглядишься – ты, влажная сверкающая жемчужина! – скользкая... никак не ухватить... а и ухватишь – шарик овечьего помѐта, сухой, как кивок в темноте.

Ох, как же ей иногда хотелось разбежаться, - расшибить голову о стену. Да не удавалось... Не удавалось напрочь!: стены чувствовали позыв-предразбег и отодвигались; стены негодовали: как же это можно – бить о них чугунной затуманенной головой! неужто им и так от неё мало достаѐтся! ...А женщина всхлипывала желчно, надорвано, обречѐнно. А женщина стискивала зубами губы, - раскачиваясь, впивалась, объедаясь, в боль.

Падала кровь на землю. Падала женщина. Лежала себе, не орала, не шебуршилась, - вновь наполнялась надеждой. И, наполняясь, предчувствовала (ах, - звала!) её потерю.

Свои мысли, - как много их... но зачем? куда? – вот загадка так загадка! То – всплеск, то – скрежет... То – флейта, лопотающая лугами и перелесками, то – бубен, поднимающий овздыбь горы, трясущий шелками терпковых ароматов... То – лица, застывшие... - о-о! – подвижные лица застывших статуй, сходящих к прежнему воплощению...

Ах, как много в ней всего! Ах, как мало! И то и другое – то ли рассвет, то ли сумерки, - всего вдалась, всё через край; флаг над твердыней, зыбкий покров болота; всё просеялось-перемешалось, обратилось в полдень – так и застыло.

...Это тени, тени, тени... Тени свиваются в трескучий сохлый клубок, и клубок не находит опоры, и рассыпается на множество памятей-пятен, тяготеющих к прежнему начинанию. Это верно! ...Но можно сойти с ума, если не принимать участие в этом тусклом, в этом блескучем, в этом по-над-сквозь проникающем танце. ...Но можно и не сходить, если правильно понять своё собственное местопристанище,

если, уразумев себя нитью, правильно уяснить своё расположение в бахrome, уясняя – насквозь – своё преднитевое начало.

Тени падают, падают, тени хрипят, ворочаются, елозят. Тени переполняют ураганом каждую соринку на полу, каждую трещинку в стене. Тени сквозятся – белыми, да – почтовыми парусами, – напоминая, изнемогая, радуясь.

За поворотом – ровные крики из прогретых окон. За поворотом – бирюзовые волны, выпадающие из облезлого марева... взыскующие, манящие... Пропылённые ледники гор...

Но закат! но закат... Она – в визге – поворачивалась к закату спиной, обхватывала голову руками и вжималась на корточки. О, она боялась заката. Закат никак не хотел пропускать-проводить её страхи в мир, и страхи возвращались назад, вламываясь, толкаясь, пробивая в женщине огромные вопящие дыры. Это продолжалось так долго и так обычно, что окончательного разрушения всё не наступало – никак не наступало! – оно откладывалось. И женщина боялась заката. И женщина грозила кулаками кому-то невидимому, кто вовсе закатом не был, кто выбирался всякий раз из длинного перечня лиц, мельтешивших из скудной – сиюсекундной – памяти. Но... ..Но ещё больше женщина боялась рассвета.

Ну кому это не известно? – всякий знает!: на рассвете, раздвигая заросли и пучины, в жизнь проглядывают зеркала... Даже тот, кто полагает, что помнит себя, знает, видит (кто не помнит себя...) – вспоминает. Да. Куда он денется?

Рассвет...

Женщина смотрела, смотрела, смотрела на себя в зеркало и видела маленькую девочку, – крошечную белобрысую девчушку с упрямым взглядом. «Это неправда, – шептала женщина, – это уже не я; она – не я! Мне тридцать... ну да! – мне скоро тридцать семь лет... и это больше, чем необходимо, потому что я давно устала жить.» А белобрысая девчушка прищуривалась на женщину, фыркала, пожимала плечами. А девчушка усаживалась на землю, пристраивала на коленях альбом, открывала коробку с четырьмя цветными карандашами, и – не задумываясь ничуть, не морща лба, не тревожа указаниями руку – рисовала мир. Женщина ахнула. У неё, теперешней, было множество карандашей, оттенков немыслимых и несчётных, были мелки и краски, был даже диплом художника... была лихорадка, которая казалась ей лихорадкой творчества... но: но повторить, хотя бы и копируя, то что нарисовала белобрысая девчушка...! – о-о!! – ...как!!? Женщина вбилась взглядом в зеркальное озерцо, зрачки её побелели. «Эй... - шуршали, скрипели, тёрлись сухие губы, - эй... Родная... Что же со мной...!?»

С улицы послышался крик. И ещё. И ещё... ..Нет. Тихо. Тихо и шумно, привычно. Женщина закрыла глаза, и, раскачиваясь, сдавленно – толчками – засмеялась. Она поняла: **это кричал мир.**

(...Это шептали розы...

- Девочка... девочка... - шепнула роза.

Девочка-женщина повернулась к розе и осторожно, стараясь ненарочитым движением не ударить, не примять, взяла в ладони бутон. Лепестковая плоть бархатисто обшёптывала кожу, податливо шелестела, ластилась в долгожданную прозрачность соловьиными язычками.

- Здравствуй, роза, - сказала девочка. – Ты, оказывается, так хорошо говоришь! Ты умеешь говорить!

Роза выпрямилась из ладоней – восторженно посмотрела на девочку.

- Всё просто... всё просто...: ты захотела меня услышать. – Роза сияла. – И это случилось сегодня. Спасибо тебе! – Роза сияла, сияла, сияла. – Обычно, ты говорила сама и думала о чём-то своём, - а сегодня ты захотела меня услышать!

- Вот как... - надула губки девочка, но не выдержала, засмеялась. – Вот как! Как это здорово, здорово!

- Ну да, ну конечно! – ликовала роза и становилась фиалкой.

- Ого! – теперь ты фиалка? – удивлялась девочка.

- Разумеется! – веселилась фиалка и становилась одуванчиком.

Девочка удивлялась только чуть-чуть; она – это так замечательно! – ещё не стала взрослой, а потому – знала: образы-явности – туман... туман... туман... они не существуют вовне, а существуют внутри тебя, и только тогда, когда ты тяготеешь к глупости и бессилию, образы закрепляются, обхватывая тебя жёстким суровым поясом-частоколом... о! – зубья частокола не рады крови твоей, на них оставленной, но – ищут её. Девочка не обращала ни малейшего внимания, когда ей говорили, что «то» и «это» - это «то» и «это»; она видела взрослых насквозь: винтики и зубчики, застывшие в нелепой механической связке, несчастные неряшливые куклы, меряющие и осознающие мир под своё – кукольное – нутро. Хотя... некоторые из кукол были её родителями, были её родственниками... она любила их... и – и это проступало самым страшным в её жизни – позволяла им калечить себя, с ужасом наблюдая, что всё больше и больше становится кем-то другим, кем-то ещё – чужой для самой себя... чужой и невнятной...

- Что ты сидишь у подъезда? – спрашивал одуванчик. – Пошли гулять!

- Ух ты, пушистенькая голова!.. Ты и ходить умеешь? – поддразнила девочка.

- А как же! – воскликнул одуванчик. – Смотри!

Он расплеснул множество пушистых зонтиков, и зонтики полетели, полетели – кружась! танцуя! – цепляясь за тонкие солнечные лучи, на лучи карабкаясь, усаживаясь на них верхом. Зонтики взвихрились, веясь из края в край, слепляясь в тёплую светящуюся пургу, кутая деревья, здания, улицы в смешливые белые хлопья. «Как зимой... - взглядом в белизне купаясь – переполняясь! – восхищённо подумала девочка. – Я смотрела из шалаша на падающий снег... а снежинки переливались всеми цветами лета: розовым, фиолетовым, жёлтым... всеми-всеми! А ещё – бирюзово-синим, как море...»

Она сидела, нахохлясь, в шалаше, который сегодня утром – играя – сделали мальчишки. Девочка уже начала мёрзнуть, но уходить – ни за что... ни за что! Шалаш – это так весело и так таинственно! Хотя и был он из самых обыкновенных старых деревянных ящиков, девочка ничуть в нём не разочаровывалась: сквозь щели падал, мерцая, снег... неподалёку стояли высокие заснеженные кусты, засматриваясь из позёмки – в небо, как дальние неоткрытые острова, на которых может быть всё что угодно, но – только самое хорошее... На скалистой снежной шапке ближнего к шалашу куста девочка различила в щёлку каких-то маленьких человечков. Она выбралась наружу и подошла: не человечки – два сросшихся веточками жёлудя; должно быть, они упали во-он с того дуба... Ну верно же! – это два мореплавателя; их смыло во время шторма с борта корабля; их выплеснуло на берег необитаемого острова, без воды и пищи, растерянных, изумлённых... Караул! Их нужно спасать!

Девочка прошлась вокруг шалаша – вытаптывая линию, помещая шалаш внутрь прямоугольного пространства. «Это – плот» - решила она. Пыхтя, подняла длинную сухую ветку и воткнула её в снег посреди плота: «А это – мачта». Девочка порылась в кармашках; высыпала на снег несколько маленьких пустых пузырьков из-под маминых пилюль. Набрала в пузырьки снег и положила их в свою корзинку. Наломала с кустов сосулек, взяла несколько щепок, немного сухой травы из шалаша – уложила туда же, аккуратно подвинув звякнувшие пузырьки. Вот и провизия. ...Готово! Можно плыть. ...Девочка взялась рукой за мачту, представила вздувшиеся, гудящие в ветре паруса и скомандовала: «Полный вперёд!»

- «Эй!» Мореплаватели, увидев её, удивились, обрадовались. Взявшись за руки, они стояли на берегу и с надеждой смотрели на плот. Девочка помахала им рукой. Мореплаватели смотрели, и, наверное, думали: «Какая смелая, какая изумительная девочка! Она нас спасёт!» «Конечно, спасу, - думала в

ответ девочка. – Вы теперь не бойтесь!» Плот приблизился к берегу; мореплаватели подпрыгнули от нетерпения; она бросила им причальную верёвку...

...«Не зря день прошёл, – болтая ногами и жуя пирожное, деловито думала девочка, – спасла пару бедолаг. – Она вздохнула. – Жаль только, мама ужинать слишком рано позвала, – я бы спела им песенку, чтобы утешить и ободрить ещё больше». Девочка окончательно развеселилась. Доела пирожное и, испустив воинственный клич, отправилась пугать родителей: «У-гу-гу!!!»

...А снег за окнами падал, падал, падал. Не было такого мгновения, чтобы не поменялось то, что полагало себя неизменным. По-новому выстраивались тени и узоры, по-новому соединялись звуки и складывались запахи. По-новому наступала ночь. ...Мир менялся, менялся, менялся...)

Вчера, когда она возвращалась домой, прямо у подъезда к её ногам упал (нет, не упал – рухнул) бумажный листок. Впрочем, бумажным он оказался лишь при разгляде, а поначалу увиделся как лист древесный, оттенков и формы неизвестных, с дерева невиданного... Женщина даже задрала голову – ошарашенно – в попытке рассмотреть, выявить то самое дерево, с которого свалился лист. Да куда там! – всё деревья знакомые, годы здесь простоявшие... её годы...

Только взяв в руки, только окинув – цепляясь, спотыкаясь – взглядом, – узналось: бумажный, бумажный лист, осеянный письменами. И – странное дело! – женщине показалось, что это её почерк... хоть и другой, другой, но и чем-то её... что это писала она... Так нет же, не писала! – она бы помнила...

*«...зачем такое девочке?*

*откуда это девочке?...»*

Эти две строчки как-то само собой и сразу выхватились взглядом из текста. Почему-то – но почему? почему? – они напугали женщину, – она стиснула, будто б в ознобе, в руке листок – комкая, сминая – и бросилась, перепрыгивая через ступеньки, падая, ушибаясь, часто дыша, на третий этаж, к себе.

Захлопнув за собою дверь, женщина, всхлипывая, потиснулась в угол; замерла. Хотелось реветь. Очень хотелось реветь. Женщина расправила смятый листок... (и вновь – пока она его расправляла – листок обмахнулся в её сознание своей очевидной, очевидной-ускользающей древесностью)

Женщина дрожала, дрожала. Женщина плакала. Женщина читала, читала, читала, всё более и более уверяясь, что это написала она, но не понимая... не понимая...

*«ах девочка*

*печальная*

*твой бант растёт из веточки*

*твой взгляд растёт из камушка*

*из ветра – голова*

*...зачем такое девочке?*

*откуда это девочке?*

*она и так печальная*

*в зелёных рукавах*

*...приветная приветная*

*качает тело в изморозь*

*а сердце – улетелочка*

*а сердце – улетелочка*

*...и домик твой качается качается качается*

*и домик твой касается*

*качается в тебя*

*и день в тебя касается*

*и ночь в тебя касается  
и что-то начинается  
как будто б начинается...  
...всё время на приступочке  
всё время перед дверкою  
всё-время-не-входящая –  
юлящая волчком  
вблизи – совсем пропащая  
из дали – настоящая  
и тут и там – болящая  
и в том и тем – болящая  
...зачем такое девочке?  
откуда это девочке?  
.....  
...и что-то начинается  
и что-то начинается»*

«Вот... - бормотала женщина, - вот: птица сидит на верхушке мачты и первая замечает берег. Да вообще: только она его и видит. ...Но не рассказывает. Потому что никто ничего не спрашивает у птицы. Вот: проще не заметить берег и проплыть мимо, чем что-то – взбредёт же такое в голову! – спросить у птицы; ох, птица! – а птица, конечно, сидит на верхушке мачты, - ну и что? ...*Забавно и страшно.*»

Женщина взглянула в окно. Из окна – нос к носу – на неё смотрела осень.

Женщина закричала; выгнулась коромыслом, залопотала невнятное... Руки к вискам вскинула, - кинулась по квартире – из комнаты в комнату, - комнаты лихорадя, сматывая в клубок. Двигала мебель, сдёргивала покрывала, тыкалась лицом в паутинистый сумрак щелей. Что-то искала. Не находила... И опять искала.

Наконец, она выволокла из-под кровати длинный бумажный рулон; дёрнула за края – развернула в огромный бледно-метельный лист. Бросилась – бросилась! – к окну; прижала – прижала! – вжала в него шуршащий тяжёлый лист, - прижалась сама, плотно-плотно, крепко-крепко, как-то даже совсем не опасаясь, что может вывалиться – со стеклом, в стекле – на улицу и погибнуть.

Прижала. ...Обняла. Рухнула на пол. Сверху – медленно отлипая от стекла, вдохом вбирая в себя бесконечность, колышась, колышась... - на неё слетел лист, орисованный-облачённый на краткий миг в облик осени.

Женщина завернулась в лист; скуля, заползла под кухонный стол. Там и заснула.

...И увидела женщина сон.

Сидит она на стуле... нет, в кресле... (или на стуле?)... Чудилось: долго сидит, давно... и – седая, седая, как штукатурка, прямая, как указующий в звёзды палец; сидит и держит на коленях, оглаживая легонечко, горстку серой пушистой пряжи. А вокруг – огромная комната; сидит она в центре комнаты, и комната – пустая, пристальная, не холодная и не тёплая.

Вдруг – вдруг, из ниоткуда – в комнате произошло движение. Что-то явное-неопределимое – свивалось, копошилось, роилось, раздёргивалось на всякое-многое, беспрестанно меняясь, опадая и воспаряя вновь. Что-то... Но – вот: отслоилась маленькая фигурка и на четырёх быстрых лапках подбежала к женщине.

- Мя-у...!



Сначала, женщина подумала, что это её кот, что он пришёл навестить её во сне, рассказать о своей старости... может – прямо и неотрывно посмотреть в глаза, покачать головой... Да, ей часто казалось, что кот давно – напрямик, раз и навсегда – хочет поговорить с ней. О, как женщина боялась этого, как боялась! Вот, вот что было в его глазах: снежные хлопья – реющие лоскутья сердца, и – память, память, память... ..Но, присмотревшись, женщина поняла, что это совсем другой кот... точнее – кошечка. Молоденькая золотоглазая кошечка сидела у её ног и смотрела, смотрела... и поигрывала хвостом. Хвост дёргался-мотался, перемешивая тени и пыль, выказывая – призывно, очевидно – нетерпение, а может быть даже – досаду.

Женщина нагнулась со стула к кошке, желая коснуться её шёрстки – огладить, успокоить. Кошка перестала поигрывать хвостом, - замерла, вкрадчивая, как облизнувшийся фонарь.

- Ки-иса...

Онемелое от долгого сидения тело слушалось грузно, натужно. И как только оно шевельнулось, отвыкше пытаюсь осилить и соочерёдить сиплый ворох движений, - пряжа соскользнула с колен... упала... Странно как-то упала – резко и быстро, а была, казалось, легче облака.

Кошка сразу же, без какой-либо паузы, подхватила пряжу, и, поддавая её лапами, погнала по комнате. Подбрасывала, валяла, щекотала усами, - развлекалась вовсю! – развлекаясь, укатывала пряжу всё дальше, дальше, будто – два мячика удаляются в известную им, заранее оговоренную сторону, два мячика-друга. Удивительное, торжествующее трепетание образовывалось промеж и вокруг. Ах! : бабочка и жук бултыхаются в ромашках – в ромашковом ненаглядье, - только блики, блики пыльцы; бабочка, жук и солнце.

Женщина встала, удерживая-уминая сцепом зубов подкатившую слабость, - закричала, замахала руками, - побежала следом за кошкой.

Она бежала, и размахивала руками, и кричала, кричала, кричала... Ну до чего же огромная комната! ...Она отбежала уже достаточно далеко: если бы обернулась, больше не смогла бы увидеть место своего исхода. Но: продолжала бежать, не оборачиваясь, не замедляя бега.

В некий момент женщина почувствовала, что ей приятен бег. Очень приятен! Этот стремительный однозначный лёт напоминал собою долгожданное лакомство, которым хотелось объесться, а объевшись – наполнить им карманы, кастрюли, сумки, чтобы был запас, чтобы лакомства было вдосталь, а лакомиться – сколько угодно. ...Лицо пылает, - ветер, ветер; лицо-пригоршни, - э-гэ-гэй! ветра в пригоршнях – через край. Босиковый шлёп подошв сбивает пол в сметану-песок, и песок несётся следом, завывая, подталкивая, дразня.

В беге своём женщина почти позабыла – зачем? куда она бежала?.. И когда неожиданно-незаметно комната стянулась в открытую дверь, и женщина на полном ходу через дверной проём проскочила – появление кошки стало почти открытием.

Кошка лежала на земле, облокотившись локотком о пряжу. Лежала себе, усами потряхивала, мурлыкала.

- Привет, - кошка чуть приподнялась и махнула лапой. – Нос на бегу не отморозила?

Голосок кошки был тоненький, мелодичный, похожий на тихий размеренный плеск воды. Женщина зажмурилась; ей показалось что она находится на ошарашенном солнечным зноем и стрекотанием травной мелюзги речном берегу. Река плескала о берег, журчала в столбах просевших мостков, топорщила мелкие гребешки зыби... Река покачивала-овеивала берег, и берег виделся не началом бескрайней земли, а крошечным маревным островком – солнечным пятнышком, крутящимся взад и вперёд в речных руках.

Женщина сделала шаг в сторону кошки.

- Ты поосторожнее, - попросила кошка. – А то ещё наступишь!

- Нет, что ты... - пробормотала женщина, испуганно делая шаг назад.

Её поспешное отступление и резко метнувшийся следом подол платья учудили целую тучу пыли.

Кошка сморщила носик, чихнула. Из-под её лапы выпорхнул комок пряжи; плавно взмыв – он в несколько расширяющихся витков оказался над головой женщины, - затанцевал, смешно переваливаясь в воздухе с боку на бок.

- Будь любезна, поаккуратнее, - попросила кошка. – Не озорничай.

- Я не озорничаю... - Женщина задумалась. – Я за тобой бежала. Бежала... бежала... А зачем?

- А почему бы и нет? – улыбнулась кошка. – Или у тебя были другие планы?

- Да не было у меня никаких планов. И нет... - Женщина неожиданно заплакала. – У меня вообще ничего нет! – понимаешь?

Женщина плакала. Комок пряжи танцевал в воздухе. А кошка – улыбалась; улыбалась и смотрела на женщину.

- Не надоело? – спросила кошка.

- Что?

Женщина сквозь слёзы посмотрела на кошку, но даже не смогла её толком увидеть: кривые слёзные зеркала, смешные, грустные: кап... кап... кап... Что тут разберёшь?

- Реветь, - уточнила кошка.

Женщина обиделась, даже разозлилась, и сразу перестала плакать. Обиделась – повернулась к кошке спиной.

А только повернувшись, - пряжа над её головой прервала свой танец. Пряжа закружилась, всё быстрее, быстрее, становясь уж и вовсе ни на что не похожей в этом кружении, а если на что и похожей, то – по дороге к похожести, не сейчас. Но, невесть с чего, будто б ваза грохнулась на пол – пряжа полыхательно взгромынулась. *БУХ!* Миллионом пронзительных грозových игл просыпалась пряжа на женщину, продолжая – в пронизовании – прерванный танец.

Не в силах о чём-то подумать, что-то сказать, женщина отчаянным, почти надрывным движением развернулась обратно к кошке, полагая найти в ней поддержку, защиту от происходящего. Но...

Кошка зевнула. Мгновенно, сразу после зевка, кошка вспыхнула-возросла, став всем что только было вокруг, окружив женщину со всех сторон, и, от каждой стороны – распахнутый грозный оскал, вздыбленный в рык. Если б все медведи на свете собрались вместе и целью их собрания был бы совместный протяжный рык, то он показался бы чуть тренькающей виолончельной струной, по сравнению с тем, что услышала женщина.

Она метнулась – метнулась! – напропалую, не разбирая – куда? что? – чувствуя себя тополиной пушинкой, рядом с которой расхохотался северный ветер.

Миллион миллионов лет так было. А может быть – пять или шесть минут.

Женщина – в выдохе, в падении – открыла глаза. ...Сна не было. Она не спала!

Она лежала у обочины спокойной простой дороги, а рядом с ней, вокруг неё, чуть поодаль, но далеко не убежая – носилась в траве кошка.

- Ко-ошка... - слабо позвала женщина.

Кошка не обращала на женщину никакого внимания. Никакого! Носилась неспешно в травах, - мягко проёзжая в ромашках, приносясь к колокольчикам, сшибая белыми растопырчатыми усами с возвысей цветочных пыльцу. Иногда, казалось, она и помелькивала взглядом на женщину, но – мимолётно, в оскользь.

- Ко-ошка... - снова позвала женщина. – Ну кошка же!..

- Чего тебе? – без всякого любопытства отозвалась кошка; она внимательно обнюхивала обширный незабудковый куст, по-прежнему не обращая на женщину никакого внимания – даже не взглянула в её сторону.

- Что со мной? Где я?...

- Как это – «что, где», - удивилась кошка. – Ха! Валяется у обочины, раскинулась, как полоумная клякса, и спрашивает – «что, где».

- А что это за обочина? – Женщина приподнялась, поправляя заплеснувшие лицо волосы. – Что за дорога?

- Дорога, - ответила кошка.

- Дорога... - слабо повторила женщина. – Дорога...

(Дороги ей мерещились всю жизнь. И – всю жизнь – она пряталась от них.

Жажда... Жажда! Шелест родника к губам... а родник отодвигается, отодвигается... а родник тренькает издалёка, призывно, призывно... а к губам – пыль, и пыль охрустывает на зубах роем исстылых сиrotных планет... Жажда.

Шевельнёт левой ногой, правая – неподвижна. Шевельнёт правой, левая цепляется за углы. ...Вроде бы, ничего страшного, а если и есть какие невнятности, какие угрозы, то позже – наладится, объяснётся... Но – мишень изнутри, и каждая пуля – в яблочко, и тоска разрывает на мелкие крошечные кусочки. И каждый – каждый! – кусочек разрывает тоска.

Голый пол. Картины на стенах. Пресная каше на блюде.

Близкие – мимо. Дальние – топчутся у холодной груди, припадая к пустым сосцам. ...И из щелей, из трещин в замызганных стенах – обман, из визга петель дверных – вчерашние дни.

«...Мне не нужно ваших вымыслов и раздоров, прущих железной шеренгой из фабричного горкло-го бреда. Мне не нужно ваших фальшивых застолий, где пьют и едят друг друга. Мне не нужно гранитных оскалов ваших плеч, подбородков, взглядов.... Мне ничего этого не нужно. Но так получилось, что ненужное не спрашивает, не беспокоится – придвигается, требуя, умолая, - присутствует неотвратимо... Мне – бежать? ...Каждый раз, когда ноги приносят что-то более быстрое, чем обычно-шаганье, кажется – я мчусь!.. Куда?.. От чего и от кого? Кто вы? ...Может быть – от себя?»

Дороги... Они были в картинах... в картинах; в картинах женщина пыталась увидеть своих детей. Но дороги там были густо перемазаны краской, важностью хмурой персоны, зряшностью беглых оглядок. Случайная встреча, завиток тумана, жар бурлящих костровых излучин, - бывало, дороги измелькивались и оттуда... да – зря, она всё выпускала из рук, поскольку сама управляла руками, поскольку сама повелевала рукам *что им делать*.

Жажда.

А теперь...)

Женщина смотрела на дорогу.

Дорога как дорога, - пропылённая просёлочная лента, медленно льющаяся сквозь луга. Такие дороги женщина видела, по таким ходила. Иногда они были приятны в хождении, иногда – утомительны, но – обычны. Обычны. Женщина никак не могла взять в толк: зачем? зачем ради какой-то – обычной – дороги на неё свалилась такая куча казусов, такой ворох невероятностей? Да ещё эта жуткая насмешливая кошка... совершенно бесчувственная! нахальная, грубая!

- Сама дура, - в самое ухо сказала кошка.

Женщина вздрогнула.

Кошка стояла рядом и внимательно, не мигая смотрела на женщину.

- Послушай, что ты меня...

Женщина не договорила. Внезапно, она почувствовала, что вот-вот умрёт, а может быть – лопнет (но тоже – ничего себе!..). Что-то невесомое и светлое – да! изумрудные нити взмывающих майских берёз – колыхнулось, залопотало, перевернуло... А следом – следом! – горечью светлой, сладостью не-сносимой, визжащим трезвоном полудня... а следом – дальше! дальше! – пронзительный твёрдый клич, распирающий каждую капельку бытия всенаполненностью и сутью, очевидностью, верой, судьбой.

Женщина закричала.

Женщина закричала.

Женщина закричала, закричала, закричала...

«Иви, Иви, малыш...»

«Идём с нами!»...

«Мур-р-р...»...

Женщина стояла на обочине. Женщина смотрела.

А по дороге...

А по дороге шла она. Она. Она сама. (Неужели?) И шла-то как! – свободно, спокойно; будто бы даже и не шла – будто бы даже летела. Только...

(Она ли? Она?..) Да, она. ...Но и – мальчик... девочка... женщина (совсем другая!)... Ещё одна женщина, пожилая... мужчина, и ещё один мужчина... и ещё один... жаба... белка... кузнечик... и что-то... и что-то ещё... И всё – она! (Что же это?..)

Молния. Крик. Смех.

...Это пёс. Стремительно бегущий пёс. Меняющий – насквозь – обличья, вбирающий обличья в себя, разбрасывающий, - трепетный звон личин и миров, бьющий в колокола каждого пребывания. Ах, что за пёс! Да не пёс, нет – все псы на свете! все на свете звери! и птицы! и рыбы! и насекомые! и деревья! и травы! и камни! И – вода, льющаяся, неподвижная вода. И – огонь, пляшущий, созерцающий огонь. И – воздух, умирающий, бессмертный воздух. И – земля, вся земля, вся-какая-ни на есть земля... и – всё-всё-всё, всё, что под землёй и всё, что над землёй, всё, что на земле и всё, что из земли!

Но – призрачно, едва уловимо. Ах, что может уловить зрение? что могут уловить слух, обоняние, осязание? что могут уловить ощущения? Уловить, прижать, взлелеять, взять в бережение – вот всё, что они могут; но это – призрачно, да, - едва уловимо... и – в уловимости – иллюзорно.

Вот: проскрипела повозка... (Это – она?) Замерцала, - вздыбилась пучиной обочина!.. (Это – она?) Стрелы впились в ладонь; впились – изошли сомкнутыми устами, творящими речь! (Это – она?..) (Это – она?..) Поезд... мальчик... звёзды, ликующие в овёс!.. Мальчик махнул ей рукой. Мальчик подошёл и коснулся рукой её глаз.

Странно, что она так внезапно ослепла.

## У ОБОЧИНЫ

Огромный бирюзовый простор нежно и плотно сокасался со ступенями зала ожидания, ступени облизывая, лаская. Куда ни посмотри – он. Ни платформы, ни рельс, ни деревушки вдали, ни леса... а

только: море, море, море, небо и нежаркое спокойное солнце, полощущее тонкие лапки свои в бирюзовом мире. Так: всегда и само собой; так: увидев – удивление и восторг, и удивление, и восторг, и радость, - о чём же тут спрашивать? А воздух... прозрачный-прозрачный, будто бы даже нет его, а – повсюду, повсюду... Пряное, терпкое колобродье, одуванчиковые гребешки волн... бирюзовая даль...

- Море... - прошептал Капитан.

Сняв шляпу и распрямив плечи, восхищённо – расширенными глазами – смотрел он на море. О-о! ни капли разочарования не нашёл в себе: море оказалось именно таким, каким ему и представлялось... давным-давно... всю жизнь...

Семён Семёнович, последние полчаса расслабленный, почти – ну почти! – успокоившийся, снова испугался. Сам факт появления моря ещё не дошёл до его сознания, точнее – не подобрался вплотную, но...

Несколько волн – прибоем – расплеснулись, журча и бурливля, о верхние ступеньки зала ожидания. То ли сознание, то ли лицо (но что-то – точно!) обдало брызгами.

- Да нас же сейчас затопит! - закричал Семён Семёнович. - Спасайся, Капитан!

Не дожидаясь, не оборачиваясь – Семён Семёнович покарабкался на крышу. Залезть на одноэтажное сооружение было нетрудно: и выступы и впадинки – всего вдоволь... но в здравом уме, это Семён Семёнович понимал, он вряд ли бы сюда залез. ...Залез; потоптался по крышной жести; на корточки уселся и посмотрел вниз. Капитан, закрыв глаза, помахивая головой, жмурясь, ловил лоснящимся сияющим лицом морской ветер.

- Капитан, лезь сюда! – вопил Семён Семёнович. – Затопит, затопит!

Капитан обернулся.

- Ты зачем туда забрался, Сеня? – весело удивился он. – ...И чего орёшь? Ну-ка не балуйся, спускайся!

- Затопит же!

- Что с того? – поплескаемся! – бодро ответил Капитан. – Не стучи хвостом, Сеня! – рыбы народ свойский, не выдадут.

- Ага! Тебе всё шутки шутить, - обник лицом Семён Семёнович, а я плавать не умею...

- И я! – радостно сказал Капитан. – Тоже мне – печаль. – Захохотал: - Заплыв двух кирпичей на край света! На старт!.. Внимание!..

Семён Семёнович тоже засмеялся. Страх как навалился – так и изник, не оставив по себе ни памяти, ни ухмылки. Семён Семёнович смеялся, с любопытством озирает бирюзовую даль и никак не мог заяснить: что это он? зачем? почему? с какой стати он полез на крышу? ...да и вообще: как залез-то сюда...

- Смотри!

Капитан посмотрел, козырьком ладошковым лицо занавесив, куда показывал Семён Семёнович; взгляделся попристальнее.

Далеко-далеко, на волнышках малых, покачивалась – направлялась в их сторону – доска. На доске сидела кошка. ...И так она на доске сидела, что становилось ясно: кошка сама рулит, сама направляет, спокойно и уверенно, как заправский – очень уж шустрый! – волнобежец.

- Ну надо же... - покачал головой Капитан. Посмотрел на Семёна Семёновича. – Ты бы спускался, что ли, архар ты мой горный... Давай, чего там! – не утюжь хижинку.

- Слушай, помоги... - жалобно сказал Семён Семёнович, опасливо посмотрев вниз.

- Чего-чего?

С крыши послышался вздох.

- Прыгай!..

Семён Семёнович только моргал да вздыхал, - прыгать с крыши он явно не собирался.

- Ишь ты, баловник! Лез – помощи не просил...

Капитан, кряхтя, вскарабкался до полуметра от горюна-верхолаза, и, ухватив того за ворот, одним рывком сошвырнул вниз.

- Да ты что! – взвыл Семён Семёнович, потирая ушибленный бок. – Я же разбиться мог!

- С первого-то этажа! – хмыкнул спрыгнувший следом Капитан.

- Ну ты зверюга... Ну и зверюга... - в столах да охах прошипел, распрямляясь, Семён Семёнович.

- Точно! – довольно сказал Капитан. – Все мои жёны, со временем, приходили к такому же выводу. Так что, Сеня, на тебе я, пожалуй, не женюсь, - ты и так всё осознал.

- Да ну, опять не поймёшь что! Смешки ему...

А куда приятели-сосидельцы альпинизмом да перебрёхом занимались – досочка с кошкой: плывь-плывь, плывь-плывь... Вот и в порожек досочка ткнулась; на порожек кошка выскочила, - невдалёке от краешка уселась.

- Привет, кошуня!

Капитан пригрузился на корточки, к кошке лапищу протянул – огладил неуклюже от головы к хвосту. Кошка податливо потянулась, мурлыкнула.

А и хороша! Чёрное с белым – мерцанием проливным – мерцающий солнечный дождь! – всюду и равномерно: где белое большое пятно – там и большое чёрное, где чёрная полоска – там и белая, даже кляксы и зигзаги – друг с дружкой, - друг перед другом не выпендриваясь, не выпячиваясь наперёд. Тельце – не маленькое и не большое, среднее; стройненькая, точёная, в профиль – зевнувшая прозрачность, не иначе. Вот: дышала, дышала волна, выдохнула, - выдох заструился на досочке к берегу – обернулся кошкой. Ушки – дёрг-дёрг...

- Мореплавательница моя, - неумело сиропил кошку Капитан. – Ласковая... Геройская животина, что и скажешь!

Семён Семёнович рядышком подсел.

- Как ты думаешь, откуда она в море взялась?

- И думать не буду! Вот ещё! – отмахнулся Капитан. – А мы? ...А море откуда взялось? а? ...Вот то-то!

Семён Семёнович не сдавался.

- Ты погоди! Море – это море, откуда бы оно ни взялось...

Запнулся. Вспомнил: и впрямь – море... Взялось откуда-то!..

- А кошка – это кошка, - попробовал поставить точку Капитан.

- Нет, ты погоди, - опомнился Семён Семёнович. – Море – море; кошка – кошка; а откуда кошка – в море? Да ещё на доске пристроилась... и ловко как!

- Закурил бы ты лучше, Семён, чем дурацкими мыслями такой чудесный воздух засорять. Затянешься разок, другой – глядишь и прошло.

Семён Семёнович задумчиво почесал кошку за ухом. «Всё перепуталось, - думал он, - всё перемешалось. ...Но – хорошо! А почему?.. Хоть раздерись, - уходить отсюда не хочется. Боязно и хорошо. ...Я теперь обратно – нет, - отчаянно подумал он. – Хоть бы и силком; упрусь, зубами за стены буду цепляться!» Рассуждать, выяснять, раскладывать всё по полочкам его уже не тянуло.

- Ки-иса... Ки-исушка... - басисто ворковал Капитан.

Кошка жмурилась. Кошка всячески выражала удовольствие и поддержку дальнейшим ласкам. Кошка одобрительно елозила хвостом по бетонному полу да поблёскивала чуть высунутым влажным язычком.

Тут одна из волн, вздыбившись, жирно выхлестнулась к дверям – окатив брызгами всех троих.

- Пошли в зал! – определил решительно Капитан.

Он ухватил кошку на руки и первым вшагнул. Семён Семёнович, опасливо озираясь, втиснулся следом.

- Двери будем закрывать?

- Да ну!

Капитан пристроил на лавке кошку; пристроился сам. Семён Семёнович уселся напротив. Посетовал:

- Есть хочется... Кошка тоже, поди, голодная. Сколько её по морю мотало? – может и несколько дней...

Капитан нахмурился.

- Не бузи! ...Вон – бумаги полно! – ешь вволю.

- Бумагу?

- А что? На холяву и пузырь – котлета.

- Опять шутишь...

Семён Семёнович вздохнул, встал с лавки. Подошёл к окну; на этот раз за окном было то же что и за дверями: волны, волны, волны... даль... «Ну до чего же есть хочется! – разнервничался Семён Семёнович. – Я бы сейчас ведро картошки – махом!..»

- Может, мидий пойдём поищем? – неуверенно предложил он.

- Кто к добыче тянется – тот добычей станется, - поглаживая кошку, назидательно сказал Капитан. - Посунешься до улиток, а тут – откуда ни возьмись! – какой-нибудь хулиганистый спрут. Во! Обидит же он тебя, Сеня, - язык покажет, а то и – что с него взять! – отшлёпает.

- Ничего, не отшлёпает... - пробурчал Семён Семёнович. – Авось, хоть бутерброд даст... Два!

- Ну да, - зевнул Капитан. – И горчицы на уши.

Семён Семёнович загрустил. Загрустил-помрачнел. Нахохлился, - прошёлся рывками несколько раз взад-вперёд, - досадливо крикнул «Э-эх!...» и с силой топнул ногой. От стены к стене, гулко дребезжа, метнулось обрадованное эхо.

Кошка встряхнулась, легко и ажурно соскочила с коленей Капитана; соскочила – скользнула за дверь.

- Что ж ты, Семён!

Капитан и Семён Семёнович одновременно бросились к дверям. Как-то одиноко показалось им – сразу, обоим – без кошки, - привыкли. ...Но – то ли двинулись оба слишком резко, то ли иная какая неясность – грохнулись у дверей, мягко так, плавно, в ватном звенельном обмороке.

- Ну и ну... - со стоном прохрипел Капитан, сделав раз за разом целых две неудачных попытки встать. – Что за выкрутасы!..

Наконец, с третьей попытки – встал; распрямился, покачиваясь, головой потрясывая; спиной в стенку упёрся, засопел. Первый раз в жизни Капитан грохнулся в обморок! Никогда раньше не случилось, и вот – пожалуйста... Будьте любезны! Непривычный, неожиданный обмельк беспомощности очень его удивил.

Внизу закопошился Семён Семёнович. Покопошился – сел на полу; поправил сбившиеся очки, шальными мутными глазами уставился на приятеля.

- Живот болит, - сообщил он снизу вверх. – Это ты меня придавил?

- Обязательно, - надтреснуто, но деловито подтвердил Капитан. – Не на пол же падать! – жёстко там...

Он помог встать потиравшему ушибленный живот Семёну Семёновичу. Вместе – в полуобнимку – уселись на лавке у двери.

- Недодумцы мы с тобой, Сеня, - сокрушённо сказал Капитан, - плюхи шерстяные! Ну с чего мы рыпнулись, как оглашенные? с чего? ...Ты-то – ладно, ты от рождения, видать, весь какой-то навзничь затетёханный, а – я?... я-то, сундук корявый, чего вскинулся? У-у-у...

- Оба хороши, - вздохнул Семён Семёнович.

- И котяра ушмыгнула...

- Да она – что! Она, небось, рыбу пошла ловить, не то что мы, - гнул свою, дообморочную, линию Семён Семёнович. Может и нам...?

- Ладно, пошли на воздух. Ты с голодухи, чую, скоро за меня примешься.

- Возможно... - Придирчиво осмотрел Капитана, облизнулся. – Вот с шляпы и начну.

- Запор будет, - коротко сказал Капитан. – Пошли!

...Кошка сидела на верхней ступеньке, впритык к воде, - внимательно смотрела вдаль. Взгляду её вослед – посмотрели и приятели.

Плот. Большой прямоугольный плот, с парусом, вёслами, шалашиком чуть к тылу от центра. На плоту стояла девочка. Девочка держалась правой рукой за мачту, левая – козырёк у бровей, - всматривалась в близящуюся сушу. Выражение её лица было торжественным, и – из торжественности – вполне очевидным: приключения! шторма! – полный вперёд! – вот, ну конечно!: два потерпевших кораблекрушение морских бродяги, вызывающие о помощи! Вперёд! Скорей!

- Однако, здесь довольно оживлённое судоходство, - пробормотал, потирая лоб, Капитан. – Повернулся к разинувшему рот Семёну Семёновичу. – Скоро целыми эскадрами попрутся. Будем, Сеня, порт строить...

Плот причалил к ступеням. Девочка, размахнувшись, бросила свёрнутую верёвку.

- Держите, - чего смотрите? Крепите!

Капитан ухватил верёвку и торопливо прикрутил конец к чугунным перильцам.

- Что встали? – идите сюда! – звонко засмеялась девочка.

Семён Семёнович – как в трансе – шагнул на плот. Капитан обернулся на кошку, позвал. Кошка одобрительно дёрнула ушами: идите, мол, не раздумывайте. А ты? – кивком спросил Капитан. Кошка шевельнула усами: нет, идите без меня. Легко метнувшись – в несколько резких и точных движений – кошка оказалась на крыше; разлеглась на солнышке, заурчала.

- Не тяните резину, - строго сказала девочка.

- Почему? – машинально спросил Капитан.

- Да обедать же пора! – возмутилась девочка и притопнула ножкой.

Тут только заметил Капитан, что у шалашика лежит разостланная скатерть, рядом со скатертью – корзинка, и у корзинки, раздувая ноздри, очень уж страшно облизываясь, трётся, подсигивая, пузырясь, Семён. «Милое дело, - веселея, подумал Капитан. – Кормить собираются!» Подобрался к корзине, принюхался. Ух ты!..

- А ну-ка – руки мыть, живо, - скомандовала девочка.

- Да у нас, вроде, чистые... - робко сказал Семён Семёнович и заискивающе моргнул.

- Всё верно, Сеня, - не ерунди. По крышам мотались, на полу валялись, - как рукам чистыми быть? Давай, пошли, не ленись.

Пока приятели, на корточках присев, бултыхали лапами в море с края плота – девочка стала выгружать из корзинки снедь, раскладывая всё по скатерти вдумчиво, аккуратно. Первой стол украсила варёная картошка, целая груда. Потом – горстка соли; хлеб; огурцы, помидоры, лук. Следом – большая бутыл с молоком, бутыл с водой, бутыл с соком. Последним появился мешочек, доверху полный разнообразными печенюшками и конфетами. Поставила две кружки.

- Лопайте, не стесняйтесь, - сказала девочка, довольно поглядывая на своих гостей.



Семён Семёнович сразу схватил верхнюю картофелину и – то ли всхлипнув, то ли чавкнув – проглотил её почти не жуя. «Надо же... - обалдело покачал головой Капитан, посмотрев на обжористого соседа. – Будто еды никогда не видел. Одичал...» Капитан налил себе молока и неторопливо выпил, закусил хлебом с картошкой. «Хорошо!..» Пробасил, умильно и благодарно искря глазами:

- А ты с нами, хозяйюшка? ...Откушала бы!

- Не-е... - девочка рассеянно улыбнулась. - Меня скоро ужинать позовут.

Капитан не понял, но и переспрашивать не стал. «Само разъяснится, - думал он. – ...Эх, белобрысенькая, кормилица-спасительница ты наша, ах и молодчина!» Тут он, спохватившись, вспомнил: кошка!

- Эй, Сеня, - толкнул Капитан хрумкающего соседа, - жрать мы с тобой горазды, а о кошке забыли. Надо ей молока налить.

Поозирались. Кошки нигде не было. Наверное, где-нибудь в зале... - свернулась на лавке, дремлет... - решили приятели.

- Слышь, хозяйюшка, я бутылку с молоком возьму, можно? У нас там кошка, - покормить надо.

Девочка вместо слов махнула рукой: берите, чего там... нашли о чём спрашивать! Заторопила:

- Вы лопайте, лопайте, а то мне уж – скоро...

Приятели плотнее навалились на пищу. По сторонам не смотрели – кушали да запивали, да снова кушали, да снова запивали. У-уф-ф-ф...

- Благодарствуй, ласковая! – отвалился от трапезы Капитан.

- Ага... - сыто шуршнул вдогонку Семён Семёнович. ...Подскочил. Упустил дрогнувшими пальцами огурец на скатерть и покрутил головой: - Вот те на!

Сидели они на пригорке, а не на плоту. Плоты – не было... Не было ни зала ожидания, ни девочки, ни моря... Рощица вокруг, а следом – луг огромнейший, а дальше – снова – рощицы, рощицы, рощицы... луга...

Капитан икнул.

...Семён Семёнович – сначала тихо, потом всё громче и громче – засмеялся. Он заливался, бултыхаясь в траве... а ветерок плясался в цветах... а солнышко светило... а бабочки летали...

«Уж не тронулся ли, - встревожился Капитан. – Вот будет история!» Он пригляделся повнимательнее. «Нет! – успокоил себя. – Вроде не шальные глазёнки-то...»

- И с чего ты зашёлся? – доброжелательно поинтересовался Капитан. – Али вспомнил что весёлое? Так не таи, поделись с товарищем!

Семён Семёнович – и внятного-то ничего не вымолвить! – зашёлся пуще прежнего. Лежит, за уплотнившийся животик уцепился, трясёт его всего, аж в ушах тошно!

- Сеня, - строго сказал Капитан, - я тоже не дурак всхохотнуть разок, другой, - был бы повод. ...Уймись и излагай.

Под строгим, внушительным взглядом приятеля Семён Семёнович мало-помалу успокоился. Уселся, отдуваясь, слёзы рукавом вытер, - изложил:

- Уф-ф... Ничего я не вспомнил, понятно тебе!

- А что? – осведомился Капитан.

- Всё просто: хорошо мне здесь. Хорошо и всё тут!

Семён Семёнович вскочил и сбежал с пригорка; сбежал – кинулся с берёзами обниматься. Славно ему стало! Вот: чудилось – опомнился, отмёрз, а прежде – в глыбе прозрачной елозился, маялся, на мир сквозь щёлку малую смотрел – насмотреться не мог, а и к выбору тужиться было боязно. Солнышко вместо него поднатужилось – глыбу растопило; глыба распалась, - заскакал он, запрыгал!

А Капитана после сытной трапезы ко сну стало клонить. «Тут, должно быть, подреманье приятное, ухлёбное выйдет, - думалось ему. – Только вот Семён зачудился не к моменту...» Усмехнулся:

- Жена-то твоя, небось, в нервах, как зюзя: обзванивает знакомых и незнакомых, бьёт в колокола?

- Да ну её, - беспечно отмахнулся Семён Семёнович.

- Эк ты! – Капитан хмыкнул. – Ну, может, оно и так... А вернёшься – на брови не наплюют?

- А я не вернусь! – последовал задорный ответ.

- Ишь, расхрабился! – Вздыхнул. – И мне некуда... Нет, оно, конечно, можно найти – куда, но только что это за «куда», если его искать надо?

Капитан, сидючи, поёрзал; поёрзал-поёрзал, – руки за голову заложил – запрокинулся; разлёгся, глаза закрыл. Милый пригорочек! Солнышко не назойливое, травка прозрачная, лёгкая, воздух свеж, ароматен. Бабочек – что фанфар в вихре: полным-полнёхонько; мелькают, перелетают с цветка на цветок, да ещё Сеня к ним притрусился, будто б и тоже – с цветка на цветок, вот до чего человек залегчел!

Топ-топ-топ! Топ-топ-топ!

- Да уймись ты, - проворчал Капитан. - Дай полежать спокойно!

- Вот и не уймусь! Вот и не уймусь! – переливчато заголосили над ухом.

«Развезло сироту, - дремотно думалось Капитану. – Зашёлся, понимаешь, как гусь на вишне; пока всех бабочек не распугает – не остановится.»

Внезапно стало тихо. Внезапно... Капитан встревоженно приподнялся на локте и глянул в сторону притихшего игруна.

Семён Семёнович стоял, уставясь в траву. Тихо стоял. Многозначительно.

- Ты чего, Семён?

- А смотри!

Капитан, кряхтя, встал, подковылял поближе и увидел столик. Маленький столик, низкий, в траве неприметный, к тому же и цветом с ней схожий. На столике лежал ненадписанный конверт.

- А? – каково? – подпрыгнул, лучась от удовольствия, Семён Семёнович.

Капитан – вместо ответа – нагнулся и взял конверт. Открыл; достал листок бумаги. Знакомый листок! – и бумагой и формой и почерком, - целыми грудями они выюжили недавно на станции, в зале ожидания. Капитан спокойно, медленно прочитал:

*«Если кто-то вышел из дождя, то это совсем не означает, что тот, кто вышел из дождя – прошёл сквозь дождь. Может быть, он просто стоял у окна и любовался узорной изморозью, при вольно блестящей по стеклу. Может быть, он и сейчас стоит у окна...»*

*«Кто-то» выходит из дождя... и стоит у окна, любясь изморозью. И что-то ещё...*

*С какой стороны вы смотрите? Может быть, вы смотрите в лужу и видите только то, что отражается. Только. И ещё что-то...*»

Приятеля помолчали.

- Ну и кто это написал, Сеня? ...Ты или я?

Семён Семёнович, пожав плечами, взял из рук Капитана листок. Обсмотрел его со всех сторон, обнюхал и даже, зачем-то, попробовал на вкус, зажевав уголок.

- Не наелся, что ли?! – вскрикнул Капитан, выхватывая из пасти приятеля листок. – Вон, ветки сухие лежат, - иди, пожуй!

- Я так, на всякий случай... - смутился Семён Семёнович. – Знаешь, на вкус – чуток, как земляничный...

Капитан, аккуратно сложив листок – спрятал его во внутренний карман пиджака. Посопел; показал приятелю кулак. Семён Семёнович в ответ показал язык.

- Знаешь, Сеня, - задумчиво сказал Капитан, - знаком я с тобой всего ничего, но, мне кажется, что ты здорово изменился. *Ты всегдашний* и *ты теперешний* – совершенно разные персоны. Не находишь?

- Без тебя знаю, - довольственно запунцовелся Семён Семёнович и задиристо прибавил: - Ты мне мозги не пудри, – дай лучше листок доесть.

- Не дам, - коротко ответил Капитан. – Ты мне спать не давал? – не давал! А туда же...

В пикировке участвовали только языки; оба думали, думали напряжённо, въедливо, интуитивно осознав некую задачу, предъявленную для решения, разумом же – пока не принятую, но разумом именно и решаемую. От послеобеденной разнеженности не осталось ни завитка, ни отзвука. Взгляды их бесцельно рыскали по окрестностям в поисках хоть какой-нибудь опоры извне... пусть так!.. пусть даже не опоры, а хотя бы сиюмгновенной отдушины, сиюмгновенного упора. Взгляды цеплялись – оскальзывая – за рощицы, потом за луга, и снова за рощицы, и снова за луга...

- Пойдём, а? – бормотнул Капитан. – Вот – чую: не надо нам здесь дальше, надо идти.

- Я тоже, - эхом отозвался Семён Семёнович. – А куда?

- Да хоть во-он в ту рощицу, - махнул рукой Капитан. – Темнеется там что-то... Нам всё равно нужно искать ночлег, - не нравится мне эвонная, та, что подальше, тучка...

- Думаешь, жильё?

- Вроде... Дойдём – узнаем.

Семён Семёнович не возражал. Приятели собрали в оставленную девочкой скатерть остатки провизии, - провизию – узлом – взвалил на плечо Капитан. Наметили наиудобнейшую линию продвижения. Зашагали неспешно.

Шлось легко, незадержно. Приятственно. Опять же – бабочки, которых так и не удалось в давешнем игривом настроении распугать Семёну Семёновичу, шмели там всяческие, иная звенельная живность... Но: чем ближе приятели подходили к искомому «темнеется», тем внимательнее, тем озабоченнее становились их взгляды. Так подходят к старым знакомым, которых давно не видели, которых узнать – как не узнаешь! но которых узнать – поди узнай... годы прошли, годы.

Не доходя шагов пятидесяти до строения, приятели, не сговариваясь, остановились. Друг на друга посмотрели. Встали теснее.

- Узнаёшь? – шепнул Капитан. Распрямился, узел на землю опустил.

- Как не узнать... - шепнул в ответ Семён Семёнович. – Мудрёное тутошнее житьё, что ни говори, а всё ж – далеко не отшвыривает.

Общие контуры остались прежние: рельсы, платформа, зал ожидания... прежние... если не приглядываться, а если приглядываться, то ничего прежнего и помину не было. Рельсы выглядывали чуть, кое-где – то тут, то там, вымелькивая из травы рыжими крапчатыми брикетами; проржавели они, похоже, давно, а что до шпал – так их и совсем видно не было, ясно – сгнили, перемешались с землёй, поросли травами. Платформа – в дырных провалинах, в липовой да осиновой крепкой поросли, на вихлястых выступах ржавых арматурных плетушек расселся, гомоня и бузотеря, целый табун воробьёв. А зал ожидания...

Приятели, постояв немного, направились к зданию. Нерешительно направились, робко. Бездверный вход миновав – снова остановились.

- Однако... - выдохнул Капитан. Рот разиня, заелозил взглядом по нутру зальной кубатуры.

Семён Семёнович ничего не сказал. Молча подошёл к прогнившему каркасу одной из лавок, и, мусор всяческий сгребя да на землю побросав, уселся на край. Уселся, мордашку в горстях зажал, задумался.

Потолка, собственно, в зале не было – потолок обвалился. Не целиком, не полностью, но – по большей части: сквозь прорехи, лёжа на полу, вполне можно было наблюдать небеса, не испытывая особых затруднений к обзору. Крышная жестяная обшивка, кое-где захлынувшая внутрь и льнувшая к стенам, напоминала собой стайку уснувших флагов. Разноразмерные горки мусора – кусочное крошево: бетон, кирпичи, пластик, стекло... гнилая древесина, верёвки какие-то, провода... то да сё, и всё – вперемишку с землёй, с перегибом... Прозелень вокруг: то травка, то кустик, а у дальней стены – высокое деревце, дальше прежнего уровня крыши взметнувшееся.

Капитан протиснулся к ближнему от него оконному проёму и уселся на то, что когда-то было подоконником. Узел рядом пристроил. Скособочился. Закусил и поджёг сигарету.

- Лет сто прошло... Как полагаешь?

- Пятьдесят, вряд ли больше, - рассудительно возразил Семён Семёнович.

- Ну, хоть и пятьдесят, пусть, - не стал спорить Капитан. – А мы здесь часа три-четыре назад были... Само Время тут пробежалось, не иначе! – Помолчал, затягиваясь и дымя. – В любом случае, от дождика нам здесь не укрыться, толком не переночевать. Надо, Сеня, другое местечко подыскивать. Глянь! – тучка близко, солнышко низко, - будет нам ливень и ночь, вместо дрёмы.

- А смысл? – легковесно проговорил Семён Семёнович. – Кто его знает, где мы через час окажемся! Может, там, где окажемся, есть и крыша и перины, - чего суетится?

- Но сейчас-то мы на станции, - резонно заметил Капитан. – Может, окажемся, может, не окажемся... - чего гадать? – Он затушил сигарету и встал. – Ты же сюда с дачи пришлёпал, так?

- Так.

- Так и пошли к тебе на дачу. Чего тянуть!

Семён Семёнович оторопел.

- погоди! – Он обвёл рукой окрестности. – Здесь – руины, невесть сколько времени прошло, с чего же ты взял, что моя дача цела? Тут бетон и кирпич, а – обникло, моя же дача – обычная, летняя, доски да фанера.

- И что? – так на лавке и будешь сидеть?

- Но я же говорю...

- Семён, - перебил его Капитан, - один мой знакомый так вот сидел, сидел – и птенцов высидел. А что с ними делать? – пришлось в страусы пойти. Просёк угрозу?

Семён Семёнович улыбнулся.

- Ладно, убедил, только на этом – всё, ночлег. – Пожаловался: - Устал я что-то...

- Далеко до дачи?

- Минут двадцать.

Капитан взвалил узел на спину и первым пошёл к выходу. Семён Семёнович поотстал. Привык, видать, к этому месту, приласкало оно его. «Ну, я ещё вернусь» - решительно подумал Семён Семёнович, и, не оглядываясь (но – помня), бодро зашагал вслед приятелю.

К дачному посёлку маленькую экспедицию Семён Семёнович вёл наугад. Неуверенность бултыхалась в нём. Понятно! По совсем незнакомой местности шли. Раньше – широкая, за десятилетия утрамбованная непрерывными стадами дачников, тропа тянулась опушкой леса, где справа – лес, а слева – деревня в несколько длинных улиц. Теперь же тропка была узенькая, бугристая, а лес высился с обеих сторон, измахиваясь косматыми макушками в вечернем небе. И – никого. А место-то довольно оживлённое, людное, особенно – летом. Да и теперь... Впрочем, шли они не сбиваясь. Ещё от станции, к станции спиной поворотившись, выбрал Семён Семёнович направление – строго на север, так в этом направлении и продвигались.

- Ну и ну, корова! – воскликнул Капитан.

Приятели остановились. Промежду деревьями, в кустах, восседала – на собачий манер – большая белая корова, явно беспризорная и довольно упитанная. Корова не обратила на прохожих пешеходов ни малейшего внимания. Она смотрела на берёзовый листок, болтающийся перед её носом, - светлые коровьи глаза трубились-сиялись восторгом.

- Хочешь булки? – Капитан сунул руку в узел и вытащил кусок хлеба. – На-ка, бери!

Корова скользнула по нему взглядом и, мимолётно вздохнув, снова уставилась на листок.

- Оставь, она не голодная. Видишь, бока какие, - заметил Семён Семёнович.

Но Капитан не собирался сдаваться.

- Врёшь, кадушка рогатая, - развеселился он. – Чтоб корова – да хлеб не брала! Быть такого не может. – Поближе подошёл, сунул кусок чуть ли не к носу. – Бери!

Лесная созерцательница опять вздохнула.

- Ну-ка, бери!

- Слушай, отвяжись, а? – попросила корова.

- Что?!

Капитан откатнулся и выронил хлеб. Оба приятеля, выпучив глаза, недвижно усталились на говорившую, пытаюсь вместишь в себя факт: говорящая корова. Факт вмещался с трудом.

- ...Как вы сказали?.. – натянато переспросил Капитан.

- Я сказала: отвяжись!

Тут приятелей будто б сдунуло, будто б понесло куда-то, крутя вверх тормашками, потрясая, наплёскивая в разинутые рты пыль и песок. Год их так носило или секунду... - ни тот ни другой не взяли бы ответить... Но – основательно, но – далеко. А может быть – близко...

Очнулись путешественники у костра. Бурно и ярко полыхало пламя. Длинные оранжевые языки с явным удовольствием лизали подвешенный на толстой палке булькающий котелок. Лес высвечивался только поблизости, немногими деревьями. И, поблизости же – плясали, переваливаясь, тени, сплетая бесчисленные лапы свои в загадочный тонкий узор.

И Семён Семёнович и Капитан как должное, как само собой разумеющееся приняли своё появление здесь... здесь! именно здесь! Костёр, булькающий котелок, две стоящие у кромки пепла железные эмалированные кружки, шалаш за спиной – всё было понятно, близко. ...Капитан снял с огня котелок, - разлил по кружкам крепкий душистый чай. Семён Семёнович, привстав, дотянулся до горки сухих веток, и несколько веток – подбросил в костёр. Всё понятно, всё близко, всё само собой разумеется.

Капитан отодвинул кружки подальше от жара, достал из кармана надкусанный Семёном Семёновичем листок, всмотрелся. Листок как был – так и остался, но текст – оказался другим. Приятели не удивились. Происходящее с ними – то и дело происходящее – виделось теперь лёгким, внятным, простым. И – ясным. Ясным! – почти понятным... Они нагнулись, буквы высвечивая в сверканье костра, внимательно вглядываясь, старательно понимая...

*«О! Вселенная обожает играть. Вселенная играет сама с собой, привязчиво и надрывно. А с кем же ей ещё играть? – никого больше нет...»*

*Вертятся колёса. Катится повозка. Театр Писем – удаляется и приближается... удаляется и приближается, - никогда не покидает своего места. ...Это игра, игра-игрушечка... куклы-занавески, карусели-танцы... Но – с сюрпризом. (А может – и не с сюрпризом вовсе, а – так: отринуло, возрп-тало, встало, крепко упираясь сильными лапами... За собой поманило...)*

*Хоп! (да и «хоп» - так себе, чуточку...) – и зрительный зал со сценой поменялись местами. Хоп! – и вновь поменялись. Хоп! – и вновь. Хоп! – и вновь. ... И кружится, кружится, кружится... А – вовсе и не кружится. Вот оно как.*

*Вот как: всего-то и навсего: занавес поднялся, а вровень с поднятием занавеса первого – опустился занавес второй, не пугая своим прибытием зрительного зала, не отчуждая себя от облика занавеса первого... (А может быть и так: перекрутился занавес-декорация на оси, как перекручивается и иной стороной ложится монета... или – рябиновый лист в пальцах октябрьского вихря, вездешнего тротуарного вьюна) И занавес тот – второй, от первого неотделимый – Занавес Зеркальный.*

*И Вселенная – отсюда – расщёлкивается невиданной трелью. И Вселенная набухает бурлящим крепнущим солнечным шаром, раздвигая дома и дразня голубей. И полощет в лужицах утренних лапки. И – смотрит, смотрит, смотрит на каждого, каждому – позволяя смотреть на себя.*

*!Вот как может быть. А может и не быть. А?*

*...И – в Занавесе Зеркальном – истерика! вопль прожекторов! трясущееся вокруг ладоней небо!*

*Поди, разбери – на какой размывной сиятельной ноте оборвалась, закончившись вовсе, игра. ...Ну, какая уж там игра, - венчальный гимн, и трясущееся вокруг ладоней небо, жаждущее успокоения. Вот ведь как. Именно так. (Или – как-то иначе.)»*

Они сидели и смотрели на пламя. И пламя смотрело на них. А когда Семён Семёнович поднял взгляд и посмотрел на Капитана – то Капитана он не увидел, увидел зеркало. А когда Капитан поднял взгляд и посмотрел на Семёна Семёновича – то не увидел приятеля своего, Сеньку-бузотёра, но – зеркало, зеркало... во весь рост и со всех сторон.

«Всё правильно, - думал Семён Семёнович, - и голова может быть бутонem, и – если солнышко докоснётся – раскрыться навстречь. Бродят цветы по мерзлотной земле, - лапти плетут для корней, кутаются в украденную шерсть. ...Нам бы теперь только согреться! только согреться...»

«Всё верно, - думал Капитан, - эхо гораздо быстрее, чем наше шептанье ему. Вот... - Капитан усмехнулся, расправил плечи, - вот – человек со связанными руками и ногами, с клепом во рту. Человек умирает от голода. Он сам себя связал, а теперь – умирает от голода. Но идёт – мимо проходит – некто, чьи карманы полны снедью, и руки свободны и ноги. Проходит; останавливается; подходит ближе. Просит человека развязать себя, не мучить зряшно, отказаться от вздорной участи. Тут выясняется, что связанный человек – не слышит, не может слышать, - в его ушах затычки. Подошедший некто – протягивает человеку еду, но... - руки-то связаны, как возьмишь? И тогда некто хватает человека – трясёт изо всех сил, стараясь стряхнуть с бедолаги путы. Некто трясёт. Путы слабнут. Человек стонет. ...Сколько ж его будут трясти-содрогать? – столько, сколько нужно, сколько нужно именно этому человеку. ...Хватит ли сил у пришедшего на помощь – он не знает; он и не задумывается над этим – это ни к чему.»

В зеркале проступил худой косматый оборванец. Он стоял на коленях в снегу и разбирал провеянные по белизне буквы; разбирал – взглядом шуршал в снежинках, плыл, наполнялся.

«Это я... - подумал Семён Семёнович... подумал Капитан... - Трудно себя узнать, если не знаешь ничего, кроме «трудно». Страшно поверить себе – оказывается, ты и есть тот мост, которого ты ждёшь-недождёшься на краю пропасти...»

Мелькнула знакомая кошачья фигурка. Следом бежала женщина. Женщине нравилось, нравилось бежать, она испытывала наслаждение от бега. Следом – бежал крик...

И снова: косматый оборванец... бегущая женщина... клубы пара, вихрящиеся в морозную круговорот из клыкастой собачьей пасти... и ещё... и ещё... Вот: смутный, размывный силуэт мальчика. Маль-

чик задумался. Мальчик поднёс руку к тетради. Мальчик перевернул страницу. ...Лес дрогнул – качнулся – под напором ветра.

«Зачем я был? – думал Семён Семёнович. – Откуда? ...Да и был ли? Каждая секунда на моей ладони – весом с горный хребет, как такое поднимешь, своего хребта не расплющив? – а, должно быть, поднимешь! Ну да.»

«...мотаемся, мотаемся, мотаемся между наших правд испиоченным маленьким мячиком... – думал Капитан. – Нашли себе забаву! ...Как в зеркало утром ни посмотришь – всё забавно; и смеёшься, смеёшься, смеёшься, покуда не подступят слёзы, и ты не упадёшь навзничь.»

«А так подумать – жуть! – содрогнулся про себя Семён Семёнович. – Мысли ж всё время копошатся. То и дело: вжик-вжик, вжик-вжик. И что за мысли? – сор да копать, без связи и наполнения: чтоб настоящему – куда там! – с одного на другое, что само плюхнется. Даже и во сне – разве пустует голова? Но и во сне и наяву – я-то при чём? я-то где? – и коснуться не успеваю, – всё без моего участия.» Семён Семёнович оплёл пальцами кружку. Стиснул. Горячий металл огненными брызгами полыхнулся в руку. Но пальцев Семён Семёнович не разжал, – крепче стиснул, до хруста, до белизны. И кипяток хмурь уступила настойчивому пожатью. Пальцам стало спокойно, равновесно. Пальцам вслед – и сам Семён Семёнович в покой да равновесие облёкся. Замер. «Пока я думал не думая – меня и не было! – радостно понял он. – Не было! Я только рождался. И рождение длилось так долго, так долго!.. – и мгновения не прошмыгнуло... – но меньше, меньше! – а мне показалось, что всю мою жизнь... Вот, – понял он ещё, – я рождаюсь, и пена неосмысленности моей, вздоры, метания – плёнка плода, плащ и спасенье, покуда я не научился быть спасённым, не искать защиты, так как – не от чего, понять и принять это, усвоить прямо, отчётливо, безоглядно.»

Громко и глухо треснул уголёк. Потом ещё. Ещё... Послышалось лёгкое шипение. По листьям пробежала тугая шуршливая рябь. В темноте – невидимые, невероятно, почти до небес, высокие – качнулись верхушки деревьев.

Капитан, поёрзав, чуть придвинулся к костру.

- Однако, дождь вот-вот...

- Ага... – не отводя взгляда от сверкающих углей, подтвердил Семён Семёнович.

- Где же твоя дача, Семён? В какую сторону?

- Там, – не отводя взгляда от сверкающих углей, щедро обозначил Семён Семёнович.

- Вот и я так думаю, – хмыкнул Капитан. – Что ж, будем втроём в посиделках...

Семён Семёнович через костёр посмотрел на приятеля.

- Ты, я и дождь, – пояснил Капитан.

- Так, вроде, шалаш есть...

- Ну а чего ж ты тогда ждёшь? – приглашающе спросил Капитан, пытаясь поймать на язык первые дождинки. – Полезли!

Он первый, не дожидаясь спутника, – на четвереньках, неуклюже раскачиваясь, – втиснулся в хрупкое сооружение. Следом, кряхтя и зачарованно оглядываясь, вполз Семён Семёнович. Здесь были свои запахи. Свой скромный и странный быт. Всё очень обжитое, давнишнее, вовсе не покинутое.

Шалаш покачнулся.

- Ты осторожнее там, – потревожился Семён Семёнович.

- Ладно... Ничего... – бормотнул Капитан, поудобнее устраиваясь на хрустом сушняковом ложе. – Интересно, Сеня, кто этот дворец построил...

- А что?

- А ничего! – Распрямился; руки на животе сложил; мирно и довольно вздохнул. – Вот вернётся посерёд ночи к себе, посунется, - а тут два гуся его жилище обхрапывают. А? – Зевнул. – Я бы не сдержался...

- Думаешь?

- Ну! – локтем пихнул приятеля. – Может – суп из нас сварит, может – штраф выпишет... Поди, разбирай! – Заворочался; повернулся на бок. – Спи, Семён, утром прояснится – что к чему...

- Ага...

- Спи...

Дождик, вначале едва приметный, от минуты к минуте нарастал. Долгая плотная морось монотонно обшёптывала шалаш, - кутая и чаруя, навевая уют, протяжность и глубину. Шелестящая монотонность казалась незыблемой, - разве что иногда, мягко и настойчиво раздвигая капли, ввевались в дождь короткие гулкие взывы лесного ветра, ненадолго и не всерьёз водворяя неразбериху и переполох. Как ни странно, мерещившийся со стороны хлипким и кое-каковым – шалаш оказался удобен и хорош: он совсем не пропускал влаги; в него не удалось забраться почти ни одному сквозняку; лежище – из сушняка, листвы и каких-то тряпок – было вполне притёртым и очевидным, - пребывалось здесь очень приятно, пребывалось легко и просто. Приятелям не пришлось долго вздыхать да ворочаться, - заснули быстро, пригревно, заснули глубоко; ни что не мешало сну, ни что не тревожило бестолковостью и суматохой.

Первым проснулся Семён Семёнович. Проснувшись, он какое-то время лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к ощущениям своего расслабленного организма. Самочувствовалось прекрасно: в теле – нарождающаяся бодрость, голова ясная, в душе – покой и приятность. Лежать – именно так – Семёну Семёновичу нравилось, и только из уважения к своему прекрасному самочувствию, будучи признателен и желая сделать самочувствию любезность, он открыл глаза. Снова закрыл. И открыл.

С невысокого неровного потолка на длинном шнуре свисает лампа в плетёном соломенном абажуре. По стенам – выцветшие весёленькие обои, с пунцовыми цветочками, индюками и подбрасывающими мячики рыбами. У торцовой стены, под затянутым в штору окном, крепко стояла пузатая обшарпанная тумбочка, с грудой старой одежды поверху. Рядом с тумбочкой – лесенка, ведущая к люку-проходу в маленькую чердачную комнатку.

Возлежал Семён Семёнович на скрипучей железной кровати. Сбоку же от него – по правую руку, метрах в полутора – на точно такой же кровати равномерно сопел Капитан, до подбородка – под ватным малиновым одеялом, головой – на высокой пухлой подушке. Из-под его кровати угловато вымелкивал тусклый ворох садово-огородных приспособлений: лопаты, грабли, шланги... и тому подобное.

Возлежал Семён Семёнович, размышлял.

«Ну, женился... Зачем? Все женятся... Дачу вот несколько лет строили. И сейчас строим... Маета невообразимая! Зачем? Жена говорит – надо... все строить. ...Нет, дача – это, конечно, хорошо... То есть, лес да речка – хорошо, а много ли надо, чтобы быть рядом с ними? – шалашика довольно! И ещё этот огород... – ну совсем уже гадость! Мы ведь что делаем? – мы ведь безобразничаем: не принимаем того, что земля даёт, - пусть без благодарности, пусть ничего не предложив взамен, – нет, мы насилуем её, навязывая свои бездарные нудные хотения, решая, что и как должно жить на этой земле, а что – не должно. О, как же мы высокомерны, как неприятны и слепы! ...Да ещё эти бесконечные доски, бесконечные кирпичи! Бесконечная, неосмысленная болтовня чужого человека, его претензии, его раздражительность... Будто бы – приснилось всё... или – нет?» - Семён Семёнович посмотрел на сопящего Капитана. – «Вот человек! Мне бы так... А? Мне бы – курить начать, вот что! Начинал ведь уже, - жена не



велела; сказала, что одного меня ей больше чем достаточно, - меня вместе с табаком она выдержать не сможет. Не сможет... Бедолага...!»

- Капитан... Капитан, - тихонько позвал Семён Семёнович, - дай закурить, пожалуйста!

Но Капитан не слышал своего друга. Капитан спал, и судя по ровному дыханию, по мягкой улыбке, округлившей его щёки, занятие это прерывать не собирался.

Семён Семёнович сдвинул в сторону одеяло и решительно уселся на кровати. Усевшись, обнаружил, что из одежды на нём остались только трусы и майка.

«М-да...»

- Свистать всех наверх! – заорал он. – По местам стоять, с якоря сниматься! ...Внимание, селёдки по правому борту!

- А!? Что!?

Взъерошенный со сна Капитан очень и очень походил на ежа, которому подарили зонтик. Даже не на ежа, а на целую ораву ежей, взбаламученную, заполошную.

- А!? ...Ты что, Семён, спятил?

- Доброе утро, - радостно сказал Семён Семёнович.

Капитан заозирался.

- Где это мы?

- У меня на даче. Ты же сам хотел!

- А как мы здесь... Послушай! – Капитан хлопнул себя по бокам, - а где одежда!?

- Одежда...

Впрочем, одежду они отыскивали довольно быстро: она лежала в общей тряпичной куче, на тумбочке. Неподалёку, за одной из кроватей, стояла обувь.

Путешественники неторопливо одевались.

- Дай закурить, а? – попросил Семён Семёнович.

- Эх ты, - крикнул Капитан. – Ухмыльнулся. – На хорошее потянуло? – бывает! Сейчас... - Быстро вытянув из кармана пачку – досадливо смял её в руке. – Пусто. И так бывает... - Вздохнул. – Может, у тебя здесь припрятано что-нибудь табачное? Махорка, хотя бы?

Семён Семёнович пожал плечами:

- Откуда...

Капитан задумался. Капитан сунул смятую пачку обратно в карман и решительно насупился.

- Давай, Сеня, показывай владения.

- Какие владения?

- Дача твоя? – твоя! Вот и показывай: где тут у тебя – что... как...

- Ну что... Вот эта – наша с женой комната.

- Спите, значит, отдельно, - хмыкнул Капитан. Махнул рукой: - Да ты не обижайся, Семён!

- Я не обижаюсь... - Семён Семёнович мотнул головой в сторону крошечной лесенки: - Там – чердак; что-то вроде чердачной комнаты, для дочек...

- Много дочек?

- Две... - Семён Семёнович показал на чуть приоткрытую дверь: - А там – веранда, она же – прихожая, она же – кухня...

Капитан деликатно крикнул.

- А сортир, Сеня? ...Ты меня, конечно, извини, но на кухне я гадить не буду!

- Туалет? Туалет – в сарайчике, за малиной. Пойдём, покажу.

Семён Семёнович встал, и, не делая лишних движений, дораскрыл дверь. О, как это замечательно, как удобно, когда не надо делать лишних движений! – когда комнатка твоя столь мала, что и мур-

вью понадобится не более десяти минут, чтобы обследовать каждый её уголок. Прямо из комнатки – простор. Сквозь почти целиком застеклённые верандовые стены приятели увидели огромные пышные – чуть поникшие и поблёкшие – луга, с неширокими протяжными пропесками берёзовых и осиновых рощиц. Сквозь луга, извиристо обходя рощи, тянулась размокшая дорога; тянулась... тянулась... подходила к кромке дальнего тёмного леса, и – где-то там – растворялась вовсе. ...Но – что самое любезное! – никаких дач; насколько хватало огляда: ни дач, ни садов, ни заборов, ни огородов... – ничего.

Семён Семёнович, в один прыгучий шаг проскочив веранду, выметнулся за дверь – и, вскарабкавшись по приставной лестнице на верандовый козырёк, нервно заозирался. Капитан вышел следом; руки заложил в карманы, - прищурился на дорогу.

...Всё – вот оно. Грядки, некрашенный щепастый забор... Вдоль забора – клумбы с пионами; яблонька – белый налив... слива; поодаль – кусты малины, при них – сарайчик, со всевозможной ненужной ерундой и очень нужной дыркой в полу... А за забором – в какую сторону ни елочь – ничего, ничего: ни соседей слева, ни справа, ни – вообще: от дачного посёлка, со множеством жилищ и огородов, с населением в разгар сезона человек до пятисот, осталось только его, Семёна Семёновича, жилище с хозяйством, а окрест – луга да рощи.

- Ну! Ты неплохо устроился, мой мальчик, - одобрительно прогудел Капитан. – Дачный посёлок из одной дачи – это я понимаю!

Семён Семёнович, сидючи на верандовом козырьке, шумно вздохнул. Впрочем, во вздохе его не чувствовалось недоумения или тоски, скорее – облегчение. Нет, ну конечно, конечно – нервы немножечко гульнули, капельку вспятились... только вот – облегчение, вроде как свежего воздуха глоток... два глотка... три! Но, минуту спустя, он с неожиданной суматошностью заскакал вниз по лестнице; ничего не сказав приятелю – кинулся в дом.

Капитан с любопытством наблюдал.

В комнате что-то заскрежетало, что-то загрохотало, и малое время спустя на пороге показался расстрёпанный сияющий Семён Семёнович. Он прижимал к груди нечто свёрткообразное, обильно захлёстнутое в целлофан и обвязанное целым мотком бечёвки.

- Вот!

- Ну и что это? – добродушно спросил Капитан.

- Моё!

- Да ну! – улыбнулся приятель. – Так-таки и твоё?

Семён Семёнович, быстро размотав бечеву, - достал из шуршнувшего пакета три толстых ученических тетради в клеённых чёрных обложках. Достал, подержал немного – любясь, и сунул за пазуху.

- Помнишь, говорил я тебе: пробую писать. Вот! Под тумбочкой лежали; подумалось: а вдруг...

- От жены прятал?

- От всех. И прятал... и прятался... Хватит теперь!

- Ой!..

- Что – «ой»?

- Совсем ты мне голову заморочил, Семён, - жалобно сказал Капитан и притко бросился к сарайчику.

Семён Семёнович нетревожно уселся на ступеньку; поёрзал, приманиваясь поуютнее, - залюбовался. И впрямь: осень ещё не внятно, не очевидно, не явно означила своё присутствие, но дыхание осени пребывало на всём. Склонились, обмякли, наметив грядущие подснежные шатры, травы; чуть, еле-еле – в одно касание – расцвелись листья деревьев желтизной и багрянцем; небо обильно исполнилось множеством непередаваемых тонких оттенков. Присутствие? – да, но – неуловимость при-

существа. Это так нравилось Семёну Семёновичу, так бредило, - ах! – заплакать и взлететь! Взлететь! Это так нравилось ему.

Ну что за утро!

Так далека, так сыра, так прозрачна дорога. Мягкий сентябрьский ветерок ерошит-оглаживает рытвинные лужи, - гонит от края к краю пушистую рябь. Тихонечко покачиваются потемневшие листья высокого призаборного репейника. На невысоком обочинном валуне два неспешных важных грача – неспешно беседуют на неспешные, и несомненно важные темы. Из дальней дали – то ли из леса, то ли ещё откуда – едет-приближается грузовик. Даже отсюда заметно, как потряхивает его на рытвинах, как размётываются хлопья слякоти по сторонам, как подпрыгивают в кузове, крепко цепляясь за борта, какие-то люди.

Семён Семёнович привстал.

Несмотря на размокшую дорогу, машина приближалась довольно быстро. Минута, ещё минута, и – погромыхая, скрипя – она проедет мимо дачи, если, конечно...

Визгливо тявкнули тормоза. Грузовик, дёрнувшись, замер напротив калитки. Быстроглазый долголицый шофёр явственно – сквозь стекло – подмигнул Семёну Семёновичу.

- Приехали! – заорал шофёр в сторону кузова, по грудь посунувшись из окошка. – Чего расселись?

- Не шуми, - рассудительно гуднули сверху.

Другой голос, потоньше, с лёгкими старческими нотками, согласился:

- И правда, почаёвничали – хватит. Вылазь, ребята! Фонды музейные – они сноровку уважают...

Из кузова – с разных сторон – выпрыгнули трое могучих, облачённых в комбинезоны **м**олодцев.

- А четвёртый где? – гаркнул шофёр.

Один из молодых постучал по борту.

- Арнольдич, ты где застрял?

Послышался давешний тоненький голосок:

- А я, ребятки, подумал-подумал – и чайку себе ещё набулькал! Ватрушку, понимаете, не доел, а всухомятку – куда ж с ней...

Только тут Семён Семёнович заметил, что из самой середины кузова торчит верховина самоварной трубы, и тянется от трубы то ли дымок неуловимый, то ли уже просто – один запах, пряный, еловый.

- Это Аким Арнольдович, новенький наш, - ласково улыбнулся Семёну Семёновичу шофёр. - Стажёр, тудыть его, сироту. Ухлёбист – спасу нет!

- Да-а...? Вот оно как... - не зная, что сказать, промямлил Семён Семёнович.

- Ты, дядя, калитку бы открывал, - подтопал к забору один из молодых. – Вроде как, некогда нам...

- Зачем? – Семён Семёнович даже немного испугался. – Вам кого? Кто вы?

- Во даёт! – с восхищением заорал шофёр и выскочил из кабины. – Во даёт! Такому в рот не то что – палец, а и диван не положишь. Была б калитка открыта – расцеловал бы!

- Ты, дядя, не бузи, - спокойно сказал молодец. – Ты сам рассуди: Музей – штука серьёзная? ему порядок – нужен?

- Нужен, - машинально подтвердил Семён Семёнович.

- А если нужен, так и не мешай, - твёрдо определил молодец. – Или, может, ты не выспался?

- Выспался...

- Да он и сам – экспонат, - хихикнул откуда-то из кузова невидимый ухлёбистый Арнольдич. - По-ди, из фондов убёг.

- Он? – Шофёр перестал улыбаться, и строго посмотрел на Семёна Семёновича. Крикнул в кузов: - Не ври! Какой же это экспонат? – Потёр щёку. – Хотя...

- Вы что! – плачущим голосом запротестовал Семён Семёнович. – Что вы несёте!

- Ну, экспонат – не экспонат, - рассудительно сказал второй подошедший молодец, - а дело делать надо. Ты, дяденька, открывай калитку, да и иди себе... вон хоть – чайку с Арнольдичем попей.

- Шлёпай сюда, дитёнок, - весело пискнули из кузова.

- Давай-давай, - поторопил рассудительный молодец. – Не тяни кота за хвост, а тем более – кошку...

Семён Семёнович (зачем? – надо, наверное...) отбросил крючок и распахнул калитку.

...Дальнейшее воспринималось в каком-то звенелом туманце; действие то приближалось, то удалялось, - будто бы носились сквозь звенель некие разномастные шальные линзы, будто бы к кнопочному пульту карусели, на которую он уселся, подобрался – и врезал по кнопкам весьма одичавший, изрядно придурелый и очень довольный своим занятием пианист.

Вот: сидит он в кузове, с ватрушкой в зубах. Что-то бухтит ему сердобольный Арнольдич, посовывая в руки чашку с ароматным чаем. Бухтеть Арнольдич унравливается в оба уха разом, тем самым воздвигая что-то вроде шуршащего, цокающего фильтра между Семёном Семёновичем и прочими звуками, - звуки несусветно перебулькивая, перетряхивая, искажая. Бригада же из трёх молодцев тем временем осуетила весь дачный участок, устраивая – вдоль да поперёк – нечто слаженное, но бредовое. Вот: они скатали в трубочку забор, и то, что у них получилось – напоминало тюк с обоями... Огород, деревья, кусты – скатанные в трубочку – были уже похожи на ковровый рулон... Вот: они приподняли и перетряхнули сарай, ладными быстрыми движениями – комкая – слепливая сарайную массу в пушистый сверкающий шар, чуть больше детского мяча... Ни под чем и ни на чём, в высокой густой траве стоит Капитан: дрожащими руками он пытается – лихорадочно – застегнуть штаны, огромными же выпученными глазами шало таращится по сторонам... Вот: малые светлые пичуги на дачную крышу взлетели, расселись привольно – там, сям; загремели! – то ли в трубы серебряные загремели, то ли в сверкающие раковины... Замерцала, заваялась дача – вихрем тонким метнулась в осеннее небо, - осыпалась лиственной красотой; ведомых и неведомых деревьев листья – расцвеченные осенью – молодцы быстро сгребли в большущий сиятельный букет и бережно уложили в широченный, комодоподобный сундук... Вот: дачный участок неприметно вписался в луга, и только там, где была малина, заблестел маленький зеркальный пруд, с невысокой крошечной ивой, склонённой над ним.

Каким-то образом (Семён Семёнович не уловил – каким...) рядом, в кузове, оказался Капитан. Отодвинув болтливого Арнольдича, Капитан молча – одной рукой – тряс приятеля за шиворот, не забывая – с другой руки – прихлёбывать, плеская, чай.

Несколько войдя в соображение, Семён Семёнович решительно отвёл трясущую его руку. Встал. Цепляясь пальцами за борта, он почувствовал, что пальцы дрожат. «Неприятно, - подумал Семён Семёнович. - Как неприятно! Что же это я? И впрямь – слабонервный какой-то, хоть в валерьянковой луже живи!» Поёжился: ветерок налетел... несильный, но стылый и тугой. Крепче запахнул ворот куртки. Присмотрелся. Вот: столик посерёд кузова, самовар на столике, вазочки с ватрушками творожными, с вареньем, с сахаром. Вот: подвижный, пузырчатый от веселья Арнольдич. Вот: Капитан... «Ну уж и впрямь – капитан! Настоящий капитан! – жмурился Семён Семёнович. – Из-под него, можно сказать, горшок выдернули, а он – ничего! Чаи распивает, друга в чувство приводит. Милое дело!»

- Я и говорю, уматывать отсюда надо, - озабоченно шептал Капитан. – А то они и нас в трубочку свернут, - мало не покажется!

Семён Семёнович восхищённо смотрел на приятеля, и, широко улыбаясь, покладисто кивал.

- Ты смотри, - кручинился Капитан, - кажется, все дела уже переделали, не иначе как – наша очередь...

Семён Семёнович улыбнулся ещё шире.

- Да ты что, Сеня, не очухался ещё? – Затревожился: - Сюда идут! ...Тебе, может, по шее дать для бодрости? Протри очки, гуманоид!

- Не надо – по шее...

Семён Семёнович окончательно встряхнулся. Действительно, идут...

Из-за великанской чайной чашки, за которой почти совсем укрылся Арнольдич – слышалось певное бормотание.

Бормотание стало громче. Старикашка-стажёр пел, направляя звуки вглубь, видимо уже испитой до дна, чашки:

*«...закружились-тормошились птицы добрые вокруг*

*закружились-тормошились звери добрые вокруг*

*люди добрые седили*

*ветви добрые скрипели*

*то ли плыли то ли пели –*

*сразу – вдруг*

*где под крышами роилось много лиц*

*то ли разных то ли разных добрых лиц*

*в пль и пель они рядились*

*но поскольку народились –*

*на себя они дивились:*

*п л ы*            *»*

Сидя на корточках, чуть раскачиваясь, старичок Арнольдич гудел и гудел себе в чашку. Вслушиваясь, задумался Капитан, затомился. Вот, *то самое, то – что* мерещилось с давным-давно, но никак не находило себе выражения. Казалось бы, яснее ясного, а зачерпнёшь – насквозь прозрачно и нет глубины, донышко видно... А за непрозрачностью донышка – глубина.

*(Заблудился. Так получилось.*

*Так получилось: заблудился на площади человек. Посреди белого дня! – вот ведь... Заблудился; задёргался; затормошился... Никого. Никого вокруг. Ни пешеходов, ни птиц, ни деревьев... Некого окликнуть. Не к кому криком докрикнуться. Некого расспросить. И о помощи попросить – некого. Вот как.*

*Ну и ну... Площадь! Хоть садись, где стоишь и рыдай. Хоть куrolесь позёмкой в истерике изнеможной. Хоть стой столбом.*

*Или... Может быть, всё-таки позвать? Хоть и нет никого, а – позвать? Или... Ну пусть кто-нибудь!.. Кто-нибудь!*

*Так и мыкается человек, - мыкается, паром исходит, потом захлёбывается, слёзы роняет... долго (почти что – вечно), - покуда сам не найдёт дороги.)*

*(Всю жизнь! – всю жизнь он, Борис Григорьевич, капитан фанерного плавания, искал... искал... Что? И лез, ломился, продирался, сквозь слякоть, сквозь дурман... Куда? Казалось, вот-вот рухнешь и упадёшь от немыслимых утруждений... От каких? ...Куда же ты шёл? Что – ну что же! – ты искал? С детства...*

Мир гораздо теплее и проще и глубже наших мыслей о нём.

Так: качнулась ромашка... мелькнуло облако... вздохнул муравей... Всё переполнено, внятно и небывало... всё так неустойчиво, так мимолётно... Странно: детство было совсем недавно, но до чего же давнее, прочное, истощное вдрызг забвение... Но до чего чудесно: ромашка, облако, муравей – кто они?... рассмотреть, - крепко закрыть глаза, - рассмотреть внимательно...)

А старичок всё поёт, поёт... бормочет, бормочет в чашку...

*«...солнце движется крестом*

*солнце машется веслом*

*солнце всходит на ворота сверкунцовым колесом:*

*ярким светочем пророчит*

*тихим верточем стрекочет:*

*«вам пришла пора прощаться до утра*

*вам пришла пора прощаться*

*вам пора»*

*мёд стекает от ворот указуя поворот*

*всё стихает замирает воздвигается в полёт*

*...то ли новая глава*

*начинается*

*то ли просто голова*

*возвышается:*

*возникает над волной*

*над волнением –*

*воскресает глубиной и терпением*

*...то ли новая молва то ли древние слова:*

*«отдохните до утра, до рождения...» ...»*

(Нет, не жалел Семён Семёнович, что изошла, рассыпалась дача сиятельным листопадом. Очень ему листопад понравился! И озаборенных владений теперь нет...

Да и не было! Для него – не было. Ещё давеча, когда произнёс Капитан: «показывай владения», наконец дошло до Семёна Семёновича то, что давно к нему шло, давно стучалось, да только дойти-достучаться – как? Запрятался человек, зашторился, затаился... Дурак дураком!

*«Я ни чем не владею. Ни что не владеет мной.»*

Семён Семёнович тихо улыбнулся толкнувшейся из него свободе. Ура! Доброе утро, малыш...

...Дачное пребывание всегда радовало Семёна Семёновича – пространство тянулось к нему. А вот те, кто – помимо него – наполняли пространство, - часто тяготили, порою – тяготили невыносимо, иной раз – до смертного крика. Почти – задыхаясь...

С женой ему дышалось тяжелее всех. А жаль... Она не только не пыталась его понять, но и не собиралась даже попробовать сделать это. Вот ещё! Ей было бы вдребезги противно понимать такого бездельника, такого злостного распустёху. Такого никчёмного пришибленного неумеху. Ну конечно! У всех подруг мужья – так это мужья, а тут... Сорок лет! – а он всё ещё подсобный рабочий в типографии; по хозяйству за помощью – понукать надо, да и то – лучше б не брался; в постели... за ним не доглядишь, так он и под постель заберётся, с него станется, - каков муж! В общем, жена с Семёном Семёновичем не цацкалась: покрикивала, речевалась с ним тоном презрительно-приказным, не забывала хамить. Дочки, поглядывая на мать, тоже не слишком церемонились со своим неухватистым и тихим родителем: командовали, капризничали, и – почти всегда – не слушались. Зато, как иногда казалось Семёну Семёновичу, любили. Особенно это чувствовалось, когда он рассказывал им сказки, читал стихи, что-нибудь объяснял или показывал. К девочкам приближалось что-то неуловимое, прекрасное, нежное... – такое необходимое! – то, чего никогда не было в их деловитой, напористой и очень скучной

маме. К девочкам приближалась душа Семёна Семёновича, - попримятая, побитая, притаившаяся, но – сохранившая все свои чудеса. А вот на даче...

На даче распахивалось лето, и дети, позабыв про родителей, по уши исчезали в его волшебном торжественном бытии. Ну а муж с женой... – на каждого приходилось два основных занятия: жена – ёрзала огород и отлавливала Семёна Семёновича, Семён Семёнович – прятался от жены, и смотрел и думал и пытался записывать, тиская – то на коленях, то на ящиках, то на земле – замызганные, угретье его мечтами тетрадки. Что-то удавалось... часто – нет.... Иногда Семён Семёнович плакал.

Жена чуть ли не по потолку бегала от раздражения. Она видела: её прохиндей – бездельничает. Каково! Все трудятся: что-то ковыряют, что-то добывают, что-то волокут... потом обливаются! зубами скрежещут! А он? – он сидит себе, подбородок кулачком подперев, иной раз – ручкой по бумаге поелозит, и – как представить такое? – имеет наглость утверждать, что он работает! Ведь лодырь! лодырь! – каждому понятно. И знакомые, и родственники так и говорят: лодырь твой супруг, лодырь и тетёха. ...А до прохиндея никак не дойдёт!

Семён Семёнович же – работал. Работал и работал. Он пытался протянуться к Жизни через слово; протянуться – и уже не разлучаться, идти вместе. Семён Семёнович записывал, записывал, записывал... Или, что было драгоценнее писания – думал. Или, что было драгоценнее думания – созерцал. О, труд его был огромен, и невидимый пот застилал глаза... А может быть – не огромен, но это был настоящий труд, не обман, не враки – кишмя кишящие вокруг, алчные, теребящие, галдящие, продувные.

Бездельнику – обманутому-и-обманщику – как объяснишь? Он уверен, что прав, хотя бы уже потому, что так живут все.

Нет, не все...

Ничего Семён Семёнович давно уже не объяснял. Только выше и беспомощнее встискивались его плечи. Только дальше и глубже прятал тетрадки под тумбочку. Только зорче озибался: не заметил ли кто?

Неделю назад, когда он последний раз прятал тетради, шарахнулось ему: нельзя так больше, нет сил...

...А соловей, который жил у них под окном, на яблоне, пел только тогда, когда приезжал Семён Семёнович.)

А Арнольдич всё пел и пел. Казалось, время остановилось; замерло...: лапки подобрало, ушками прынуло, - возлегло возле кувшина со сметаной, зажмурилось.

*«...одуванчик на гладкой дороге – тянет ноги в гулкую землю*

*всё тянет и тянет ноги*

*в мягкую гулкую землю всё тянет и тянет ноги*

*беспечный...*

*...по дороге летит стрекоза –*

*малая птица*

*в её золотых глазах одуванчик всё тянет и тянет ноги в гулкую землю*

*и летят и летят... и летит стрекоза по мягкой и гулкой земле...*

*ах! –*

*так доныне цвели только розы шагнувшие в ветер» ...*

Завиток прохладного ветра мазнул Капитана по лицу, провалился за воротник. Неподалёку, в ближней рощице, завыл-засвистел какой-то зверёк, должно быть – подпевая стажёру.

Доски кузова скрипнули. Над бортом зависла физиономия одного из молодцев.

- Вы, разлюбезные сударики, на Акима Арнольдича не серчайте, - добродушно сказал он, забираясь в кузов.

Арнольдич, полностью теперь укрывшись за чашкой, буркотел совсем уж неразборчиво.

В кузов, тряханув грузовик, запрыгнул ещё один молодец.

- Это верно, - подтвердил он. - Язычок у Арнольдича - о-го-го! - что овечий помёт, что жемчуг - не разберёшь, где круглее. Взяли мы его - два дня назад - можно сказать, из недоразумения. Тёрся у конторы, сирота, трендел: сил, мол, у меня - девать некуда, не глядите, что старичок! Я, говорит, один - как целая бригада: хоть на Луну лететь, хоть в пустыне песок подметать! Возьмите! - ну хоть стажёром! Взяли... - Молодец пригорюнился. - Второй день без устали чай дуёт да ватрушки трескает.

Вздыхнул.

- Ладно! - раздался со стороны кабины голос шофёра. - Дитё ж, хоть и велик годами. Пусть трескает, лишь бы не забывал их в варенье макать, чтоб не всухомятку!

- Я макаю, - поспешно отозвался Арнольдич. Высунув маленький морщинистый носик из-за чашки, он весело и бодро прибавил: - А ещё можно сахаром сверху насыпушку делать!

- Вот и умничка! - гаркнул шофёр. - Скажи что-нибудь, согрей компанию!

- Да иди ты, - невежливо отмахнулся Арнольдич.

- Во даёт! - восхищённо сказал шофёр. - Не человек, а клад!

- Послать-то и я могу, - пробурчал себе под нос Капитан. - Эка невидаль...

Семён Семёнович, обтряхивая крошки, перегнулся к шофёру:

- Скажите, - робко попросил он, а как вы эти фокусы делаете?

- Чего? - подозрительно спросил шофёр.

Он громко захлопнул крышку капота, где до сей поры ерундил, брякая железом, и настороженно подбоченился.

- Да вот... - Семён Семёнович не знал, как объяснить. - То, что вы сейчас с дачей делали... с забором... Как вы фокусы эти устраиваете?

- Фокусы!?! - Шофёр обиделся. - Да какие же это фокусы, швабра ты очкастая? За кого ты нас принимаешь!?!?

- Да-а... - прогудел, прихлёбывая чаёк, один из молодцев. - Нехорошо...

- Вы извините, - Семён Семёнович застеснялся. - Я не хотел обидеть.

- А что? - оживился Арнольдич. - А и фокусы! Цирк! - Взмахнул руками и скорчил гримасу. - Мы теперь - бродячий цирк! - Торопливо добавил: - Только я - директор. Ладно?

- погоди, - нетерпеливо остановил его шофёр, глядячи сурово на Семёна Семёновича. - Цирк ему... Мы - музейные работники. Ясно? Мы в штате. Фокусы, надо же! Мы все тут с дипломами, не как-нибудь! - все искусствоведы, все как есть доктора этих самых наук! Фокусы ему... Все как есть!

- А я - директор, - хмыкнул Арнольдич.

- Как? - недослышал только что подошедший третий молодец.

- Говорю, - громче сказал Арнольдич, - стишок такой есть: «Как-то раз один облом раздобыл себе диплом. И теперь облом рыдает: как сварить диплом - не знает...»

Шофёр захохотал.

Капитан понимающе шмыгнул носом. Вздыхнул.

Да-а... Был когда-то и у него диплом. Была аспирантура и почти готовая диссертация, на весьма беспокойную и маловразумительную тему. Были научные статьи, - вздор и бред! Было преподавание в университете: никому не нужные лекции ничего не слышащим студентам. Вляпался... «А как вляпался - так и вылез» - веселея, подумал Капитан.

Шофёр, грустно ухмыльнувшись, внимательно посмотрел на него.



- Вы давайте, - сказал подошедший молодец, - выметайтесь из кузова. Грузить пора. Музей ждёт...
- А я как раз свежего чайку заварил, - умильно сверкнув глазёнками, подсуетился Арнольдич.
- А никто и не сомневался! – хором ответила вся бригада.
- Чего там, - махнул рукой шофёр. – Сиди уж, хлебай.

Семён Семёнович и Капитан выпрыгнули из машины.

- Как ты полагаешь, Сеня, что за музей? – шёпотом спросил Капитан.

Приятель пожал плечами.

Неожиданно, рядом с ними – из кузова – приземлился Арнольдич. Сигануть он сумел на удивление виртуозно, с полной чашкой в руках, - на один только оплеск убавив ароматный напиток. Приземлился, - оскалился дружелюбно:

- Какой Музей, интересуется?

Прихлебнул чаёк.

- Ну-у... - промямлил Капитан. – Ну да. Уж как-то ваши искусствоведы ошарашили нас немножко...

Они что, действительно доктора наук?

- Не сомневайтесь! – воскликнул стажёр. Уверил: - Самые что ни на есть. Лучше не бывает. Буквально на днях академиками сделают, - вот только план выполнят... - Подшмыгнул свободной рукой просевшие штаны. – А там! – там совсем уж несусветные перспективы, хоть облизывайся да слюну половником подбирай!

- Какие? – поинтересовался Капитан.

- Засушат, и в витрину, под стекло: во славу науки, на гордость потомкам. Будут экскурсии к ним водить, в учебниках упоминать... Скрижали!

- А вы – тоже доктор? – ужаснулся Семён Семёнович.

- Да что ты, милый! – дёрнулся Арнольдич и чуть чашку не выронил. – Куда мне! – Добавил унылым, капельку насмешливым речитативом: - Мы – люди простые; мы – почту разносим; куда нам на верхи-то карабкаться; чего уж...

- Так вы, Аким Арнольдович, почтальон?

- Ясно! А там – кто его знает... ..Только я, ребята, не Аким, и уж тем более – не Арнольдович. Бред-то какой! ...Это, значит, решил я сюда, на подработку, устроится, - уж очень ватрушки у них, говорили, заливистые! – так эти шустродумы «Акимом Арнольдовичем» меня и прозвали. Сказали, безымянным – непорядок... Вроде как, понумеровали, - хихикнул он.

- И как же вас зовут? – спросил вежливый Семён Семёнович.

- А никак меня не зовут, - насмешливо зыркнул старичок. – Когда надо – я сам прихожу.

Капитан нетерпеливо отщёп приятеля плечом.

- Так вот, гражданин, насчёт музея... Что за музей-то? Где он?

- Музей? Музей как Музей, - везде он! ... Да только не снаружи, а внутри. Потом уже – снаружи... Кхе-е...

Старикашка допил чай, обтёр губы тыльной стороной ладони, и, извернувшись, ловко закинул чашку в кузов. Наверху её поймал один из молодцев; поймал – поставил на столик; махнул стажёру рукой : пора, мол. Старикашка улыбнулся. Устало улыбнулся. Чуть-чуть устало, можно бы и не заметить, но – вымотанностью какой-то повеяло, ношею невыразимой... Да только – по силам; чувствовалось сразу: по силам, о-го-го! Да ещё по каким!

- Кхе-е... - обмахнул путешественников и машину всё ещё насмешливым, но прозрачным и лёгким взглядом. – Вам бы, мальчики, не о Музее – о тропинке бы подумать. А уж куда она приведёт – это как идти будете. – Помолчал. – Вы сами-то понимаете, куда вам нужно?

- К себе, - не задумываясь, ответил Семён Семёнович.

Он сказал это уверенно, сам на свои слова удивляясь. Никаких сомнений не шевельнулось. Ясно было всё... Так ясно!

- Bravo! – воскликнул старикашка. – Почти отличник!

- Вы не смейтесь...

И на станции – там, в зале ожидания, и потом... потом... в шалаше, на даче – теребилось что-то, прокрикивалось, проступало. Что-то пыталось говорить, и – когда он не затыкал уши – говорило, в полный голос и безоглядно, с явным правом говорить, прикоснуться, быть услышанным. Не всё было понятно Семёну Семёновичу: в себе – мало что, вокруг – так и вообще ничего! Но *это* – понял. *К себе. Именно к себе. Куда же ещё?* И то, что встретившийся им пожилой гражданин может чем-то помочь – понималось тоже, понималось твёрдо, очевидно, доверчиво.

- Не смейтесь, - попросил Семён Семёнович.

- А я и не смеюсь, малыш, - ласково сказал старичок. – Тебе показалось. Наверное – радуюсь.

Капитан гнул своё:

- Так как насчёт музея... я не понял... Насчёт музея – как?

- Да что ж это Музей тебя так разволновал? – всплеснул руками старичок.

- Хм-м... - Капитан шмыгнул носом. – Дачный посёлок – раз-раз, и готово... Обалдеть можно! Вот – у Сени владение пропало.

- Нет-нет, - заторопился тот. – Никаких владений! ...Оно, может, надо. Пускай дача сама... это... – решает, как ей лучше... - Твёрдо определил: - Я ни чем не владею.

- Это правильно, - согласился старичок. Сморщив носик, посмотрел на Капитана: - Ведь нет же ничего, маленький мой. Всё есть и ничего нет. Мыльные пузыри, так-то... да ещё при условии, что мыло и вода – в одном месте, а выдуватель этих самых пузырей – в другом. Условная Реальность.

- Арнольдыч! – зашумели от машины. Долго тебя ждать? – лезь, давай!

- А их, - кивнул Капитан на молодцев, - тоже нету?

- Ага, - легко согласился старичок, и – вдруг, без предупреждения – пронзительно свистнул.

То ли воздух дрогнул, то ли земля... А может быть, ничего не дрожало, а просто: поменялось. Не стало ни молодцев в кузове, ни шофёра за рулём, ни самой машины, - вместо них появилась небольшая проплешинка-бугорок, вдосталь осыпанная блестящим мягким песком. Несмотря на прохладный сентябрьский день, даже на расстоянии ощущалось, что песок сух, что песок жарок, и если стронуть ладонью – тихо зашуршит, двинувшись, подобно лёгкой озёрной волне. Так казалось: сама пустыня выглянула из-под лугов... Повсеместно же – как ни крутись – проступил дачный посёлок. Но и он, в такт песчаному дыханию, казался сотканным из пустынного марева. Люди привычно, с привычной подробностью суетились, ничтожно и щедро тратя свою жизнь; на верёвках сушилось бельё; гнулись ветви плодовых деревьев под тяжестью нарождений; подтягивали, мельтеша, собаки; порхали, выглядывая поживу, птицы; тонкий залиvistый сквознячок гнул верхушки призаборных трав... Рядом возвышалась недавно покинутая путешественниками дача. И даже сарайчик, из которого так бесцеремонно вытряхнули Капитана, по-прежнему высился над малиной.

- Что за ерунда... - часто заморгал Капитан.

- А мне – нравится, - спокойно заявил Семён Семёнович.

- Да при чём тут нравится-не-нравится! – осадил его Капитан. Обернулся к старичку: - Что это значит? Что это...?

Старичок озирался.

- По-моему, дачный посёлок... И пляж!

Он подошёл к песчаной проплешинке, и с видимым удовольствием растянулся на ней, заложив руки за голову. Заулыбался.

А так оно получилось, что пляж образовался прямо посере́д одной из поселковых улочек. Не прошло и минуты, как сверху, - улочка шла под уклон, - надвинулся толстый низкорослый мужичок. Обливаясь потом, он натужно толкал перед собой тяжёлую, набитую кирпичами тачку. Впрочем, больше всего сил мужичок явно тратил не на толкание, а на старания удержать тачку – не дать ей, вырвавшись из рук, покатиться вниз. Унылая процедура сопровождалась унылым скрипом колёс и унылым хриплым пыхтением толкателя.

А и поволокся, поволокся он со всем своим громоздьём прямо через пляж.

Тачка проскрипела всего в полуметре от возлежащего старичка, опасно накренившись кирпичёвой возвысиной в его сторону. Приятели – одновременно – вскрикнули. Но возлежащий – хоть бы что, он и ухом не повёл. Потный хрипун-толкатель – тоже – не обратил внимания ни на вскрик, ни на разлётшегося по ходу движения человека, ни даже на то, что насквозь минует он бугорок: тачка по-прежнему стремилась вырваться из рук – вниз, и шла через бугорок нижней частью – насквозь, хрипун же – насквозь – по колени.

И покатил.

Семён Семёнович шумно выдохнул.

- Вот как! – немного опомнившись, сказал Капитан. Снял шляпу и стал обмахивать лицо, хотя ощутимо задувал прохладный порывистый ветерок, в последние минуты ставший только крепче. – Значит, так...

Снова замолчал.

Старичок, интересуясь, прищурился на него с песочка.

Капитан внимательно посмотрел на песчаный бугорок. Поозирался, наблюдая посёлок. Облизнул губы.

В домах, людях, деревьях отчётливо ощущалось дрожание, зыбкость неуловимая, некое невыцепляемое искажение формы и очевидности. В то же время, песок был вмятен, казался явным, неотъемлемым, вполне очевидным (что, впрочем, не очень вязалось с исчезновением грузовика с искусствоведами); будто: есть данность, и на данность наслоилась дачная призрачность. Хотя... куда делись искусствоведы? – не-Арнольдич здесь, вот он...

- Значит, - сказал Капитан вдумчиво, но почему-то ощущая себя круглым дураком, - мы, луга, рощи вон те, дорога... пляж этот самый! – есть, а вот дачного посёлка со всем его содержимым – его нету. Наваждение. Туман. ...Ты как думаешь, Семён?

Семён Семёнович отмахнулся. Ему вообще сейчас ни о чём не хотелось думать. Приятно было, легко. Что там, да как, - потом, потом, в другой раз... Качнувшаяся – вчера и сегодня – устойчивость мира ни смятения, ни ужаса не вызывала, но – намёк на возможную радость, или даже не намёк, а – начало радости.

Капитан вопросительно посмотрел на старичка.

- Не могу знать, ваше благородие! – бодро выкрикнул старичок, дёрнув ножками по песку. Заёрзал. Сел. Устало посмотрел на собеседника. – Балда ты, голубь, хоть и шляпа до ушей...

Старичок встал. Сошёл с бугорка. Подобрал в траве камешек малый, и не целясь – метнул в дачу напротив. Камешек попал в приоткрытую створку окна. Не разбив стекла, но наделав дребезгу – он отскочил, угодив на большой, покрытый драной клеёнкой стол, за которым, прихлёбывая из тарелки суп, восседала объёмистая девица с нечёсанными лиловыми космами. Камешек промчался по всему столу и ткнулся в тарелку.

Девица подскочила.

- Это кто ж тут каменюками людям стёкла портит!?! – заверещала она. – Люська! – подскочила к забору. - Опять твой хулиган камнями швыряется!

- Чего орёшь? – коренастая Люська со стоном разогнулась от грядки. – Мой на речку уже час как ускакал. Небось, плещется сейчас... Не то что я!

- Тогда кто?

- Да кто хочешь! Вон, хоть он...

Люська с усмешкой мотнула головой на холёного сурового кота. Кот гордо сидел на груше и всем своим видом показывал, что – да... могу, мол, и я... а может быть, и теперь – я... а будете приставать, так точно – я, но уже не камешком – не поленюсь и за кирпичом сходить.

Девушка сплюнула.

- Шутки вам...

Старичок, ни слова не говоря, протянул лапки через забор и сорвал два крупных красных яблока. Потёр их о рубашку.

- Ешьте, мыслители.

Мыслители охотно ухватили плоды. Откусив да разжевав, Капитан понял, что яблоко очень спелое, - спелое, сочное, вкусное. Неплохо бы второе...

- Ну как? – подмигнул старичок. – Не поперхнулся наваждением? Туман в горле не застрял?

Капитан молча жевал. Отвечать не хотелось.

- Вы, детки мои, погодите умом елозить. Он у вас только проклюнулся, ему ещё расцвести, ему ещё созреть надо. Вы барахтайтесь: смотрите, слушайте, нюхайте, трогайте, дышите... а ум – он сам себя, по зрелости, обнаружит, без понуканий! – тут и поплывёте. А уж *как* поплывёте – это душа решит.

- Поплывём – куда?

- «Куда» - у себя надо спрашивать, - строго сказал старичок, - не у меня. *У настоящего себя*, самого что ни на есть. Туда и отправляйтесь.

Старичок, ничего более не добавив, повернулся и быстро пошёл прочь, - сквозь посёлок, - в высокой шуршащей траве. В дальнюю даль. Не оборачиваясь.

- Эй! – окликнул Капитан. – Куда вы? ...А нам-то – что?

Тот обернулся.

- Перед вами дорога, - расслышалось приятелям. – Чего ж ещё?

И ушёл. Как-то хоть и понемножку, но – сразу. Вроде бы – шёл, шёл, постепенно удаляясь... а как-то вдруг взял – и ушёл. Дивно!

Капитан вздохнул, докусал яблоко и оглянулся в поисках добавки. Яблони уже не было. От дачного посёлка остались только ошметки, да и те истаяли на глазах.

Вообще: всё менялось.

Проступили очертания какого-то городка... леса... озера. Знакомая станция, платформа, станционный зал ожидания... Пронёсся табун диких лошадей, наполняя окрестности ржанием и пыльным топотом... Побежали какие-то люди; то ли в битву кромешную, то ли очередь в магазин занимать за редким товаром, - не разберёшь, бежали с азартом... Колыхнулся глубинный бархат дремучего леса... Пыхнула жаром пустыня... Взмывностью ледяной замерцали вершины гор... И ещё... И ещё... И ещё... И всё – одновременно, перемешиваясь, клубясь, - сквозь, сквозь! Травы из-под ног путешественников разбегались фыркающими ежами, скрипели ворохами мнущихся газет, звякали монетными столбиками, разлезались ржавою жестью и мраморным крошевом. В воздухе вихрилась всевозможная мелюзга: козявки, гайки, брошки, листья, стручки гороха, нитки, созвездья...

И всё это – то сцепливаясь, то разлетаясь, то проходя друг сквозь друга, то обнаруживаясь, то теряясь – иной раз вылепляло диковинные лица, фигуры, контуры... Вот: проступило – объёмля всё – спокойное лицо кошки, той самой, приплывшей на доске... Вот: фигура мальчика, пристально и смело идущего сквозь вопящие заросли... Вот: невиданное дерево, дыхание которого – роспески лазури в

медвяных ладонях солнца, дыхание которого – сияние и надежда... Вот: зеркало, и волны пляшут, перебирают блистающие миры... зеркало льётся, льётся – не переливаясь, не покидая невидимого ор-  
мья... зеркало ближе... ближе...

Яркий звенящий луч, преломившись в зеркальной грани – охлестнул путешественников с ног до головы. Вскинутые руки... Закройте! – быстрее закрыть лицо!

«Странно...!» И только эта мысль пульсировала в каждом из них: «странно, что до сих пор нет об-  
морока».

- Немедленно выключите прожектор! – не выдержав, визгливо закричал Семён Семёнович.

...Ф-ф-ф-ф...

Тишина...

Капитан медленно отнял от лица руки. Сипло откашлялся.

- Ну ты и орёшь, Семён...

Вокруг было море. Они стояли на тонкой, изогнутой чуть, полоске земли занесённой песком. По-  
лоска тянулась в даль... далеко-далеко... насколько хватало взгляда – она тянулась и тянулась, и с двух  
сторон охлёстывали песок тугие тёмные волны...

Капитан со стоном плюхнулся на небольшой валун. Рядом, кряхтя и зябко поёживаясь, примо-  
стился Семён Семёнович.

- Вот оно как... Опоздали на поезд, называется...

Семён Семёнович промолчал.

- Как ты думаешь, Сеня, день ещё или уже вечер?

- Вечер, наверное...

Капитан мрачно посмотрел под ноги.

- Есть хочу, - проинформировал он неизвестно кого. – Нам с тобой за весь день только по яблочку  
и довелось... Узелок-то наш – в шалаше остался. ...А я, дурак, ещё огрызок выкинул!

- И ватрушки были... - напомнил Семён Семёнович.

Капитан перевёл мрачный взгляд из-под ног – на приятеля.

- Говорю ж – дурак! Не ел я ватрушек...

Приятель сочувственно вздохнул.

Помолчали. Капитан тоскливо облизнулся.

Волны, волны, волны... Низкое, разбухшее тучами небо... Волнующий и вместе с тем пугающий за-  
пах моря, торжествующий в отсутствии других запахов, пронзительный, проливной...

- Может, пойдём?

- Куда?

Семён Семёнович кивком показал на даль.

- Трёхнулся? – жалобно спросил Капитан. – Зачем? С минуты на минуту дождь хлестанёт! Да ещё  
шторм... а? – похоже, к шторму-то всё и идёт! Смоет ведь нас отсюда, Семён, как сопли с палубы...

- Может и не смоет, - тихо сказал Семён Семёнович. – И потом – еду можно поискать.

- Обалдел? Какую еду?

- Ну, там – улиток съедобных, ещё чего... Мало ли что море выкинуло!

- Ага... - Капитан встал с валуна. – Кашалота. Лежит себе, кашалот, беспокоится: что это мы долго  
не идём? А ему обедать пора...

- Ну... - Семён Семёнович потёр затылок. – Не сидеть же здесь!

Неожиданно, словно грохот из-под кровати, с ближней стороны заерошилось разноголосье:

- Не сидеть! Зачем сидеть! Идите к нам! Вот удумали! Идите, идите к нам!

Видно никого не было, но голоса звучали явственно и убедительно. Зазывное разноголосье окружило со всех сторон. Шум нарастал.

- Это что такое!? – сердито гуднул Капитан. – Что за галдёж?

- А я вижу! – вскрикнул Семён Семёнович. – Вон они!

...Вдали, промелькивая ярко освещёнными окнами, мчал поезд. Ближе – проступали шпили башен, извивы узких мощёных улочек, пёстрые здания, статуи, флаги... Воздух был переполнен: конфетти, серпантин, пёстрые воздушные шары – и бабочке не протиснуться. Повсюду – сколько можно было охватить взглядом – бурлила толпа. Яркие, праздничные, почти карнавальные одежды. В руках – бокалы с разноцветными напитками, на устах – приветственные возгласы.

Сначала всё это представлялось расплывчатым, чуть смазанным, но, - некий незаметный щелчок, - стало вполне определённым, явным и обязательным для присутствия.

Путешественники обнаружили себя на площади, в самом что ни на есть центре её. Повсеместно – площадь была уставлена разнокалиберными столами. На столах... да всё что угодно! Тут и жареное и пареное и варёное и тушёное и мочёное и копчёное и солёное и маринованное... и т. д. и т. п.! Промежду блюд – отблёскивают затейливые бутылки. Под столами – корзины со сладостями, бочонки с вареньем. С протянутых над площадью верёвок свисают люстры. С балкончиков невысоких зданий надрываются вразнохлёб весёленькие оркестры. Что-то реет... где-то пищит... а к путешественникам – лезут целоваться.

- Очаровательные вы наши! Очаровательные! Красавцы! Рыцари вы наши размилёхонькие!

Лепечут, верещат; хлопают по плечам, лезут обниматься...

- Ну... Ну это уж вы зря... - потихоньку свирепел Капитан. – Это вы бросьте!

Семён Семёнович отбивался от целой оравы миловидных полуголых девиц, облепивших его, как плющ этажерку.

- Капитан... Капитан! – стонал он. – Скажи им что-нибудь, пусть отстанут!

Капитан ловким броском откинул цеплявшегося за плащ верзилу в бархатном камзоле, ухватил здоровенную лавку и ринулся на помощь.

- Держись, Сеня! – Грозно крикнул по сторонам: - А ну, брысь, дурошлёпы размалёванные! Сейчас всех в шеренгу построю, - горшки за воробьями носить! ...Брысь!

Толпа ошеломлённо, опрокидывая столы, схлынула к краям площади. Все взирали на путешественников с восхищением и ужасом, кто-то – протягивал к ним руки.

- Не покусали? – хрипло спросил Капитан, продолжая держать лавку над головой.

- Не-е... - отозвался Семён Семёнович, пытавшийся привести в порядок раздёргannую одежду. – Дикий народ!

Капитан пооглядывался. Нападать на них явно никто не собирался. С грохотом бросил лавку и обтряхнул загаженный конфетти плащ.

Внезапно – из толпы – бросилось через площадь обворожительное юное существо. Взмахнув длинными распущенными волосами, мерцая глазёнками – девушка рухнула перед Капитаном на колени и стала целовать ему руки.

- Да ты что, милая! – перепугался тот, шарахаясь в сторону. – Валенок проглотила?!? Что за дурь!?

Девушка живо вскочила на ноги.

- Я не нравлюсь тебе? – мелодично пропела она. Вскрикнула: - Так выбери любую! ...Любую!

Отовсюду зааплодировали.

- Жуткое население, - хрипло шепнул Капитан, прижимаясь к Семёну Семёновичу. – Не иначе как все психушки в одно место свезли и устроили резервацию... Правда, снабжение у них, - глянь, жратва какая! – это что-то.

- Может, схватим по бутерброду и попробуем убежать? – несмело предложил Семён Семёнович.

- Да ну брось, Сеня! Где тебя воспитывали? – поморщился Капитан. – Я, например, вон тот окорок – во-он тот – давно уже присмотрел. Я без него, сам понимаешь, уйти не могу. И миску с жареной колбасой прихватчу, чего ей зря стоять...

Толпа загудела. От дальнего конца площади, где стояло самое пышное здание, и было понатыкано больше всего флагов, к путешественникам двинулась целая делегация. Серьёзные, роскошно одетые личности, во главе с совсем уж серьёзной личностью, в мантии и с пухлой подушкой в руках. На подушке поблёскивала корона.

Делегация приблизилась. Капитан, пытавшийся ногой незаметно подкатить к себе валявшуюся поблизости сардельку, оставил это увлекательное занятие и приосанился.

- Я, - совсем уж серьёзная личность почтительно поклонилась, - главный начальник столицы, а также – представители министерств, - он кивнул на делегацию, - с восторгом приветствуем вас!

- Чего ж – с восторгом? – неприветливо осведомился Капитан.

- Ну как же, как же...! – закивала вся делегация, расширенными глазами пожирая путешественников.

Возникла некоторая заминка.

- Ладно, - покладисто отозвался Капитан. – Попробуем так: начальник – какой столицы?

- Нашего королевства! – с достоинством ответил начальник.

- Час от часу не легче! - Капитан обернулся к приятелю: - Слыхал, Сеня? – у них тут ещё и королевство. ...Куда же это нас занесло? – Потёр переносицу. – Послушайте, любезный... главный начальник! Послушайте, к нам-то вы что привязались? Надо вам от нас – что?

Главный начальник подскочил, задёргался и сделал несколько корявых танцевальных движений.

- Это церемониальный поклон, - объяснил он, подмигнув.

Снова стал серьёзным.

- Народ, - одной рукой прижимая к животу подушку с короной, другой – обмахнул толпу; толпа восхищённо загудела, - народ выбрал вас королём.

Раздались ликующие вопли. Над площадью востреснул фейерверк.

- А вашего спутника, - начальник поклонился Семёну Семёновичу, - мы умоляем стать первым министром.

Семён Семёнович снял очки. Протирая – оглянулся на Капитана.

- Коронация состоится завтра утром, - добавил главный начальник.

- А запросто! – легко согласился Капитан. Пояснил оторопевшему приятелю: - Довелось мне, как-то, на круизном теплоходе – Нептуна изображать. Всем понравилось. – Повернулся к начальнику: - Ну и долго мне править?

- Всю жизнь! – торжественно сказал начальник. – Потом – обзаведётесь королевой, наложницами... Пойдут восприемники. Возникнет династия.

- Наложницы – это хорошо... - рассеянно протянул Капитан. – А колбаса – лучше... Ага, сейчас проверим, какой я король!

Семён Семёнович потянул приятеля за рукав.

- Ты чего задумал?

- Править, - твёрдо ответил Капитан. – Эй, живо сюда стол, стулья, окорок... да не тот! – вон, на блюде! – так... миску с колбасой... так... вообще – тащите что поближе! ...Да! – и бутерброд для первого министра! Живее!..

Население захлопотало, затормошилось, забегало. Хлоп! – стол, стулья, провизия. В центре – Капитан, слева – Семён Семёнович, справа – главный начальник столицы. Есть Капитану пришлось без

хлеба, поскольку в одной руке – кусок окорока, в другой – ломоть колбасы, а третьей руки он за всю свою жизнь отрастить не успел.

- Может, примерите? – спросил главный начальник и показал глазами на табурет, где возлежала подушка с короной.

- Пожожу, - ответил Капитан, чавкая и утирая губы. – Кстати, почему вы выбрали королём – меня?

- А кого же? – удивился начальник.

Капитан не стал углубляться. Он ухватил ложку и положил себе вторую порцию сырной запеканки.

А вот у Семёна Семёновича аппетит куда-то пропал. Он сидел, машинально покусывая огромный бутерброд, и немигающим застывшим взглядом озирали разгульные посиделки. Марево! Миражи... Вздор! ...И было Семёну Семёновичу противно. Противно и одиноко.

...Ночь потихонечку уходила. Брезжил рассвет.

К столу приблизился высокий представительный слуга. Поклонился Капитану.

- Не угодно ли вашему величеству отдохнуть? – Почтительно – в сторону Семёна Семёновича: - Вашей светлости?..

- Отдохните, ваше величество, - присоединился главный начальник. – Завтра трудный день. Коронация.

- А и впрямь, - тяжело отдуваясь, согласился Капитан. – Где у вас тут?..

- Вас проводят. ...Эй, постельничие!

К столу засуетились несколько человечков.

Семён Семёнович встал.

- Нет-нет, - решительно сказал он. – Мы пройдемся.

- Ты чего, Сеня? – ословело глянул на него Капитан.

- Я хочу, чтобы мы с тобой немного прогулялись.

- Но его величеству необходимо отдохнуть, - умоляюще пролепетал главный начальник.

- После ужина – полезно гулять. Иначе будет тяжёлый сон. – Семён Семёнович прищурился: - Вы хотите, чтобы король плохо спал?

- Ни-ни, ни в коем случае! – испугался главный начальник. Добавил: - Вас будут сопровождать гвардейцы.

- Зачем?

- Мало ли что... - Начальник пожал плечами. – Ликование населения... хулиганы... опять же – птицы по утрам гадят где придётся...

Капитан задумчиво пожевал зубочистку.

- Ладно... - Медленно встал. – Пошли, Сеня.

- А...

- Гвардейцев не надо. Обойдёмся.

- Как будет угодно вашему величеству...

Приятель медленно шли по извилистым рассветным улочкам городка. Городок спал.

Вдалеке, со стороны площади, ещё раздавались короткие стуки, слышались голоса, - очевидно, после гулежа наводили порядок. Кое-где – по закоулкам, в густых заросших двориках – осторожно шуршали шаги, доносились шептания и поцелуи, слышался отрывистый лёгкий смех. Просыпались первые, недовольные недавним ночным шумом птицы. ...Но – городок спал.

Ненастойчивый редкий туман чуть кутал, пеленая в сырость, свет фонарей. Темнели окна домов. Одинокие прохожие, - быстрые, ушедшие в себя, - торопливо следовали по своим, непонятным со стороны маршрутам; при встрече с гуляющими приятелями – низко кланялись им.



Некоторое время брели молча. Семён Семёнович с интересом озирался по сторонам, изредка поглядывая на Капитана. Капитан сосредоточенно потягивал трубку, - трубкой и табаком он разжился ещё за столом: их, с верноподданническим сюсюканьем, подарил ему один из министерских представителей, - шёл, смотрел под ноги.

- Вот так, Сеня...

- Что – так?

- Королём буду...

Капитан вздохнул.

- Ты что – серьёзно? Ты, наверное, переел.

- Ну-у... - Капитан посмотрел на Семёна Семёновича и неуверенно улыбнулся. – Хочешь, будем править по-очереди...

Семён Семёнович остановился.

- У меня-то всё в порядке, - сухо сказал он. – Я не переедал.

Капитан взял его за пуговицу на куртке. Грустно заглянул в глаза.

- Я постараюсь быть хорошим королём...

- Это как?

Капитан задумался.

- А кто его знает... Сволочью постараюсь не быть.

- Да ну!

- Буду искусствам покровительствовать. Культуру развивать... - Поморщился досадливо. – Опять же – угнетённых защищать... А?

- Ещё чего?

Капитан глубоко вздохнул:

- Вот привязался-то...

Они снова побрели. Уныло так. Непонятно. Капитан искоса – опасливо и жалобно – поглядывал на приятеля.

- Философам буду помогать, - вдруг, ни с того ни с сего буркнул он.

- Ну-ну...! – хмыкнул Семён Семёнович и утешающе похлопал собеседника по плечу.

- А я – буду! – упрямо засопел Капитан.

- Ты совсем спятил, - Семён Семёнович засмеялся. – Я, конечно, слышал, что правители иной раз вбивают себе в голову, будто бы им нужны философы, но чтобы философам что-то нужно было от правителей – слышу впервые! Если, конечно, они философы. ...И как помогать?

- Да как получится! – Сердито мотнул головой. – Введу в бюджет: каждому философу – по бочке...

Семён Семёнович посочувствовал:

- О-хо-хо... Дорогой мой, всё что ты на самом деле сможешь сделать – это отойти как можно быстрее и дальше от того места, где они находятся и не загораживать им солнце.

- Ну-у... Я ж не Македонский!

- Не морочь мне голову! «Ну-у...»! Всё что ты наплёл – ну полная ерунда! Судорожный вздор, и только!

- Сеня, - отчаянно сказал Капитан, - я ведь устал. Повсюду – бессмыслица, бредятина, тоска непролазная. Тошно мне, дружище. Слякотно! ... А тут хоть – краски яркие, приключения... романтика!

Рядом стукнули каблуки. В трёх шагах – руки по швам и усердно пыхтя – стоял солдат.

- Ваше величество, разрешите обратиться!

Семён Семёнович нервно хохотнул. Капитан вздрогнул и недовольно посмотрел на непонятно откуда взявшегося служаку.

Чего тебе?

- Ваше величество, не могли бы вы после коронации произвести меня в генералы?

- Это ещё зачем?

- Командовать хочется – сил нет! Аж свербит!

Капитан насупился.

- Я понимаю, тебя свербило бы музыку писать... или там – кистью по холсту елозить. Так хоть сейчас – в фельдмаршалы! А так...

- А так?.. – жалобно спросил солдат.

- А вот как: шёл бы ты отсюда, милоч, пока я тебя не выдрал!

- Слушаюсь, ваше величество!

И солдата как ветром сдуло.

- Романтика... - хмыкнул Семён Семёнович.

Капитан приуныл. ...Приуныл – зашарил у себя по карманам. Забеспокоился.

- Вот ведь!..

- Что?

- Трубку потерял. ...Знатная трубка. Жаль.

Снова зашарил.

- Сеня, у тебя бумажки нет?

- Зачем?

- Самокрутку хоть скручу...

Семён Семёнович проверил карманы.

- Нет. Нет никаких бумажек. Тетради только, но тетради – не дам. Вот – фантик от конфеты завался...

- Да иди ты! ...И у меня ничего. Только листок, что мы с тобой у зала ожидания нашли... Жалко его! Его – нельзя.

Показался прохожий.

- Послушайте, - окликнул Капитан. Послушайте, сударь!

Прохожий остановился. Отвесил сдержанный поклон.

- Слушаю, ваше величество.

- Есть у вас какая-нибудь бумажка? Ну, там, ненужная? лоскуток?

- Разумеется, ваше величество, - спокойно сказал прохожий. – Возьмите.

И, поклонившись, быстро исчез за ближайшим неосвещённым углом.

Капитан неуверенно покрутил в руках бумажку. Повернул к фонарю.

- Да, так и есть... Это записка какая-то.

- Ну-ка!

В разбавленном туманом свете фонаря – они прочли:

*«Если подарить дураку велосипед, то он непременно начнёт на нём кататься. Так не дари, - не дари! – дураку велосипед, подари ему зеркало!»*

Приятель озадаченно помолчали.

- Знаешь что, Сеня, - неуверенно сказал Капитан, - пойду я...

- Куда?

- Во дворец.

- На троне посидеть приспичило?

- Дурак! – Капитан шумно засопел. – Отдохнуть я пойду. Понимаешь? Дрыхнуть!

Семён Семёнович ехидно побеспокоился:

- А ты не боишься? Коронуют спросонья – дрыгнуться не успеешь! Не боишься?
- Ничего, я в шляпе лягу...

К дворцу – пышному аляповатому зданию на дальней оконечности площади – они притопали молча. Здесь было тихо, сонно, безлюдно. Чуть хлопали флаги на ветру. Шелестели листья на ветках. Над покрытой трещинками и рассветными тенями парадной лестницей мягко раскачивалась – то надуваясь, то прогибаясь – огромная полоска витиевато размалёванной ткани: **«Добро пожаловать, ваше величество!»**

Прятели остановились.

- Пойдёшь со мной?

- Ну, не брошу же! Чего тут. Пошли.

Только теперь, ступив на лестницу, они заметили на одной из широких ступеней – посерёд восхождения – напряжённо лежащего пса. Большой, непонятной породы пёс – чёрный, с рыжими подпалинами.

Пёс смотрел прямо на них.

Прятели замерли.

- Надо же... - пробормотал Капитан. Крикнул: - Эй, есть тут кто? Кто животное оставил? – королю пройти нужно!

Никто не отозвался.

- Кыш, - пискнул Семён Семёнович, опасливо пятаясь по ступенькам. – Граждане, кто собаку оставил!?

Пёс – в оскале – показал чуть желтоватые острые клыки. Едва приметное рычание, - нарастая, вибрируя, - понудило высоких особ пятиться быстрее.

- Да что же это! – плаксиво сказал Капитан. – По дворцу собаки напропалую шляются, а глава государства с первым министром на лестнице хвосты трясут.

- Ты это... Не болтай... Давай живей!.. Видишь, он быстрее пошёл...

С лестницы приятели давным-давно спятились, но продолжали передвигаться задом, чтобы не сводить глаз с идущего на них пса.

- Котлету бы ему дать, - досадливо простонал Капитан. – Нет котлеты!

- Не маши руками...

- Баиньки, баиньки пора! А тут...

Долго ли, коротко ли продолжались бы эти забавы – поди разбери... Но – остановился пёс. Сжался. Вздрыбил шерсть. ...И – прыгнул.

Прыгнул!

Опрометью – спинами вперёд – шарахнулись приятели от пса... Куда-то... Где-то... Падая, они ликовали, что падают так быстро, так стремительно! – и что теперь их уже не догнать.

## 2

Очнулись вельможные упадальцы с трудом, и непонятно где. Темнотища-то!..

Впрочем, темнота не была совсем уж непролазной. Скорее, что-то промежуточное между темнотой и полутемнотой. С натугой, но могли они различить контуры друг друга; возможно – со временем, приглядевшись – получится и рассмотреть окружающее... хоть как-то...

Капитан, кряхтя, встал.

- Сень, - тоненько позвал он, потирая ушибленный бок, - ты тут?

- Тута, тута... - проворчал Семён Семёнович, со стоном распрямляясь и шаря вокруг очки. – Тута... Ты же на меня упал! – чего спрашиваешь?

- Потому и спрашиваю, - осторожно ответил Капитан. – Я мужчина увесистый.

Семён Семёнович наконец нащупал очки.

- А этот... пёс-то вместе с нами не свалился?

Капитан аж вздрогнул.

- Ты чего пугаешь? Да ещё в темноте... Я думаю, свались он с нами – раньше нас бы очухался. Уразумел? И ты бы таких глупых вопросов не задавал.

- Куда это он нас загнал? – Семён Семёнович надел очки. Осмотрелся. – Темно, затхлостью попадает...

- В яму, - продолжая растирать бок, проинформировал Капитан. – Нет, рёбра, вроде, целы... - Тихонько добавил: - Я перед падением оглянуться успел... Там от площади только лоскутки остались, а был – провал, огромный такой провал, и – небо! ...Падали мы долго... Помнишь?

- Выскочило...

- Долго. Удивительно, что живы остались.

Помолчали.

- Свет тусклый откуда-то... А?

- Я думаю, это фосфоресцирует что-то, - деловито сказал Капитан. – С такого света не разживёшься.

Он выудил из брючного кармана зажигалку, и, дожав регулятор пламени до упора, щёлкнул. И ещё раз. И ещё. Потом – щёлкая-высвечивая – они прошлись.

Так, в полтора десятка зажигалочных щелчков, стало немного понятней, где они оказались.

Действительно – яма. Или – пещера. Или – не поймёшь что... Потолка не было, вместо него – непроглядная темнота. Стены каменные, в тяжёлых бугристых выступах; именно от них и шло лёгкое, едва присутствующее свечение. Пол обильно завален мусором: ворохи мятой ветхой бумаги, доски, сухие ветки, клочки полусгнившего сена. Пещерка высвечивалась довольно вместительная: в ширину – метров пять, в длину – десять, не меньше. В дальнем углу – из стены сочился родничок: вода – тихо журча – скользливо стекала по стене, наполняя крохотную каменную ямку, и – переполнив – текла дальше, к полуметровой, нырявшей под стену трещине.

Приятеля здесь на какое-то время замерли. Капитан поднял камешек, и бросил – туда, вниз. Стука не было, - камешек продолжал движение. Постояли, нагнувшись. Из трещины пахло бездонностью.

Вычерпав из каменной ямки мусор, Капитан глотнул воды.

- А вода хорошая! Вкусная.

- Посвети, - попросил Семён Семёнович.

- Нет, - сурово сказал Капитан. – Воду и так нащупаешь. – Помог приятелю. – Насколько мы здесь застряли – неизвестно, а газа в зажигалке меньше половины осталось. ...Сеня, я спросить хотел: а где твои тетради?

Семён Семёнович ахнул и схватился за живот. Тетради были на месте – в большом подкладочном кармане, в куртке. Он облегчённо вздохнул.

- Здесь...

- Дай бумажки на самокрутку!

- Да ты что! – Семён Семёнович крепко прижал к себе тетради. – Там вон полно бумаги. Иди и крути.

Капитан наощупь ухватил трескучий бумажный ком. Хмыкнул.

- Из такой бумаги – чехлы для тракторов делать! Ладно...

Свернул сигаретку. Закурил.

- Может, огонь разведём? Тут вон и всяких сучьев полно.

- Незачем. — Капитан затаился поглубже. — Здесь тепло. И потом: потолка над нами, конечно, нет... но какая тут вентиляция — кто знает? Воздух несколько тяжеловат. Сначала, может, дым туда пойдёт, вверх, а потом — обратно, к нам, вот хоть через ту трещину. Задохнёмся — чего хорошего? Незачем.

В чуть разбавленной темноте огонёк огромной капитанской самокрутки напоминал дальний костёр, трезвонный, призывно манящий. Семён Семёнович закручинился.

- С костром — веселее...

- Само собой, - коротко согласился Капитан.

- А помнишь, там, у шалаша? ...Там было так хорошо! Мне казалось, что я всё понимаю... а если чего не понимаю, стоит только коснуться — и пойму. А у тебя? Мы так и не говорили...

- Знаешь что? — в голосе Капитана мелькнула тоскливая нотка. — Давай спать, Семён. — Он погасил окурок. — Спать хочу — невыносимо!

- И на море... - не слушал его Семён Семёнович. — Та полоска земли, далёкая... Я ведь только сейчас понял, что это была тропа! Понимаешь? — тропа! Нам идти по ней нужно было... Слышишь?

- А куда я денусь, - пробурчал Капитан.

Он громоздко возился в темноте, сбивая из бумаги и веток постель, в работе — устраивая шума гораздо больше, чем это было необходимо. Он очень старался не слушать, изо всех сил.

- И старик говорил: перед нами — дорога... А мы...

- Сеня, - хрипло позвал Капитан.

- А?

- Дай вздремнуть! Я лёг. Спокойной ночи.

- Спокойной ночи, ваше величество...

Капитан скрипнул зубами.

...Проснулись они, как и заснули — в темноте. Ночь ли, день — кто разберёт?

Хоть и не костёр, - но несколько факелов из веток, облепленных бумагой, они соорудили. Этого хватило, чтобы осмотреться прочно, а заодно понять: вылезти отсюда нельзя. Стены шли почти отвесно, и хотя на них встречалось взгляду немало бугров и впадин, были они такие скользкие, такие неуцепистые на вид, что ни Капитану, ни Семёну Семёновичу — ну вот никак! — не захотелось поиграть в альпинистов. Ко всему прочему — выяснилось: вентиляция и впрямь шалила. Дым от горящих факелов стоял невозмутимо, прочно, вовсе не собираясь никуда деваться. За время его стояния приятели вполне осознали, как это приятно: дышать. Дышать им хотелось. ...Рассеялся дым через несколько часов, весь и как-то вдруг.

Еды не было. Совсем. Зато, - и это так замечательно! — хватало воды. Вкусной. ...Но вот еды — не было.

Движение к беседе — пресеклось в самой своей основе: им не хотелось беседовать, не хотелось произносить слова. Тишины! Чем больше её было вокруг, тем больше пещерные сидельцы испытывали в ней нужду. Тишина ощущалась великой драгоценностью, - нежной, заботливой... возносящей...

Разумеется, им приходилось иногда разговаривать. Так, например, на второй день Семён Семёнович вспомнил, что где-то читал о съедобности глины; если съедать ежедневно немного глины, по чуть-чуть приучая к ней организм, можно и вообще обходиться без еды. Капитан ничего не ответил, - он поднялся и облазил всю пещеру в поисках глины. Лазил долго. Оказывается, глина была! Она изобильно устилала дно каменной ямки, где собиралась вода; черпая глину — сидельцы значительно углубили водоём. Жирная, мокрая, - будучи съеденной в совсем небольшом количестве, глина приносила стран-

ное ощущение сытости: и завтрак, и обед, и ужин – всё в животе, а живот пустой. Капитан развеселился настолько, что даже попытался шутить, как бывало... Он заявил, будто слышит сквозь сон хруст веток, что веток становится всё меньше и меньше, и что Семён, несомненно, добывает продовольствие, подъядая сушняк. Семён Семёнович никак не отреагировал, даже не шевельнулся, будто и не было его, а если был – то не здесь...

Часы у Капитана остановились ещё при падении, и уже на третьи сутки приятели потеряли счёт времени. Немного погода – совсем немного! – ушло и ощущение времени. Время исчезло: замерло, затаилось. Они не слышали его.

Каждый расположился на своём месте, в отдалении от другого. И устроился каждый – по-своему: Капитан нагрёб себе целое гнездо, Семён Семёнович же ограничился простеньким подобием шалаша. Только уборная у них была общая – трещина, бездонная беззвучная трещина. Ну, не ходить же под себя...

Дни... Месяцы... Годы... А может быть – часы?... Они не знали. Но мир распахнулся для них, - безвременный и огромный... удивительный... само собой разумеющийся...

Дивная лёгкость, несмотря на голод и малоподвижность, наполняла их. Спали они или бодрствовали, сновидели, нет ли – явь или навь – это ощущалось не важным, не имеющим смысла в разделении и обособлении. Мир был так целен! – и вместе с тем так нераздельно много! Мир был таким неустойчивым в своей цельности и многости, таким кажущимся...

На пятый день, зачерпнув из каменной чаши глину – Семён Семёнович обнаружил, что она светится. Мягкий ненастойчивый свет, из себя и в себя – одновременно, - скользящая в струйных потоках капелька мёда, несущая солнце. Приглядевшись, в медленно стекающей с его ладони горсти глины Семён Семёнович различил себя. ...Он сидел на невысоком каменистом пригорке, обхватив руками колени, запрокинув голову ввысь... Что там? что ему в этой выси? Семён Семёнович – чуть лизнув – опустил глину обратно на дно и запрокинул голову: поначалу – только привычная взмывная темь уходящего непонятно куда колодца... следом – только приглядеться, только перестать ожидать привычного – мигнули звёзды. Одна, две, три... Как много звёзд! Семён Семёнович сидит на невысоком пригорке; ночь; тёплый протяжный ветер, упруго обтекающий тело, треплющий волосы, теребящий края одежды... Необозримость... Именно так! – вовсе не было горизонта. Стоило взгляду выбрать направление и стать зорким – взгляд не имел удержки, не имел остановки... но и не имело конца это странствие: порыв увязал в бесконечности, как увязает стремление к цели на тропке связанной в кольцо. Могучим сияющим ураганом ощущал себя Семён Семёнович, глыбой Возможного-И-Несвершённого. Замершим взрывом.

Острая сцепка силы и беспомощности. Истошная...

Запрокинув голову к звёздам Семён Семёнович раскачивался и пел. ...Что за песня? Откуда пришли слова? Всегда они были...

*«...кто может ходить в темноте если он не жёлудь?  
как может сизая птица филин подниматься к верхушкам елей?  
ответы на эти вопросы – на солнечной стороне тумана  
возможно – они – туман  
но если следовать дальше –*

*в каждом шаге будет ответ в каждом движении рук*

*...замри! – если туман касается только губ –*

*замри*

*следом приснится осень*

*тихие листья слетают к пределам – к твоим коленям –*

*к тихой надежде твоей слетаются листья*

*...здесь и родился*

*здесь и коснулся себя-тумана*

*и расплеснулся до каждой капли*

*и съединился*

*...не всегда я пою... я пою и пою... я теперь-и-всегда пою »...*

«Что есть люди? – торговцы и покупатели? злодеи и благодетели? – нет: тени теней, мираж миража. Мы рождаемся – не рождаясь, мы уходим – не уходя. Когда мы глупы – мы хватаем, мы плачем... когда мы умны – мы спрашиваем: «зачем? почему?», - и в том нам мнится дверь. И дверь, - двери, множество дверей, всех размеров, расцветок, свойств, - оказывается именно там, куда мы тычемся: нарисованная прямо на стене, грубо или тонко, она вопиюще неоткрываема, - она кидается в наши объятия, - и мы проводим мгновение за мгновением в алфавитной метели – от А до Я, пытаюсь подобрать ключи. Но дело-то как раз именно в «я»: *Настоящая Дверь* там, где заканчивается «я»; она всегда там! – и она всегда открыта.

Семён Семёнович обвёл взглядом пушистый звёздный туман. Туман уплотнился. Сжался. Туман блеснул. Перед Семёном Семёновичем засияла крошечная зеркальная капля, и в этой капле он отразился веющим в пустоте одуванчиком, с длинными – тянущимися безмерно – теряющимися в пустоте корнями, с тонким прозрачным телом, с головой опушённой вопросами и ответами. Семён Семёнович пытался познать начало своих корней, - извлечь их из пустоты, - и, с каждым содроганием развеивались по-во всюду вопросы и ответы, наполняя без наполнения, притягивая и отталкивая, сливаясь, дробясь, меняясь.

«Иви, Иви, малыш...»

Иви? ...Что за имя? Зачем?

«...запах лиловых линий, запах линий лимонных, пронзительный запах ливня, запах луны и дрёмы...»

Запах... Семён Семёнович неожиданно обнаружил себя вновь в пещере. Он стоял возле своего шалаша; неторопливо потирал озябшие руки; вслушивался в темноту. В темноте – в могучем орлином гнезде – ворочался Капитан. Запах... Странно, но пахло съестным. Будто бы даже – чавкнуло...

- Семён... - хриловато позвал Капитан. – Эй!..

- Тут я, - отозвался Семён Семёнович.

- А!.. А то вроде бы как не было тебя...

Семён Семёнович в темноте молча пожал плечами.

- Ты это, Семён... ты есть хочешь?

Семён Семёнович тихонько засмеялся:

- Что, новый сорт глины нашёл?

- Да нет... - Помолчал. – Тут у меня, вроде как, бутерброды с сыром... Будешь?

- Чего-чего?

- Бутерброды, говорю, с сыром! Хочешь – вали сюда! Понял?

Удивлённый Семён Семёнович, шаркая, побрёл к капитанскому гнезду.

- Ты пошутил? – спросил он, приблизившись. Здесь, откуда призвали его на трапезу, съестным пахло особенно сильно и особенно вкусно. – Откуда у тебя?

- Откуда надо, - буркнул Капитан. – Держи!

Он протянул приятелю целую стопку бутербродов – с десяток, не меньше. Хлеб, сыр, а между ними – масло... Хлеб, сыр и масло! Вот так событие...!

- Лопай, Сеня, лопай, - довольно хмыкнул Капитан. – Ещё раздобудем. Авось...

Семён Семёнович взял один бутерброд из стопки и недоверчиво надкусил. Действительно, настоящие... И вкусно! Ох, до чего же вкусно!

- Ну правда, где взял? – вновь спросил он приятеля, с трудом ворочая языком в не дожёванном бутерброде.

- Где надо! – Капитан шумно поскрёб шевелюру. – Хотя, где это «где надо» находится, Сеня, я и сам толком не знаю...

Вздыхнул.

А так: приспичило Капитану, в очередной раз, гнездо своё поуютить. Заняться-то нечем... Ну а что! Семён там затих где-то, а под боком всё время что-то колет: то ребро напряжину, то по колену треснет. Спору нет: сооружение получилось монументальное, - всё нагрёб, до чего сумел дотянуться. Но – удобства особого не было. Неудобство было... А может просто – невнятность пребывания, осознания невнятности... Вот и ворочался, ероша ветки, доски, бумагу, камни, вот и не обретал – всё никак и никак – пристанища.

Ворочался себе, перекалывал, копошился... пока не стали попадаться под руку совсем уж неожиданные вещи. То – ухватился за что-то мягкое, потянул: драная телогрейка... То – ржавая банка с засохшей краской... То – старый облупленный радиоприёмник... И, что самое странное, было светло: вещи различались без труда, отчётливо! Даже, пожалуй, слишком отчётливо...

Капитан распрямился, оглядываясь, хмуря брови. День... не слишком солнечный, но – довольно светло. Он стоял на огромной, привольно раскинувшейся холмистой свалке. Поодаль – копошились в мусоре чайки; несколько чаек летали над головой, недовольно поглядывая на бескрылого конкурента. А там, за свалкой, далеко-далеко, мерещился пёстрый, впряченный высоченными зданиями город. Вглядеться – город гигантской дрожащей подковой оплёскивал свалковые рубежи, почти нависал, почти парил над землёй...

«Это что ж я, - тренькнуло Капитану, - выбрался, что ли? А как же Семён?.. Где он?»

Поозирался. ...Не было Семёна. Да и сам-то он был – где? Почему на свалке? Населённый пункт... – что за населённый пункт? Ничего не понятно. Зато – пожалуйста: радио...

Повертел в руках радио, - рассеянно поставил на горку строительного хлама. Сломанное, конечно. Посмотрел по сторонам: мусор, сплошной мусор, всех сортов и размеров. Может, и еда какая найдётся? Какая-никакая – кастрюля с макаронами, например...

Капитан нагнулся. Поднял длинную железяку, - нехотя покопался ею вокруг себя. «Какая тут еда...» Судя по запаху, если в окрестностях и была какая провизия, то она давным-давно сгнила. Искать тут нечего... Капитан уселся на треснувшее пластмассовое ведро и бездумно уставился на далёкий город.

«Внимание!» - густой сочный бас шарахнул по затылку, на вроде мешка с песком. Капитан вскочил, опрокинув ведро, и дико уставился на радио. Бас деловито откашлялся, посопел несколько секунд, но – ничего не сказал.

- Это всё? – с подозрением спросил Капитан.

Радио молчало.

- Пойду я... - Капитан махнул рукой. – А ты тут оставайся, - чаек пугай, если нравится.

Он повернулся спиной к радио и сделал несколько шагов. За спиной сразу загудел бас:

- Ты куда?

Капитан повернулся.

- Туда, - махнул рукой в сторону города. Радио его смущало. – Если, конечно, нет возражений.

Бас опять замолчал. Раздавалось только покашливание да посапывание.

- Ну что, я пошёл?



Радио зашуршало, затрещало и – неожиданно – оплеснулось женским голосом, мелодичным и строгим:

- Внимание! ко всему, что является «естественным». Внимание!: внимание равное, вне зависимости от масштабности и диктата того или иного проявления «естества».

Голосок сделал паузу. Капитан насуплено молчал. Голосок продолжил:

- Да, мы можем наблюдать, что иные проявления «естества» диктуют нам своё пребывание менее властно, другие – более, третьи – ещё более... и т. д.; например: от тяги к развлечению мы зависим менее, нежели от тяги к соитию, от тяги к соитию мы зависим менее, нежели от тяги к пище, от тяги к пище мы зависим менее, нежели от тяги ко сну. И т. п. Но всё-таки – внимание – равное – всему, ибо ни одно из проявлений «естества» не отслаивается от другого, но – все – существуют одним проявлением, имеющим разное обличье и различные степени глубины... как пёрышко, изблеснувшееся в падении-кружении, всецветное на фоне солнца... разнообразие и разнонаполненность – иллюзия.

- Ты понял?!? – гаркнул опять возникший бас.

- Что – понял?

- А ты балбес! – довольно сказал бас. – Похоже, всегда был балбесом!..

- Сам знаю, - огрызнулся Капитан. – На себя посмотри...

- Как же это я на себя посмотрю? – удивился бас. – Сбрендил?

Капитан неприязненно покосился на радиоприёмник. Неожиданно – поверх приёмника – его внимание привлекла странная птица. Бегущая птица... Страус. Но страус – почему-то впряжённый в повозку. Страус приближался. Страус спешил изо всех сил, и ловко лавировал среди мусорных куч.

- Привет! – страус резко затормозил перед Капитаном. – Давно ждёшь?

Капитан отшатнулся.

- Недавно... - ошарашенно проговорил он.

- Молодец! – Страус прямо-таки подпрыгнул от удовольствия. – Так держать! Ну как? – едем?

- Едем?.. – Капитан помотал головой. – Вы кто?

- Мы – такси, - важно ответил страус. – Я, и моя повозка. – Страус лукаво прищурился: - А ты думал – кто? Антилопа?

- Да нет...

- Антилопой быть хорошо! – мечтательно протянул страус. – Но это – после, после... Так едем?

- А куда ехать?

- В город, куда же ещё? – вытаращил изумлённые глаза страус. Снова заважничал: - Домчу, можно сказать, быстрее ветра! Ага! Можно сказать, лучшее такси в галактике! Во вселенной! Во всех вселенных!.. – Тут он сбился, чихнул, смутился немножечко... Закруглил: - Ну и так далее...

- Мне платить нечем, - сказал Капитан. – Какое уж тут такси...

- А ты мне что-нибудь приятное скажи – вот и плата, - утешил страус.

Капитан задумался.

- Скажите ему что-нибудь приятное, - пропел из радио женский голосок. – Жалко вам, что ли?

Капитан неуверенно подошёл к страусу.

- Хороший мой... - Дёрнулся рукой – погладить.

- Достаточно, - улыбнулся страус. – В расчёте. Занимай место, странник!

Капитан неуверенно посмотрел на крошечную шаткую повозку.

- Давай-давай! – подмигнул страус. – Самая надёжная повозка...

- Во вселенной! - ехидно закончил бас из радиоприёмника.

- Где-то так... - стыдливо хихикнул страус. – Одним словом, вперёд, странник! Тебя ждёт увлекательное путешествие!

- Если не вывалишься, - добавил бас.

- Это само собой, - согласился страус.

Капитан, вздохнув, втиснулся в повозку. Повозка просела.

- Упитанный ты, - погрузился страус. – Ну да ладно! – Взбодрился. – Такси отправляется.

- Держи его крепче за уши, - посоветовал Капитану бас, - а то вывалишься!

«Где ж у него уши-то?» - жалобно подумал неудобно сидящий странник. Но спросить не накренилась, успел. Страус – сразу, с места – развил невероятную скорость. Повозка дребезжала, гремела, бултыхалась по мусору из стороны в сторону. Разжать в такой скачке рот, рискуя зубами и языком, Капитану показалось недопустимым. Он только вцепился изо всех сил в края повозки, и старался, когда повозка дёрганьем тела выравнивать её. В случаях же, когда повозка подпрыгивала, бесцеремонно норовя выкинуть седока вон, Капитан уцеплялся до полного побеления пальцев, изо всех сил стараясь не взлететь. А вот страус – наоборот: страус взлетел...

Непонятно, с какого места бег превратился в разбег, а разбег во взлёт, но – пожалуйста: страус, повозка и седок летели метрах в ста над землёй, стремительные, как пирожок в руках обжоры. Летели, несмотря на стремительность, зигзагами. И повозку всё так же трясло и мотало, превращая страх Капитана в самый заурядный ужас.

«Куда ж тебя несёт, - мысленно вопил он, - зараза босоногая! Что ж ты творишь!» Но рот ему раскрыть так и не удалось.

А страус летел себе, летел. И хорошо так летел! Прямо-таки – всем страусам на зависть. Подлетая к городу – замедлил лёт, и повозка, к облегчению седока, пришла в более или менее устойчивое состояние.

- Ну как? – повернулся разгорячённый и довольный страус к седоку. – Как я лечу? Не правда ли – замечательно?

- Н-не знаю, - хрипло выдавил из себя Капитан.

- Как это? – изумился страус, в изумлении – заваливая повозку набок.

- Что ж ты вытворяешь, - простонал Капитан, из последних сил пытаясь не выпасть. – Что ж ты, индюк-переросток, делаешь-то?

- Лечу! – не обижаясь на «индюка» возгласил страус, и взмыл повыше.

- Врёшь ты всё! - возмущённо выкрикнул Капитан. – Страусы не летают!

И как объявил он это – так и загремел страус вниз, увлекая за собой повозку. Вниз... вниз... вниз... Грохнулось такси! грохнулось с водителем и седоком, точнёхонько в просторный мраморный бассейн. А уж брызг-то сколько! половина воды из бассейна – по сторонам.

- Ну и начудил ты!

Гукнув по молодецки, страус шустро выбрался из бассейна. Встал на краешке, широко расставив ноги, - неодобрительно покачал головой.

- Тебе помочь?

- Не надо...

Отплёвываясь, отдуваясь, Капитан уцепился за край бассейна и выкарабкался из воды. С одежды лило. «Жаль, что плащ в пещере оставил, а то бы и его постирал! Вот ведь...»

Бассейн был открытый, на пересечении нескольких, довольно широких, многолюдных улиц, и вскоре приводнившихся летунов окружило несколько десятков любопытных граждан. Граждане оживлённо обменивались мнениями, размахивали руками, крутили головами, не очень-то обращая внимание на мокрых путешественников. Выкрикивали, гудели, топали ногами. Постепенно, собравшиеся выработали три возможных варианта события: 1) это – гости из других миров, навестившие их по причине хандры и пристрастия к заграничным нравам; 2) это – хулиганы, пытавшиеся хулиганить в облачных вы-

сях, но свалившиеся оттуда; 3) это – новая разновидность водоплавающих, которых забросила в бассейн некая сильная рука для утешения и развлечения жителей. Все три варианта граждане находили вполне достоверными, но то, что они не могут выбрать какой-то один вариант, вызывало у них явное неудовольствие. В толпе послышалась брань.

Тем временем, «водоплавающие хулиганы из других миров» уже давно брели по одной из улочек, направляясь, как многообещающе заверил страус, к одному шикарному скверу. Страус шёл впереди, волоча повозку; Капитан замыкал шествие и подталкивал повозку сзади. Шли молча, и только повозка – весело выписывая расхлябанными колёсами кренделя да загогулины – дребезжала и скрипела вовсю.

Капитан взволнованно озирался. Он никогда не видел такого дикого места. Диковинного... Всё здесь было перекручено, перемешано, нагромождено, всё здесь было слишком пестро и разнородно, и всего – как-то уж слишком много. Вот, скажем, сквер, куда они шли, шли, и как заверил страус – всё-таки дошли. Деревья – клёны, пальмы, кактусы витые, расфуфыренные... Лавок на весь сквер – всего две, зато гамаки повешаны – повсеместно. Изрядно замусоренные дорожки почему-то выложены узорчатым кафелем. Посреди сквера – бронзовый монумент: плетёная корзина, воздушные шарикоперх, из корзины – выглядывает страус. Возле монумента – целая груда рыцарских лат, начищенных, блестящих, сваленных как попало и явно наспех. Гуляющих не было. Стиснутый с двух сторон высоченными многооконными бетонными громадами, повсюдошне – в разномастных аляповатых граффити, сквер производил впечатление ванной комнаты, – заброшенной, но предварительно изгаженной каким-то сорванцом. Страус повёл Капитана напрямик к монументу.

- Ну как? – довольно спросил он. – Правда, шикарное местечко?

- Да уж... - Капитан поозирался, и присел на украшенный ленточками медный панцирь. – Ты зачем меня сюда притащил?

- Нравится мне тут, - умильно сказал страус, и на глазах у него блеснули слёзы.

- Ну, нравится так нравится, - махнул рукой Капитан. – Лучше скажи, с чего ты так грохнулся? – по-деликатнее нельзя было?

- Я?!? – вознегодовал страус. – Я грохнулся?!? ...Да ты же сам заявил, что страусы не умеют летать! Вообще не умеют летать! Так прямо и заявил!

- Я? – растерялся Капитан. – Ну, заявил... Ну и что?

- Так как же я, шлопут ты занозистый, мог не грохнуться!? Тот кто летает – летает, умеет он или не умеет. Тот кто не летает – не летает, умеет он или не умеет. Но это каждый решает для себя сам. ...Как же так? – припрётся какой-нибудь оболтус, и – со стороны – определит: «эти, мол, летать могут, а эти – не могут»! Да почему? С чего? Так только набезобразничать можно, и никак иначе!

- Ты погоди! Присядь... - виновато пробормотал Капитан, пытаясь утихомирить негодовальца. - Извини... Допёк ты меня, вот и ляпнулось! – я ж чуть не вывалился из твоего шарабана...

- Чуть – не считается, - всхлипнул страус. Ещё раз всхлипнул. Плюхнулся на лавку. – Теперь, пока не утешусь – не взлететь. – Вздохнул. – Ладно уж... бывает! Посажу здесь маленько; здесь – хорошо...

Страус восторженно уставился на монумент. Мечтательно замер.

- Послушай... - Капитан тоже покосился в сторону монумента, но ничего полезного для себя в той стороне не обнаружил. – Послушай, дружище! – где тут, скажи на милость, можно поесть?

- Ты что, голодный? – удивился страус.

- Так получилось...

- А что же ты на помойке копался? – ещё больше удивился страус. – Раз копался, что ж не пообедал? Не успел?

Капитан не нашёлся с ответом. Страус снисходительно хмыкнул.

- Ладно! Посижу здесь, летучесть восстановлю, - мигом доставлю тебя обратно. ...Не переживай!

- Зачем?

- Ещё покопаешься. Пообедаешь. Там, говорят, если поглубже копнуть – полно еды! А если ещё глубже...

- Нет, - решительно отказался Капитан. – Не буду я ничего копать! ...Неужели здесь, в городе, ничего нельзя найти?

- А я почём знаю? – Страус поёрзал на скамейке. – Я здесь вообще в первый раз!

- Как так? – не понял собеседник. – А сквер? – сам привёл, говорил, что нравится тебе тут... значит – бывал! И потом: такси до города – это как? ты такси или не такси?

- Какое ещё такси, - поморщился страус. – Такси ему! ...А сквер – да, бывал, в городе же – впервые. Что тут странного?

- Запутал ты меня! – Капитан встал. – Пойду я. Извини, что ненароком сдёрнул с небес. Восстанавливайся!

- Ты уж там не обижай никого, - попросил страус. – Не безобразничай...

- Попробую.

Капитан усмехнулся. Прощально махнул рукой. Быстрыми, чуть шаркающими шагами направился к ближайшему выходу.

...Первое, что удивило, а точнее – бросилось в глаза, это отсутствие людей на улицах. Отсутствие людей в огромном городе... Да-да-да! – именно сейчас отчётливо ощущалось, что город не большой, не очень большой, но – огромный! А может быть – и не город вовсе...

Улицы были пусты. Странноватые площади, приветливо распахнутые окна причудливых зданий, низеньких и высоких, стоящие – то тут, то там – необычные колёсные механизмы... – пусто, пусто... Хотя вот, совсем недавно, собралась же толпа у бассейна... а? целая толпа! И когда они подлетали к городу: вниз смотреть сил не было – очень уж страус выпендривался в воздухе, но вот в небе – да, небо Капитан, пусть и мельком, сумел рассмотреть: невероятное столпотворение! Тут тебе и аэропланы, и вертолёты, и воздушные шары, и... – словом, чего только не было! ...А теперь – пожалуйста: безлюдье... И ладно бы безлюдье! – а то ведь и совсем никакой живности. Ни жуков, ни муравьёв, ни мух, хотя погода здесь – летняя, возможно, лето и есть. Ни одной птицы (не страус же у них здесь единственная птица!). Нет собак, нет белок (а сосен да ёлок-то сколько!), нет кошек... Ой!

Мимо согбенного, уныло бредущего Капитана мелькнула пушистая молния. Кошка! Надо же, кто-то ещё есть! Кто-то ещё здесь проживает, и ходит по улицам, и заходит в дома!

Именно в дом кошка и заскочила. Невысокий, двухэтажный, - в точности, как в его родном городе... Вот-вот: хотя сам Капитан жил в размашистой девятиэтажной хороmine, но вокруг были кварталы как раз таких, двухэтажных; в каждом – по два подъезда, по две квартиры на каждом этаже... лестницы толстые, деревянные... скрипучие... А какие дворы! Каждый – маленький мир, со своими запахами и оттенками, с надеждами и печалью, с полными вёдрами добра и зла на шатком, подрагивающем комысле...

Капитан и сам не заметил, как развернулся к дому, как поплёлся к открытой двери подъезда... Ближнего к нему подъезда, того самого, куда занырнула кошка.

- Здравствуйте!

Капитан поднял голову. Со второго этажа – с маленького, укрытого пышной изумрудной листвой балкона – ему махнула рукой девушка.

- Здравствуйте! – повторила девушка, и приветливо и радостно улыбнулась. Улыбка её, - ничего не скрывая, не боясь никаких угроз, - зеркало, поднесённое к сердцу: открытость и чистота. – Вы кого-то ищете?

Несмотря на усталость, Капитан почувствовал, как и сам расцветает улыбкой. Хотелось смеяться, весело, облегчённо, без всякого повода. Хотелось осознать себя невесомым облаком... мальчиком... маленьким мальчиком, который всегда и везде был в нём, но с которым он так давно не виделся.

- Здравствуйте! Я...

Ему очень хотелось быть воспитанным, вежливым и утончённым. Ему очень-очень хотелось быть воспитанным, вежливым и утончённым. О! выразить то, что он сейчас чувствовал, то, чем был переполнен, - поделиться радостью и симпатией. Но – не мог: все искусственные фигуры изысканной речи – напудренные, рассудочные – стеснились в нём в не извлекаемый горклый комок. Всякая натужность явственно проступила бессмыслицей. Стало просто. Просто, хорошо и, немножечко, волшебю.

Девушка рассмеялась.

- Если хочется – заходите. Вы один?

- Да... - Тут Капитан вспомнил о Семёне Семёновиче. – Вообще, нас двое... Но он – там... далеко... я не знаю – где... Я найду! – Капитан решительно посмотрел на девушку. – Понимаете, мы голодные. Не ели давно, разве что – глину. Хотя, знаете, неплохо – тоже еда...

Девушка ахнула и стремительно бросилась в дом. Капитан стоял внизу, ероша волосы, застенчиво улыбаясь по сторонам. Через пять минут девушка появилась снова.

- Держите! – Она бросила вниз большущий пакет, и Капитан ловко поймал его. – Здесь бутерброды. Много бутербродов. Сама не знаю – зачем, но я сегодня целое утро делала бутерброды. Как чудесно, что вы пришли!

- Спасибо... - От пакета исходил такой запах... Такой запах! – Спасибо вам...

- Бегите! Бегите быстрее к вашему другу! ...До встречи! – и доброй вам дороги!

...Капитан успел сделать несколько шагов, и только тут спохватился. «Хорош! Даже имени не спросил! Корми такого...» Вернуться! Немедленно вернуться! Он кинулся обратно, и – как давеча кошка, молнией – влетел в тёмный подъезд...

...И оказался прямиком в пещере, в своём гнезде. Барахтаясь среди веток, он не сразу осознал в пещерное возвращение, а осознав – громко расхохотался. Ну и жизнь! Что за жизнь! Что ни день – приключения! Лёжа на спине и крепко прижимая к себе пакет, он понял, что возвращение ни капельки не огорчило его, наоборот: напомнило, что жилище может быть где угодно, оно может быть каким угодно, что уютно может быть везде. Тем более – Семён...

- Эй, дружище, - позвал Капитан, - ты дыхнешь?

Он встал, и, щедро тратя газ в зажигалке, осмотрел всю пещеру. Семёна Семёновича нигде не было...

- Так откуда, откуда же? – не успокаивался, несмотря на набитый рот, Семён Семёнович. – Кто-то ведь сделал эти бутерброды? Кто-то тебе их дал?

- Дал, - задумчиво отозвался Капитан. – Кто надо – тот и дал... Ты, лучше, вот что скажи: как же это мы из пещеры выходим? И ты вот где-то шлся... А?

- Может быть, нам это показалось? – Семён Семёнович перестал жевать. – Может, сидим мы сейчас по лавкам, в зале ожидания, - спим. Там сейчас поезд к платформе вот-вот подойдёт, а мы знай себе спим; спим – и видим сны... И носит нас по снам, носит...! Всё носит и носит...

- Это ты брось! – Капитан зашуршал пакетом. – Надо же, бутерброды кончились... Это ты, говорю я, брось. Сны ему... Сны – это там, где мы с тобой раньше были. Теперь, похоже, просыпаемся. Как думаешь? - Капитан выбрался из гнезда, и, шаркая, шурша пустым пакетом, подошёл к приятелю. – Только вот мотает нас, как фантики в сквозняке, а так – терпимо...

- Пожалуй, - согласился Семён Семёнович, разделяя последний бутерброд напополам. – Держи.

Капитан благодарно кивнул, мгновенно проглотив свою половинку, - уселся рядышком с приятелем на шаткую стопку досок.

- Мы – просыпаемся... Наверное, ты прав. ...Да, мне тоже так кажется! А что мотает – пусть мотает; правильно это: я, например, всё что прожил – всё в мотаниях, в тряске какой-то... А зачем? Вот и ты, полагаю, тоже. – Семён Семёнович выпрямился на досках и с хрустом потянулся. – Как жили – так и просыпаемся!

Капитан снова зашуршал пакетом.

- Слушай, чем это ты там непрестанно шуршишь?

- Да вот, - Капитан протянул пакет, - бутерброды здесь были. Я, понимаешь, крошки вылавливал...

- Не наелся?

- Куда там!..

Семён Семёнович расправил пакет на коленях. Пакет оказался просторным, вместительным. Из светлого поля – вытемнялась крупная, нечёткая в пещерном полумраке надпись: «ПОСЕТИТЕ НАШ МУЗЕЙ!»

- Ты что, в музее каком побывал? Оттуда еду принёс?

- Ага! – Капитан поёрзал. – Побывал! А ещё – в бане и филармонии. – Он отобрал у Семёна Семёновича пакет, скатал его и засунул в карман. – Тебя бы туда, страусам на потеху...

- Что – досталось? – хмыкнул приятель.

- Досталось... Было бы светло, так тебе прямая дорога – в обморок! Весь издолблен. – Капитан жалобно засопел: – Столько синяков, Сеня! – до столькох в школе считать не учат!

- Поломать-то – ничего не поломал?

- Кости целы...

...Приятели молча сидели на шатких досках, задумчивые, чуть ословелые после неожиданной трапезы. Невдалеке, в каменной чаше – тихонько журчал родничок, и столько ненавязчивой музыки, столько простоты, столько тепла было в нём, что так показалось: не в яме, не в пещере сидят они – в шатре из родниковых струй, и шатёр тот надёжен, и шатёр тот прекрасен, и вход и выход из него – глоток драгоценной влаги... Журчит; течёт, течёт; перетекает через край чаши – устремляется вниз, вниз... И где-то там – внизу – пропадает... вновь появляется... вновь пропадает и вновь появляется... вновь, вновь, но теперь – полноводной рекой... озером... голубеющей ветвью сосны... Пещера разбухает, пульсирует – наполняется трепетом корней, гулом взмывающего в приветную необозримость ствола, взмахом раскинутых в свистящий трезвонный простор ветвей... Из замкнутого – в наполненное, из ёмкости – в шар; ах! – шар изо льда, и солнечный луч тычется во внешнюю взмыв шар, как набирающий силу и жизнь щенок в блюдечко с молоком; ах! – крохотное отверстие... целая дыра... распахнутое окно...

Пещера излёскивается бескрайним, вознесённым во всякую сторону деревом; пещера – распахинаясь – разворачивается в дупло... ...Друзья сидят, по плечи зарывшись в ворох сухих, пронзительно пахнущих трав... Сидят, перегнувшись к краю дупла, смотрят.

Снег... Снега... Зима. От дерева к дереву носятся – взметаясь, клубясь, рассыпаясь – стаи колющих шуршащих снежинок. Вьюжится лес... постанывает от низа – вверх... подрагивает всем телом... По небу, в свинцовом верчении туч, летит – и до чего же звонко летит! – крылатый пёс... Белые сияющие крылья пса обмелькиваются лучисто, - перемешивая, омывая тучи, оглаживая мятущиеся верхушки деревьев, разбрызгивая новые узоры в незримую знаковую чехарду зимнего воздуха. Пёс летел высоко, но даже и так была заметна лёгкая танцующая улыбка на его спокойном лице... на всём: на пространство обнявших лапах, на маковке каждой шерстинки, на парящем, утверждающем чудесный полёт извиве хвоста.

- Тот самый, - прошептал Семён Семёнович.

- Он... - отшепнулся Капитан.

Пёс сделал плавный широкий круг, на излёте круга – пролетел мимо дерева с дуплом. Обернулся. Подмигнул друзьям. ...Взмыл!

Капитан, высунувшись из дупла по пояс, махнул ему вслед рукой. Семён Семёнович изо всех сил уцепил приятеля за край плаща, не давая ему свалиться вниз; взглядом – проводил пса...

Капитан покачнулся. Семён Семёнович рывком задёрнул его в дупло.

- Уф-ф... Ты ж чуть не грохнулся!

- Ага... - Капитан, побарахтавшись, распрямился. – Смотри, снегу-то намело!..

Семён Семёнович присмотрелся:

- Это не снег... Это тополиный пух...

Действительно, пух... Вечер... Тёплый летний вечер. Вокруг – приземистые пятиэтажные дома, облупленные, закутанные в шелест светлой июньской зелени. Окна многих квартир – раскрыты. Где-то – горит свет, и можно увидеть обитателей здешних жилищ – бродящих, беседующих, готовящих пищу, неотрывно уставившихся в телевизор... На подоконнике одного из окон третьего этажа – широко разлёгся довольный разнеженный кот; чуть приоткрытые веки подёргиваются в тёплом сквознячке, крошечный коричневый нос напряжён – вылавливает из распахнутого летнего мира всё самое вкусное и приятное, всё самое чудесное. Ниже – на втором этаже – ярко горит свет, но окна закрыты; сквозь не зашторенные стёкла виден маленький мальчик. Мальчик сидит, скрестив ноги, на полу, на коленях держит тетрадь и что-то пишет. Может быть – рисует...

И Капитана и Семёна Семёновича – всем вниманием – потянуло именно сюда, именно к этому окну.

Окно и дупло были, похоже, на одном уровне, разве что дупло – чуть выше. Расстояние между – всего ничего... Они очень хорошо видели мальчика; когда мальчик поднимал от тетради голову – его лицо, выражение глаз приметны были до чёрточки, до пятнышка, до мельчайшего, едва измелькнувшего оттенка. Так понималось: струна, протянутая во всякое место, на всякое расстояние, не имеющая остановки и удержания, но – несомая, но – несущая, наделённая парусами и правильным ветром – звучанием искренним, неумолчным, проникающим всюду, рождающемся из всего. Мальчик будто бы и не сидел на полу – парил над полом, поднимаясь всё выше и выше: сиятельная вечерняя нота мира... внемирья... истинное и родное, несущее взгляд не извне, но – из глубины всякого сокоснувшегося с ним.

Капитан прикрыл глаза.

- Я, кажется, его знаю, - услышал он надтреснутый хриплый голос Семёна Семёновича. – А может – кажется... Он похож на сына одной моей знакомой. Мы вместе работаем... - Семён Семёнович напряжённо сглотнул. – Несколько раз она приходила с сыном в типографию... и, по-моему, это он... ну конечно – он! У него ещё имя такое странное... Я так и не запомнил – какое, но помню – странное...

Капитан молчал. Он сейчас был там, в комнате, рядом с мальчиком. Воздух становился плотнее и гуще, воздух потрескивал от плотности и густоты, воздух кричал, кричал, кричал, криком огненным, неугасимым – превращался в свет...

- И улицу эту я знаю... - доносился из далёкого далека голос Семёна Семёновича. – Моя улица – в нескольких кварталах отсюда... там, за рынком... - Голос становился всё тише и тише, почти и вовсе сливаясь с шелестом июньской листвы. – Как же его имя? – я сейчас вспомню...

Капитан зажмурил глаза. Крепко-крепко! А когда вновь открыл – это была уже пещера: он сидел всё на той же стопке досок, и рядом с ним – едва различимый в полумраке – сидел друг его Семён. Семён спал; клонясь во сне – он накренил и себя и скамейку. Капитан едва успел схватить его за плечо.

- А...? – встряхнулся Семён Семёнович. – Я заснул, да? - Завертел головой: - Мы снова в яме... Ага...

- Лезь к себе в шалаш, - посоветовал Капитан. – Спать же хочешь! – ложись, отдохни нормально.

Сам он спать не хотел. Бодрость была в нём, бодрость и ясность. Вот ведь как!

- Ты знаешь, - Семён Семёнович прислушался к своим ощущениям, - а сна-то и нет! Вроде спал всего ничего, а вроде как – выспался. Удивительно!

Капитан встал, чуть не развалив лавку, и сделал несколько машинальных шагов вперёд и назад.

- Как полагаешь, Сеня, что она такое?

- Она?

- Ну, место это... Пещера.

- А!.. Я думаю, её нет. Она нам только кажется... и вместе с тем – вот она. Возможно, это пришло из нас – всё что мы воспринимаем; возможно, это – попросту – мы. И не одна пещера...

- Похоже. – Капитан сделал ещё несколько вперёд-назадových шагов. – Я размышлял об этом. Вот только... - Капитан остановился. – Если это пришло из нас, если это даже – мы, то почему всё, что мы видим, слышим, да и вообще – в чём оказываемся, оказывается одним и тем же? Разве что – за редкими исключениями... А? Ведь нас-то – двое. Мы – разные. И даже оказываясь в одном и том же – мы воспринимаем-осознаём по-разному.

- Но зачем-то именно мы оказались на станции. Именно я и именно ты. Именно вдвоём.

- Это понятно... - Капитан притопнул ногой. – Непонятно другое: почему, оказавшись «именно вдвоём» – оказались в одном, одним при этом не будучи? Что-то меня здесь смущает с самого начала. Вроде как – намёк на мелодию: и зудит и вертится и разве что за грудки не хватает, а – не угадывается, не проступает, не соединяется со слухом. Кажется: сейчас схвачу! Хватаю! Разожмёшь – пустая ладонь, только ощущение: что-то здесь было... может быть – что-то есть, но – не видишь.

Семён Семёнович обхватил голову руками; кап-кап... падает из капающего крана вода – подставляй ладони... Резко взлохматил свалявшуюся шевелюру. Вскочил.

- И почерк!.. У меня было прочное ощущение, что это – я: извлёк смысл, нанёс знаки!

- Ты о чём?

- Ну помнишь, в зале ожидания? Те листки, взявшиеся невесть откуда...

- Да-да! И у меня – тоже. – Капитан заволновался. – Тут дело даже не в почерке. Почерк, конечно, показался похожим на мой, но – похожим: может быть, это мой почерк, а может быть не мой... Не важно! Важно вот что: эти слова нарисовал я, и рисуя – я знал что рисую, и рисуя – я был там, где было то, что я рисовал! – Капитан беспомощно стиснул подбородок. – Наверное, я сумбурно говорю, невнятно...

- Сумбурно, - весело согласился Семён Семёнович. – Но мне понятно. Оно ведь так: и во мне сумбур, и точно такой же сумбур, и то, что ты сказал – мог бы сказать я, точно так же, разве что – чуть иначе.

Ух и волновались. Подступились к чему-то! – надо же! Странно, но раньше им в голову не приходило (по крайней мере – наверняка) принять очевидное за очевидное. Должно быть, для того, чтобы что-то увидеть, мало этому чему-то всё время быть перед твоими глазами, нужно ещё и открыть глаза. А что ещё? Ещё: открыв глаза – не закрывать их; с открытыми глазами – научиться смотреть.

Друзья почувствовали себя – *так и теперь* – теми самими, меняющимися, - в каждом из которых *существо мыслящее* и *существо живущее* пребывали по-отдельности, а теперь начали, наконец, соединяться.

*...«мы выхватываем из неба белые шары*

*и шары чёрные*

*...что делать с ними?*

*где нам их разместить?*



*для чего нам эти шары?*

*...ничего не знаем*

*но продолжаем выхватывать из неба белые шары*

*и шары чёрные*

*нет дела важнее чем это!*

*нет дела необходимей!*

*...шар за шаром –*

*возникает высокая пирамидка*

*пирамида*

*: мы укладываем шар за шаром*

*мы выкладываем ряд за рядом*

*мы плюхаем шарики уже там где при нашем росте*

*нет ни малейшей возможности для такой работы» ...*

Капитан торопливо отбежал к серёдке пещеры. Повозился, пошуршал, и, щёлкнув зажигалкой, запалил маленький костерок.

- Сейчас дыму навалит, задохнёмся, - подбредая к костру, озаботился Семён Семёнович.

- Не успеем. – Капитан зябко повёл плечами. – Слушай, Семён, где твои тетради? ...Я, собственно, зачем огонь засветил? – тетради посмотреть хочу, почитать, если ты не против, конечно.

- Не против... - Семён Семёнович посунулся в куртку. Скинул куртку и тщательно общупал её. Рас-терян-но посмотрел на Капитана. – Нет тетрадей! Где-то обронил, верно...

- Эх!.. – Капитан, поморщившись, досадливо мотнул головой. – Ну что ж ты, Сеня! Так берёг...

Семён Семёнович развёл руками, и присел на корточки перед костром. Он удивлялся: пропажа тетрадей совсем его не огорчила. Нет, разумеется, он был бы рад, если бы тетради никуда не делись, но и то, что их не стало – расстройство особого не принесло. Удивительно! Ещё совсем недавно – кош-маром было бы представить подобную пропажу. А теперь...

Он подбросил несколько толстых веток в костёр и обернулся к приятелю.

- А твой листок где?

- Листок?

- Да. Тот, что мы на лугу, на столике нашли. Ты ещё его последний раз доставал тогда, у костра... куда нас занесло со станции. Там что-то про вселенную... и ещё... Помню, почерк, что и везде – похо-жий...

Капитан порылся в карманах, и – из заднего кармана брюк – вытащил сложенный вчетверо ли-сток. Измятый, в чёрных угольных разводах, надкусанный с одного угла... Капитан потёр пальцем надкусанный край:

- Твоя работа.

- Моя, - эхом отозвался Семён Семёнович.

Капитан присел рядом на корточки. Наклонился к огню.

Приятель развернул листок. По бумаге нестройными вихрящимися рядами тянулись маленькие печатные буквы: синие, зелёные, красные, рыжие, жёлтые, фиолетовые...

- Здесь почерком и не пахнет, - приподнял брови Капитан.

- Это точно.

Приятель дружно уткнулись в листок, разбирая маленькие разноцветные буковки.

*«Вот: это самое первое число... Я называл его много раз. Много, много раз. Великое множество раз. Я больше не назову его.*

*Вот: числа подходят ко мне, и называют меня по имени, и называют свои имена. Числа трутся щеками в моих руках. Я прижимаю их крепко к себе; отсюда: изникновение чисел.*

*Наплывает ночь. Падает мокрый снег. Падают фонари, дома, улицы. Падают и кружатся. Падают, падают – наполняясь; переполняясь, преображаясь. Непогода сверху, и непогода снизу. Посередке я, и мы, - здесь нет непогоды» ...*

Костерок почти погас. Читать стало трудно. Читатели-сосидельцы, отложив листок – отправились шарить по пещерным окраинам в поисках толстых коротких веток. Получив новую порцию сушняка, костёр разгорелся быстро и ярко. Огонь горел чисто, ровно, - света хватало; и только иногда костерок шалил – трескуче рассеивал вокруг себя маленькие искровые фейерверки. Дым на этот раз не мешал, его не было, - он исчезал аккуратно и насовсем, не оставляя в пещере даже дымного завитка.

Приятель снова вернулся к листку. Текст изменился. Буквы остались по-прежнему печатными, но стали крупнее, и – вне разноцветья – чёрные на белом фоне. Само же содержание как будто бы являлось продолжением прежде прочитанного, но вроде бы – и нет. А может – не продолжение вовсе, и даже – не содержание...

*...«Мы идём по мосту. Мост подрагивает под нашими ногами; мост кренится и трещит. Мы идём по мосту. Мост постепенно – по чуть-чуть – привыкает к нашему тяжёлому шагу; он становится всё упругее и всё прочнее, он уже с удовольствием принимает наши шаги... Так: нашим шагам ровень – шаги моста.*

*Мы идём по мосту. Ураганы проносятся над нашими головами; сверкают хвостами кометы; бурлят проливные дожди. Под нами – океаны безмерные, ущелья бездонные... леса... высокие травы... кони по грудь в тумане... суслики лижут закат... А мы идём. Иной раз что-то толкает нас спереди, а что-то – сзади... что-то тянет вниз, а что-то – подбрасывает вверх... Да, так бывает. Но мы не придаём этому никакого значения, - мы идём, и продвижение наше – ровнее и звонче взмывной шеи жирафа, трогающего губами звёзды.*

*Мы идём по мосту. Мы идём и идём по мосту. Мы и мост. О! далеко и трудно – так далеко и трудно! – но и не далеко, и не трудно совсем: из себя мы видим, из себя осязаем желанное и родное, а поэтому – легко и близко, близко-близко, совсем рядом» ...*

Сколько раз перечитывал Семён Семёнович – он не вспомнит. Сколько раз перечитывал Капитан – и в ум не возьмёт. Но вылетел из догорающего костерка сноп искр, - щедро просыпался на листок. Вспыхнул листок! Не успел долететь до земли, выпав из отпрянувших рук Семёна Семёновича, как сгорел дотла, и налетевший откуда ни возьмись сквознячок поволок-потащил пепел в далёкий непроглядный мрак... может быть – в небеса.

- Эк ты! – крикнул Капитан. – Не держится при тебе, Семён, исписанная бумага! Вот незадача...

Семён Семёнович с недоумением смотрел на собственные руки.

- Я ведь не нарочно, - жалобно выдохнул он. – Прости, малыш...

- Да ладно! – Капитан встрепенулся: - ...Постой, как ты меня назвал?

- Малыш...

- А с чего это? – Обалдело хмыкнул. – Тоже, нашёл малыша... Ну надо же!

...А Семён Семёнович и сам не понимал, откуда взялся этот «малыш». Но так пригрезилось: правильно сказал. Вот только – кому? Капитану? Себе?

Семён Семёнович резко распрямился с корточек. Потоптался, разминая затёкшие ноги. Сгрёб палкой в маленькую кучку привольно разлёгшиеся угольки. Присмотрелся к озирающемуся по сторонам Капитану.

- Ты что-то ищешь?

- Да ветки... Как-то мне понравилось с костерком!

- Не надо. – Семён Семёнович аккуратно положил палку на землю; с хрустом – растряхивая дремное тело – потянулся; перетряхнулся, как выбравшаяся из воды собака. – Пошли!

- Куда?

- Понимаешь, всё, мне думается, просто.

- Ну?

Капитан, кряхтя, тоже поднялся с корточек. Пошатнулся. Семён Семёнович его поддержал.

- Всё просто: этой пещеры нет. Ничего нет. И нас нет. Мы, как и всё в мире, миражи.

- Ага... Вот как!

- Именно! Миражи. ...Но, применительно к данной ситуации, миражи не совместные, а поочерёдные. И значит...

- И?

Семён Семёнович задумался.

- Ну... И значит, мы можем выйти отсюда куда угодно!

- Куда?

- Вот! Мы не знаем, куда нам угодно! Но, по крайней мере, мы можем выйти куда-нибудь, а уж там разберёмся – куда нам угодно. Пошли!

Капитан снова заозирался.

- Шляпа... - затосковал он. – Шляпа куда-то вот делась... И, главное, давно делась...

- Возможно, она ждёт тебя по дороге. Идём.

- Без шляпы?..

- Ты что, не хочешь уходить?

Капитан, пошатываясь, подошёл к родничковой чаше, зачерпнул воды и широко оплеснул лицо.

- Не знаю, Сеня... - Тяжело вздохнул. – Трудно мне как-то... Может быть, притомился.

- Сильно притомился?

- Не особо. – Капитан усмехнулся. – Дышать могу! – Нехотя застегнул плащ. – Ладно, веди, бузотёр. Куда ты там собирался...

- Идём!

Семён Семёнович увлёк Капитана за собой. ...Вперёд, вперёд! в темноту... Казалось, они идут прямо в стену. ...Вперёд, вперёд!

Они миновали место, где была трещина. Трещины не было.

Вперёд! Впереди немного посветлело...

А-а-а-а...!!!

- Чтоб тебя...! – закричал Капитан, всем телом вбухиваясь в сугроб. – Ф-ф-ф-ф...

Мотая головой, отплёвываясь, он по пояс выбрался из сугроба. Выбравшись, обнаружил в стиснутом кулаке очки Семёна Семёновича. ...Где же Семён?

- Се-ня!

Ветер подхватил, закрутил, залепил в снежную промесь крик. Ветер вздёрнул Капитана за воротник, и проволока до следующего сугроба.

- Се-ня!

Ветер захохотал. Взвыл. ...Капитан поднял голову: ему показалось, что по небу – далеко-далеко – летит его друг Семён. И стоило только привстать на цыпочки, вытянуться в сторону искомой цели, взглянуть... – как тут же ветер подхватил, подхватил!.. Понёс! Кубарем покатил по снежной равнине!

- Се-ня!

С визгом, гиканьем взмыл Капитан над землёй в вихре снежинок! ...С выдохом стонным грохнулся на ковёр – на старенький вытертый ковёр, поверх скрипких половиц, - врезался плечом в ножку стола, заставив задребезжать всю посуду...

## МУЗЕЙ

- Иви, я ненадолго! Я скоро вернусь! – крикнула мама от двери. – Слышишь?

- Да, слышу! – звонко донеслось из комнаты.

Мама закрыла дверь, и, цокая каблучками, вышла из подъезда.

Во дворе было безлюдно. Мама присела на скамеечку возле подъезда, осмотрелась: куда пойти? Она не слишком понимала прогулки как таковые: куда-то зачем-то идёшь, бесцельно, лениво, а у себя дома (да и помимо) столько необходимых неотложных дел. Ну конечно, - свежий воздух, движение, возможность отвлечься от обыденного распорядка, подумать... - думать, думать, думать – только на это и тратить время. Это понятно. Но только с непривычки ни о чём другом и не думаешь, как о направлении и цели, всё время пытаюсь спохватиться, что попусту тратишь время.

Наконец, мама встала. Направление и цель так и не проступили, но дальше столь же бессмысленно сидеть на лавке, когда решила прогуляться – совсем нелепо. Она мелким быстрым шагом, как и привыкла всю жизнь, вышла со двора на улицу; направилась вверх, к мосту, рассеянно поглядывая по сторонам.

«Иви, Иви, Иви...» - только и крутилось в маминой голове. Привести мысли в порядок, разобраться, разложить по полочкам, досконально уясняя для себя обличье и суть происходящего – не получалось, не получалось никак. Было тревожно, тревожно... было нервно и ветрено: присердечные глубины стонали, трепетали, гнулись, лёгкими сполохами облизывая лицо вошедшего урагана. Но и – было тихо, замирательно... Но и – радостно... Это, последнее, более всего тревожило маму: она не могла – ну не получалось! – сопоставить происшедшее-происходящее с радостью. «Чего ж тут радостного, - думала мама, - когда хочется спрятаться под одеяло, и не вылезать как можно дольше... Чего?» Мама шла всё быстрее, быстрее. Вряд ли, взглянув со стороны, можно было бы угадать в ней прогуливающуюся женщину, скорее – спешащую, причём спешащую напропалую. Мама почти бежала. «Что?... что?... что делать? – малоосмысленно и зябко стучало в ней. Куда?..»

- Доченька, ты полегче! – услышала она обеспокоенный вскрик.

...Махом пришла в себя, сразу, - так вычавкиваются – махом! – из горького липкого бреда, жидкой карамелью вязущего ступни и сознание. Оказывается, слабо замечая всё, что вокруг – она столкнулась со своей мамой, ивиной бабушкой, полчаса назад ушедшей на рынок. Бабушка укоризненно покачала головой.

- Вроде, взрослый уже человек, - с дитём как-никак, с высшим образованием! – а носишься, как пьяный поросёнок.

- Извини, мам... Я растормошённая сегодня... - всё так непонятно!

- И на службу не пошла... Я тоже не пошла. – Бабушка вздохнула. – Будешь тут растормошённой, когда дома невесть что.

Бабушка сердито тряхнула сумкой. Сумка легко прошуршала в воздухе, - ясное дело, пустая.

- Ты же на рынок пошла, - спохватилась мама. – Закрит ещё?

- А?..

Бабушка зачем-то оглянулась. В глазах её мелькнуло недоумение.

- Ты же морковку собиралась купить. Вишен ещё...

- Какая морковка! Каких вишен! – в бабушкином голосе проступило слёзное возмущение. – Я рынок не могу найти, а ты – морковку...

- Ты плохо себя чувствуешь? – испуганно спросила мама.

- Да нормально я себя чувствую, раззамечательно! – Бабушка опять оглянулась. – Только вот что тебе скажу: и дома невесть что, и в городе – то же самое...

- Да вот же он рынок, тут, за мостом! – показала мама рукой на мост.

- Что ты? – насмешливо удивилась бабушка. – Ну пошли, покажешь...

Мама пожала плечами и потрусила вслед за бабушкой к мосту. Вместе – вровень – и на мост ступили. Всё как всегда... только мост – другой.

Гигантская бетонная перекидушка, опиравшаяся на высокие ржавые столбы, окаймлённая столь же ржавыми, в чудовищных кокетливых завитках перилами – нынче удивительно похорошела. Вместо растрескавшегося, в выбоинах, асфальта – мощёный рельефными кремовыми плитками аккуратный тротуар. Из невысоких, с простым и лёгким узором перил вырастали чугунные шесты, с каждого из которых свисал шестигранный фонарь с зелёными стеклянными стенками. А внизу, там, где прежде просвистывалась широкая автотрасса, текла маленькая речушка, неглубокая, прозрачная, в гирляндовых переливах гибких водорослей.

- Вот это да... - ошарашенно остановилась мама.

- Ну? – и где рынок? – ехидно поинтересовалась бабушка. – Давай, показывай.

- Рынок?.. – мама прижала ладонь ко лбу. – Рынок... - Заосматривалась, вертя головой. - Рынок... Ой! А где наша улица, наш дом?

Действительно, извивная тихая улочка, по мере своего дления плавно переливавшаяся в мост, стала иной. Точнее – её не стало. Неподалёку от моста, по-сбоку-насквозь, выстелился проспект, с огромными вычурными зданиями по краям. Между мостом и проспектом разместился крошечный сквер.

Бабушка охнула. Залопотала:

- Что же это... Я тут, давеча, была, так впереди – невесть что, но с нашей стороны – как прежде; а теперь... Влипли! Нет, ну ведь влипли! – а?

- Во что? – слабо спросила мама.

- «Во что», «во что»! – пришалело ворчала бабушка, всматриваясь то в одну, то в другую сторону. – Избаловали вас культурные условия, - всюду канализация, не знаете, во что обычно влипают... «Во что»! Ты только посмотри!

Что смотреть... Не узнавала мама города. ...Предположим, каким-то неведомым образом перенесло их куда-то... но – нет, не похоже: таких городов, как тот что она видела, не бывает! Не бывает! Не может быть, это мама знала точно!

Город – это некое изначальное место, сосредоточенно-тонкое. Город – дерево, с корнями, стволом, ветками, листьями, плодами, где люди – только букашки, снующие туда-сюда, и всё, исшедшее из их рук – нагромождение мусора в шелушинках коры, дыры в стволе и листьях, что к дереву, собственно, отношения не имеет, что вторично, что привнесено вне его призывов и чаяний. Здесь же – неоглядное пространство, битком набитое именно исшедшим из рук человеческих; неоглядное, битком набитое пространство – и только. Здания, улицы, мосты, площади, монументы... и что-то ещё, ещё... - сума-

тошное смешение, дикие загогулистые переливы, затейливо-упёртое чередование, необличное, как хохот смородины в темноте. Всё это было разношёрстным: всевозможных эпох, мыслимых и немыслимых, всевозможных наций, всевозможных вкусов и безвкусий, всевозможных материалов, какие только могут оторвать блудливые руки от окружающего мира. И повсюду, куда ни посунься обалдением, егозили человеки: толпами, коллективчиками, парами, поодиночке... Одеты – кто во что горазд, - разношёрстная невнятица, вполне соответствующая тому, что их окружало. Также и транспорт: повозки, кареты, самодвижущиеся экипажи, автомобили, какие-то шагающие конструкции; по рельсам проносились трамваи и паровозы; по разномасштабным речкам шлялись плоты, лодчонки, вёсельные и парусные суда, пароходики, неведь как перемещающиеся полупрозрачные баржи-катера... Летающие же ерундовины вообще не поддавались учёту и определению... - букашковое марево над лугом...

Мама с бабушкой переглянулись.

- Может быть, мы на другой планете? А, дочка? – шёпотом спросила бабушка.

- Ну да, на другой! – Мама ткнула пальцем вниз. – Смотри!

На набережной, между большущей тростниковой хижинкой, метров в пять высотой, облепленной сверху донизу причудливыми узорами и финтифлюшками да пузатым трёхэтажным особняком, с завитущими балкончиками – стоял знакомый овощной ларёк. Раньше он стоял на трамвайной остановке, теперь – вот... Но – тот самый: в ларьке распах висела грубоватая упругая физиономия торговли Раисы; Раиса придирчиво рассматривала проходящих, выискивая возможных покупателей, и время от времени зычно повизгивала в сторону игравших на набережной подростков, требуя прекращения шума. Женщина она была вздорная, склочная, и в обычных обстоятельствах, разумеется, радоваться такой встрече не приходилось, – мама и бабушка всегда предпочитали покупать овощи в другом месте, пусть и дальше от дома, но теперь – теперь они со всех ног припустили с моста к знакомому ларьку.

- Здравствуйте, Рая!

- Кому – Рая, а кому – Раиса Панкратовна, - неприветливо зыркнула Раиса. Обмахнула тряпкой прилавок. – Что берёте?

- Да мы не покупать, Раиса Панкратовна, - сказала мама. – Вы, случайно, не знаете, где мы все оказались?

- Это в каком смысле? – насторожилась торговка.

- Ну... всё, что вокруг – откуда оно взялось?

- А вроде приличные на вид девки, - покачала головой Раиса. – Что ж это вы с утра ершей нажрались!

- Каких ершей? – не поняла бабушка.

- А ну давай, вали отсюда! - заорала Раиса. – Делать мне нечего, как со всякой пьянью тарабарить!

- Да вы что! – возмутилась мама.

- Я тебе поговорю! – продолжала орать Раиса. – Хрюкают тут, профурсетки, мозгу рабочему человеку пинают!

Проходивший мимо старичок – остановился, и с восхищением посмотрел на Раису.

- Ну, чего уставился, хрен плюгавый!?

- Да вот, смотрю, ряха у тебя знатная! – багровая, налитая – хоть прикуривай! - Старичок прицокнул языком. – Позволишь прикурить, ласковая?

- Я тебе!.. – Раиса шустро всунулась в недра ларька, но тут же вылезла по пояс, размахивая в направлении обидчика большим огурцом. – Получай!

Старичок, ловко изогнувшись, ухватил огурец на лету. Ухватил – захрумкал аппетитно.

- Бабец-стервец, кинь ещё огурец, - чавкая, попросил он.

- Ящиком!.. Ящиком я тебя сейчас!.. – донеслось из глубин ларька.

Хохотнув, старичок быстрёхонько, потряхивая редкой бородёнкой, засеменил за угол. Мама с бабушкой тоже не стали дожидаться появления Раисы с ящиком – спрятались за стоявшую неподалёку широкую статую.

Раиса бурно выметнулась из ларька, потрясая над головой ящиком. Остановилась. Никого... С грохотом бросила ящик на асфальт.

- Всех перебью, - басисто шипела она, убираясь обратно, - только покупателей оставлю! Всё, перекур на завтрак! Довели!

Окошечко ларька захлопнулось. Мама и бабушка вышли из-за статуи.

- Ж-жуткая женщина, - чуть заикаясь проговорила бабушка. - Прямо, как пулемёт!

- Несчастливая она... - Мама нахмурилась, зябко повела плечами. – Наверное, никто до сих пор не сказал ей, что она – вселенная... вот и живёт, как придурелое стихийное явление. Не сладкая у неё жизнь!

- И у тех, кто рядом, - рассудительно вздохнула бабушка. – Когда у слона понос – муравьям не до праздника.

Мама, чуть изогнувшись назад, рассматривала статую. Нет, не статую – монумент! И нелепый какой!.. Чем больше она вглядывалась в высящийся бронзовый куб, тем отчётливее проступало: телевизор... Точно, телевизор! Только чуть стилизованный, в форме головы... А на экране – гравировка: мечущиеся футболисты, похожие на крабов вратари, распахнutorотые зрители... Бронзовый телевизор важно взбухал на низком полуметровом постаменте, сам же – величиной с трёхэтажный дом, что стоял напротив. На самом верху, свесив лёгкие ножки – сидел маленький бронзовый человечек с книжкой в руках. Ребёнок...

- Ну и нагородили... - ахнула бабушка. – Это ж надо такое!..

- Пойдём, - попросила мама.

- А куда?

- Не знаю... Но не век же здесь торчать! – так и с ума сойти можно.

Они немного прошли по набережной и свернули в проулок. Проулок оказался коротким: в пять минут миновали покосившиеся бревенчатые избёнки, раздолбанную каменную башню с зубцами, пышненький пузатый особнячок, миновали барышню в кружевах, выгуливающую кудрявую собачку – и оказались на просторной площади с фонтанами.

Мраморные, помпезно-пышные фонтаны булькали, пузырились, разбрызгивались куда ни попадя переливчатыми каплями. Было их штук двадцать, а может – тридцать... много. А людей – и того больше, не сосчитать. Промежфонтанные люди не толпились зря – каждый аккуратно занимал своё место: кто сидел на лавочке, кто – на забрызганных парапетах, кто – стоял. Мест своих никто не покидал, но это ничуть не мешало оживлённому разговору: люди непрерывно беседовали друг с другом, обильно колышась сопровождающими движениями – что-то увлечённо втолковывали, доказывали, опровергали. Над площадью – от людей, от фонтанов, от чего другого – плыл едкий гудящий стон, напоминающий пчелиную болтовню. На низкой литой решётке, огораживающей площадь, сидел недавний старичок. Старичок – из прищура – разглядывал гудящих говорунов и смешливо скалился.

- Здравствуйте, - в один голос поздоровались и мама и бабушка.

- Привет, малышня! – весело ответил старичок. – Всё приключения ищите, или как?

Он немного передвинулся на решётке, освобождая – к присяду – место. Мама и бабушка поблагодарили, присели рядом. Только тут, вблизи, они обратили внимание, что старичок перепоясан через грудь – наискосок – вместительной сумкой на широком обшарпанном ремне. На сумке было крупно написано: «П О Ч Т А».

- Вы почтальон? – спросила мама.

- Непременно, - согласился старичок. – Когда как...

- Вы здешний почтальон? – спросила мама.

- Вездешний, - улыбнулся старичок.

Не очень понятно ответил, но выбирать путешественницам не приходилось. Чувство непонятности стало для них каким-то привычным, уже – понятным, но и непонятным совсем, как карман кенгуру. Впрочем, игривый сосед показался обеим женщинам приятным, почти своим.

- Скажите, - робко попросила мама, - где мы? – Заторопилась: - Только поймите правильно! – мы вышли из дома, и – вот... И вот не знаем, где мы...

- Да-да, - подтвердила бабушка, - так получилось... Ну, дико получилось, что тут скажешь!

- Бывает, - успокоил старичок.

- Нам бы только выбраться отсюда! – волнуясь, сказала мама.

- Нам бы только выбраться... - вторила бабушка.

- Куда? – удивился старичок.

- Как – куда? – мама немного растерялась. - К себе, обратно...

- Зачем? – ещё больше удивился старичок.

- Да вы что, издеваетесь над нами!? – возмутилась бабушка. – Ему про баню талдычат, а он сапожником притворяется!

Старичок тоненько заливисто захохотался, удовольствием барабанил ладошками по верху решётки. Но тут же и прекратил, со смешливой укоризненностью поглядывая влажными глазёнками на путешественниц.

- Да с чего вы взяли, девочки, что знаете откуда вы и куда вам нужно?

Никто ему не ответил. Бабушка сидела нахохлившись, хмурая и смотрела под ноги, а мама утешающе поглаживала её по плечу.

Старичок хмыкнул.

- Вы ещё скажите, что у вас ребёнок дома один и вы за него боитесь!

- Вот именно! – Бабушка вскочила, взмахнув руками. – Вот именно!: у нас дома ребёнок, и он может испугаться, если нас долго не будет!

- Это кто, Иви? – не вставая, спросил старичок. – Иви – испугается? Да вы, мамы, сбрендили!

- А вы что, знаете моего сына? – осторожно спросила мама.

- Ещё бы! – довольно выпятил грудь старичок. – Я при нём с самого его рождения в почтальонах!

- В почтальонах... - совсем ничего не поняв, заторможено повторила мама. - Почему – в почтальонах?..

- Умею, - радостно ответил старичок. Встал, поправляя сумку. – Может, пройдемся, мамы? – а то вы сидя столько глупостей нагородили, мешком не собрать.

Мама и бабушка только молча кивнули.

- Значит, так, - деловито сказал старичок, - вы – сюда гуляете, а я – туда.

И бодренько, не оглядываясь, потрусил к неподалёковой автобусной остановке. Мама и бабушка недвижно провожали его глазами. Шагов на десять отбежал, когда бабушка опомнилась – крикнула вдогон:

- Подождите!

Старичок остановился. Обернулся:

- Чего ещё?

- Вы так и не сказали, где мы...

- Как – где? – Старичок удивился. – Вы что, так ничего и не поняли? – Женщины молчали. – Вы – в Музее!



- Как это?... – шёпотом откликнулась бабушка.

- Э-э, да вы, сударушки, дикие. Ну, музей: стены, витрины, экспонаты... то да сё... Что тут неясного?

- Всё неясно, - твёрдо сказала мама. – Вы можете нормально объяснить?

Старичок вздохнул:

- Прямо сейчас? ...Может – годик, другой – подождём?

- Прямо сейчас, - ещё твёрже сказала мама.

Старичок тоскливо шмыгнул носом.

- Да поймите: скучно объяснять очевидное... А?

Неожиданно – чуть не рывком – к насмешнику подскочила бабушка, и крепко ухватила его за рукав.

- А ну, выкладывай всё начистоту! Ишь, шары надувает!

Подбежала мама.

- Словили... - обалдело пробормотал старичок. – Словили дядечку красотки, хотели подарить колготки... Вы что, совсем озверели? – а вроде деликатные барышни...

Старичок – в дуновение – передёрнулся, переменился, возрос. Где-то невдалеке гукнулся пароходный гудок... прошаркнулась над головой тень крошечного дирижабля... Бабушка обмигнулась, и тут же с удивлением обнаружила, что держит за рукав не старичка, но – могучую тётку, метра в два ростом, да почти столько же, как казалось, в ширину. Бабушка от страха вцепилась ещё сильнее.

- Ой, отпустите бедолажку! – плаксиво загудела тётка. – Ой, не обижайте меня добрые девочки, а я вам песенку спою!..

Бабушка отпустила рукав и живенько отскочила в сторону, чуть не столкнувшись с мамой. Тётка сразу успокоилась; строго погрозила пальцем:

- У-у, негодницы! Где это сказано, чтоб гражданок за рукава хватать! Вот возьму – в угол отведу и двойки поставлю...

Путешественницы только моргали.

Тётка вздохнула:

- Так петь что ли песенку? – или вам и так хорошо?

- Спасибо, хорошо... - жалобно сказала бабушка.

- А может – ещё лучше будет? – подзадорила тётка.

- Нет, спасибо... - присоединилась и мама.

- Ладно, - тётка хмыкнула, прицокнула языком. – Уговорили! – Подошла ближе; сказала совсем уже другим тоном, втолковывая: - Хотите узнать «где» - подумайте; если думалка ржавая – походите, посмотрите, может, что и поймёте. Домой захотите – напишите письмо...

- Письмо?

- Именно! ...А пока – прошвырнитесь вокруг площади, авось пригодится. До встречи, балаболки!

Тётка развернулась и ринулась к только что подошедшему автобусу. Впрыгнула. Двери захлопнулись; автобус умчался.

- Ты что-нибудь поняла, дочка? – слабым дрожащим голосом спросила бабушка. – Балаган какой-то!..

- Кажется, поняла... - задумчиво сказала мама. – Правда, не поняла ещё – что.

Она обернулась и посмотрела на площадь. Ничего не изменилось... Перевела взгляд на автобусную остановку: от остановки, дребезжа и поскрипывая, отъехал дилижанс. На запятках дилижанса торжественно застыла малюсенькая утконосая старушонка в бальном платье. Старушонка показывала кому-то язык.

- Пошли, обойдём площадь.  
- Зачем? – возразила бабушка. – Ноги топтать?  
- Не знаю... - Мама нахмурилась. Посмотрела на пробежавшего неподалёку суслика с веником; суслик весело размахивал веником, завывая песню. – Пошли! А то здесь мы с ума и тронемся.

Бабушка махнула рукой. Чего уж тут!

Они повернули в обратном, и медленно и нехотя пошли к площади. И нехотя... Ох, как не хотелось смотреть по сторонам! – хоть плачь...: боязно... вдребезги непонятно... нелепо... обморочно...

...А фонтанов-то уже и не было. Вот. Не было и людей. А казалось – да вот совсем недавно! – что они так прочно, так навсегда населяют площадь, что они и есть это место, что без них площадь – нет её, без них площадь – вздор. Но не стало людей, не стало фонтанов, а площадь – вот она: неровные, неравномерные, глубоко вросшие в землю камни, просторная низкая гулкая даль, незамутнённый трепет пылинок, тихая упругая самость древнего зверя.

- И что? вот прямо туда и надо? – Бабушка остановилась так резко, так неожиданно для самой себя, что покачнулась, едва удерживаясь на ногах.

- Ну да...

- Ну и как именно? – с горькой издёвкой спросила бабушка. – Ты как полагаешь, дочка: нам вовнутрь зашагивать или по краешку обойдём?

Мама пожала плечами. Мама вздохнула.

Площадь качнулась, дрогнула; так: накалился-напружинился воздух – перепрыгнул в марево, взгляд обманывая, взгляд тревожа, покачивая, вгоняя в дрожь. Площадь качнулась-дрогнула, - обвевалась сквознячками. Ах!: полетели, полетели сквознячки, свиваясь, переплетаясь, вылепляясь в плотную тугую громаду, громаду-волну. Ах! Э-ге-гей! Ветер, ветер! – истошная пронзительная ладонь, стремительно хлынувшая в сторону двух замерших у кромки площади фигурок.

Женщины зажмурились, откатнулись. Им казалось: сейчас подхватит, поволочёт, закружит... ударит о камни... вздёргнет в небесный покой сиротливыми разъярошенными птицами... Но вот: волна, казалось, уже коснулась дыхания, уже щекокнула стиснутую ресничную твердь, а не схватила, - нет! – странное дело: стремилась-надвигалась с площади, а толкнула в спину, и толкнула мягко, бережно... и мягко и бережно, и – настойчиво. Да-да!: вот: ветер – не ветер, а будто бы – площадь: обняла-прижалась, втокнула в себя, облепила снегом...

Они шли по белой, белой, белой, протяжно белой равнине. И только песок... то есть снег... то есть не поймёшь что... – и не-поймёшь-что провеивалось, просвистывало, обволакивая и кружась; теребило, заглядывало в глаза. ...Вроде – никого, только этот гудёж, завывающий, липкий, а вроде – люди кругом, и продолжения людей, и тени людей и продолжений. Вот: один... два... сто... миллиард...; скрип колёс... – по всем сторонам, отовсюду! скрипящая жёсть... шорох... шорох... шорох... высоченное и низкое – перемешка углов, тягот... марево жестов, рождающих жесты... мнущая воздух речь... Трудно здесь быть, трудно ходить – не протолкнёшься, – а и толкаться не надо: нет никого, только равнина, и то, что идёт из равнины, и то, что равниной дышит.

А ещё – ветер.

- Тьфу! – Бабушка замотала головой, замахала на снег руками. – Зима, что ли?

- Что?..

Ветер съёзжал звуки; звуки неслись нечёткой развейной гурьбой – пляс, пляс! сплошная белиберда!

- Я говорю: зима, что ли, началась!? – заорала, сутулясь под ветром, бабушка. – А?.. Этого ещё не хватало!

- Нет, не думаю... - Мама внимательно осмотрелась вокруг. – Тепло!

И действительно: снег ли, песок, иная какая блистающая мелюзга, - а вот не холодно, даже не зябко. Но...

А всё-таки, это была зима. И то, что падало на одежду, высветляя, расцвечивая её – снежинки; ну как, как их не узнать? И то, что виделось сугробами, – трепетные, трепетные блуждающие дюны, – сугробы, ну конечно сугробы! И застывшие – звоном ли льда, мрамора... – лица; многие, многие лица тех, кого не было, но кто – вот они, и так озябли...

- Давай, говорю, выбираться отсюда как-нибудь! – закричала сквозь ветер бабушка.

Мама даже отпрянула. В полном безветрие, при отсутствии каких бы то ни было удержаний – крик прозвучал оглушительно. Бабушка покачнулась; будто бы – стояла словами о ветер опёршись, а ушёл ветер – ушла и опора.

Тишина... Нет, не тишина – тишь.

Равнина. Равнина разлеглась бескрайним столом, и все, кто собрались за этим столом, собрались по зову; собрались – все. Вот они: нет никого, но все они, конечно, здесь – ожидают лишь невидимого щелчка, дающего команду и направление, призывающего в мимолётную ясность.

Тишь.

...Белая, протяжно белая равнина...

...Пространство разомкнулось и сомкнулось – одновременно; выпятилось линзой. Смотри во все глаза – всё равно ничего не увидишь: всё перед носом; а и учись вглядываться... Ну и ну! вот оно как: заприметилось, озарилось! Приблизилась линза то, что было и так близко, а возможно – отдалила, позволяя увидеть, объять, прикоснуться рукой.

О! ...И слепилось, слепилось многое – в лицо одно, измождённое, призрачное, сырое. Словно бы: вырвалось, выплеснулось из пучин, вне крика и взгляда, - застыло в броске на бездной. И – вновь: разлепилось-распалось множеством неисчислимым; упёрлось; вскочило на лапы; ринулось.

Вот: полыхнулся, разлиновывая, квадрата, гудящий рынок; разлётся необозримо; наполнил. Торг. Торг. Торг. Тут и продают; тут и покупают; тут и восходят на прилавки, весы, подносы. Одно лицо, размазанное на бессчётные витрин, карманов, локтей, подмостков. Вот! вот! – и тут: звякают, шуршат, чмокают, хрипят, булькают, скрежещут. Одно лицо... набухшее... впалое... заплёснутое в шипящую дымку...

И люди и камни и звери и птицы. И жучки. И бактерии всевозможные. И древесина и травы. И звёзды...

Вот: вспух, проливаясь румянцем, взрыв, и удар, и крик. Завыли барабаны. Сщёлкнулись, впрягаясь в линию, каблучки. Заплясали, всхлывая, проволочные гримасы. Взревело – прогибаясь – нахрапистое, продувное, - зашлось, блескотея, багрянцем, застучало лязгающими кастаньетами. А отовсюду – силуэты, силуэты, силуэты... заламывающие руки – сито, сито – рваные флаги... острые рыдающие клыки...

Вот: взорлились; забили в истерике на высокой трибуне, вздыбились на пьедестале. А оттуда – оттуда! нету ничего в ладошках, хоть и протянуты ладошки щедротной корзинкой, а и всё что есть – кража да обижанье. Ох! блестя... ох, тускнеют глазёнки... немотствует обильная речь... обминается, ямится сердце о решётчатые узлы. Эй! Эй! Эй...

Грянули и разбежались, крутясь, дома. Что же это было? – так разбегаются из нитяного хоровода бусины: цок-шлёп, цок-шлёп-шлёп; разбежались, покрутились, застыли на непредсказуемых, но заранее определённых точках. Всякие, всякие дома. Были и небоскрёбы, с сумасшедше запрокинутой ввысь блескучей вереницей окон; были и приземистые хижинки; омшелые оскалы крепостей; унылая

блеклая просыпь фабричных строений; были дворцы и храмы всяческих толков, расцветок, символик... И т. д. и т. п. И – разлитое море крыш, овеванных барабашковой рябью флюгеров, колоколен, шпилей, проводов, проводов, проводов... барельефов и гнёзд, сквозняков, оттенков... Кто привёл их сюда? Кто их соединил? Никто; разбежались бусины с нити, замерли.

Замерли и путешественницы. Крепко прижались друг к другу, истошные, вытаращенные.

Ээ-эээй! Э-гэ-гэ-гэ-гэй! Заплясала бурливая шальная толпа. Грянул и выстелился, – но куда? но где? – хриплый орудийный лай. Закинулись, зачಾದили приторные трескучие песнопения. Заходили ходуном изгороди, стены, колоннады, статуи, флагштоки с вспяченными знамёнами, прилавки, надгробья. Шумнулся птичий дребезг. Качнулись деревья, травы.

- Это мы... - прошептала мама.

- Кто – мы?... – отшепнулась бабушка.

- Мы... я... - Мама усильно провела обмякшей рукой по лицу, будто стирая, стряхивая какую-то невидимую, но плотную преграду, преграду-заслон. – Я что-то поняла; только теперь, теперь, а кажется – давно в это стучалась, всю жизнь к этому шла, только – не знала...!

- Ох, да о чём ты?

- Об этом, - мама неопределённо махнула рукой, как бы очертив обмахом всё – всё, что было в ней и всё, что было вокруг.

- Чего там понимать, - сквозь подступившие слёзы пробормотала бабушка. – Это ж у нас горячка. Сейчас приедут санитары в шапочках, в белых халатах и отвезут нас в спокойное место. Там нам тоже дадут халаты... бесплатно...

Бабушка всхлипнула.

- Да ты что! – Мама ласково, крепко-крепко обняла её. – Перестань. Прислушайся...

Бабушка не прислушалась; бабушка вскинулась, отстраняясь:

- Это всё тот дед накуролесил! Проходимец он и колдун, вот что!

- А я думаю, это мы сами, - тихо проговорила мама. – Не знаю почему, не знаю как, но – мы. А старик – он нам просто помочь хотел.

Бабушка всплеснула руками.

- Помочь? – ну и ну!

А толпа всё бурлила, бурлила, ходуном исхаживалась вокруг. И вроде не праздник какой, не ярмарка, не война, не представление, а – так: всё сразу, и всё-что-сразу – повсюду, кишмя, до краёв. Сплошная нервотрёпка. Сплошное облизывание да клокотанье.

Путешественниц же – не обижали; не замечали как-то, обходили стороной. И чтобы толкнуть разок, другой – так нет, - исхитрились огибать, даже на бегу, даже в сплошном, самооглушительном дёрганье-кривлянье. Будто бы: не вовлекая – ни-ни! – и даже отодвигая, отсеивая, - мол: не время... не место... да и ни к чему. ...А суматошились очень уж знакомо, привычно, но от привычности этой криком хотелось путешественницам кричать, под землю провалиться, за облака взмыть.

Мучилась, мучилась мама своим пребыванием здесь, но и – где-то издалека – радовалась ему. Думалось-печалилось: всё здесь – почти – ненастоящее, всё здесь напрасное, больное; радовалась: я вижу, вижу, вижу это! мои глаза открыты... ну, может быть, не открыты, но – открываются! Я не знаю, почему именно мы здесь оказались, такие отчётливые в «здесь», не знаю как (и как вернёмся? и куда?), но знаю, знаю, знаю – зачем! ...А рядом – близкий мой человек, моя родная, моя хорошая, и поэтому я не могу испугаться, не могу ослабеть – нет ни малейшей зацепки, ни малейшей возможности к падению, никаких причин для незречести!

...Устала... Ну устала... Ну так устала бабушка, удержу нет! Да поди – вон как полагалось: встретить бы того старого морочника – да космы бы ему под дикобраза... под дикобраза зачесать! Грезилось: до-

берусь, придвинусь, - тут-то тебя, опосля, и бегемот испугается! Тут-то...! Да, верно, не в старикашке всё дело... верно, не в нём... А вдруг? Уж больно затейлив, затаён... больно заковырист, сморчок-надсмешальник... Ох-ты, да и человек ли? – у-у-у! Как же, спроси у него паспорт... Почтальон!

- А-ай!!!

Мама и бабушка вскрикнули почти одновременно. Ну как не вскрикнешь: на мгновение путешественниц накрыла большая кляксистая тень, и – тут же – к их ногам из поднебесья шлёпнулся человек... Да и был бы то человек! – вот именно... – куда там!: знакомый старичок-озорник, а не какой-нибудь там, не кто-нибудь...; старичок сидел, широко раскинув тощие ножонки, ладошками в мостовую упёршись и таращился в небеса. Мама с бабушкой тоже посмотрели...

Все небеса были утыканы-заплёснуты разномастными, разноразмерными, разноликими летательными приспособлениями. Мелькали, отблёскивая, каруселясь, гигантские стрекозиные крылья, мигающие обводы тарелкообразных аппаратов, зонтики вертолётных пропеллеров, переливчатые шлейфовые оборки невиданных дирижаблей, глянцевые бока гроздьёво свитых над маленькими одноместными креслами воздушных шариков... И ещё... И ещё! С какого именно приспособления и почему свалился неугомонный летун – осталось загадкой. ...Впрочем, бабушке пришло в голову, что его попросту выбросили, за вьедливость, за... – ха-ха! – ну, например, хоть вон с той шестикрылой кареты, дверца которой была распахнута, а из распах висела в их сторону кудлатая кривлячая рожица с дразнительно высунутым языком.

- Загрустили, девки? – старичок бодро вскочил на ноги, и лучезарно – во всю пасть – улыбнулся.

- Здравствуйте, - робко поклонилась мама.

- И тебе не хворать, красавица, - радостно отвечивал старичок.

- Вы не ушиблись? Как вы себя чувствуете? – обеспокоенно осведомилась мама.

- В такой-то компании? – да превосходно! Превосходно!! – Старичок заозирался. – Ну и народу тут у вас понапёрло, девушки, прямо-таки ни охнуть, ни вздремнуть. Вам что, заняться больше нечем?

Мама отчего-то засмушалась. Непонятные слова старика были ей чем-то понятны, хотя она ещё и не могла понять – чем.

Старичок укоризненно покачал головой.

- Давай сюда паспорт! – неожиданно (даже для самой себя) выкрикнула бабушка. – Давай, давай! Показывай!

- Че-го? – изумился старичок.

- Паспорт, говорю... - с просевшей решительностью повторила бабушка.

Путешественницы переглянулись.

- Мама, ну что ты!

- Ничего, ничего, дочка, пусть покажет...

Здесь – как-то пропустили они, как-то проскочило, - но старика, собственно, уже не было, а была тётка. Та самая. Здоровущая!

- А ты хулиганка... - неодобрительно прогудела тётка. – Ну хулиганка, и всё тут!

- А я говорю, показывай паспорт, - испуганно упёрлась бабушка.

Тётка оглянулась по сторонам. Шустро метнулась, выцепив из толпы какого-то коротышку в лязгающих гулких доспехах. Из-под поднятого шлемного забрала сверкали колючие строгие глазки.

- Сеньор рыцарь, сеньор рыцарь! – басовито заголосила тётка, ухватисто волоча лязгающего коротышку к компании. – Помогите прекрасной даме! Эта нехорошая девочка, - тут она тыкнула в оторопевшую бабушку пальцем, - меня обижает. Всё чего-то требует, требует... Прохода не даёт!

- Выкуп требует? – деловито прищурился рыцарь. – Разбойница?

- Хулиганка! – гаркнула тётка.

- Ну-у... - зловеще протянул рыцарь. – Это уж... Стража!

Из толпы выскочило несколько человек. Нервно тиская высоченные алебарды, они окружили путешественниц, и грозно – ух, грозно! – на них уставились. Один из стражников облизнулся.

- Съесть её! Съесть! – завyli стражники, грозно стуча древками алебард о мостовую. - У-у-у!

- Да ну как же! – не согласился рыцарь. – Ничего подобного! Отведите её в мою замковую тюрьму. Пусть там перевоспитывается до конца жизни.

- Вы что, с ума все посходили?! – жалобно закричала мама. – Нам домой надо! Как вы смее...

- У-у-у! – завyli стражники. – У-у-у-у!

- И эту тоже, - решил рыцарь.

По каменным заплесневевшим стенам еле заметными жилками сочилась вода. Толстые длинные цепи, свисавшие то тут, то там со стен тускло отблещивали в неярком дрожащем свете коптящих факелов. У дальней стены о чём-то шептались с полдюжины рослых, благовоспитанного поведения крыс.

- Вот и угораздило меня, дочка, на старости лет, - кручинилась, съёжившись на корточках у стены, бабушка. – Ох и угораздило... И тебя с собой, дура старая, потянула! ...Что же будет-то теперь, а?

- Ну что ты, мама. Я думаю, не так это всё страшно. Скорее – глупо; глупо и смешно.

- Смешно?

- Ну да! ...Понимаешь, что-то проснулось в жизни после ивушкиного дня рождения; что-то проснулось, шевельнулось, задвигалось, - я очень и очень чувствую это. Что-то правильное. Странное, непонятное, даже что ли – пронзительное: и больно здесь бывает, и продувает насквозь, но – правильное. ...Я вот когда следом за тобой вышла – всё думала: что же это такое дома у нас происходит? что случилось? А случились – мы.

- Не понимаю я тебя, дочка...

- Да я и сама ещё толком недопойму, а только – чувствую.

- Что чувствуешь?

- **Мы.** Почему мы сюда попали, и что это такое, куда мы попали, и всё что происходит вокруг нас – **мы.** С нами, из нас и нами. Вот. И не происходит на самом деле ничего, и не происходило раньше, а только-то – стоянье у зеркала, стоянье глупое, пустое... Зеркало нас спрашивает о чём-то, а мы только кривляемся да жеманимся.

- Ну и замудрила ты. Вроде, философией в детстве не увлекалась... Надо же!

- А и философия... А что такое философия, мама? – это способность правильно посмотреть на свои ноги! Понять, что ноги – это ещё и колёса и крылья... и всё что угодно! Следом – возможность; возможно добраться туда, куда на самом деле хочешь, туда, куда только и имеет смысл добираться. Заодно – понять: куда...

Бабушка озадаченно смотрела на дочь.

- А Иви? Он что, тоже – мы?

- Ну конечно!

- Ты хочешь сказать...

- Ой, смотри!

Мама дёрнула бабушку за рукав, и показала наверх, в сторону поднятой чугунной лесенки, по которой их стряхивали в этот подвал. Там – поверху, возле входа – был длинный узкий скрипучий помост. По помосту – вздыхая, что-то напевное бормоча – расхаживал стражник. А над стражником, под самым потолком, светились разливной фосфорной прозеленью крупные буквы; надпись:

Т Ю Р Е М Н Ы Й   Ф И Л И А Л   М У З Е Я

- Как это – музея? – растерянно спросила бабушка.

- Не знаю... Старичок что-то про музей говорил; ну, тот – почтальон...

Стражник перестал расхаживать, - перегнулся через перила, и посмотрел на путешественниц.

- Мною любуетесь? Молодцы! Есть, есть чем.

- На тебя полюбуешься – так потом не заснёшь, - сердито одёрнула бабушка. – Ты бы лучше стулья для женщин принёс, чем выпендриваться!

- Зачем же стулья? – сидеть? – изумился стражник.

- Ну не мыться же... - бабушка засопела. – Вот ведь балбес!

- Где ж это видано, чтоб в Музее – да сидеть, - насмешливо спросил стражник. – Сбрендили, барышни? Может, вам сюда ещё и кровать с балдахином припереть?

Бабушка только развела руками.

- Скажите, - жалобно попросила мама, - а вы что, действительно нас будете здесь держать до конца жизни?

- А кто вас держит? – оторопел стражник.

- Вы...

Бабушка взвилась:

- Ты, ты, супостат, нас держишь! Нет, скажешь? Ишь, топор на палку нацепил, и мотается тут, мотается!

- Да идите, на здоровье, - отмахнулся стражник. – Такие шумные, спасу нет! Ещё обзываются... «Не заснёшь!» ...Да на мне, если хотите знать, одёжка новёхонькая, кольчуга – позавчера полировали, а сам я – с детства был пригожим, вся наша улица на меня налюбоваться не могла! «Не заснёшь!» - скажут тоже!

- Ну, ты и сейчас ничего паренёк, - смутилась бабушка. – Извини, если чего не так ляпнула. Но... но ты же ходишь там, наверху, охраняешь нас... да?

- Вот ещё! Я – по своим делам хожу, вы – по своим. Не нравится на меня любоваться – катитесь, сделайте милость.

- Как же мы покатымся? – поинтересовалась мама. – Вход там, где вы... Как же? Куда?

- В дверь. ...Так-таки и дверей не видите?

А действительно: по всем стенам, - стоило только поприглядеться, - малоприметные за плесенью и цепями, проступали створы широких железных дверей. Множество! Чуть ли не треть всех стен – железные створы. Надо же! – огорчились и не заметили...

- Они что, открыты?

- Ага.

- Все?

- Ясное дело. – Стражник усмехнулся. – Видите ли, барышни, делали двери, делали... ковали их, ковали... сделали; всё железо на двери ушло – на замки да ключи не хватило. Так вот...

- И можно идти?

Стражник хмыкнул.

- Давно пора. Что вы здесь торчите-то – в толк не возьму.

- Вот это приятно. – Бабушка оправила юбку и медленно поклонилась. – Спасибо, голубок. Хороший ты, не то что твои приятели.

- А что – приятели?

- Да давеча съест грозились. «Съест её! Съест!»

Стражник загрустил.

- Разве что... Есть-то им вас никакого резона, - только желудки себе портить, а припугнуть – надо. Вы же хулиганы? – хулиганы. А хулиганов все боятся. Не припугнёшь вас – так потом такого страху натерпишься, пока до тюрьмы допрёшь! Мало ли что...

- Сами вы все тут хулиганы, - обиделась бабушка. – А до того, кто нас сюда зафутболил – я ещё доберусь!

- Это само собой... - согласился стражник. – Вот видите, а обижаются, что хулиганами посчитали, - хулиганы и есть.

Бабушку очень тянуло возразить. Очень. Если бы не усталость...

- Пошли, мама.

Первая же ухваченная за ручку дверь открылась сразу, легко. Из проёма потянул душистый лёгкий ветерок.

- Прощай, голубь, - махнула рукой бабушка.

- Прощайте. Благодарим вас, - сказала мама.

- До встречи, - улыбнулся стражник.

И тут дверь – неожиданно туго, стремительно, резко – захлопнулась за путешественницами, чуть было не опрокинув их в прибойную морскую верть.

Стояли они на невысоком утёсе. Ни сзади, ни с боков, ни спереди никаких дверей не было. Не было ни стен, ни башен; да и откуда?: вся площадка наверху – метров пять, не больше. С трёх сторон – всё то же: необозримый, неохватный взглядом населённый пункт... со всяким населённым пунктом схожий – от города до деревни, но и не схожий, - будто бы вобравший в себя всё, что когда-либо-где-либо было – и так и сяк – населено. Внизу – справа и слева – пляж, а впереди – море...

Красивое море. Бирюзовое, как бирюзовые губы ночного ветра, подставленные первым солнечным лучам. Огромное, как огромна ладонь эха, развёрнутая в безмолвие. Просторно, как просторно дыхание кузнечика, облизнувшего утро.

Да, конечно... Конечно: море было загажено, море было засижено и залеплено. Прибрежная полоса – пляж – буквально прогибалась под тяжестью полуобнажённых тел, всласть сопящих, чавкающих, вопящих. Морское отдаление как в просыпи пороховой – в просыпи судов да судёнышек: больших и маленьких... парусных, моторных, гребных... пёстрых и облезлых... стальных, деревянных, резиновых... Да, конечно. И всё-таки – море; покарябанное, спелёнатое, незамеченное, но всё-таки – море. Уж такое оно: как его ни огорчай, сколько ни топчись по нему, а всё – прекрасно!

У подножия утёса, метра на три забредя в море, резвилась Раиса, - та самая, знакомая торговка из овощного киоска. Раиса резво приседала в воде, окунаясь по плечи, мелко повизгивала и всячески егозила, искоса поглядывая на расположившуюся неподалёку группу мужчин.

Вот опять: хоть и не самого приятного на свете человека углядели, а всё-таки оттуда... оттуда, куда так стремились вернуться, где так много привычного, близкого, где один-одинёшенек сидел в квартире маленький мальчик, по которому так соскучились... так соскучились!

- Раиса! Здравствуйте, Раиса! – радостно закричала бабушка. – Мы сейчас спустимся, подождите нас, пожалуйста!

Раиса испуганно оглянулась.

- Нигде от покупателей отбоя нет! – простонала она. Сердито оскальзываясь на гладких донных камешках, что-то жалобное гундося, Раиса быстро выбралась на берег. – Всюду отыщут! – гудела она. – Корми их, обжор, помидорами, потчуй укропом... Совсем страх потеряли!

Посгребла свою одежонку, да и пустилась – напропалую! – наутёк, в толпу, в-оборотку грозя утёсу зажатой в кулаке юбкой.



Мама с бабушкой так и не стали спускаться. Так и стояли на краешке, оторопело поглядывая вслед сбежавшей торговке.

- Дикая баба, - решила бабушка. – Совсем дикая. ...Нет, ну ты видела?

- Да она никогда другой и не была, - отмахнулась мама. – Что ты...

Они стояли; стояли и стояли. Они осматривались, ероша растерянными взглядами всё, до чего только можно было взглядами докоснуться. А до чего? – что изменилось? Всё прежнее, надоевшее, - с самого утра надоевшее, а может – с незапамятных времён. И постоянно хотелось плакать! – плакать, плакать, плакать... Не плакалось; чего-то не хватало... что-то мешало, - может быть то, что здешность была неузнаваемо-узнаваема, чем-то до одурения неотъемлема от них самих... плоть от плоти...

Но, пожалуй, плакать-то хотелось только бабушке. Её что-то понявшая дочь хоть и устала, хоть и хмурилась иной раз, но смотрела пристально, трезво, смотрела напряжённо, - всё больше в себя, чем по сторонам, очевидно, нечто *этакое* в себе обнаружив, до *чего-то* дотронувшись. ...Бабушка побаивалась: не тронулась бы дочка умом; по теперешнему житью – долгое ли дело... Уж очень тиха! За себя бабушка не боялась; с тем и отругивалась, что ни случай, - рассудок берегла.

...Внезапно – невесть откуда – грянул собачий рык. Нет, не рык – взыв, трельный трепетный хрип, колыхнувший глади морские, вздыбивший-поднявший волну. Так: не видно было волны, тем более поднятой на невероятную высь, но внятно-неуловимо стянулось море в точку одну; стянулось – да тотчас же и опало, расслабилось. Вот: прежним – прежне – осталось море... но вовсе не прежним – *по-завшим зов*.

Мама и бабушка одновременно вздрогнули, - притиснулись друг к другу, нервно дыша. ...Не страх. Это – помимо страха. **Зов**. ...Ах! прижаться бы к морю, расспросить бы его! Как легко **зов** проникал в уши, и только едва-едва касался разума!.. Что же делать? – что-то, наверное, можно... тут бы, наверное, поднатужиться... Не каждый же день! А если и каждый – только в радость.

«Я видела и слышала... - думала бабушка. – Я видела и слышала! ...А – что?»

«Как это прекрасно... - думала мама. – И как трудно, трудно... И как прекрасно!»

О! как приятны, как интересны были им эти мысли. Казалось бы: чего там такого? – так это только казалось бы. Даже то, что они видели сейчас с утёса, - куда как менее в интерес, будто бы – вскользь...

Вот: люди... всевозможные транспортные средства, снующие по земле, по воде, по воздуху... здания, улицы, мосты, фонари – всё, разом – вздрогнуло, подламываясь, проседая, подсакивая, искажаясь... зной... зной... пустыня поёт мираж... Вечернее солнце – обернулось полуденным, и громко – громко! – захохотало, вскидывая сверкающие летящие руки к пылающей голове. Пространство передёрнулось, стягивая – сиюмгновенно – и вновь разбрызгивая бесщётные личины. Ах! – обнажилось, но так: мимолётно... мимолётно... - визжащее зеркальное нутро; ах! опрокинулся – и летишь, летишь, конь под тобой – невесомый, родной – по верхнему дыханию подснежников, по сполохам зорьего шёпота; ...и вновь исплеснуло шторы. Вот: показалось: вздох... Пространство устало вздохнуло; присело на камень; отёрло со лба пот...

Устало прикрыло веки...

...Растреснулся – проступая из ничего – жаркий костёр. У костра, на полянке, оплетённой высокими шелестящими берёзами, сидел оборванный худой человек. Измождённый... Но измождённость – не измождённость отчаявшегося, заплутавшего, запропавшего, а торжественное, сияющее облачение, выстраданное и сошедшее, драгоценное, омудрённое. ...Человек смотрел на пламя... в себя.

Каждая из женщин почувствовала в нём что-то неуловимо знакомое, несказанно своё. И человек и костёр и поляна – как бы ещё не оплотились, не утвердились, - да и не делали к тому ни малейших ползновений, но ясность уже имели, но имели значение, смысл.

- Э-эй... - тихонечко позвала мама.

- Э-эй... - тихонечко позвала бабушка.

Человек отвёл взгляд от огня. Человек посмотрел на женщин. Его лицо было неразличимо, - черты растворились в морщинах и тишине, - но из зрачков, свистящих, как дующий на луну степной суслик, летелись язычки пламени.

Они смотрели друг на друга. Они долго смотрели друг на друга.

- Где мы? – шёпотом позвала мама. – Где мы?... Мы заблудились и не знаем что делать, куда идти. Нам никто не говорит... Может быть, вы нам скажете?

Человек молчал.

- Пожалуйста... - просительно пришепнула бабушка. – Нас ждёт маленький мальчик... Где мы? Зачем?

Человек молчал. Из его зрачков летелись язычки пламени, наполняя дрожащий воздух, свиваясь, танцуя немеркнувший узор. И из узора – шорох... шорох... шорох... слова...

«На вереске... на горе... на вершине ветра... - какая разница? Вот он я: сижу. ...Медведь... или лошадь... или блоха... может быть – звон ручья или краешек облака... - вот пустяк! Вот он я: сижу и смотрю на вас. Тысячу лет... миллион лет... миллион миллионов лет... - сколько? – но можно потратить в миллион раз больше, в миллион миллионов раз, лишь бы встретились наши взгляды! – встретились, повенчались. ...Можно согреть вереск, сидючи на нём. Можно заморозить. А можно и остаться незамеченным, и только взгляду вересковому открыть себя, - только взглядами, взглядами, взглядами, до капельки, до венца.»

- Ещё понятней стало... - жалобно замигала бабушка. – И как? как?..

Человек выпрямил спину. Человек встал, чуть оттолкнувшись от земли пальцами, расслабил плечи. Человек заговорил, и голос его был тихий, и голос его был прямой, без рытвин, скошенностей и оттенков.

- Идите.

- Куда? – хором выдохнули мама и бабушка.

Человек улыбнулся. Человек задумчиво оглянулся на костёр, и, присев на корточки, подбросил в огонь несколько сухих веток. Не вставая – обернулся к женщинам.

- Вот. Слушайте. Так расскажу... Только вы уж, пожалуйста, понимайте. - Человек помолчал. – ...Три дня я сидел на дереве. На четвёртый – попытался слезть с него, но обнаружил, что тело стало беспомощным. ...Я заплакал. И попытался ещё. Но снова не смог. ...И тогда я остался сидеть на дереве. И просидел ещё три дня. А на четвёртый, когда я попытался понять: как же мне слезть с дерева, я обнаружил, что разум мой стал беспомощным. ...Я заплакал. И попытался ещё, и ещё раз понять, но ничего не вышло. ...Тогда я остался сидеть на дереве. И просидел ещё три дня. А когда снова попытался слезть с дерева, то обнаружил, что – нет, не могу... что жизнь моя оказалась совершенно беспомощной перед этим явлением. ...И ещё просидел один день. И уже не пытался слезть с дерева. ...И именно тут я обнаружил, что стали всесильными тело моё, разум мой, душа моя. ...И тогда я слез с дерева. И прочно коснулся ногами земли, а головой – неба. И вывернул все карманы, и не нашёл в них ни одного вопроса. ...*Да: я больше не спрашивал, куда идти. Нет. Я просто пошёл.*

Человек умолк и снова стал смотреть в костёр. Огонь в костре разгорался; огонь становился всё крепче и выше... и крепче и выше и шире.

- Вот как... Вот оно как... - Что-то до бабушки, безусловно, дошло, но это самое «как» зависло внятным-неопределимым, забеспокоило... Беспокойству – вскользь, - шевельнулось (зачем?) подозрение. – Простите, а вы не знаете одного старичка? – тут где-то мотается...

- Я знаю много старичков, - не оборачиваясь, сказал человек. – И старичков... И зрелых... И юных...

- Да нет! – отмахнулась бабушка. – Есть тут один такой... такой... не хочу говорить – какой, чтоб компании не портить. Он ещё почтальоном себя прозывает, с сумкой мотается...

Человек, не вставая, повернулся к бабушке и внимательно на неё посмотрел.

- Это – Пёс.

- Кто-кто? – удивилась мама.

- Вот видишь, - обрадовалась бабушка, - всем досадила! Все, - бабушка щедро махнула рукой в сторону костра, - псом его считают!

Человек усмехнулся. Недоумённо покачал головой.

- Я не считаю его псом, - тихо проговорил, внятно. – Просто он – Пёс.

Зашелестели, заволновались берёзы. Слитный стеклянный плеск лавиною тонкой, лавиною трепетной закружил, заволок поляну.

Ни берёз, ни костра, ни человека, сидящего у костра – странного, и почему-то близкого-близкого.

А в там, куда они только что смотрели, беседуя, недоумеая, вновь показался город, невообразимый бесконечный город, шальной, пёстрый. Но: ни в городе, сколько можно было увидеть, ни на пляжном побережье, из которого возносился утёс, не было ни одного человека. Делся народ куда-то! – ну и ну... Не было машин, экипажей, не было воздушных шаров, дирижаблей, вертолётот, не было кораблей и лодок, - ничего не мельтешило, не маячило, не ревело, ничего не верещало, даже и не думало.

Грелись шебуршистыми стайками под мягким вечерним солнцем воробы. В неспешном прогуливании погромыхивали коготками по карнизам голуби. У высокой изгороди мраморного омшелого дворца задумчиво жевал кинутую кем-то пёструю шляпу грациозный голубоглазый жираф. Покачивались на волнах чайки. Разбрасывая округлые гладкие камешки, по берегу носилась туда-сюда – вперегонки – стайка весёлых крупных крабов. ...Пронзительно пахли липы. Драгоценно и целомудренно сверкала пыль, очевидностью своей напоминая Время.

Неподалёку от утёса мерцал немногими окнами трёхэтажный дом, с огромным кирпичным балконом по центру. Высокий и взмывный, узкий, на вроде самого утёса; так: принарядился утёс... к зеркалу подошёл... отразился... Широкие, густо обвитые виноградными лозами перила балкона, и – на перилах – кошка.

Молоденькая чёрно-белая кошка – нежась – развалилась на перилах привольно, приятно. Возле её чуть подрагивающих ушек деловито, шумно топтался голубь; потоптался, - склонился к левому уху, и, кажется, стал нащёптывать. Кошечка дёрнула усами; приподняла веки, блеснув золотистым весёлым взглядом, - тихонечко подула на голубя. Голубь отскочил в сторону. Голубь нахохлился и сердито забуркотел. Кошечка же вновь зажмурилась, расслабилась.

- Опустело местечко, - растерянно промямила бабушка. – Забавно... - Заёрзала; примерилась ногой к крошечным ступенькам, круто сбегавшим с утёса. – Пошли, дочка.

- Куда?

- А мост поищем... Ну, может быть, может быть и ерунда! – но надо же как-то выбираться?!

- Конечно, пошли, - мама улыбнулась. – Ты, главное, не сердись и не огорчайся. Я уже почти уверена, что всё у нас будет замечательно, так, как нужно.

- Кому нужно? – прищурилась бабушка.

- Всему, - загадочно ответила мама.

- Да ну тебя... - слабо отмахнулась бабушка, и решительно полезла вниз по ступенькам.

Спуск оказался недолгим, а утёс – не таким высоким, как казалось сверху. Немножко кряхтения, два-три взвизгивания – и они оказались у подножия утёса, на берегу. Здесь, стоило им только ткнуться подошвами в гальку, к ним подбежала взъерошенная головастая чайка; остановилась, с любопытством оглядывая путешественниц.

- Цыпа-цыпа-цыпа... - нагнувшись, позвала бабушка.

Чайка хмыкнула. Чайка неспешно повернулась спиной к «цыпа-цыпа-цыпа», и по-пингвиньи – вперевалочку – зашлёпала к морю. Женщины провожали её взглядами. Уже добравшись до воды, слегка ополоснув лапки в прибойной пене – чайка обернулась; сделала большие, невероятно вытаращенные глаза, насмешливо насупила клюв... Дразнилась!

- Надо же, озверела птица, - обиделась бабушка. Крикнула: - Нахалка ты, больше никто! Нахальное животное!

Чайка плавно, чайка важно покачивалась на волнах. На оскорбительные выкрики, позорящие её достоинство, чайка внимание обращать не собиралась. Вот ещё!

По мощёной вихлястой тропинке... По помпезной недостроенной набережной... Сквозь тенистые, заросшие лопухами дворики... Вышли они к автобусной остановке. Потоптались возле. Уселись, размо- рённые, на лавочку; заоглядывались.

Скажи им кто: «Сидите тут тысячу лет, да чтоб – не вставать!» - сидели бы, благодарные за указание, - так устали. Скажи им: « Брысь отсюда!» - тут же б и умотали, без возражений, - вот как устали, вот до чего! Но распоряжений пока что не было; их возможность как бы висела в воздухе, как бы парила над устало поникшими головами. А женщины – тоже: как бы парили в плотном, густом, напоённом всевозможными ароматами воздухе, - так они себя здесь ощущали, так им чувствовалось. И беспокойство ни откуда не шло – ни от жёсткой пластиковой лавочки, неприятно, тягуче прогретой за день, ни от сухих, жаждавших влаги ртов, ни от набившихся в туфли колких песчинок... разве что – от статуй, робкой молчаливой шеренгой выстроившихся по противоположной обочине, через дорогу.

Женщины пригляделись.

Через дорогу – вдоль неё, неразлучно – текла неширокая, медленная речка. Статуи стояли почти на берегу – на узкой, поросшей переливчатым разнотравьем полосе. Стояли-тянулись далеко: конца им не было, что в одну, что в другую сторону. Ни конца, ни начала...

Постаменты – то маленькие, то большие, и фигуры – сообразно: то меньше, то больше. И так получалось, что все статуи оказывались вровень друг с другом, а оттого – несмотря на огромные размеры – казались низенькими, чуть ли не сплюснутыми в согбенность. Все из одного материала, одного цвета, да одинаково – все – немного занесены спинами к реке, наклонены над ней, вроде как – к опрокидыванию, к мимолётному кувырканию... к самому его началу. ...Фигуры разнились одеянием: мундиры, доспехи, тоги, скафандры... некие невразумительно пышные складки, банты, кружева, обрамлённые мантиями и плащами...скюртучные, пиджачно-галстучные униформы... некоторые – голышом, с листиками, тряпочками, дощечками на соответствующих местах... Разноодетые тела то крикливо выгибались, то судорожно вытягивались в торжественные заносчивые позы – указуя, указуя, указуя... направляя... одёргивая... вразумляя... А голов, собственно, не было; головы закрывались-обтягивались белыми полотнищами-абажурами, и еле уловимо просвечивали – чуть заметно, но совсем неопределимо обозначаясь.

По полотнищам, крупно и ярко изображённые, шли восклицательные и вопросительные знаки – вперемежку.

- Ты только погляди, - довольно сказала бабушка, - опять тут какое-то идиотство наметилось.

Женщины заинтересованно, но без желания покинуть остановку и перейти через дорогу, рассматривали статуи. Да, очень интересно. Но – неприятно... Вот! – зрелище (и только тут оно окончательно определилось как помеха) было неприятным. Отталкивающим! ...И – притягивающим. Так притягивает некая, желанная многим (многим-многим!) дверь, которая – поскольку она желанна многим – кажется желанной и тебе. За дверью – сплошное безобразие, что вполне осознаётся, ибо безобразие пропиты-

ваает дверь, давая себя почувствовать заранее, но... Ну как магнит! как магнит!... Блюёшь, рыдаешь, а ножки – плетутся... А и верно!: если ножками не двигать, так куда ж им ещё и плестись, как не в намагниченную сторону.

- Ну и с чего их сюда угораздило!? – с сердитой брезгливостью воскликнула бабушка. – Почему ж такие...!? Почему?

И вроде воскликнула она в никуда, а ответ пришёл: захрипел, загудел, закашлялся не примеченный ранее, затаившийся в самом дальнем углу остановочного навеса раструб, похожий на раструб старого уличного радио.

- Кхе-е... - продолжал он откашливаться, - кхе-е... Извольте видеть: отличниками, дураки, росли – на двоечников ума не хватило. Да-а... Кхе-е...

Женщины не испугались, - привыкли уже, что ли? – но вскочили, озадаченные, и, на всякий случай, отпятились от раструба подальше.

- Ты кто? – сурово спросила бабушка, ткнув в сторону раструба пальцем.

- Экспонат для экспоната должен быть на вроде брата, - хихикнул раструб. Помолчав, с достоинством прибавил: - А вот пальцем вы в меня, тётушка, не тычьте. Не надо... Много вас тут, тыкальщиков, - весь воздух истыкали, плюнуть некуда!

- Вы не злитесь, - извиняющимся голосом попросила мама. – Вы лучше скажите: почему мы – экспонаты? Это шутка? ...Почему вы нас так называли?

- А кто же вы? – удивился раструб. – Раз здесь – значит, экспонаты.

- Где – здесь? – нетерпеливо допытывалась мама.

- Что??? – ошарашенно охнул раструб. – Вы что – не знаете??

- Что – не знаем? – досадливо поторопила бабушка.

- Это что же, - не слушая её, бормотал раструб, - это, выходит, посетители? Ну, надо же! Замолк.

- Эй, вас же спрашивают! – Бабушка пристально вглядывалась под навес. – Эй, где вы там?

Никакого раструба под навесом не было. Паутина – старая – была. Пыль – была. А раструба – не было.

С мягким шорохом – чуть скрипнув, чуть дребезгнув стёклами – у остановки затормозил автобус.

Вот как: никакого наземного, поднебесного и наводного транспорта нетушки, а автобус – пожалуйста. Да какой!: маленький, уютный, разрисованный ромашками, ландышами, незабудками, васильками, одуванчиками, с включёнными смеющимися фарами, весь окутанный едва уловимыми лесными запахами, музыкой...! Только – без людей: ни шофёра за рулём, ни пассажиров в салоне.

И...

Вот и приехали. ...Как они сели в автобус, как они ехали, что трезвонило в автобусе, что мелькало за окнами – всё перемешалось, отпрыгнуло, закуталось в тяжёлый мерцающий занавес. ...Будьте любезны: приехали! Двери открылись. Ласковый светлый вечер заглянул в автобус.

Путешественницы потихоньку, неуверенно оглядываясь друг на друга, сошли на остановку. Подошвы сцокнулись с тёплым вечерним асфальтом, замерли. Двери автобуса медленно закрылись... медленно... И тут же, едва-едва сошлись створы, автобус исчез, не оставив ни пыльного облачка над асфальтом, ни запахов, а только – память... долгое долгожданное прикосновение...

- Исчез... - прошептала бабушка.

- Исчез...

Вот как вышло: стоят они на остановке, у лавочки... Да нет! Лавочка – есть, они – стоят, а остановки – нет. И нет дороги, по которой приехал (а теперь куда-то подевался...) маленький весёлый автобус. ...Крошечная уютная площадь, мощёная разноразмерным покатым булыжником. Невысокие, в башен-

ках, балкончиках да флюгерах зданьица, теснящиеся окрест. Неумолчные, глазастые липы да тополя, - перезвонные, шелестящие; всем видом: не отсюда они, мимо проходили, на минутку только и заглянули, - ах! - удивились, дыханием листвяным раскинулись, воссияли. Неподдалёку – стайка галдящих взъерошенных воробьёв, увлечённых каким-то общим, никому помимо них не ведомым делом.

Ближе всех к лавке – громоздилось ветхое, о двух этажах, строение. Совсем близко, - прямо напротив, шагах в десяти. ...Широкие, в причудливом орнаменте карнизы; просторные многорамные окна; плоская, окаймлённая барельефами крыша, пропятнённая – то тут, то там – изумрудными кляксами мхов. На одном из барельефов возлежала, расслабленно свесив хвост, знакомая чёрно-белая кошечка. Кошечка золотисто поглядывала на путешественниц, и, кажется, улыбалась...

Бабушка медленно, осторожно, подрагивая чуть от внезапно подступившей робости, опустилась на лавку.

- Устала я что-то, дочка, - сказала она. – В глазах уже рябит от здешних ерунд.

Мама присела рядом. Погладила по плечу, успокаивая, ластясь. Прижалась.

- А может быть, нам здесь вздремнуть немного? как ты думаешь?

- Это на лавке-то? Посреди бела дня? – горестно спросила бабушка.

- Ну... ну мы же устали... И потом, сколько мы здесь мотаемся – всё время: то день, то вечер. Хоть зной, хоть дождь, а всё – день-вечер, вечер-день. – Мама вздохнула; встрепенулась и весело прибавила: - А заснём – и будет ночь!

В здании напротив – на первом этаже – дзинькнув, растворилось окно. В проёме – знакомый старичок: по пояс перегнулся через подоконник, засветился.

- И здоровы ж вы, сударушки, орать, - восхищённо уведомил он. – Голосить – не воду носить, можно и сидя бузить!

Бабушка гневно привстала.

- А вот ты мне – надоед! – сказала она, строго вытянув в сторону старичка палец.

- Эвона! – расплеснул старичок руками, - это я-то? такой красавец?

- Вот отъелозю тебя, красавца, за космы, - нехотя пригрозила бабушка, - ещё краше будешь!

- Да куда ж – ещё? – поддразнил старичок. – С такого «ещё», пожалуй и заскучать недолго.

- А я тебя колотушками развеселю! Вот прямо сейчас...

- Да ты боевая девица! – Глаза старичка сияли восторгом. – С тобой хоть в горы, хоть в баню – нигде не страшно!

- Размечтался, - буркнула бабушка. – Баню ему подавай...

- А что? – Старичок игриво подмигнул. – Прогуляемся? Тут есть неподалёку.

Бабушка хмыкнула:

- Да что с тебя в бане толку, сморчок волосатый? – в мыльнице заблудишься!

Мама не выдержала. Она слушала эту дурацкую перебранку, казалось, сто лет, - и ну уж совсем невыносимо! совсем!!

- Послушайте, - мама решительно встала с лавки и направилась к старичку, - что вам от нас надо!? Что вы всё время выныриваете откуда-то и мучаете нас!?

- Кто «вы» и кого «вас»? – рассудительно спросил старичок.

Мама немного смешалась.

- Ну... Ну как... - Рассердилась: - Вот опять путаете! Опять! ...«Вы» - это вы, «вас» - это нас, что здесь непонятного?

- Уж как хочешь, красавица, - весело сказал старичок, - а всё непонятно. Какие ещё «вас-нас», когда здесь никого, кроме тебя, нет.

- Как это?..

- Да ты оглянись, дурёха! – от напряжения старичок чуть не вылетел из окна. – Вот оно как: увидел дикарь зеркало, заглянул в него – и закричал, что это бяка, которая пришла его укусить. Так? А бяка, между прочим, тоже кричит и в ужасе смотрит на дикаря.

Мама оглянулась на бабушку. Та покачала головой.

- Чокнутый он, доченька, хоть с какой стороны... - Махнула рукой. – Пусть уж в баню идёт, что ли.

Старичок посерьёзней.

- Нельзя мне в баню. – Завздохал. – На службе я... Вас поджидаю.

- Это какая ж у тебя служба? – насмешливо спросила бабушка. – Всеякие там наваждения учинять? Честных женщин по подвалам распихивать?

- Да вы что, девоньки? – старичок изумился. – Об столб тетёхнулись? Сказано ж было: почтальон.

Ишь, как затуманились, болезные...

- А это что? – здание почты?

Старичок озабоченно оглянулся внутрь помещения. Прищурился, разглядывая. Пожал плечами.

- Может – почты... Может – просто здание... Может – не здание вовсе... - И, сразу, шёпотом громким, доверительным: - Но я-то здесь. Понимаете? Где почтальон – там и почта!

«Ишь ты... - подумалось бабушке. – Пёс...»

«А зачем вы нас ждали?» - хотела спросить мама. Но тут вспомнила... вспомнила, вспомнила!: «Иви! Иви! Ивушка!.. Мы... - где мы? – а ты один, и тебе, наверное, грустно, может быть – страшно... Неужели и впрямь можно написать письмо, а оно... Но это же сумасшествие какое-то! – разве так бывает? ...А разве бывает так, как теперь с нами, разве это – не сумасшествие? Нет. Нет. Нет. Да. Сумасшедшая соломинка протянутая сумасшедшим в бурном, грозном, ревущем – до одури штормовом – сумасшедшем мире, - разве не наверняка? – да наверняка, наверняка же! Колыхнулась в сердце струночка; натянулась; задрожала: это правильно! правильно! правильно! ...Да, малыш получит письмо, и успокоится, и поймёт, что нет ничего страшного, что всё образуется. Только письмо нужно так написать, чтобы... именно так! Сумеет ли? Сумеет! Никогда ничего подобного не делала, но ведь и не случилось ничего подобного. Собраться, сосредоточиться, напряжиться, и – зазвенеть! зазвенеть!»

- Не голубю быть с письмом, письму – голубем, - спокойно сказал старичок.

«...Глаза в глаза... Как он смотрит! – думала мама. – Он же всё во мне видит!..»

- Ну, вот что, дочка, - решительно сказала бабушка, - пошли отсюда.

- Что ты, мама! А вдруг, получится?

- Получится, получится, - веселясь, подзадорил старичок.

- Он же чокнутый! – выкрикнула бабушка. – Не видишь, что ли?

Старичок любопытственно мельтешил взглядами с одной женщины на другую.

- Тут всё чокнутое, - успокоено сказала мама.

- А и то! – дружелюбно подтвердил старичок, лучезарно подмигнув.

Бабушка – дрожа и шмыгая носом – глубоко вздохнула.

- Да ну вас обоих... Делайте что хотите...

- А что мы хотим? – поинтересовался почтальон.

Бабушка заплакала. Ей так хотелось, чтобы этот кошмар поскорее закончился! так хотелось! – ему ж и конца не видно. Что тут? – ногами топай и вопи? пляши вприсядку? Да ещё – письмо...

- Фр-р-р!..

С барельефа – серой летучей чёрточкой – спланировала к дверям кошка. Качнулась на лапках-пружинках, перетряхнулась, взмахнула упругим пушистым хвостом, - прошествовала внутрь здания.

Мама проводила кошку взглядом. Ах, какая она! Какая... «Иви...»

Время! время! время! Как он там? Где он? ...Не плачет ли? Дома ли? Может быть – голодный, и теперь, обиженный, что его оставили одного, грустно роется в холодильнике, по шкафам, по кастрюлям? Может быть – испуган?: смотрит, смотрит в заоконье, вжимаясь заплаканной мордочкой в стекло! Смотрит... А нас всё нет... А мы – неизвестно где, неизвестно как... и неизвестно – когда...!

Мама взметнула руки к груди. Сердце стучало, стучало! Сердце гремело! Сердце исходило роко-чущим воем тысячи вздыбленных барабанов! Сердце тренькало-трепетало расплеснутым в межмирье аистом, чувствующим правильную дорогу, дороги крылами коснувшимся...

«Иви, Иви, малыш!..»

«Я напишу, я обязательно напишу!..»

- Робеешь, красавица? – подзадорил старичок.

- Робею, - согласилась мама, и с трудом сглотнула. – Я ещё не разобралась: добро или зло, то что мы – здесь? И место это – какое оно, доброе или злое? – мама напряжённо посмотрела на старичка. – Мне так трудно сейчас! – пожаловалась она.

Старичок молча указал пальцем на вход. Точнее: над. Над входом в здание – от одного декоративного столбика к другому – было растянуто длинное узкое белое полотнище. По полотнищу – крупные печатные буквы:

**«добро – то, в чём мы признаём намёк на Благо; зло – то, в чём мы намёка на Благо не признаём. чёрное и белое мы определяем по себе, - разделяя и противопоставляя то, что ни чёрным, ни белым, ни промежуточным не является, и только будучи неразделённым и слитным – именно так воспринимаемое – может быть полноценно осознанно в подлинности своей»**

Мама прочитала. Перечитала ещё раз. Закрыла глаза.

Старичок заморгал, улыбаясь.

- Ишь, везде у него какие-то таблички понатыканы, - всхлипывая, пробормотала бабушка. Неожиданно для себя выкрикнула: - Сам ты хулиган!

Старичок покачал головой.

Бабушка вдруг смутилась. Сердитость... Какая сердитость? Нет, сердитости в ней теперь не было. Всю растрясла, без остатка. Что же было? ...Её пробрал озноб. ...Она почувствовала – ах, это стучалось давно! – тишину и доверие... Да! Вот так: сквозь слёзы, сквозь царапины, сквозь подступающее безумие – доверие. Бабушка поймала себя на том, что ей захотелось стать на колени перед этим балабольным извергом... перед этим усталым, невероятно настоящим человеком... Она сама себе удивлялась; удивлялась, и чувствовала радость в озарившем её удивлении. «Пёс!.. Ну надо же...» Бабушка тихонько, не утирая слёз, плакала. «Иви, Ивушка, где ты!.. Малыш...»

Мама подошла, тихонечко встала рядом, - прижалась к плечу.

- Будет реветь-то, - добродушно сказал старичок. – Письмо отправлено.

Странно, но женщины поверили ему сразу, без всякой оглядки. ...Да, письмо отправилось к Иви. Письмо (какое письмо?) – уже рядом с ним. Сейчас он его распечатает, развернёт прочтёт... Сейчас!

Гроыхнул гром; небо потемнело, набухло; первые редкие капли – весёлые, прохладные капли – коснулись земли. Старичок, высоко задрав брови, расширенными глазами смотрел на небо.

- Ну, девки, сейчас начнётся! – восхищённо пообещал он. – Разбегайся кто куда!

Он быстро шмыгнул в здание, и захлопнул за собой дверь.

Капли забарабанили чаще, гуще.

- Пошли и мы? – мама потянула бабушку за руку. – Идём!



Они шагнули следом за старичком. Толкнулись в дверь. Дверь оказалась закрыта. Бабушка навалилась плечом – не помогло. Мама громко постучала в дверь – никто не отозвался.

Дождь становился всё сильнее и сильнее. От минуты к минуте – в крошечности, гуле – дождь рушился-льнулся к земле, проступая грохочущим, сотрясающим мир водопадом. Вне ветра – струи воды сплетались в столбы, плющились в стены, разворачивались в занавес, в сплошной, извне – ничем не стесняемый, поток.

Мама и бабушка, прижавшись друг у другу, вместе – прижавшись к дверям, молча смотрели на дождь. Им было немножечко жутковато. Но пока что, - женщины стояли на высоких порожках, под просторным навесом, - ливню не было до них никакого дела.

Ливень нашёл дела поважнее!

Весь город – как на ладони; очевидно, квартал, в котором оказались женщины, располагался на холме. Да, город был как на ладони, и именно здесь, «как на ладони» – маленький, стянутый-сжатый в разноцветную пупырчатую горошину, такой бескрайний – город менялся. Ливень рушился сквозь здания, сквозь улицы и мосты, сквозь скверы и разбросанные по обочинам разнообразные движительные механизмы, сквозь площади и монументы... сквозь жителей... сквозь всё, что так или иначе взывало к дождю, мимо чего дождь не мог, да и не хотел пройти, что «лежало как на ладони» – но вдруг почувствовало себя этой ладонью... тем, кто протянул ладонь. Ливень рушился; казалось: то, к чему прикасается ливень, слеплено из сахара или из соли, так быстро – вслед обрушению ливня – рушилось, распалось, исчезало в истошных стремительных потоках всё, прежде незыблемое, возвышенное и приниженное, продувное, пронзительное, одурелое. Неразглядны были потоки: ничего прежде бывшего не угадывалось в них, ни что не намечалось к бытию; да и улиц, по которым они неслись, уже не стало: потоки крутились друг в друге, в нераздельности каждого-всего, пребыванием своим – напоминая бурлящее озеро, не имеющее пределов ни в длении сторон, ни в извивности глубины.

Зрелище захватывало, зрелище завьюживало и теребило, зрелище зачаровывало и ошеломяло. Мама с бабушкой даже не сразу поняли, что здание, под навесом которого они нашли приют, исчезло... исчез укрывавший их навес, - только порожки, возносившие женщин над водой, по-прежнему были под их ногами, хотя набегавшие волны – раз за разом – укорачивали, слизывали, сокрушали и это пристанище. Женщины стояли на утлой порожковой возвысине посреди бескрайнего озера; обнявшись, - с тревогой оглядывались по сторонам; приподнявшись на цыпочках – выглядывали хоть что-то...

Дождь утих. Не по чуть-чуть, как начинал своё схождение, понемногу разматывая всеокрушающий проливной клубок, но – мгновенно, весь. Утих; утихло и озеро, зыбким ласковым блеском оглаживая себя, устраиваясь поудобнее под лучами выглянувшего из-за туч солнца.

- Мы с тобой, как две пальмы на океанском острове, - нервно улыбнувшись, пробормотала бабушка.

- Ничего... - успокоила мама. – Всё обойдётся!

Над озёрными стоялицами зависла небольшая тень. Они одновременно подняли головы. Маленькая пушистая белка, рыжая, почти золотая на солнце... Белка зависла над женщинами, часто обмелькивая прозрачными, едва различимыми крылышками и восторженно скаля зубы.

- Привет!

- Здравствуйте, - поклонилась бабушка.

Мама помахала белке рукой.

- Как это вас сюда занесло? – удивилась белка.

Что ответить – женщины не знали. ...А действительно – что?

- Ну и долго вы собираетесь здесь стоять? – с интересом спросила белка.

- Откуда ж нам знать?.. – запечалилась бабушка. – Может, спасёт кто...

- Кто?!? – загорелась белка. Сделала несколько кругов над женщинами и захлопала в ладошки. – Вы ждёте героя? Ура! Останусь с вами; очень хочется посмотреть на героя! ...Когда ожидается прибытие этого восхитительного существа?

Лукаво прищурилась.

Мама пожала плечами.

- Всё проще: мы не знаем, что делать, но очень, очень устали – и стоять, и вообще... Вот. Вот и надеемся, что произойдёт что-то хорошее, что-то, что нам поможет...

- Вот как! – воскликнула белка. Посочувствовала: - Трудно, когда не знаешь, что делать! Я, например, знаю: я лечу к Чайному Домику, пить чай. С пирожками!

- А где он, этот Домик? – вытянулась бабушка. – Мы бы тоже чаю попили!

- Там! – беспечно махнула лапой белка. – У горизонта!

- Да тут везде горизонт! – всплеснула руками бабушка.

И впрямь: горизонт окружил озеро со всех сторон. Только и было: озеро, небо, горизонт, а посреди – островок с двумя женщинами и порхающая над островком белка. Весь мир...

Белка усмехнулась.

- Шли бы вы лучше домой. Чего вам здесь? – Белка сделала ещё круг над островком. – Здесь в любую сторону можно идти.

- И попадём к себе домой? – замирающим голосом спросила мама.

- Ну, насчёт «домой» я, разумеется, не знаю, но вот насчёт «к себе» – к себе попадёте. Точно! Во всяком случае, куда ни пойдёте – тут недалеко...

- Как? – простонала бабушка, - как мы пойдём!? Кругом – вода! Ни лодки, ни плота...

Белка подзадорила:

- А вы попробуйте! – Заторопилась: - Всё, я полетела. Пора! Ждут!

- Но...

Не успела бабушка новым вопросом утешиться, как белки и след простыл.

- Улетела, - озадаченно выдохнула бабушка. Поозиралась. – А куда?

Мама осторожно, кончиком ноги, попробовала воду. Потом – всей ступнёй. Вода была упругой, плотной. Мама сделала несколько шагов. Вода прекрасно держала идущего, не раскачивая, не тревожа шага.

- Пойдём!

Бабушка робко ступила на воду. Первый же шаг ободрил её. Бабушка пошла уверенней.

- Двигаемся, дочка, - повеселевшим голосом сказала она. – Куда-нибудь да придём! – Взяла маму под руку. – ...А там, авось, ничего страшного: мир, конечно, сошёл с ума... но мы – это мы, что тоже неплохо, и всё, в конце концов, благополучно закончится!

Мама посмотрела на горизонт.

- А я не уверена, что мы – это мы, - спокойно сказала она. – Во всяком случае, не думаю, что мы хоть когда-нибудь знали, что это такое. Может быть – узнаем... - Приобняла бабушку. – И вряд ли всё закончится: мне кажется, всё только начинается! Только-только...

Как бы в подтверждение её слов – озеро дрогнуло; озеро засветилось. Мама и бабушка обернулись: узкая цепочка оставленных ими следов – набухла, отвердилась, - пролилась тонкой, чуть припорошённой пылью тропинкой. Следом – само озеро: на мгновение взорвавшись светом – озеро стянулось к следам, вошло в них, растягивая тропинку в широкую, немного бугристую, прямую дорогу. По обочинам – росли цветы и деревья, мелькали бабочки, шевуршали в кустах птицы.

Так показалось: не дорога – намёк на дорогу, то, что дорогу зовёт, что готово стать её изнанкой и бережением... Даже пыль здесь – странная пыль... А так – всё привычно, знакомо, вполне понятно...

Мягкий ветерок – позёмкой – лепетал в пыли, перекашивая и вороша буквы... Путешественницы присмотрелись: буквы... мимолётные, пылью проявленные узоры... Только успеешь прочесть несколько слов, как ветерок встряхивает их, складывая в иной, совсем уже не разборчивый и дальний узор... Ветерок касается ног... ерошит волосы...

*...«Человек не всегда – почти никогда – не отдаёт себе отчёта, как именно он видит-воспринимает мир. А вот так: через стену. Человек смотрит на стену, за которой мир, и видит **нечто**, полагая, что видит то, что он видит. А видит он то – и только! – что позволяет себе увидеть».*

*Если ты смотришь на мир через стену, так: невзирая на то, что смотришь ты – на мир, видишь ты – стену.*

*Поэтому ты не знаешь, что мир и ты – одно. (Нет, тебя могут проинформировать об этом, ты можешь даже принять это к сведению, но – не узнаешь.)*

*Ты обходишь стену со всех сторон, и стена сворачивается в столб, сворачивая в себя мир. Ты можешь обойти над и под, - стена свернётся в шар, сворачивая в себя мир. И нет у тебя никакой возможности обходя стену – обойти её и увидеть мир, потому что твоё «я» и «я» мира ходят по разным сторонам, хотя эти стороны – все, какие ни на есть, ведь ты и мир – одно и то же. Не видит тебя и мир.*

*Ты смотришь на стену. И, в смотрении, стена разворачивается во всеохватывающий - охватывающий тебя – экран. Стена, будучи увиденной хотя и со всех сторон, но только с одной своей стороны – не может стать для тебя зеркалом; она может стать зеркалом только для твоего «я».*

*Тыходишь в зал кинотеатра, полагая, что вошёл в мир, и представление на экране давным-давно началось, - оно идёт вовсю, - хотя начинается оно с твоего вхождения в зал. И совсем не имеет значения, какой именно это будет зал: зал кинотеатра, зал музея или – самая обыкновенная жизнь. Совсем не имеет значения, какое обличье примет **Иллюзион Тебя**. Важно, каков в **Иллюзионе Тебя** – ты. Время разового просмотра – жизнь. Но билеты выданы на бесконечность, и зал никуда не девается: куда бы ты ни повернулся – он перед тобой, закроешь глаза или откроешь – он.*

*А мир – тоже со всех сторон – со своей стороны...» ...*

Буквенная позёмка мела, мела, заметала... встряхивала пульсирующую дорожную ленту – меняя узоры... Вот: встряхивая – истряхивала всё новые и новые буквы... Букв становилось больше... Больше...

## ОТШЕЛЬНИК

### 1

Что приходит, что уходит, - поди разбери... То ли ты бросил камень в воду, затейливо завращав его опережающим мысль хотением, то ли ты и есть этот камень, тобою же (кем-то ещё?..) брошенный. ...Расходятся и встречаются круги на воде... молчат.

Человек задумался. «Всякое действие, - думал он, - будь то поступок, мысль или слово, лишённое истинной сути – неизбежно возвращается к своему исходному началу, к вопросу породившему его; кру-

гобежа в возвращении – проходит все стадии страдания, кругобежа в возвращении – закрепляет прозрачность бытия.»

Стены... стены... стены... И крыша над головой – давит! давит! И пол под ногами – палуба... - ни равновесие обнежить-утвердить в штормовых изломинах, ни сойти на берег...

Человек застонал, замычал внесловно и нервно вскочил. Простоял не долго – рухнул к прежнему месту. Длинное тело его расплеснулось по креслу, - выгнулось и обвисло.

В какую сторону? В какую? Тысячу миль можно пройти – на север и юг, на запад и восток, - но зачем? зачем? Обернёшься, а за спиной только и есть что тысяча миль... тысяча тысяч... Зачем?

Но здесь? – здесь-то!? Чего ни коснись – свизгивается и упадает громоздким грузом, плющит, того и гляди размажет, разнесёт тонким слоем по просторам жилья.

Человек закрыл глаза. Обмелькнулось: по коленям метнулась кошка. Человек, не открывая глаз, улыбнулся: пусть...

Может быть так: *м о р е ...*

(Он остановился на берегу.

Он остановился на берегу и посмотрел на море.

Он посмотрел на море. Долго-долго смотрел на море.

И отвёл взгляд.

Плюхнул-положил на прибрежные камешки рюкзак; рядышком уселся, на большой тёмно-зелёный оглаженный валун; ноги поставил, крепко упёршись, на причудливую корягу-плавник.

Достал флягу; сидел, попивая водицу, - не смотрел на море.

...За спиной – посёлок; маленький сырой посёлок, выбежавший из-под дождя к круглым колёсам поезда. Грязные воды порта.

За спиной – полная непонятца... Он так и не выяснил: зачем же шёл сюда? зачем он себя сюда вёл?

Ну вот...

Над морем – тучи; они так и не развеялись с прежних недавних времён, были и ныне. И дождь – так ли, иначе ли – очевиден.

Закапало. Дождь, дождь!.. Забарабанило... Захлестнуло...

Он сморщился. Он отставил к стороне флягу. Достал и раскрыл зонт.

И сразу – сразу! – намок: зонт не мешал дождю, - дождь был везде. Ха!: дождь вырывал зонт из рук... Дождь то и дело менял направления, обходя сидящего на камне со всех сторон...

Ну вот... Ясно, при таком напоре – ливнеструй не мог слишком долго длиться; вся вода в нём закончилась, быстро, не давая всерьёз набезобразничать...

Он отжал одежду. Вздохнул. ...Холодно.

Давно, ещё с поезда, ныли виски, разламывало затылок. Внутри туловища - проверёвочным грузом – камень... отвес... маятник...

Мотнул... громоздко мотнул головой, вялую боль теребя... Головой мотнул – боль не избыл, нет. Да. Не согрел сердце.

Встал, тяжело и ненужно. Поднялся по косогору к дороге. Зашагал... Зашагал.)

Нет!

Человек открыл глаза и резко – стонным прыжком – рванулся из кресла. ...Нет! Не так! Тысяча миль... - да что там! – может быть он сумеет и быстрее, чем быстрота тысячи миль. Вот! Может быть. Может быть: бесплотными станут следы, обретут направление, истину.

Человек вздохнул.

(...И листался, листался, листался, бежал; и излистывался гигантской книгой с многоточием у каждого вдоха, у каждой страничной грани. У граничной черты – то ли ломкость в шорохе, то ли упругость, но – на крылах, крыл не теряя; чуткий и бережный.

Ах, ничего не путая! ...но путают, путают, путают небывало и часто: поэтов со стихотворцами, уединённость с одиночеством, радость с весельем, любовь со страстью... Ах, ничего не путая! так: понимая.

И рассудок – взаправду – терял, и рассудок опять обретал, ни с кем не меняясь местами. И касался подушечками пальцев золотых жил, и оглаживал их, и укрывал поутеплителей одеялом. Шёл по хрипам, по бреду, по дну, вычавкивая подошвы из вязкого и больного, но – упираясь плечом и вновь плечо ослабляя – приближался к родному и неизбывному.

...Ах, ничего – вообще – не путая. Но листался, листался, листался, бежал – всё быстрее, быстрее... всё быстрее!..)

Человек глубоко вздохнул. Долгожданный покой мазнулся от затылка к плечам.

Осмотрелся.

Снял со стены рюкзак. Из рюкзака выпорхнула тетрадь. Как же он забыл! Человек торопливо открыл её; торопливо пролистнул несколько страниц, быстро добравшись до обрыва текстовых линий...

«...И потерялся мальчик. Потерялся Дом. И только лебеда потрескивала сухими зимними стеблями, где-то вдалеке, едва слышно...»

Человек призадумался. Это было окончание третьей главы. Хотя... ну какие могут быть главы в дневнике! ...Он даже не знал, зачем это начал, зачем исписал несколько страниц в такой большущей тетради, а потом – спрятал в рюкзак. И покуда пылился рюкзак – пылилась и тетрадь, а он всё боялся подходить к рюкзаку, уже не улавливая рассудком – почему... Ну конечно! да! – возьму её с собой, решил человек. И продолжу – прямо сейчас.

Он взял со столика ручку и, держа тетрадь на весу, поставил цифру «4». Четвёртая глава. Итак...

«Мальчик спал.»...

Неожиданно, стало радостно и тревожно. И так – так! – что человек испугался. Он захлопнул тетрадь. «После... После...» Аккуратно положил тетрадь в непромокаемый пакет. Подумав, добавил туда два карандаша.

Спохватился, - отправился к продуктовому шкафчику, на кухню, где хранились его припасы. Внимательно осмотрел: два пакета пшена, пакет ржаной муки, начатый пакет соли... немного макарон в мешочке, в банке – сухие овощи, две пачки чая, полкило сахара, горсть печенья в вазочке... да! – почти полная литровая бутылка с подсолнечным маслом. «Если на всю жизнь, то – не густо» - усмехнулся он и стал осматривать карманы. Навздохав по карманам какие-то крохи, - прихватил сумку и кинулся в магазин.

## 2

...Да, было так рано – рано-рано, - когда он оделся, скрипнул – вдавливая в плечи – лямками рюкзака, вышел из дома и зашагал.

Нет, не взвизгнули половицы, не заскрипела дверь... и даже ступени – гасили, глушили, упрятавали в себя всяческий звук ухождения.

Он не знал – куда, но знал, отчаянно и отчётливо: это неизбежно, это необходимо. Вот так. О! – если бы это было как-то иначе, то для чего тогда вставать с кресла (ибо не было у него иного прибежи-

ща)? Для чего напихивать – до треска брезентовых стенок – продукты и вещи в рюкзак? Для чего покидать своих близких, которых покинуть – всё равно что ударить, всё равно что обжечь (но будучи рядом – пытка, мука...)? Зачем?

Вот так.

Он почти бежал. Он почти летел. Он бежал и летел, озираючись на здания, на широкие чёрные языки спящих улиц, на розовый пепел рассвета, мелькающий странным намёком где-то там (или здесь...) – высоко, над городом. Он бежал насквозь – сквозь город, и чувствовал нечто, похожее на провозжание, похожее на тёплые, упёртые в спину ладони, – выталкивающие прочь, но – в ласке и лепете... но – не навсегда.

- Малыш... Малыш... Ты покидаешь нас, малыш...?

- Нет... Нет. Нет. Нет.

- Почему... почему твои шаги быстрее тебя самого? Что случилось с тобой?.. Что случилось с тобой, малыш?

- Нет! Нет... Всё как-то не так... Всё совсем и совсем иначе!..

А голоса эти были с ним... с ним... Они никак не хотели его покинуть, его оставить...

Предместья... Окраина...

Он отошёл от города достаточно далеко, чтоб, обернувшись, суметь увидеть его весь, разом. Он обернулся; он посмотрел на город, в котором рождался, рос, жил, умирал... и снова: рождался, рос... и снова... и снова... Смотрел и смотрел; ему казалось, что он так и будет – стоять, смотреть, что он только для этого и шёл сюда... и пришёл.

И стоял... и смотрел...

И город смотрел на него.

И стояли. И смотрели.

И так сказал он:

- Мне тяжела, невыносима почти разлука. Мне трудно расстаться с тобой, город!

- Глупенький, - ответил ему город, - хороший мой... - ответил ему город, - мы и не расстаемся вовсе. Всюду, где только можно представить место и время – я. Где бы ты ни оказался – ты будешь во мне и со мной. А я – в тебе, и – с тобой.

- Город, я боюсь дороги, которой так долго ждал. Я прихожу в ужас, что уже – ступил, уже – шагаю!..

- Глупенький... - город улыбнулся; город колыхнулся-качнулся огнями окон, струнами бульваров и улиц, синевой пустырей. – Хороший мой...

...Так и шёл, так и всхлипывал, и теребил лямки рюкзака. А город – провожал, город шёл рядом: мягкой пылью, дружелюбно сплетающей подошвы с трещинами дороги... тёплым ветром, подпирающим плечи, баюкающим, теребящим... утром... вечером... ночью... днём...

Как долго?..

...Скудная, в прощерб, кромка леса, и там, за кромкой, высокий распахнутый веер: л е с.

Сюда его и звало, сюда и вело. Здесь ожидался приют.

...Но – замер. На границе, незримой, неявной, но узнанной всем существом, - на границе города и леса, - он замер. Будто бы – откатнулся; ладонями голову обхватил, выгнулся...

Забытьё...

- Вот так-так, никак столбик новый поставили!

Просверк в забытьё. Человек оглянулся. Человек увидел прохожего.

Маленький, тощий, с неряшливой, насквозь седой бородой... Удлиненное лицо... Впалые щеки... Взгляд круглящихся чёрных глазок прошивает насквозь, как вскрик молнии... Так показалось, почудилось: летящий по небу пёс... будто б – на воздушных шариках, где один шарик – солнце, другой – луна, а остальные – много их! – и не разобрать. ...Жуткий старикашка.

- Привет! – сказал прохожий.

- Здравствуйте...

Человек растерянно, человек тоскливо оглянулся по сторонам, словно желая – сиюсекундно – отыскать какое-нибудь близкое и доступное укрывище. Но – не было его, ниоткуда не было, а было: справа от дороги – близкая, тёмная-тёмная, озелень леса, сзади и слева – город, спереди – прохожий. И смотрел прохожий нахально, вглядчиво. Вновь померещилось: пёс; пёс смотрел, склонив голову набок, свесив язык на частокол жёлтых острых зубов; мудрый, безжалостный.

И страх и восторг. «И откуда же он взялся, откуда!? – думал человек. - И именно теперь, когда я не знаю что мне делать, как быть. Совсем не знаю! ...Но дорога была безлюдной... Да-да, пустая! Откуда же его принесло так не вовремя? Ох...»

- Привет, - сказал прохожий.

- Да-да... Но ведь я уже поздоровался с вами!

- Ну?! Да что ты! – маленькие глазки прохожего насмешливо заискрились, и он соорудил разболтанно-озабоченную гримасу. – Ух ты! ...Ну и что?

- Да нет, я...

- Тебе что, лень два раза поздороваться? – перебил его прохожий. – У тебя что, лапы сотрутся или хвост отвалится?

- Хвост? – человек никак не мог понять о чём (и – зачем?) они говорят. Он чувствовал себя висющей на длинной нитке новогодней стеклянной игрушкой: Новый Год давно отновогодился, ёлка опустела, и только он – забытый, беспомощный, в забытости своей – свисал, без нужды и смысла, в паузе и томлении. – У меня нет хвоста...

- Будет!! – прохожий настолько развеселился, что даже подпрыгнул. – Ой, будет! ...А что, хочешь охвоститься?

Человек не знал, что ему нужно ответить на эту чепуху. Да и нужно ли?

- Ты, кажется, собирался лезть на гору? – спросил его прохожий.

- Лезть на гору? ...Но здесь нет гор.

- Есть, - голос прохожего стал строгим. Ох, строгим! Но и насмешливости не утратил. – Горы везде есть. Вот именно. ...Ты уже начал карабкаться, только вот – поди ж ты! – встыл у подножия, и ни туда... и никуда. А? ...Зачем?

«Что ему от меня нужно? Что ему...»

- Да ты, я вижу, думатель! – прохожий нахмурился и подошёл вплотную. – Ну, а если вот так...

С этими словами он сильно и жёстко врезал человеку между лопаток, и тот кубарем – а-а-а!... – через обочину, через низкий кустарник... Будто бы ослик, на котором он ехал и которого замучил беспрестанным дёрганьем поводьев (в сомнениях, в маете...), упёрся передними копытами (ну сколько ж можно!) – да поддал его из седла.

...Он покатился, покатился по заобочинному откосу – кувыркаясь, крутясь. Покатился, ушибаясь о камешки и твёрдые выступы, царапаясь о битые стёкла, о жёсткие, крепкие в упорстве своём кустарниковые пряди. Покатился, вскрикивая, всхлипывая, бормоча, почти не понимая происходящего, желая с ним – остервенелым происходящим – расстаться, но каким-то глубинным дальним непререкаемым ощущением – не расставаясь, и даже напротив – для, ускоряя своё падение-верчение.

Докатился; пал, распростёршись половичком раздёрганным, пообитым. Застонал.

Ух! – как же больно... Больно...

Подобрал под себя руки. Подобрал ноги. Изогнулся, - посмотрел вверх.

О!!! Падалось очень ярко, стукотно-искряно, да недолго. Не с крыши же – с дорожной обочины! Аглянул теперь – гора перед ним высокая, даже и не видно верха, нет... будто бы – в облаках теряется... уходит, уходит и – теряется... Получается, оттуда, с горы он падал. Хорошо, что не разбился вовсе.

Снова застонал. Попытался сесть.

Не получилось. Упал на спину, - упёрся взглядом в облака, пытаюсь разглядеть за ними дорогу.

Не видно... Ничего не понятно! Как же так!

Вскочил, - боль разбрызнул-раскинул ворохом капель в собачьем ознобном трясе. Зубы сцепил. Нахмурился. И – по откосу, по откосу! по откосу-горе... - ступнями вбиваясь в землю, надсадно отплёвываясь от клубящейся, от взывающей сверху пыли, оскальзываясь, упираясь в рыхлые глиняные комья, в шершавые камни исцарапанным оббитым подбородком, принимая на спутанные волосы, на ноющую голову жесточайшую барабанную дробь со-склонной просыпи – водопад! искры!... Ах... Запрокидывался; рушился вниз, вниз. Снова карабкался... И снова... Снова...

...Долго ли, коротко ли, - а наступила ночь.

...Он лежал на спине; руки и ноги раскинул, телом истрёпанным растёкся-вмылся по малышному лоскутку тверди земной. Не было в нём ничего такого, что не болело бы... но главное – вот: так и не выбрался на дорогу, так и не одолел откос, - тот отбрасывал его раз за разом, как мятущиеся в быстром хлопьевом ветре августовские деревья отбрасывают бабочку, ничего – ничегошеньки – против бабочки не имея, а – так: так выходит... пока – именно так... Будто столкнулся он с чем-то заведомо непреодолимым, данным ему как стена и отпор, как намёк и призыв. Поди, обойди, что не обойти по самой своей природе, по сути и праву! А и обойдёшь – в то же уткнёшься. Хоть захлебнись от слёз, хоть замёрзни тут – лёжачи – от студёных звёздных мерцаний.

Впрочем, лето. Можно и полежать. Можно даже представить, что ты уже выбрался на дорогу, что дорога уже под ногами и греет ступни и расстилается из-под ног мягким устремлённым ковриком-клубком, ковриком-надеждой, ковриком-путеводителем-и-охранителем. Можно – ах, ну конечно же это возможно! – представить-вообразить, что ты уже понял, зачем позвала дорога, зачем она крикнула и ухватила в охапку, - понял, а не просто так пошёл-побежал, стискивая километры и дни в невероятную блескучую пружину. А заодно: почему, зачем, для чего обернулся короткий рывок упадением, нынешней несурaziцей и тоской.

- Почему?.. – прошептал человек тоскливо. – Пожалуйста, - почему?...

И тут же, будто б того ожидая, а иначе – никак, но теперь – пожалуйста:

- Твоё «почему» осталось на дороге. Ты сначала выберись, ты сначала вернись к ней, малыш. Там и «почему» прохлаждается, - тебя ждёт.

- А – как?

«Ох, знакомый, знакомый голос! Какой знакомый голос... Откуда? Не помню... Почему? Опять «почему»!» Повторил снова, но уже твёрже:

- Как мне выбраться?

- «Как» - не знаю, а куда – ну конечно же, о чём говорить!: в противоположную сторону от неё, в далёкую сторону; чем безогляднее, напряжённее и честнее будет твоё устремление – тем быстрее окажешься на дороге.

«Какой же голос знакомый... Всё говорит, говорит... говорение – сплошной туман, но всё понятно. Вот теперь – во мне сплошная сумятица да звоночки велосипедные, а ощущение верное: всё на своих местах, только б разжмуриться...»



- Вот туда, туда иди, - слышалось вновь (Откуда? Листья ли?... Сны ли черёмух, разбросанные по лугам?... Вечность ли мотылька?... Неугадливо так... Шелест... Шелест...). – Во-он туда! И – именно *т а к*.

...Закружилась, завьюжилась – ах! – распростёрлась осень. Давеча – минуло пять минут – лето, а нынче, росчерком ахнувших кандалов, осень, осень, осень. Да не какая-нибудь, а – *та самая*: терпеливая, надеющаяся, верящая, любящая! Впрочем, разве бывает осень иной? Разве такое возможно?

Человек осмотрелся. Он увидел, что его большущий тяжёлый рюкзак валяется в луже – широкой, мелкой, подёрнутой зеленью и радужными пятнами, – а вид имеет нахохлившийся, сердитый. Человек, прихрамывая, подбежал к рюкзаку, и – разом – и из лужи и на плечи: хоп! Вода побежала по куртке, по штанам – проникая неплотный брезент ткани, прохладными ручейками обволакивая-тормоша избитое недавним падением тело.

Человек поёжился. Потом – глубоко вдохнул, распрямляя грудь, терпкий лесной воздух. Теперешнее намокание было приятным, напоминало короткий удобный отдых. Заодно – и рюкзак перестал обижаться (спина это чувствовала), поскольку намок и тот, кто его потащил в это непонятное предприятие! – ну хоть чуть-чуть... здесь присутствовал какой-то намёк на справедливость.

Человек шагнул к лесу.

Остановился.

Быстро сгустившиеся сумерки делали лес непроницаемым и плотным: лес-шкатулка, завёрнутая в скатерть, а сверху – одеяло, а сверху – и подушки и ковёр и всё, что ни попадя. «Всё что ни попадя» топорщилось взрывом ветвей от края леса... переплеталось – чем-то неуловимым, прочным – в его глубине... потрескивало... ухало... стонало... Лес двигался, всем собой, сразу; лес будто бы танцевал: раз-два-три, раз-два-три...; лес будто бы скручивался к прыжку, за которым неминуемо последует полёт... а за полётом – то, что неминуемо следует за полётом, и что ведомо лишь летящим.

Человек смотрел на лес. Неожиданно – это толкнулось от леса, задело и окутало с ног до головы – он понял, что ничего ещё не оставлено, ничего не отложено, что связи-ниточки и ниточковые узлы – густое переплётшееся марево – образующие его бытие и определяющие его, пятнышковое, место в бесконечной, бесконечно трезвонной мозаике мироздания по-прежнему с ним и в нём. Ниточки лишь натянулись подобием резиновых жгутов, лишь позволили капельку растянуть себя... но, вместе с тем – и набрать силу для обратного движения-рывка. Человек чувствовал, как эти нити гудели; гудение гудению были рознь: то – провода, натянутые от и до, говорящие, говорящие, говорящие... то – вихрящиеся мгlistые тучи у горла маячной башни... то – земля, в топотанье-битье-окаблучье слепого солдатского роя... Человек понял, что если он шагнёт в лес – нити тут же (а может быть и чуть погодя) вытянут его обратно. И – мгновенно; рывок будет скорым, яростным, рывок будет точным – он аккуратно вернёт его, бегущего к себе, на прежнее место, и – прежним... разве что – искалечив в обратном пронесении-возвращенье.

Человек уселся на землю возле берёзы; под спину поставил рюкзак, затылком упёрся в ствол. Зажмурился, крепко-крепко!

Теперь человек уже не смотрел по сторонам, а – в себя... в себя... всё глубже, всё дальше... всё внятней и пристальней...

Ночь подошла к лесной опушке. Подошла и села рядом с гостем.

Ночь была тёплая, почти что летняя, и человек не разводил костра. Он просто сидел, - привалился спиной к рюкзаку, голову уткнулся в берёзу, - сидел и смотрел в себя.

...Очень хотелось вернуться. Так хотелось – так! – хоть плачь, хоть вой, хоть скручивайся – и крутись, крутись отяжелелой лиственной порошей...! Так: каждая жилочка натянулась, а натянувшись – по-

тянула обратно; и – будто бы – не подняв с земли, но уже – опрокинув... Очень, очень хотелось вернуться, вдребезги, аж сводило скулы, как от кислого и непомерного, – становилось трудно дышать, и что-то внутри дёргалось, трепыхалось, гудело.

Человек вздохнул; крепче упёрся спиной в рюкзак.

Не было назад дороги. То есть дорога, конечно, была, но – вот: можно, можно вернуться обратно, но из «обратно» обратно – нельзя. Просто и ясно, как плевок в лужу! Даже ещё проще...

Человек раскинулся: руки и ноги – по сторонам; возлёт привольно, расслабился; сосредоточился. Он представил себя карандашным рисунком на чистом листе бумаги – тщательно, до штриха... а представив – взял стёрку и стал медленно, тщательно стирать себя. Стёр. Осталось лишь что-то неуловимое, неопределимое вовсе, что, собственно и было чистым листом бумаги, на котором прежде, ещё до сотворения стёрки, покоился карандашный образ. ...И – выгнулось неуловимое-неопределимое вопросом-и-восклицанием, протянулось ладошками дроглыми... Но прежде, чем вопрос наполнился и восклицание утвердилось – растеклось, осознавая собой бесконечность, и – бесконечностью – себя.

...А времени здесь не было. Оно гуляло в совсем другом месте – и его здесь попросту не было. ...Сколько прошло? долго ли? – кто его знает...

Человек улыбнулся. Ему стало теперь очень спокойно, очень легко. Ему стало теперь очень понятно, очень устойчиво. Да. Всё, что пребывало вокруг, ничем не отличалось от того, что пребывало в нём. И рассвет – и он! – первыми волнами своими осветливший колени улыбающегося человека – тоже: очень спокойный, лёгкий, приятный, устойчивый.

Человек встал; поклонился берёзе, забросил рюкзак за спину и во-шагнул в лес.

...Что за чудо тропка была! Извивная... всего-то и ничего – руку протянуть, а и нет её, уже повернула. Приглядишься, – все краски на ней перемешаны! да перемешаны как: не до взболти невнятной, унывной, а – каждому цвету своё место, своё пятнышко, свой неуловимый переход в мягкость полутонов; акварельная ласка, ясность, перешёптанные в одном озорном ведёрке восход и закат. По такой тропке и быстро-то не пойдёшь, куда там! – по такой тропке только течь неспешно, подобно ручейку-бродяге, только любоваться, замирать перебирая ножками – да, – озираючись, шустро-шустро так, во избежание упущений, прохождений мимо. Но можно и быстро: взять да зашагать. Чего там! – нужно успеть, не зря же ты пошёл по этой тропинке! А ласка, а ясность, а восход и закат – так только в подмогу, в сверканье – ах! – к омовению от зряшных усталостей и тревог.

А деревья! А какие деревья! А трава! А цветы! Вот: вздохнули и распрямились в мелькнувшей солнечной прядке капельки росы; изогнулись, затренькали в нежных сквозняковых лапах юные кустарники; заблестали в шутливой нахмуренности – то там, то сям, то прямо у самой тропинки – шёрстки сгустившихся мхов. А лепет, лепет? – да кругом!: тающий звон, обвисший клочками тёплых туманов, приветным внимательным взглядом, снами, памятью...

То ли смех, то ли иное какое удовольствие – лепестками сеялось, сеялось, сеялось, – обвеивало тропинку. Да! И вьюжная вязь паутины – явно и вполне очевидно – не к улавливанию нарождалась, не к нанесению обид, а – и явно и вполне очевидно! – к восторгу для всякого, для повсюду.

А ещё – запахи... Ни один не был отчётлив, хоть бы и на мгновенность пенного пузыря, но вместе – лакомство несказанное. Тут не только ноздрями – каждой чёрточкой кожи, каждым рывком сознания...

...От опушки – к нутру, глубокому, дальнему, – лес густел, наливался соками и обильностью, становился плотнее, пронзительней, краше. Человеку то и дело казалось, что – вот-вот! – и он переполнится под завязку; переполнится – треснет по швам, – рассыпется по просторам лесным сверкающей моросью ягод. Человек смеялся. Он чувствовал, как проходимые им – оставляемые за спиной – ветви деревьев в спину его подталкивают, подталкивают, подталкивают. Стоило обернуться – и не думали и не пытались

ветви ничего подобного, а чуть забудешь, растворишься в шагах своих, в тропке, в куролесье мерцающем, и – подталкивают, подталкивают... провожают.

Ну до чего приятно было так идти, будто истаяли заботы позади, будто впереди – несомненно! – вовсе им быть не суждено. Приятно! Особенно, после встречи с тем... ну, на дороге... с прохожим, который так грубо, так непонятно спихнул его с дороги. Так больно...

При воспоминании о прохожем человек нахмурился.

Тут – то ли нахмуренность его что-то истряхнула, то ли какие-то иные плавники дали здешние взбаламутили – хлынул короткими тугими щелчками, искрами, оскаленным хохотом собачий лай. Лай исходил из некоего неподалёкового, но вместе с тем и близкого места. Не было в нём ни залиистой, переходящей в визжание склочности, ни хриплой злобы, ни надсадной тоскливой жалобы, – только возношение... только лицо... Мерещилось: лай поднимается от земли, и поднимается так, как предопределено подниматься лесному апрельскому перу: чуть клубясь... чуть путаясь в верхушках дубов и сосен... меняя цвет, обличье, мотив...; вот: перерождаются под истощным весёлым солнечным жаром темные слипшиеся снега, и просверками в перерождении том – пунктиры намёков, подсказок, грозди облупившихся и проржавевших указателей.

Лай не коснулся человека. Лай будто бы завис от него неподалёку, в колыхучей подлесковой пене. Поманил...

«Вздор. Вздор. Вздор.»

Прищурился. Стиснул зубы.

И вот именно тут – именно тут! – он уловил наконец ясное и твёрдое направление своим шагам. Не оглядываясь, не отвлекаясь больше, ничуть не рассеиваясь, не баламутясь, – человек твёрдо и пристально, как уверенный в своей правоте канатоходец, на любимом, заведомо прочном канате, вкачнулся в глубины лесные. Вкачнувшись же – устремился.

Так: лес расступился, раздался по сторонам прохождения, вне каких бы то ни было тропинок, привычек и правил; не было здесь где идти – сплошное кромешье, а оказалось – есть, есть где! – как раз, чтобы пройти одному ходуку, пройти и пронести рюкзак. Ни что не цеплялось (а если и цеплялось, то – так, в шутку, не всерьёз), не ухмылялось, не преграждало медленного, но неуклонного следования. Ни что не мельтешило, не болботало, не валяло дурака. Шлось так, что, пожалуй, и не шлось вовсе, а – вот: скользилось пушинкой одуванчиковой в бережном чашебном сквозняке... или, пожалуй, лилось, как льётся тело новорождённого ручейка: вне русла, но по местам ожидающим, приемным.

Именно так.

...Долго, долго он шёл. Но и – недолго, – можно ещё, ещё! ...Вот: миновала проливная лихорадка хождения, сама собой. Человек остановился.

Да.

Край просторной, плотно стесненной большими берёзами песчаной поляны, поляны-всхолмия. Журчащая в неподалёковой впадинке малая вода... Мерцающий лёгкий воздух...

«Здесь, – подумал человек. – Здесь мне и быть. ...Здесь нет людей, нет заводов, нет машин. Нет слов, бессмысленных и обильных. Нет хороводов и бряцаний. ...Здесь есть вода, поляна, на которой я могу жить, множество сухих ветвей, из которых я могу сложить шалаш-обиталище... Наверное, найду и еду. ...Да! я буду здесь жить! Именно здесь! Вот сюда-то я и шёл!»

Человек зашагнул на полянку. Зашагнул, огляделся. Сбросил со спины рюкзак.

Ему хотелось раздеться и развалиться на песке, зарыться в него, – нежиться... смотреть на облака... Но человек не стал этого делать; он видел-помнил: конец сентября, – вряд ли в песке остался хотя бы и малый ломтик беспечного летнего тепла. Вот: конец сентября... небо затянуто-запорошено игривой свинцовой наметью, – нет ни одного облачка, и даже хвостика нет или кончика облакового носа... Чело-

век не стал раздеваться. Человек поправил косо завалившийся рюкзак, глубоко вздохнул, - отправился собирать сушняк.

О! – сушняк был обилен и много и разнообразен. Человек сначала решил выбрать длинные, по возможности – прямые, ветви. Шёл он почти что весь день – весь день и прошёл, ночь не за горами. Может и дождь, вон небо какое... Конечно, хорошо было бы приготовить чаю... покушать сварить – кашу, например – тоже не мешало бы... Но это – потом! Сейчас, пока сумерки ещё вселесно не возросли, нужно построить шалаш. ...Да хоть бы как-нибудь! – после можно и поудобней, попрочней перестроить, а сейчас что важно? – важно, чтобы крыша к ночи, может быть – дождливой, над головой была.

Человек вернулся на поляну с целым ворохом длинных крепких сушин. И ещё раз сходил. И ещё. Достал из рюкзака топорик – сбил с сушин сучья. Размотал верёвку и, перевязывая, скрепил сушины в двускатный навес, не особо заботясь о долговечности, но – особо – о просторности и удобности устраиваемого жилища. Отстроил заднюю стенку. С треском развернул прорезиненный брезент; развернул – накрыл-закутал свой шалашик. Подлезнув, застелил лежбище одеялом, в изголовье закрепил рюкзак.

Человек довольно осмотрелся. Улыбнулся.

- Ай да я! Ну и ну!..

Оправил куртёночку, да вновь – за хворостом, в костровый припас.

Вода в чайнике вскипела. Вскипела и вода в котелке, под кашу.

Есть не хотелось. Человек снял котелок и отставил его в сторону, – до утра. Заварил чай. Придвинулся, зябко сутуля плечи, ближе к костру. ...Обернулся.

Обернулся, и увидел – ночь. За суетой обустройства – приятственным лихорадочным хлопотаньем – он не заметил, не заметил: ночь... Человек поднял голову: ни звёзд, ни луны, - низкое, замкнутое тучами небо. И деревья... Деревья уходили ввысь, прорастали ввысь, - не было заметно их вершин, но было заметно: деревья срослись с небесами, неотделимым и неделимым вздохом, потоком земным... с земли...

Чай настоялся. Кружку приблизить – всего и делов! – глоток к глотку... - терпкое вмещение в темноту. Ну конечно! ну конечно... - прядь смородины, всплывшая в хвойную память, повенчальное соприжатье. Ломтик сахара... белые крошки – с губ, - обещание парусов.

Суетошье избылось... Костёр догорел, замерцался ко сну, закутался в пепловое покрывало. ...Что дальше?

Спать. ...Человек встал, и медленно и тяжело направился к шалашу, на ходу ошарашенно допони-мая: он – здесь...

...Поёрзал, притираясь к выпуклостям и впадинам лежбища. Замер, прислушиваясь: ...шёпот, шорох, шебуршание... потрескивания да повеивания... И, кажется, дождь... - вялая заунывная морось, стирающая следы, наполняющая величайшие чаши...

Ночью человек проснулся. Проснулся от холода.

Каждый квадратик его тела разламывался, рассыпался истерическим крошевом озноба, - хриплый, истошный во-повсеместно фейерверк. Зубы сшибались – от низа к верху – в напряжённой упёртой попытке добыть искру... хоть искорку угрева! Колени и живот слиплись друг с другом до онемения. Руки – непонятно где, непонятно! но, казалось, они обжимают тело повсюду, в тщетной – тщетной... – но славной попытке удвоить, утроить, умножить-воцарить нестерпимо тонкий одеяльный покров.

Человек вскочил. Человек ринулся из шалашика, напрочь разваливая его неистовым безоглядным движением. Человек упал на колени перед отемнелым в пепел кругом костра, и руки в круг погрузил, и

ворошнул – ворошнул! – вытискивая из пепловых глубин недогасшие угольки. ...Вытиснул. Вздул, надсадно сопя, из угольков пламя, - ветками сухими пламя укрыл, - ладонями, бёдрами, плечами удерживая, не допуская к пламени ветер.

Треснула первая... вторая... третья ветки. Пламя метнулось ввысь, почти облизав, почти приобняв лицо восторженно смотрящего на него человека. Вздунулось; заширилось, лукаво деля окрестные возвышения на тело и тень. Заскворчало. Разлеглось свободно.

Человек – плача, шмыгая носом – вжался на корточки к огню, почти и не замечая – нет, не желая совсем замечать – жгучего близкострового горяченья. ...Согревание никак – никак! – не приходило. И зубы продолжали стучать, и каждый квадратик его тела разламывался, рассыпался истерическим крошевом озноба.

Корточковый стиск помноженный на нервные корчи – чего ж больше? – ноги онемели, и человек завалился на бок. Завалился – почудилось: умирает... совсем – ну ещё – чуток, и – ...

«Тело меня тянет обратно. Бедное, бедное моё тело... - подумал человек. – Вот замёрзну – здесь буду лежать... Никто не найдёт... - это, наверное, хорошо... Это хорошо, наверное... Наверное...»

Ожидая умирать – он наконец расслабился, отбросил озноб; лежал себе на боку, нежась щекой в редкой осенней мороси. Лежал себе, полёживал, и как-то безучастно – будто и не с ним – чувствовал, что тепло возвращается... возвращается... Вернулось.

Человек удивлённо вслушался в себя: по-прежнему холодно, но и – тепло. Холодно – вокруг, это понималось ноздрями, пальцами, кожей, а в себе – тепло... и не то, чтобы горячо, а – тёплышко, уютственно. Хоть сейчас можно было заканчивать побегушки на свежем воздухе, да и возвращаться баиньки.

Человек засмеялся. Спать ему по-давнему хотелось; хотелось так, что хоть уши в трубочку закатывай... Но – событие, - как тут уснёшь! Было холодно – в умерзье! – а и не стало.

«Кашу буду есть. Да. И чай пить!»

Растреснул, полыхнул вброшенный в угли хворост. Весело, ничуть не тяготясь дождиком, затанцевали, хороводясь, язычки пламени, жадно облизывая – измучившиеся без конфет ребяточки – чайник и котелок.

У-ух, - закипела вода!

Запузырилась, взбухая, каша. Лепетнулся – распахиваясь, дразня – чайный парок. Теневые ветви окружающих деревьев сомкнулись шатром над поляной, шатром-воздыманьем. Стали приподниматься, качаясь, ещё не пожухшие, но сниклые травы, и начало каждого приподнимания – так обещалось – было началом света.

Ложка макнулась в кашу; губы макнулись в ложку... Эх, вкуснятина! Пригорела, конечно... и без масла... Да самое лучшее масло – аппетит, это вам любой хомяк скажет. Вот! А масло – масла мало, лучше поберечь...

Человек слопал всё, что было в котелке; съел, даже пригарок соскрёб по стенкам. Налил себе чаю. Хлебнул. Довольный, прижмурился и притиснулся спиной к развалинам шалаша, не выпуская из обнимки кружку.

«Трескучее это дело – в лесу жить. Не муравей, поди, не белка, а – дурак дураком... человек, то есть. Шкурка дряхлая, зубы гнилые, а память – ох... – к унитазу да перине тянет, к кастрюлям кипящим, к присутствию облизь – за стенами, за окном – себе подобных... Ой, тянет! ...Фиг ей!»

Обернулся; огляделся по сторонам...

Ночь.

О-о, как же трудно заметить ночь, заметить-увидеть, и увидеть во всей красе, если не прижат – вот только что! – очами к пламени, если не станцевался в терпком судорожном плясе – в визге истошном,

сжатом до онемения – зрачок к зрачку – с пламеневым дыханием. Вот она – ночь: ничего не видеть, даже самой ночи...

«Надо попробовать спать днём, вот что. Днём пока ещё тепло; а и дождик – сыро, - всё равно тепло: в шалаш, поглубже, и прежде – шалаш обхлопотать, весь-весь, чтоб ни щёлочки. А ночью – вся ночь моя! А днём – спать. ...А что!..»

Человек оживился. Человек встал и шагнул от костра к куче прежде собранного валежника. К маленькой уже куче...

У-ух!

Костёр встреснулся, залепетал, - глубоко вдохнул в себя овлаженное марево палых веток. Закашлялся, высмеиваясь дымом; из дыма – улыбочатый круглый лик, жаркий, как тысяча солнц.

Человек – из оживления – нетерпеливо посмотрел на небо: скоро ли рассвет? Рассвет – это утро. Утро – это день. Можно, наконец, возобновить – перестраивая прочнее, удобней – шалаш. Можно завалиться спать... - как хочется спать! – завалиться, завалить себя всей что ни на есть одежкой, залакомиться – сжаться трепетным приютственным зародышем, облизнуть губы, губы прижать к рукаву... к горящему продыmlённому рукаву... и – уснуть. Да.

...Нет. Рассвет не полыхал, не вспучивался из лесных глубин. Он как-то незаметно сочился из туч, просеиваясь по-во-всюду – то и морось томливая, то и рассвет – неразлично, но с намерением близкой, вот прямо сейчас (чуть погодя...), явственности. Рассвет был то тут, то здесь – обмельками, звонким, но и будто бы тающим намёком, - везде, везде! – а будто и нет его, так – пригрезилось, обозначилось...

Из нетерпения – досада.

Досада – грохочущий изъян – перечеркнула, смяла невесомые вейные нити согревности. Человека стиснул озноб.

Опять! Опять...

И – опять – ему захотелось, как и **дав**ешне: заплакать, сжаться – жалея себя, жалея... на себя негодуя.

Из досады, из тисков озноба – обида...

«Какой же я...! На что я обижаюсь? Оскользнулся – и обижаюсь! И что же – каждый раз так? я же только учусь ходить, - да сколько ещё раз! сколько ещё раз шлёпнусь! Всё обижаться и обижаться – так и лопнуть можно.»

Человек – что-то пересиливая, что-то прижимая, что-то бормоча – улыбнулся. Себе.

Рассвет.

Костра, собственно говоря, уже не было. Только по-сбоку, на самой кромке, ещё что-то потрескивало и оязычивалось – щербато, ненастойчиво – плескушками пламени... ещё что-то колобродило, уж и вовсе мельколётно, то тут, то там... Вот как: запушённая пепляным инеем лужица, с неприкреплёнными сумасбродными солнечными бликами, сошедшими с небес и пока что не торопящимися обратно; егозят себе, вороша инеевые рыхлины, взбрыкивая да залиvisto перебалтываясь друг с другом из края в край.

«Вот и прошла... моя первая ночь... Что же, я – теперь – отшельник?..»

Человек хмыкнул; заморщил тяжёлые гудущие веки; резко толкнувшись рукой – перевалился на корточки, попытался встать – разом! выпрямляясь – стряхнуть! разлепить и стряхнуть все, допрежь громоздившиеся в нелепии, тяготы. Встал; и занемела, обмотнулась голова, а тело – ну будто б было оно скучено из тумана, и тут – ветер... налетел-ударил, рассыпушками поземными развеял... Рухнул, мягко, но шумно, ни пепла ни сучьев собой не задев, а и кажется: спать полёг, заторопился.

А деревья шумели, шумели... А надземье низилось, низилось гудящими потёковыми небесами... Пронзительный запах сырости, трав, земли – осень, осень... - навеивался в каждую щёлку, вострублялся и чаровал, ворожил грядущим...

Человек лежал. И был он похож в лежании на неясную мокрую грудку чего-то едва начатого, но от незавершённого замысла – отложенного к размышлению. Вот: ком глины; так: вмятины на нём – только знакомые рук, только упор – поиск, поиск упора! – к разбегу.

...Куда же его? Что там? ...Наклонилась – ах, зонтиками потемнелыми, крепким негнутким стеблем – высокая травинка, заглянула... (Отчего ж и не заглянуть, если – соседи, если – так получилось?..)

А и заглянула она, но где-то в самую серёдку попала. И – на чуть-чуть, - ни конца, ни начала, ни внятного комментария...: что-то о людях...

*«...И сказал Вчерашний День:*

*- Люди – те, которых больше, чем тех, которых меньше – всегда живут в завтрашнем дне.*

*- Ну и что... - вяло отмахнулся человек. Добавил, ни к селу, ни к городу, но явно вытягивая откуда-то издалека: - Ведь сказано же: «Не заботьтесь о дне завтрашнем, день завтрашний сам позаботится о себе.» ...А? Может быть – такая его забота, что тискаются, жмутся люди к заботе о нём?*

*- Но это же сказано из сегодняшнего дня. А тому, кто живёт во вчерашнем дне и завтрашний день – вчерашний. Ага. И это, поверь, не завтрашний день так о себе позаботился.*

*- А кто? – удивился человек.*

*- Ты, - улыбнулся Вчерашний День. – Ты-вы...*

*- Мы? – удивился-спросил человек.*

*- Ты, - согласился Вчерашний День.*

*Человек рассердился:*

*- Ты меня совсем запутал!..*

*- Даже и не пробовал! – ответил Вчерашний День. – Согласись, невозможно запутать того, кто запутан настолько, что дальше запутываться попросту невозможно.*

*- А...»*

Тут высокая травинка откачнулась, махнувись листьями. Выпрямилась. Кажется, вздохнула...

### 3

Прошло два месяца.

Впрочем, может быть и не два... может быть – и не месяца, а – так: дня... или года... Человек – недавно? давным-давно? – позабыл своё прежнее, доприбывное намерение учитывать-наблюдать время. Ну конечно, ну разумеется! Теперь – вот: время учитывало и наблюдало его. Время ходило по-вокруг него на цыпочках. Время приближалось, время удалялось. Время ерошило его слипшиеся тугие волосы и толкало в бока.

Человек изменился. Привычно-лихорадочный поток мыслей и движений замедлился, огрузнел, запрозрачнел. Окутались трещинами по краям хотения; окутались – зашершавились крошевом. Невнятные пустелые порывы затуманились, обмякли, замерли – дальней истязностью ноздрей учуяв себя иных.

Человек пообтрепался. Поизгрязнился. Приголодал; продукты – непонятно сколько-тому-назад – кончились. Последняя горсть пшена, несколько капель масла, - последняя каша... Трапеза уже не вспо-

миналась ни сытостью, ни вкусом, ни фактом. Иной раз человек, озабывчив, начинал шарить, вяло и долго, в рюкзаке в поисках съестного – хоть чего-нибудь... и каждый раз удивлялся – вяло, долго: ничего... ни крошки... Слабость и оцепенение плясали по нему – ходуном! ходуном! – хороводом спятивших разудалых тяжелунов. Но что там! – человеку не было к ним никакой притяжности, до них – никакого дела: там, где завершали свои витки топоты и смущения, светился ещё не подошедший близко, но уже – идущий, покой. Но так далеко! как далеко...

Человек сидел в шалаше, теперь – просторном, прочном, - сидел и слушал дождь.

Человек слушал себя. О, как много задышало к нему здесь! Как много удалилось...

Оказывается, он не пришёл сюда – он сбежал сюда, и бегание питал страх: трудные зряшные руки алчного грохочущего мира цеплялись и подстёгивали, громоздились капканом к горлу, угрожали, зазывали. Здесь стало легче, легче... но – и не стало ничего. А впрямь, зачем беглец лесу? – беглец-ленивец, столь же зряшный, грохочущий, как и то, от чего он бежал... И тогда к человеку пришло *понимание истинного направления*, необходимость сближения с ним, насущность соединения. И – от *понимания направления* – его прикосновение к подошвам: касание тонкое, внятное, не обжигающее и не охлаждающее – близкое. *Не для себя – для всего-и-для-себя*, и для себя, которое это самое «всё» и есть. ...Дальше:

Оказалось, он пришёл сюда пустой, пустой-пустёхонький. Ему-то – ну смех и всё тут! – казалось, что он многое умеет, многое может, ко многому готов. Куда там! И голод и холод и одиночество и неприютность – обрушились лавиной, да лавине той словно бы не было конца, только разрастание и расширение. Человек понял: то, что он принимал за сверкающие всходы – всего лишь чахлые недоразумения, посеянные надеждой и судорожным порывом веры, но возвращённые гордыней и ленью, небрежно, неряшливо, суетно. А всё, что он смолот из зёрен, не мука – труха, и не из чего ему в дороге испечь хлеба, разве что – начинать всё сызнова. ...Дальше, дальше:

Он и начал. Но память, память... Оказалось, он вовсе не покинул трудных и зряшных рук мира – они лежали рядом, свернувшись калачиком, бок о бок с пытающимся убежать от них человеком; затишья – они не усмирились, но – затишились в любопытстве, любопытственно же и подёргивались, как бы спрашивая: ну?... ну и что дальше?.. Человек ушёл от того, с чем сросся – от мест, вещей, влечений, людей; он ушёл, ушёл, а *сросшестя* – осталась, и теперь – вне яви прежнего – сама стала явью, натянулась крепким канатом, обозначилась-надавилась ошейником. Ни отстегнуть, ни оборвать! И человек стал по чуть-чуть – тупым ножиком ещё не утвердившегося терпения – перепиливать волокна каната; перепиленные волокна лопались жёстко, глухо, - падали, но никуда не девались – лежали тут же, неопрятным внимательствующим ворохом. Ах, как это было больно! – до бесслёзья, до скрученного унылого воя; что-то рушилось вдребезги, и становилось жаль, жаль... и хотелось как можно быстрее пройти это топкое хрупкое пространство. Славно! – в этой работе человек на немножечко позабыл о голоде, холоде и одиночестве. Позабыл; но они не позабыли о нём. ...Дальше, дальше, дальше:

Первым напомнило о себе одиночество: оно влилось – огромно, - как влипаются кувалда в затылок. Выдоху место – вот оно, а вдоху – никак, никак... Человек сидел в шалаше и слушал дождь. Он машинально облизывал-пожёвывал уже давным-давно вылизанную до трещин деревянную ложку. Его глаза слезились, голова болела, в груди что-то всхрипывало да ухало. Он думал, и думал с отчаянием, что – вот: заболевает; что – вот: может умереть в любую минуту, может быть – завтра. Отчаяние нарастало, нарастало... Нарастал и дождь.

...Человек лежал в шалаше, скорчившись в дремотном ознобе. Дождь – на каком-то ливневом пике – прекратился, и на смену ему пришли спокойные упругие заморозки. Сырая одежда взгорбилась, задубела, омерцалась тончайшей вуалевой шкуркой инея, не греющей, нет, - украшающей. «Я умираю, - подумал человек. – И сантиметра к истине не прошёл, а – уже...» Человек – рывком – сел. Скрючился.



Понял: ничего у него нет, на что можно было бы опереться. Всё самое прочное – всё самое непрочное. Воля его и воля мира – одно. Неоткуда ждать помощи. И тут же, только он понял – иллюзорные твердыни сгнули, и *понимание* перелилось в ПОНИМАНИЕ.

«ГОСПОДИ! – не размыкая рта, воскликнул он, - да будет воля ТВОЯ во мне, из меня, помимо меня, во всём! ГОСПОДИ! да будет воля ТВОЯ во мне, во всём – во всём!» И замер в этом восклицании, и продлил его уже там, где не было времени, не было ничего, только – ОН.

Человек – даже и не побуждаясь улыбнуться – улыбнулся. Улыбка сама плеснулась из него. Пришёл покой.

«ГОСПОДИ, да будет воля ТВОЯ во мне, во всём – во всём, - шептал человек. – И какая разница: жизнь или смерть, болезнь или здоровье, быстро ли дойду или идти мне долго – ТВОЯ воля; пусть будет что будет – что должно быть в воле ТВОЕЙ на ПУТИ. Ты и ПУТЬ – одно.»

Человек с улыбкой смотрел на блестящий иней, просыпанный по одежде. Человек с улыбкой смотрел на своё измученное, мёрзнувшее, голодное тело – и тело омывалось в улыбке, и тело распрямлялось – благодарное, - раскрывалось вдоху.

Всё осветилось в человеке; всё высветилось вокруг. Почти ничего не понятно, непривычно, но – родное, родное! То не лампочковые гирлянды, не плещущий фейерверк, а – свет. ...И – следом – обнажился каждый уголок содержимого, и каждый уголок был сквозным: то, что внутри, то что снаружи – одно и то же. Увидел человек: ох, как слаб, ох, как извилист он, распластан, покорён. Увидел – ужаснулся; заплакал.

Плакал, плакал, плакал человек. Но не бесцельно плакал – нет! – омывался. «ГОСПОДИ, да будет воля ТВОЯ» - шептал он, обливаясь слезами. И плакал, плакал, плакал. И становился всё тише, тише... Всё чище и чище.

Так и уснул.

Во сне он видел себя младенцем, падающим неизвестно откуда... в падении – облакающимся в краски, линии, звуки, движения, определения, законы... Он падал, падал, падал... и – покуда падал – это был не он, но упал – он, и шевельнулся, распрямляясь после падения – он. Следом – осознание... Только попытка! Но осознание не говорило ни «да» ни «нет»... но осознание чувствовало себя неуверенно, искажённо... Он встал, дрожа: странное ощущение: сам себе чужой... И – родной. Но родное будто бы спрятано, и то что спрятало-отаило – он.

Человек лежал, - неподвижный, лёгкий, - неподвижным взглядом смотрел на костёр.

Костёр догорел. Угли мерцали всё дальше и дальше, - остывая, накидывая слой за слоем шерстистую наметь пепла. Вот: вспыхнула лежащая рядом с костром сухая сосновая веточка; вспыхнув – пыхнула смолистым дымком... Медленно падали первые редкие снежинки, неприметные в темноте, и только в тусклой углевой просвети на мгновение мелькавшие удивлённым приветом, тихой и близкой песней...

*«...А было это в те далёкие времена, когда жил-поживал он маленьким малышом, и – представить только! – совсем (совсем!) не умел плакать. Вот. Но другие-то плакали, - он это видел, - и плакали весьма успешно, и плакали весьма обильно, вдосталь, щедро размазывая слёзы, облегчённо всхлипывая, хлюпая, ерошась. А ему? А ему...: он бежал к лужам, зачёрпывал полную пригоршню талого весеннего удовольствия, и – рывком – оплёскивал лицо, плечи, жмурясь в нежаркое солнышко, в ветер, часто дыша. Потом набирал ещё, и – в небеса! в небеса! – долго провожая взмытыми напряжёнными руками летящую прямиком в мироздание морось январской памяти. И пока в дующих со всякой стороны ветрах обсыхало омытое лицо, он уверял себя, что вот только что плакал, замечательно плакал, лучше, чем кто бы то ни было на свете. ...Ах, как хорошо!» ...*

Странно: он впервые по-настоящему плакал. Нет, конечно, слёзы бывали – и плохие бывали, и хорошие... и непонятно какие... Но плакал – впервые. И что-то ещё – впервые... Ах, как хорошо! Если бы...

...Если бы только не голод. Человек вздохнул. Приподнялся на локте. С трудом выполз из шалаша; встал, каждой крупинкой тела ощущая необычайную лёгкость, - глубоко вдохнул. «Хорошо...» Несильного свежего морозца вполне хватило, чтобы извеелась сырость; тело почти не чувствовало холода, и глубокого вдоха оказалось для «почти» достаточно, чтобы уравняться с первым выдохом зимы.

Человек задумался. Обоняние его по-прежнему помнило смолистый запах сосновой ветки. «А что?..» Он вспомнил: неподалёку, метрах в ста пятидесяти, чуть левее ручья, лежала огромная пушистая сосновая ветвь. Давно лежала... Что было причиной? ветер ли, иные обстоятельства? – кто знает... Во всяком случае, человеку было её очень жаль: красивая, зелёная, полная жизни... Потому, когда доводилось проходить мимо – обходил её стороной, касаясь разве что взглядом. Сам он ничего в лесу не рубил: шалаш соорудил из валежника, валежник же был и костровым топливом, изредка – добывал сухостой. Ему хватало. ...Теперь – задумался.

С трудом, то и дело спотыкаясь, человек отправился к сосновой ветке. Поклонился ей; попросил помочь. ...Набрал целую охапку хвои. Возвращаясь – свернул к ручью и наполнил котелок водой.

...Вот: над свежеразведённым костром забулькал котелок с похлёбкой. Вода, сосновая хвоя, соль, - что ещё нужно?.. Сняв котелок с огня, человек подумал – и добавил горсть сухих ягод шиповника.

Котелок прочно зарылся в золу. Варёво настаивалось. Как ни силен был голод, но покой, недавно пришедший к человеку, оказался сильнее. Он спокойно смотрел на котелок, а может быть – сквозь него, и голод не плясал вокруг, не шептал на ухо бредовых речей, не требовал незамедлительного пиршества. Голод терпеливо ждал, лишь изредка поскуливая да вздыхая. ...Человек улыбался. Он чувствовал себя уверенно и уютно. Уверенность вовсе не отменяла грядущих трудов и тягот, но они уже не казались чем-то невзлазным, чем-то неохватным. Всё было достижимо. Каждый шаг был достижим. Так.

Шаги больше не чувствовали себя сиротами, - вот что. Это человек понял.

...Сон... сон... сон... Сон подступал со всех сторон. Сон гладил по голове; хватал за горло; всячески требовал внимания. Он предлагал себя отдушиной и опорой, особенно тогда, когда хотелось завывать и голову ткнувшись в ближайший древесный ствол. Тогда хотенье забвения становилось до одури нестерпимым, больным.

И человек отбросил сон. Перестал спать.

...Сначала – было легко. ...Потом – стало трудно, страшно. ...Следом – снова легко, легче лёгкого. И когда из глубин поднимался то протестующий, то ликующий крик – легче лёгкого утишивался он, легче лёгкого исходил крик колокольцами и свирелью.

Из внесонья – открылась дверь. Именно нынче. И именно так. Дверь без запоров и удержаний. Открытая, даже – чуть приотворённая, дверь.

О, задверье почти сияло! Там оказались целые груды, - ворохи драгоценного и родного.

И когда к нему, истощённому, вытянутому в струну, пришёл сон – сон не унёс ничего; ничего не утратилось – всё сохранилось, каждая сверкающая пылинка осталась вблизи.

*«Я доверился БОГУ, я вернул ЕМУ себя – себя-мир; **и страх покинул меня.***

*Я понял, что всё вздорное во мне – невозделанное поле, предложенная работа. Я понял, что всё истинное, всё прекрасное, всё свершённое во мне – дыхание БОГА. И как только я понял это – **гордыня покинула меня.***

*Я осознал, что нет ничего, что не желало бы доверить себя ЕМУ, что не искало бы ЕГО дыхания. И – из осознания – **пришла тишина.**»*

Однажды он просто упал. Упал и уснул, и листья папоротника укрыли его от ночной прохлады.

...что? ...Перестать цепляться за будущее и прошедшее, - осознать сегодняшнее; перестать готовиться жить, перестать осознавать прожитое, - просто: жить, наполняя подлинным смыслом каждое тяготеющее к соединению с тобой мгновение.

...Странно, но когда он в третий раз варил хвойную похлёбку, в котелке оказался самый обыкновенный картофельный суп. Густой, наваристый... Впрочем, особого недоумения это не вызвало: ну, суп... ну и что? Не возникло и вкусовой жадности; человек ел суп спокойно, немного задумчиво, не особенно понимая, что именно он ест. Это не воспринималось кормлением себя, но – успокоением голода. Но – любезностью по отношению к голоду... по отношению к зависимому от еды себе.

И холод... Как это замечательно! – но холод почти совсем перестал беспокоить его. Впрочем, ещё недавно – да... о-го-го! А теперь...

Лёгкий озноб пробрал человека. Озноб шёл откуда-то изнутри; что-то похожее на сотрясение земли, с предшествующим тому глубинным гулом, с некими определяющими сотрясение причинами в этих самых глубинах. Человек всмотрелся в себя. Человек встал.

Ожидание... (Но чего?)

Залопотал ветер, загудел ветер – затеребил тонкий, ещё не устоявшийся снежный покров. Зашумели – туда, в низкое, покрытое бегущими тучами небо – деревья. Качнулись сухие травы.

Зачем он встал? Может быть... может быть – стоит подбросить немного сушняка в костёр? Возможно... Хотя, нет: прежняя закладка ещё не прогорела... Но немного – можно и подбросить, почему бы нет?..

Человек шагнул к сушняковой куче. Нагнулся. Ухватил небольшую охапку...

Невдалеке хрустнула ветка. Человек распрямился, повернувшись в сторону хруста; прищурился.

Ну надо же! – так ему показалось: тот самый ранний прохожий, противный задиристый старикашка... тот самый, что толкнул его с обочины! Вот он: лезет сквозь кустарник, пытит... Человек даже закашлялся от неожиданности. А прокашлявшись – обнаружил, что никакого прохожего нет; никто не ломится, никто не приближается... и вообще – тишь, полное отсутствие шагов и движений, только ветер, ветер...

Человек выронил сушняк обратно в кучу; отёр рукавом внезапно вспотевшее лицо. «Вот уже и видения начались, - беспомощно подумал он. – А может быть – усталость?: заснул на ходу... мгновение – и промелькнул сон... Может быть...» Человек попятился к костру. Первые шаги – не сводя взгляда с недавно шумевших кустов. Потом – обернулся. Замер.

У входа в шалаш, внимательно наблюдая за потрескивающим костерком, стоял пёс. Чёрный, большой. В зубах он держал что-то похожее на конверт. ...Псу, похоже, нравилось смотреть на пламя, язычки которого отчётливо мерцали в его глазах. ...Пшикнув – громко освистываясь – из костра вылетел большой уголёк; вылетел – отскочил далеко, к дереву. Пёс аккуратно положил конверт на землю, подбежал у угольку, и – в одно движение – забросил его обратно. Вернулся на прежнее место. Весело посмотрел на человека.

«Похоже, он говорящий, - подумалось человеку. – По крайней мере, так смотрит... Так смотрит! Вот сейчас возьмёт – и скажет чего-нибудь...»

- Привет, отшельник, - сказал пёс.

«Отшельник – это я, - понял человек. – А действительно, кто же я ещё! Отшельник и есть...»

- Привет...

Пёс подошёл ближе.

- Покушать что-нибудь есть? - Пёс широко улыбнулся. – Понимаешь, долго бежал; устал; проголодался...

- Да, конечно... - Отшельник встряхнулся. Шагнул к костру, указывая на стоящий в золе котелок. – Вот тут... Тут суп есть какой-то... Будешь?

Пёс приблизился к котелку. Принюхался. Облизнулся.

- Гороховый! Буду.

- Гороховый... Надо же... Так ты ешь. Прямо из котелка, чего там! – у меня тарелок нет.

- Ага...

Пёс посунулся в котелок и аккуратно, неспешно прихлебнул. Потом ещё раз. Ещё.

Отшельник молча стоял рядом. «Вот и псы говорящие стали появляться. Интересно, что ж дальше-то будет!..»

Пёс, не покидая склонённой головой котелка, негромко фыркнул.

- Ты кушай, кушай... - растерянно сказал отшельник. – Больше у меня ничего нет.

- Да я уже! – пёс облизнулся. – Благодарствуй, сыт.

С любопытством уставился на отшельника. Тот переступил с ноги на ногу. Возникла потребность что-то сказать.

- Ты как?.. – ко мне?.. – или мимо пробежал?..

- Мимо пробежал, - согласился пёс и крепко чихнул. – К тебе.

- Вот как... - отшельник озадаченно опустил на трухлявое брёвнышко. – Приятно. ...А – зачем?

- Письмо принёс. – Пёс мотнул головой: - Вон оно. Видишь?

- Вижу...

- Тебе, - снова улыбнулся пёс.

- Спасибо. ...А от кого письмо?

- А от кого бы ты хотел?

Отшельник задумался.

- Да от кого? – ни от кого, наверное...

- Вот от него и письмо! – подтвердил пёс. – От кого же ещё? Читай себе, на здоровье... и про ответ не забывай.

Отшельник встал. Подошёл к лежащему на земле конверту, и, не распечатывая, стал его рассматривать. ...А впрямь: странный конверт, невиданный, будто – и не конверт вовсе! Похож он был на большущий древесный лист... То что древесный – точно, а вот от какого дерева – не разберёшь, вроде бы и ни от какого, а вроде бы – и от всех сразу... Пухлый такой. Тяжёлый.

- Ну, я пойду, - поднялся от костра пёс. – Пора.

- Уже уходишь? – Отшельник вздохнул. – Жаль... Как-то привык я к тебе.

Пёс чихнул.

- После горохового супа всегда начинаешь чихать, - доверительно сообщил он. Подмигнул. – Не грусти, я ещё приду. Ещё не раз приду. Скоро!

Ветер стих. В промежутки стихлости немедленно ворвались снежинки: розовые, голубые, зелёные... белые-белые... Они кружились, обкруживая землю, обшёптывая каждый земной холмик, каждую впадину, травинку, дерево... Они смешивались с искрами костра, напоминая о сущностной одинаковости костров и снегопадов... Облепливали – укрывая – шалаш... Сыпко и дробно постукивали о конверт... Они ложились – укладываясь поудобнее – на густую шерсть неспешно убредающего в лес пса...

Отшельник смотрел вслед.

- До встречи! – крикнул он.

Не оборачиваясь, пёс утвердительно махнул хвостом.

*«...Там и сям огоньки, – один погаснет, другой загорится, – там и сям огоньки, – никогда не гаснут, попросту: не умеют. ...Кто-то мимо пройдёт – ничего не увидит; кто-то станет спиной к огонькам – и увидит всё; кто-то присядет рядом – согреет озябшие руки; кто-то вдруг загорится – станет светлее вокруг... Станет светлее... И ещё светлее... И тот, кто мимо идёт – всё увидит, – очень светло! И тот, кто увидит всё – согреет озябшие руки... может быть – загорится...: станет светлее вокруг.*

*В пустыне – горячей пустыне – где молчат дожди – я согрею озябшие руки, я здесь поднимусь... Сухая ниточка пламени: я – дверь; я тот, кто заходит в дверь. «Тук-тук» – дверь нараспашку, «тук-тук» – стучит моё сердце...» ...*

«Ну и ну, - думал отшельник, открывая конверт. – Вот ведь...»

Из конверта – лавиной, вихрем, ливнем – кружась, кружась – выплеснулись листья, листья, листья... Кленовые, дубовые, осиновые, берёзовые, тополиные, рябиновые, ивовые, яблоневые, каштановые... и многие-многие-многие... и всякие многие... и ещё другие... Листья совсем юные – весенние; листья крепкие, налитые – летние; листья смешливые, разноцветные – осенние; листья задумчивые, сухие – зимние. Листья веялись, перемешиваясь со снежинками, веялись, сливаясь с лесной листвою, взмывали к-под небеса. Листья – прожилками, зубчиками, мелькающей чехардой – были покрыты многими письменами... и сами веялись письменами... и письменами наполняли-кружили удивлённый восторженный мир.

Отшельник сидел в шалаше, и – выглядывая – наблюдал за танцующим миром. «Ну и ну, - весело думал он. – Вот ведь...»

Так и уснул.

Проснулся он от громкого долгого звонка. Открыл глаза. Шевельнулся...

Он лежал в своей постели... в своей квартире... Старенькое тёплое одеяло – зелёное, с белыми цветками – нежило его воспалённое исхудалое тело... (его одеяло); голова – как в пене – в мягкой подушке... Отшельник сдвинул одеяло и сел, знакомо вдвинув ноги в стоящие у кровати тапочки.

«Как я здесь?..»

Звонок в дверь становился всё настойчивее. Отшельник встал. Халат (его халат...) как и прежде – висел на спинке кровати; надеть халат, привычным узлом завязать пояс – меньше минуты... Ещё меньше – совсем немного! – и дверь, знакомая обшарпанная дверь его скромного доброго жилища...

- Кто там?

- Открывай! – Нетерпеливые, узнаваемые голоса... (такие ненужные...) – Открывай, хватит спать! Договаривались же – вечером!..

«Зачем они здесь?..»

Он открыл дверь. За дверью стояли люди, которых он знал (разве – знал?). Некоторых – знал давно, очень давно... Знакомые. Приятели... (Непонятно кто... ох!) ...Да. Ему так и не удалось догадаться, зачем они были в его жизни... зачем он был в их жизни... Как у всех: разговоры, дела, посиделки – общение (как у всех), но не было ни одного совместного дня, который наполнил бы их до краёв, обнажил, направил, верно и неоглядно, намекнул на рождение... Так: приятели. Тоска-то какая! – приятели... Теперь – вот...

- Входите...

Компания шумно ввалилась в комнату. Голоса – мужские и женские, натужно бодрые, натужно приподнятые, довольные – наполнили всё вокруг. Привиделось: падают, трещат деревья, стонут... стонут... стонут... Голоса прыгают, дёргаются, клокают.

- Вы только посмотрите! – он всё ещё в халате!

- Ты чего же дрых, балда? С ним договаривались, а он – дрыхнет!

- Так, девочки, на кухню. Живенько ставим картошку.

Смех... смех...

- Ой, а у меня листья в волосах!..

- И у меня!..

- Ну что ты всё в халате бродишь? Иди, переоденься. ...Вот, чудак!

Он оглядел себя. Действительно – в халате... Заспешил:

- Извините, я сейчас... Сейчас...

Заскочил в ванную. Запер за собою дверь. Прижался, в лихорадке и трепете, к стене. С ума сойти! Что же это? Что же это такое...

Он подошёл к зеркалу; вот оно: большое, круглое; он впервые за долгое время видел своё отражение, и – впервые – себя такого... Так: поседевшие всклокоченные волосы, поседевшая свалывшаяся борода, худое, с резко и взмывно проступающими скулами, лицо. Тело истаявшее, но не измождённое, а вот: кручение, кручёная верёвка, канат. Кожа, там, где она проглядывала из-под грязи, прозрачная. Глаза запавшие, глубокие, с отчётливо осознающим самоё себя двусторонним зрением: вовне и вовнутрь. Узелок на узелке... «Какой же я стал... А – какой?»

Голоса за дверью призывали поскорее вернуться к ним, присоединиться, не прятаться от общения по углам. К голосам то и дело примешивалось топотанье – туда, сюда... иной раз – скрип мебели, звяк тарелок...

Отшельник пустил воду и присел, сутулясь, на край ванны. Он думал... Нет, он слушал. Он слушал в там – за гулом воды, за стенами, укрывшими его. Он слушал, и слышал то, что слышал так часто, но теперь – по-другому, иначе: глубже и дальше, понятнее. «Как же они меня узнали? – подумалось, удивило. – Как не изумились моему преображению, хоть бы и внешнему? – приняли за старого своего приятеля?» Отшельник покачал головой, тихонечко фыркнул в бороду.

Он привык таиться, - там, в прежней жизни. Он привык (ну а как к этому привыкнешь?), что у родственников и знакомых его мысли, мечтания, чувства вызывали только насмешки и недоумения, бывало – раздражение и негодование. Нет, они знали – догадывались, по крайней мере – что он талантлив, умен и т. д. и т. п., но – чокнутый, это было для них очевидно, не подлежало обсуждению и перемене. Сокасаясь с такой преградой, будущий отшельник ощущал в себе ужас и брезгливость, и самым отвратительным была не преграда, нет – откуда взяться непреодолимым преградам? – но сам факт её возникновения. И он – таился. Таиться – больно, но, как выяснилось, не таиться – ещё больней; и потом: драгоценное-несомое так легко притоптать, обидеть... и так – так! – всякое неразумное, стиснутое, шальное к тому устремляется, что лучше уж и не распахиваться, не протягивать ладони, - не давать обижающую приблизиться, превратиться в беду. И поэтому – год за годом – он становился всё укывищней и потаённой, всё отчуждённее и непонятнее.

Да ну что вы! – так было не всегда!.. Так было... Он слышал и слушал голоса, и именно теперь понимал, насколько изменился – невооразтно и радостно, насколько приблизился к самому себе, насколько вообще – приблизился, с приближением сросся, из приближения – всё более и более пылающие ступни на истинной, на единственной дороге. ...На мгновение – испугался... да... Так ведь – на мгновение! Не может быть возврата к тому, чего нет, но – благодарность; но – из приближения – бла-

годарность и призыв. «Может быть – призыв...Изначальный. Разве они... все и всё – не я? Разве есть в мире кто-то ещё? – в мире... во мне...»

*«...на ровном берегу – ровный парус  
откуда тебя позвали? – из твоего прошлого  
из твоего завтра  
кто твои родители? кто твои дети? – ровные гладкие камни на ровном берегу  
имя прибоя*

*...проходи насквозь  
прямо смотри на мир –  
не отводи взгляда  
не гни спины –  
будь осторожен!:  
взгляд отведённый, согнутая спина – признак конца и начала  
...не уходи от прибоя  
не стряхивай брызг –  
пусть размокнет глина твоего образа  
пусть распадется  
пусть распадется и берег ровный, и ровный парус, и конец и начало –  
дальше*

*ты пойдёшь налегке  
...буквы и цифры на скалах – имя прибоя:  
размокнет глина  
размокнут скалы  
размокнет имя  
и то что облачилось в имя – распадется тоже  
останешься только ты:  
куда ты отправишься – тебе известно  
о с т а ё т с я   у з н а т ь   с е б я » ...*

«Себя...» Улыбнулся. Встал с края ванны, и – вновь – подошёл к зеркалу.

В зеркале была ночь. И день. И вечер. И утро. Мельколётно мерцали образы: женщины... мужчины... животные... птицы... звери... дома... деревья... поезд, бегущий, неторопливо и просто... танцующие фонари... облака... трущиеся о звёзды извивы рек... Вот: мальчик беседующий с жуком... Вот: бегущий по снежной равнине пёс... Образы истаивали и рождались... и вновь истаивали... и вновь рождались... но было что-то ещё, вне талости и рожденья, - что-то, идущее промежду, промежду-насквозь, наполняющее то, чему ещё предстоит быть наполненным. «Это я, отшельник» - прошептал отшельник, приблизив лицо к зеркалу. Из зарослей зеркального пляса высветилось кошачье лицо... лик... чёрно-белая золотоглазая кошечка приблизилась – с той стороны – к зеркальному океану, и отчётливо фыркнула.

Отшельник подставил горсти льющейся из крана воде. В полные до краёв горсти – погрузил горящее, летящее, плывущее сквозь горстьевое озеро лицо. Замер.

Когда он открыл глаза, отирая мокрыми руками мокрое лицо, то увидел: он – у ручья, и его стоящий поодаль шалаш по-прежнему на своём месте, а едва тлеющий костёр – на своём. Вместо халата на нём был его прежний, обтёрханный и замусоленный, наряд. ...О, это оказалось так приятно!

Действительно, огонь почти угас. Отшельник подбросил охапку сушняка и, встав на четвереньки, терпеливо раздул угли. Рядом с костром, припорошенный снегом и пеплом, лежал давешний конверт.

Отшельник поспешно поднял его, тщательно обтёр, удивлённо приметив, что конверт так и не распечатан. Бережно уложил его во внутренний карман куртки.

Костёр растреснулся, зашёлся. Отшельник, откинув полог, вполз в неизвестно когда оставленный шалаш. ...В шалаше явно кто-то гостевал.

Настил и одеяла были взъерошены. В уголке приткнулся узелок с продуктами: картошка, хлеб, огурцы... лук... несколько конфет... Отшельник пожал плечами, отложил узелок и стал поправлять настил. Поправляя – обнаружил, запутавшуюся в ветках, маленькую записную книжку. Открыл. ...«Судовой Журнал» – крупно и чётко значилось на первой страничке. Отшельник хмыкнул. Перевернул ещё несколько страниц. Пролистнул все. «Судовой Журнал» оказался обыкновенной записной книжкой: адреса, телефоны, памятки... короткие заметки... рисунки, сделанные неумелой рукой... Разве что – почерк: он показался отшельнику знакомым. Листая, наткнулся на самую длинную заметку, вольготно расположившуюся на двух последних страничках в самом конце записной книжки. Улыбаясь, прочитал...

*«Караул! Люди добрые! Застрял на станции, - выкинули за безбилетный проезд из электрички, - с каким-то болваном. Что здесь происходит – не знаю... но очень хочется есть. Болван, которого зовут Семёном, тоже голодный. Те, кто найдёт наши иссохшие тела, знайте: раз оба тела в наличии – значит, мы друг друга не съели. Помните нас, люди добрые, помните, как и положено помнить героев. ...С морским приветом – Капитан Всесветного Плавания, Принципиальный Безбилетник»*

Отшельник пристальнее всмотрелся в странички. Странички начали расплываться, звенеть... Из распахнутой записной книжки – простор: зал ожидания на какой-то железнодорожной станции. Ночь. Только два человека в зале, на одной из боковых лавок: первый – невысокий, сутулый мужчина, с набекрененными на носу очками, в потёртой куртке, второй – широкоплечий крепыш, в плаще, при шляпе и с затиснутой в зубах сигаретой.

- «...Какие яблоки? – сутулый подвинул к крепышу в шляпе сумку. – Там только дачный инвентарь. Жена велела забрать с дачи посуду и прочее...» - «Да ты что, Семён!? – почти простонал крепыш в шляпе. - У тебя что, в этом тюке груздя-кочевника съестного совсем нет? ни крошки?» - «Ага, - загрустил сутулый. – Только тарелки, половники, сковородки, кастрюли...»

- И дождь, - громко добавил отшельник, улыбнувшись унылому перечислению.

Захлопнул книжку, аккуратно засунув её, на случай возвратного появления гостей, в щёлку. Быстро завершил приборку в шалаше и выглянул наружу.

...Небо прояснилось. Ветер стих. Языки кострового пламени истягивались прямо и чисто, перебрасывая с гребня на гребень крупные неяркие искры. Лес затих – склонённый, дремлющий; затих – прижался щекой к тишине, замер.

Снег. И тут и там – молодой, сверкающий, остро пахнущий тучами снег. Совсем ещё не глубокий – по щиколотку, не сжавшийся, не уплотнившийся – лёгкий, подвижный, ясный. Придёт время – и придёт зима, - могучие, слитные волны снегов пропятнят сбитые ветром сухие ветки, сухие листья и травы, шишки и ягоды, звериные и птичьи следы. Теперь – ясный, вне отметин, вне удержаний, вне обязательств. ...Разве что – недавние следы самого отшельника: от ручья – к шалашу... да тонкая цепочка пёсских следов: из леса – минуя шалаш – в лес...

- Эй!.. – негромко позвал отшельник. – Где ты?

Пёс не отозвался. Отшельнику подумалось, что – вот, пробежал мимо пёс; заглянул в шалаш, посмотрел: уборка, и убежал, не желая мешать... Куда? Отшельник покрепче подтянул пояс на куртке. ...Может быть, он забегал попросить о любезности? Предположим, узнать: не сварен ли свежий суп? Особенно, если голодный... О! – отшельник знал, что такое голод!.. Возможно, пёс ушёл не так уж и далеко...



Вернулся к шалашу. Достал из шалаша одеяло и набросил на себя, закутываясь. Взял длинную сухую палку, с которой бродил по окрестностям – и отправился по цепочке следов, в лес.

Не успел он пройти и пятидесяти метров, как погода стала меняться. Вновь подул, набирая силу, ветер. Вокруг ног – лепеча, прижимаясь – зашуршала позёмка. Загудели – перекликаясь, растряхивая поредевшую листву – высокие деревья; зашумел кустарник; пригнулись бурые травы.

Отшельник глубже надвинул капюшон. Быстрая и ровная походка... Крепкий упор посохом... Он всё дальше и дальше уходил в лес, не упуская из вида пёсжих следов. Следы напоминали ручей: заборные, плавные, не знающие усталости; в сокосновении со снегом – следы не разрушали снег, хотя и проныкали его насквозь: они росли из снега, дополняли его, иной раз – наполняя новым содержанием.

Вглядываясь в следы, отшельнику припомнился взгляд пса: внимательный, стремительный... спокойный... насмешливый чуть... Вот! Припомнилось – вспомнил: ему был известен этот взгляд! – тот прохожий, столкнувший его с обочины в канаву... в пропасть... в жизнь, желанную и пугавшую, оказавшуюся такой настоящей!.. «Неужели – он? Неужели!..» Споткнулся, но, подпираясь посохом – удержался на ногах. Ветер взвыл.

«Так: падает человек в пропасть, барахтается. И вдруг – видит себя со стороны: барахтается... его зит... смешно! Человек смеётся; так смеётся, что и не замечает, как минует пропасть»

«Найду – спрошу, – подумал отшельник. – А может, и спрашивать не придётся...» Он потихонечку, прикрывая от взмётного снега лицо, засмеялся. «Нет, ну правда!» Радость! И... (И?)

Нарастая, возникло странное ощущение: следы (и пёсьи и его, только что проложенные), соединившись со снегом – начинают собственное существование. Будто бы: поднимают головы... возносятся лёгкие руки... танец, танец, танец! Вне теней, вне мрака и озарения льётся-взмывает танец! – кружится лист, выскользнувший из конверта... кружится, кружится, кружится листопад... чистое звёздное небо – буква к букве... ветка рябины, – полная ягод, – строка к строке... Отшельник обернулся. Следы лежали неподвижно, заметные чуть – присыпанные позёмкой. Неподвижно... Но стоило лишь отвернуться, и натянулись нити – от головы, от плеч, от спины, от рук, от ног, – и натянулись, и тренькнули, и зазвенели. Связь отчётливая, нерасторжимая: навстречу шагнуть – и встреча произойдёт; шевельнуться – прыжком, ползновением ли робким – и станет понятным, непонятное прежде... и *Прежде* и *Нынче* и *Вообще* – проступят, приблизятся, коснутся сердца!

Ветер завыл, затеребил одежды. Так показалось отшельнику: ветер хочет забраться под одеяло, под куртку, под тёплую кожу – не холода ради, он просто хочет согреться. Пусть...

Отшельник остановился. Он перестал различать впереди следы пса. До вечерней темноты было ещё далеко, но пришедшие сумерки – сумерки пурги – столь хорошо скрывали то, что желалось им скрыть. Нужно ещё суметь вернуться обратно. Не заплутать. Он слишком далеко отошёл от стоянки.

Разворачиваясь, отшельник почувствовал, как натянулись ниточки... – и натянулись, и тренькнули, и зазвенели! Танец, танец, танец! Он увидел: воющая вихрящаяся пурга осыпалась не снегом – следами. Повсюду следы! И чьи, и где, и откуда – не разберёшь...

Пару минут назад он прошёл незнакомую прежде большую поляну. Теперь – туда. Через поляну – назад. Он сумеет отыскать шалаш!

...Ветер стих. Мгновение тому – касался лица, и вот уже нет его... Где? Может быть, запрыгнул на пролетавшую мимо тучу – одним прыжком, молнией – и умчался в свою постельку, вдоволь набултыхавшись, навеселившись в молодом снегу. Не стало пурги. И на поляне и промежду деревьев – спокойная мерцающая белизна. По белизне – буквы, буквы, буквы... слова... строчки... строка за строкой... Строчки покрывали всю поляну, тянулись среди деревьев...

Стихи? И стихи – тоже... И ещё... Слова, нарисованные на снегу...«Это – я?.. Эти слова нарисовал я?.. Как похоже!» Ты... ты... ты... мы... он...

Отшельник приблизился.

*«сыпется сыпется снег*

*сегодня в моём мире тревожно*

*сегодня*

*я видел следы волка*

*и судя по следам – волк плакал*

*.....*

*сегодня в моём мире тревожно*

*вчера было тоже тревожно*

*вчера*

*я коснулся рукою стен всех-всех-всех на свете зданий (всех стен какие только ни есть на свете)*

*и понял*

*и сразу понял что длинные стены – долгая резина*

*и резина вздулась и резина нахохлилась и резина возлопотала*

*и резина хочет домой*

*.....*

*сегодня в моём мире тревожно*

*сегодня в моём мире сыпется сыпется снег*

*и завтра в моём мире сыпется сыпется снег*

*.....*

*и там*

*где нет ни вчера ни сегодня ни завтра – сыпется снег*

*и там не тревожно » ...*

Осторожнее, осторожнее, осторожнее... Здесь нужно обойти, протискиваясь в подростковой поросли... Так... Вот сюда! Привстать на одно колено...

*«Отчего ты бежал, мой милый? Откуда? Отчего ты взмок?*

*Отчего твои кости дрожат от озноба и липнут к одежде?*

*Тысячи тысяч прошёл расстояний, но... – поле перед тобой, бесконечное поле, и нет на нём твоих следов, и не было, и... нужно ли? Оно такое красивое – поле... покуда не тронута следами... покуда... И оно способно сжаться в маковое зёрнышко и изойти вовсе – в ничто, если не дерзнёшь ты, тренькающий, испачкать его суматохой своего обморочного скольжения; и поле изойдёт в ничто, прижмётся к тебе: шаг шагнуть – зачем? ты там, куда ты шёл. Вот.*

*...Ну не беги! Ну не беги же ты так! Остановись...! Остановись, и стой прямо, не падай.*

*Стой прямо.*

*Смотри: мир наполнен шуршаньем и шелестом, бряками, свистами, скрипами... Вскриками... Звонами... Стонами...*

*Смотри: мир наполнен словами. И слова выстраиваются то в один, то в другой порядок, норовя ухватиться, сцепиться, срастись в правильное построение, знакомое каждым словом – каждым, без исключения! Соединиться в слово одно, отряхающее причины, обретающее отсутствие. Слова веются и сыпятся, накатывают, наплывают... чехардят, монолитятся... то – свиваются в мягкий*

сыпучий клубок, в лепетучую пушистую акварель, то – в звенелый, пронзительный напрочь развив проводов, в жёсткую накупить нерва. Им ли это? Они ли?..

...То, что было понятно в прежние годы, стало небом песком, травой... Козы касались перстами в солнце, и козы протоптали тропинку; теперь по тропинке идут жуки-сороходы, и дверь открыта... То, что вчера называли весной, сегодня – лето; толстые стены – не толще крыла стрекозы – парят над землёю; корабли становятся соснами; окна – прозрачные окна плывут по реке в звёзды и лепет...

...Мерный медный шёпот детства, мятный створный шёпот детства – драгоценное наследство, драгоценная печаль. Ты да я идём по кругу; мы по берегу идём: окружая бездну вьюгой неразоткнутых следов – стягивая к краю край – мы с тобой идём по кругу... мы с тобою круг идём... В землях – сырые созвездья, в землях – синие медведи; мы с тобой идём по меди расплеснувшейся любви. Мы пургою льнём по меди... мы пургою жнём по меди... – колокольною пургою... равнодольною судьбой...

: не шурши. – выпрямляй углы; будь округл и целен. – мы-я. – всем. – будь целостен, и не будь вовсе; ...но – всем.

И слова вьются, вьются, вьются, норовя... Знаемое каждым!.. И мысли... И дела... Смотри же! Стой прямо! Не гнись, но и не ломайся надвое. Стой прямо.»

Отшельник вытер ладонью пот со лба. Крупные капли казались алмазами, почти – светом... Отшельник стряхнул их с ладони в снег.

«имя твоё: Листик Чаши  
ты лежишь на жестяном круге  
белизна и синь  
солнце проходит по ветке

.....  
ветвь твоя голубая смыкает стальные нити и утешает ясень  
и дарит ясеню надежду

.....  
пятнышки – дети твои  
сырая земля – качели и день твой упруг подвижен  
замер у линии снов  
прозрачный путник» ...

Внимательнее, внимательнее, внимательнее...

«то ли ветер то ли ноябрь но что-то там происходит – там – за окнами  
не знаю наверняка и думаю что никто не знает но что-то там происходит  
там

за окнами  
придвигается ближе машет рукой говорит говорит говорит  
придвигается ближе

.....  
ниоткуда приходит  
красивое

*просто так*

*.....*

*просто так появляется рядом со мной*

*просто так появляется рядом со мной с каждым из тех кто я*

*это руки руки горячие руки ночных лошадей*

*это крылья крылья*

*это руки горячие руки ночных лошадей*

*.....*

*(вы узнали?)*

*? » ...*

Как громко оскрипнулся снег!.. Бережнее. Как можно тише...

*«вот хочешь ты то*

*и это*

*и то и это – одновременно*

*но не допускаешь до себя ни того ни другого*

*отворачиваешься*

*поворачиваешься в другую сторону*

*ложишься прямо:*

*всё плывёт наплывает проплывает мимо, но*

*появляется главное*

*: огромный рассыпчатый плод*

*: обилие зёрен*

*рассыпается*

*рассыпаешься ты да повсюду – ты; ты – отовсюду*

*не мельтешишь*

*хлопаешь в ладоши но так: неподвижен*

*слепливаешь в точку*

*ядро*

*.....*

*приходит утро*

*но ночь вовсе не уходит, но*

*приходит утро*

*...«и кому как не мне появиться в пригоршнях моих?...»*

*.....*

*п р и х о ж у» ...*

Задел и качнул ветку. Ветка шуршнула. За шиворот упал мягкий комок снега; холодный... Большая холодная капля, взбухшая на потолке... Он вспомнил: «дождь...» Тишина...

*...«Пятно и пятно и линия и строка. Здесь – ветка; здесь – камень; здесь – облака, и старенький плюшевый заяц с белым брюхом. ...Обрывок газеты; каблук; ломтик апрельской глины... – здесь... – горсть прошлогодних перьев в нынешнее сиянье... Сухие хлебные крошки, упавшие ниц, - слёзы*

уоставших ладоней, - янтарные брызги от солнца к солнцу, связующий путник! Дальше: холмы и реки: здесь только – поправить травинку, коснуться сухого листа...

...Кто он, бредущий по месту открытому, по дальнему месту бескрайнему? Человек или бабочка? Гусь или солнце? Зрачки его – небо; и на обратной стороне неба – память... По утрам, по утрам в небеса поднимает ветер вчерашние песни. Письма и песни. ...Зрачки его – небо. Память его – любовь...

...Я вас понимаю; я вас поднимаю над шорохом, плодом, забытым движением... над стуком из гулких забвенных голов... над стулом, где можно воссесть и забыться... – осенним дождём, пропадающим прочь... тишиной, принимающей речь – от плеч и до плеч – вполне... терпением... Я вас узнаю; там, где не было вас – узнаю. Я вас принимаю дрожащей рассветной каплей: дрожащей к рукам... Я люблю вас. Вы слышите?: я вас люблю! – как же иначе...» ...

...«Две ладони, как шрифт, опадающий осенью, - просинью. Так по капле прочерчиваются страницы – свитком колодезным; будто б можно из свитка напиться!.. Можно.

Точно так... точно так, как хлопают ластами по валунам тюлени: им это не нужно... им это совсем не обязательно... Но музыка требует выражения. И – нужно. Совсем-совсем обязательно. ...И тюлени становятся главными барабанщиками мироздания; самыми-самыми главными – как и все остальные.

И тюлени становятся барабанами.

Кричи, кричи, кричи в барабан! – пичужки, букашки, призрачные кометы! Кричи, кричи, кричи в барабан! – то ли свет, то ли тьма, то ли тьма со светом... Пьёшь барабан... Поёшь барабан...

Ветер...» ...

...«И это, то немного, что ещё осталось: взгляды юношей и взгляды девушек, населяющие темноту. Остались золотые черешни в забытых руслах... тлеющий запах смородины...

Лебяжьи перья – в сторону верхних и нижних пределов; ольховые лёгкие откровенья; жёлтые наливные точки пчёл-непогодниц...» ...

...«Хождения в прохладные тона. Бежание сквозь грозди ударений в рассвет и мир.

На ровном наконечнике лазури – стать выпелом. Но вовсе не сгореть, а – так: стать выпелом.

Ты скажешь: «мне приснилось». А я скажу: «Напрасно не горюй. Твой мир упрям – и к первому дождю ты станешь выпелом»... » ...

Отшельник ступал осторожно. Слова перемигивались, менялись. Слова светились.

Помимо слов – от шага к шагу – приметно стало: снег тает. Зыбкий, несильный морозец уступил место оттепели, и теперь тонкая снежная наметь уходила, медленно проседая к земле, прижимаясь к земле, намекая на скорое исчезновение. Нужно было спешить.

Отшельник перебегал от одной груды слов к другой. Он лихорадочно хватал смыслы и прикосновения, смело уминая охапку за охапкой в глубины своих зрачков. Он совсем не обращал внимание, куда именно ведёт его притяжность к развеянным по снегу буквам. Это не имело значения. Нужно было спешить.

И вдруг отшельник замер. «Как просто, - подумал он, вглядываясь в новую грудку слов. – Я вот так это всегда и понимал. ...Немного суховато – возможно; но суховатость – поверху, главное: просто, про-

сто и ясно. Немного плотновато – да; зато: коротко, и если кто-то принял бы это за сложность – это была бы его собственная сложность, неповоротливость разума и души...»

Отшельник замер, вчитываясь:

*...«Мир... мир... ровная голая колыбель, сирая, как крик паука, сырая, как объятия роженицы треплющей за гриву весну... Мир, бесконечно меняющийся местами с самим собою... Играющий мир... Плачущий мир... Мир, опускающий брови низко-низко... поднимающий брови высоко-высоко...*

*о т с ю д а – г о в о р е н и е о п р о с т о м :*

## 1

### 1

*«Мир – мироздание – движение-недвижение бесконечного множества элементов – это иллюзорное движение-недвижение бесконечного множества как-бы-фрагментов ЕДИНОГО. Условная Реальность.*

*Мироздание – это Условная Реальность.*

*Условная Реальность – мгновенная судорога, искажение АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, или – точнее – то, что могло быть, но чего не было-и нет. Мгновение возникновения Условной Реальности – мгновение изникновения Условной Реальности; с изникновения её: её и не было, и нет, и быть не могло. Условная Реальность – промежуток между возможностью возникновения, как проявление самодостаточности АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, и изникновением самой этой возможности. Условная Реальность – промежуток внемгновенья, которого нет, не было и быть не могло, но который воспринимает себя-из-себя как бесконечность-множественность.*

### 2

*Условная Реальность-бесконечность (мир, мироздание, иллюзия, материя, искажённая АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ) – бесконечна.*

*В бесконечности нет места для точки, равно как и для чего бы то ни было другого, позволяющего определить центр и отсчёт из центра, так как бесконечность по природе своей бесконечна и, следовательно, бесконечна в любом проявлении своём, в любой закреплении.*

*В Условной Реальности-бесконечности нет противоположностей, нет начал и концов. Нет и бесконечности. И вместе с тем – есть и противоположности, есть начала и концы, и – она сама.*

*Условная Реальность-бесконечность бесконечно полна и пуста – одновременно. Полнота и пустота являются одним и тем же, являясь при том – как и любые качества-проявления – противоположностями.*

### 3

*Смысл существования-пребывания Условной Реальности (как таковой) – двояк: 1) Самоосознание, и при невозможности самоосознания (так как Условная Реальность – то, что могло быть, но чего не было-и нет) – движение к самоосознанию себя АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ и, значит, к освобождению, к изникновению-исцелению себя как Условной Реальности. 2) В момент порождения однозначности движения к самоосознанию себя АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ (и, значит, к изникновению-исцелению себя как Условной Реальности) – обнажается-порождается и условие стабилизирующее **самость** Условной Реальности как таковой: **закон самосохранения** Условной Ре-*

альности, и движение – во избежание разрушения (преобразования) самости – направляется в противоположную сторону.

Круго-спираль замыкается-рвётся.

(Условная Реальность (мир, мироздание, иллюзия, материя, искажение АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ) тяготеет к соединению всех – бесконечно-многих – фрагментов в ЕДИНОЕ, в АБСОЛЮТНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, но, вместе с тем, будучи по сути и во всех своих проявлениях двояко-бесконечно-множественной, раздираемая противоречиями и противоречиями скрепляемая, Условная Реальность – тяготея к ЕДИНОМУ – обнажает-порождает закон самосохранения, основной стержневой принцип самости.)

#### 4

Условная Реальность – то, чего нет, не было и быть не могло – своим существованием-несуществованием, притяжением-и-отталкиванием искажает для самой себя своё собственное самовосприятие, как того, **что есть, но чего нет, не было и быть не могло**. Тем самым Условная Реальность искажает (воспринимая через существование-несуществование, притяжение-и-отталкивание) восприятие подлинной своей сущности-природы вне иллюзорной **самости** – АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

Соответственно, искажается и восприятие проявлений АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ в-из Условной Реальности.

В-из Условной Реальности проступает как единственно связующая и подлинно-реально наполняющая – всякий, бесконечно-многий вовне и внутри, фрагмент – с у т ь: БОГ.

Единое-единственное проявление АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ в-из Условной Реальности – БОГ – применительно к Условной Реальности не является ни Верхов, ни Низом, ни Добром ни Злом, ни Творцом ни Разрушителем, а – СЪЕДИНИТЕЛЕМ. ЕГО присутствие в незрячем – Совесть и Надежда, в прозревающем – Вера, в прозревшем – Любовь.

БОГ – зеркало Условной Реальности, ищущее её лица.

Будучи отражённой – Условная Реальность самоосознаётся как то,

**чего нет, не было, и быть не могло**

#### 2

#### 1

Условная Реальность – промежуток мгновенья, **которого не было, нет и быть не могло**, – воспринимает себя как бесконечность-множественность, и дробится (не дробясь) на бесконечное множество фрагментов, каждый из которых и есть сама Условная Реальность – **бесконечная самость**, по природе своей не имеющая шансов на саморазделение или повтор подобия. И – имеющая, так как является искажением АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, ЕДИНОВОГО, то есть – по сути-основе – сутью-основой не-единой, бесконечно-множественной (обмельк разноцветных переливов, в падающей – бесконечно, из ниоткуда в никуда – капле).

Каждый из бесконечных фрагментов – в силу стабильности самости – воспринимает «вовне» и «внутри» отдельно. Тем самым – воспринимает бесконечность-множественность помимо себя. Тем самым, стабилизируясь, воспринимает-осознаёт себя точкой отсчёта бесконечности-множественности, центром, из которого разворачивается мир-материя-Условная Реальность.

Каждый из бесконечных фрагментов воспринимая «вовне» и «внутри» отдельно – существует-несуществует сообразно своей природе, но природы своей не осознаёт: Условная Реальность са-

моосознаёт себя в данном состоянии реальностью непреходящей, само собой разумеющейся, единственной и единственно возможной. Тем самым – закрепляется разделение бесконечной множественности на бесконечную множественность. Тем самым, Условная Реальность начинает осознавать себя – в себе и из себя – из бесконечного множества центров, неизбежно, в силу самости, условно-разделённых и условно-обособленных (тяготеющих к соединению, но и отторгающихся от него, во избежание изникновения самости). Осознавая – осознаёт себя в бессчётных, псевдонеповторимых образах, перемешанных друг в друге, скреплённых друг с другом, обусловленных друг другом. Осознавая себя в образах, из образов – Условная Реальность проминается, продёргивается, расцветает бессчётными, псевдонеповторимыми законами существования, разнородными по обществу, однородными по сути.

(Можно представить себе бесконечное множество сфер, которые на самом деле – одна сфера, и даже – не сфера вовсе. Каждая из бесконечного множества сфер – и есть Условная Реальность, бесконечная в бесконечности, но – не осознающая себя таковой. Каждая из сфер, несмотря на взаимоперемешение, взаимоскрепление, взаимообусловленность, несмотря на то, что все сферы на самом деле – это одна сфера, - условно (но не осознавая этой условности) как бы-изолирована от всех прочих сфер, и – в изолированности – автономна. Каждая из бесконечного множества сфер дробится (не дробясь) – также – на бесконечное множество сфер, где каждая сфера – не осознающая себя Условная Реальность (одна одинёшенькая, не имеющая никаких шансов на саморазделение или повтор подобия)... И так далее. И так далее.)

И, разумеется, каждый из бесконечно многих, бесконечно разноликих бесконечных фрагментов – являясь Условной Реальностью (неразделяемой-неповторяемой) – является всего лишь промежуточком между **возможностью** возникновения и возникновением самой этой **возможности**; тем, чего не было, нет и быть не могло. Различие между Условной Реальностью как таковой и Условной Реальностью в состоянии фрагментов – следующее: 1) Условная Реальность как таковая в процессе самоосознания – осознаёт себя условностью и порождает движение к самоосознанию себя **АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ**; 2) Условная Реальность в статусе фрагментов – условностью себя не осознаёт, полагая себя реальностью безусловной и само собой разумеющейся. Здесь – фундамент **закона самосохранения** Условной Реальности.

## 2

Все пульсации – пульсация – Условной Реальности всешарообразны. Всешарообразность – как шар, развёрнутый-свёрнутый из себя в себя в бесконечном, никогда не завершающемся длении. Это состояние, в котором бесконечность-в-бесконечности пытается – стремясь к самопознанию – познать себя наделённой сторонами; познать себя со стороны. Но, будучи бесконечностью и не имея сторон, не имеет и возможности со-стороннего познания.

И, хотя бесконечность-в-бесконечности, устремлённая к самопознанию со стороны, находится в бесконечном, никогда не завершающемся длении, тем не менее, в этом длении она сокасается с присутствием в себе-из себя-помимо себя-во всём – БОГА. Можно сказать, что Дух, Ум, Душа и Тело-Образ – проявления дления.

## 3

Движение бесконечно-многих, разделённых, фрагментов к соединению (всего со всем), и, односвязно, движение самости (собственной для каждого из фрагментов; собственной-общей) к самосохранению – порождает **напряжение**. Сам факт **напряжения** опровергает иллюзорный статус иллюзорной самости **как цельной самодостаточности**.



Напряжение (напряжение-вибрация) не могущее завершиться ни так, ни этак, ни как бы то ни было – это наделение бесконечно многих бесконечных фрагментов наполнением, закрепляющим (напряжение-вибрация-закрепление) самоосознание Условной Реальности (в статусе фрагментов) самой себя, как единственной и само собой разумеющейся реальности. Напряжение-вибрация-закрепление; наполнение; **бытийности**.

Бытийности взаимоперемешанны-слиты и взаимоизолированы. Бытийности как равнозначны, так и неповторяемо разнообразны. Из-бытийностно – бытийности можно представить как угодно: невозможно представить в бесконечной бесконечности что-то такое, что в бесконечной бесконечности не присутствовало бы. Каждая из бесконечно-многих бытийностей-фрагментов проступают Телом-Образом, Душой, Умом и Духом, воспринимаемыми из-бытийностно как отдельное-индивидуальное, множественное.

Можно сказать: бытийности. Можно сказать и так: отзвуки; бесконечное множество отзвуков. Бесконечное множество промельков-обмельков. Люди и звери и птицы, насекомые, камни, бактерии, травы, деревья... и запах и звук и цвет... и цветы и реки и горы и ветер и дождь, планеты и звёзды, галактики, вселенные, всевозможные энергии, всякомерные пространства, желания, страсти, понятия, соразмерности, направления... и т. д. и т. п. ...мысли, слова, поступки... и т. д. и т. п. ...и, например, стулья (Из-бытийностный человек может возмутиться; может заявить, что именно он сделал стул. Но: утверждение **этого человека**, что он сделал **этот стул** – будет столь же нелепо, как и утверждение **этого стула**, что он сделал **этого человека**. Впрочем, если допустить первое, то, естественно, вполне равноправным явится и второе.)

Каждая из бытийностей наделена предопределением и свободой воли.

Всюду – БОГ, как из-бытийностно воспринимаемая АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.

#### 4

АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – АБСОЛЮТНОЕ БЛАГО. У БЛАГА противоположности нет; нет «не-благо», есть только иллюзия ЕГО отсутствия.

Это – **страдание**.

Условная Реальность (направленная к самости) – осознаёт страдание, пребывает в нём и является им.

Осознание наполненности бытия страданием – отрицает самоценность бытия. Отрицание самоценности бытия – отрицает самоценность самости. Отрицание самоценности самости – отрицание самоценности Условной Реальности. Это ведёт к изникновению Условной Реальности. Изникновение же не происходит потому, что **страдание** – как и все производные Условной Реальности – иллюзия, то, что является данностью, но **чего нет, не было и быть не могло**.

Условная Реальность по направлению к АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ – осознание **иллюзорности страдания**.

### 3

#### 1

Из-бытийностно – бытийности воспринимают себя круговращением в круговращении; круговращение развивается по спирали. Из-круговращательно – круговращение воспринимает себя бесконечным множеством фрагментов-форм: оформляется. Каждая из бесконечного множества форм – в силу самости – иллюзорно закрепляется как иллюзорная цельность и воспринимает себя точкой отсчёта мироздания. Означается как бы обособленная закреплённость.

...Туман в потоке ветра, нравно осознающий себя скалой; нравно и несуразно...

Каждая форма, будучи бесконечной в бесконечности, тем не менее, воспринимает себя в начальности и конечности: рождение – смерть; бесконечная прямая, осознающая себя отрезком, где промежуток между рождением и смертью приобретает значение главной, само собой разумеющейся ценности: жизнь.

Это **устроение-порядок** – одно из проявлений закона самосохранения Условной Реальности. Из-бытийностно – бытийности воспринимают себя реальностью и фактом, устроение-порядок – реальностью и фактом, а БОГА – АБСОЛЮТНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ – нереальностью и предположением, заведомо (из-бытийностно) недоказуемой возможностью.

Из-бытийностно – бытийности воспринимают Мировой Дух, Мировой Ум, Мировую Душу, Мировое Тело-Образ как дух, ум, душу, тело-образ: индивидуальное, конкретное-личностное. Такое восприятие Мировых проявлений – разделёнными на бесконечное множество и принимаемых из-индивидуально – укрепляет устойчивость самости Условной Реальности, вплоть до как бы неизбежности.

## 2

Итак, человеческий мир. Человек; бытийность от микро-я (я) до макро-я (мы): самозванное и бессмысленное осознание себя реальностью, венцом природы, точкой отсчёта мироздания. (Точно так же осознаёт себя всякая бытийность.)

Человек реагирует на мир и характеризует его двумя способами: конкретно-личностно-субъективным и конкретно-личностно-объективным ( что, впрочем, одно и то же, но создаёт иллюзию подхода «из себя» и «со стороны»).

## 3

В Условной Реальности, пребывающей в состоянии фрагментов, всё оформлено (то есть: наделено иллюзорной формой-закреплением, иллюзорной цельностью – по образу и подобию Условной Реальности). Всё оформленное выражено Телом-Образом, Душой, Умом и Духом в конкретно-личностном статусе: тело-образ, душа, ум, дух.» ...

Отшельник почувствовал на щеке затеплевший овлажнившийся ветерок. Он посмотрел вокруг. ...Снег таял. Молодой тонкий покров, проседая, жался к земле. Буквы стягивались и темнели. Уже не хватая строчки по сторонам – он старался, сколько успеет, дочитать это...

«Насколько ты, из-бытийностно осознающееся существо, насколько ты, человек, осознаёшь себя существующим-пребывающим-живым, настолько же осознаёт себя пребывающей-существующей-живой каждая форма-закрепление; разделённое одно, имеющее иллюзию индивидуального, разнородного и несхожего. Всё выражено телом-образом, душой, умом и духом. Всё, что ты можешь узнать наличествующими у тебя органами чувств, всё, что можешь представить себе, всё, что можешь вообразить – живое ( настолько, насколько живое – ты); **живое-равнозначное.**

С развитием органов чувств, представлений, воображения – способность узнавания раздвигается от...» ...

...Снег таял с невероятной быстротой...

...«Так: твоё «я» и есть центр-ядро Условной Реальности. Узнай своё «я» – узнаешь всё. Узнав всё – поймёшь: ты не узнал ничего.

*Ты миновал сложное. Следующее – просто: не узнав ничего – ты узнал иллюзорность своего «я»; сотри своё «я» – станешь всем. Став всем – станешь ничем; здесь – изникновение самости Условной Реальности. Изникновение самости Условной Реальности – изникновение Условной Реальности.*

*С изникновения Условной Реальности – её нет, не было и быть не могло.*

*Слияние с АБСЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ » ...*

Отшельник закрыл глаза. «Всё правильно...» Ему стало легко.

Открыв глаза, он увидел, что надписи больше нет. Снег растаял, и множество букв, везде, повсюду – и за день не обойти, исчезло вместе со снегом. Но это не огорчило. Не примяло досадой. Он легко и радостно засмеялся; припомнив же свою недавнюю лихорадку, своё сквозьбуквенное бежанье – и во все захохотал, в изнеможение усевшись на мокрую траву и вытирая рукавом слёзы.

...Ноздрей окоснулся запах дыма. Отшельник, усилием воли утишивая смех, огляделся. Ого! Он оказался рядом со своей стоянкой! Даже не заметил... За деревьями – шагов сто – виднеется его шалаш. ...Странно, но когда он уходил – костёр почти погас, да ещё – снег падал... Судя по дыму – огонь полыхал в полную силу, топлива ему было вдоволь.

Отшельник быстро, изредка оглядываясь на исчезающие клочки снега, зашагал к стоянке.

Его низенький самодельный – из толстых сушин – стул у костра оказался занят. На стуле восседала огромная румяная тётка.

В новеньком тулупе, в высоких чёрных валенках, с цветастым платком на голове; улыбчивая, домашняя такая. Рядом с ней стоял, попыхивая дымком сквозь неплотно прикрытую крышку, самовар. Важный, блестящий! Тётка сидела, приятственно щурясь на костёр, и поджаривала на огне хлеб.

- Привет, бродяга! – загудела она. – Что мокрый такой? – в снежки играл? У-тю-тю...

- Привет...

Он не обманывался. Он видел глаза. Перед ним был пёс.

Тётка перевернула хлеб другой стороной.

- Погодь, хлеб дожарю – чаёвничать будем. У меня тут и варенье припасено! – Достала из-за пазухи литровую, запечатанную обвязанной бумажкой и доверху полную банку. – Земляничное! Кушаешь земляничное?

- Кушаю. Но у меня только одна кружка...

- Своя имеется!

Тётка отложила в сторону палочку с хлебом, поёрзала, покряхтела – извлекла из кармана тулупа чашку. Чашка оказалась развалистая, ажурная – тонкий прозрачный фарфор. Удивительно, как она в кармане не то, что в осколки – в порошок не стреснулась! Но тётке этого было мало: из другого кармана она достала точно такое же блюдечко. Сбрякнула – вызвенев – с чашкой. Поставила возле самовара.

- Вот как! – Хлопнула себя по колену. Устроилась распоряжаться: – Волоки, давай, вон тот чурбачок – будет у нас столик. И хворосту, хворосту! – сядешь на него. ... Да стой ты, увалень! Куда прёшь? – чуть чайник заварочный не опрокинул!

Отшельник, затормошась, и впрямь чуть было не наступил на чайник. А прежде не заметил; маленький серебряный чайничек стоял, наполовину врытый в тёплую золу, настаивался. Тётка покачала головой:

- Аккуратней, малыш. Присматривай за собой.

Отшельник согласно кивнул. Он вообще – стал многое видеть, слышать, многое понимать. Так и сейчас: он понял – о чём; не о чайнике была речь... но и о чайнике – тоже.

Тетка, тем временем, быстро и опрятно облекла чурбачок в обличье чайного столика: накрыла его пёстрой тряпицей, нарезала поджаренный хлеб, открыла банку с вареньем и выложила две ложки.

- Э-гэ-гэй! – Позвякала чашкой о блюдце. – Лапуля, тащи сюда заварочник, да кружку свою прихвати!

Отшельник принёс и то и другое. Поставил на чурбачок.

Тётка щедро наляпала варенье на куски поджаренного хлеба. Все – пододвинула отшельнику, себе взяла самый маленький кусочек. Набулькала чай.

- Кушай, золотце, не стесняйся!

- Благодарю.

Чаёвничали молча. Казалось, говорить-то не о чем: всё и так понятно, понятно давным-давно, всё – само собой разумеется. Просто: прихлёбывали душистый крепкий чай, лопали варенье, закусывали хрустящим поджаристым хлебом. Просто: смотрели на вновь появившиеся снежинки – тяжёлые, медленные, неуклюжие; снежинки сходили на землю, удобно и крепко прижимались к земле, и вскоре – таяли, таяли, таяли. Просто: прислушивались к сырому, чуть дрёмному гулу вставшего на цыпочки леса. Просто: поглядывали изредка друг на друга – и всё понимали, ни в чём не обнаруживая неудобства совместному пребыванию. Хорошо молчалось.

Только раз, подбавляя себе и отшельнику чай, тётка тихо пропела-напомнила:

- Аккуратней, малыш. Присматривай за собой...

Отшельник снова кивнул. Прикрыл глаза; вспомнил: буквы на снегу...

*«- Люди так упорно ищут забвения, что неизбежно (когда? как? – зачем?) наделяются забвением. И люди забывают, забывают... Они даже забывают, что искали забвение (и – неизбежно – были им наделены), и негодуют – негодуют! – на собственную мимолётность. И к мимолётности прижимаются как можно крепче. И ударяются о неё. И ищут забвения.*

*- Как же помочь им вспомнить?*

*- Им – никак. А память – не нуждается ни в чьей помощи: нужно просто не мешать ей быть. Ведь забвение – это не отсутствие памяти, а всего лишь то, что препятствует её бытию.*

*- Выходит, они – они сами – и есть забвение.*

*- Разумеется!*

*- И они – память.*

*- Возможно.*

*- Так как же им перестать быть собой-препятствием для себя-памяти?*

*- Стать самими собой, перестав быть кем-то ещё.*

*- Если им сказать – они не послушают...*

*- Ух ты! – не послушают!.. Да они и совсем не услышат, чего уж тут слушать... Хочешь сказать – скажи самому себе. Хочешь промолчать – промолчи самому себе. И тогда – возможно – услышат. И тогда – возможно – послушают.*

*- «Возможно»?*

*- С «возможно» – невозможное и проходят.*

*- Ты не путаешь меня?*

*- А ты – меня...? Нас тут – один. Все путанья и ясности – мы. Что выберем? ...Что выберем – то и ответ.»*

За спиною хрустнула ветка. Отшельник обернулся.

С ближнего дерева – удобно усевшись на нижней ветке, прижавшись спиною к стволу – на него смотрела белка. Пушистая, с маленькими смешливыми глазёнками. ...Как только её заметили – белка сразу занялась собой: умылась, почистила от сора хвост, расправила блестящие усы. Егозя, она как бы

предлагала любоваться собой, намекала: почему бы и не восхититься? где ещё найдёшь такую красавицу? в любое дупло загляни – не найдёшь! Ну вот попробуй!..

Отшельник улыбнулся. Отшельник потянулся к чурбачку – отломить и предложить белке кусочек хлеба с вареньем. Потянулся – обнаружил: тётки нет, нет ни самовара, ни фарфоровой чашки с блюдечком... На чурбачке осталось варенье, немного хлеба и его старая облупленная кружка, доверху полная золотистым дымящимся чаем. Он взял хлеб для белки и встал.

Белки тоже не было. Разве что – чуть подрагивала ветка на месте её недавнего сидения.

«Разбежались! - весело подумал отшельник. – И мне пора... Пора спать.»

Он пригасил костёр, допил чай и убрал остатки еды в шалаш. Потягиваясь у входа – долгим немигающим взглядом коснулся темнеющего неба. Помахал небу рукой.

Засыпая, он слышал: лес наполняется шорохами, шелестами, шагами... Лес подходит – со всех сторон – к его уединённому пристанищу, и всматривается, всматривается... И смотрит.

*...«За окном ночь; в комнате выключен свет.*

*Ты смотришь в окно; ты видишь всё, что позволяет увидеть тебе ночь. Ты видишь многое, многое, многое... Ты включаешь свет; ночь остаётся ночью; ты видишь в окне себя.*

*...многое, многое, многое. Если закроешь глаза – ты увидишь всё остальное.» ...*

«Иви, Иви, малыш...»

Он проснулся. Ночь была стремительной и обволакивающей, ночь была глубокой и тёплой. Отдыха хватило ему вполне, и тело благодарно постанывало, побуждая встать, потянуться к разведению огня, наполнить у родника и подвесить над огнём котелок. Отшельник лежал зажмурившись; сильный свет, оплеснувший глаза из сна, во всей своей силе и крепости оставшийся по пробуждении – мешал сосредоточиться.

Просторный яркий горячий свет...; почему-то стенки шалаша не мешали солнечным лучам восталь колобродить в его жилище, - напряжённым и жарким усилием поднимать его жилище почти под облака...

Отшельник открыл глаза. Отшельник открыл глаза, и увидел себя лежащим высоко-высоко, на листке тополя.

Приподнялся. К лицу приподнял поющие руки: утро... Ах! – а кругом, кругом!: отовсюду медвяный гул тополиной листвы – зелень! зелень! – узорная темень веток. За спиной – могучий, бурный, облитый трещинками фонтан вознесённого в высь ствола. Вокруг – сквозь листву – цветущие, пышущие высотой и размахом деревья: берёзы, ясени, дубы, каштаны, липы, осины, ели, баобабы, клёны, сосны... раскидистые пальмы... немыслимо огромные папоротники... и многие, многие... На сколько хватало взгляда: зелень, зелень, зелень, и только впереди, отсюда не определимый, ощущался некий просвет.

Отшельник сел, скрестив ноги, на листике. Замер.

...То ли тишина приподнялась на облаке, то ли облако вынырнуло из тишины...

Листик под ним качнулся. Обернувшись – отшельник увидел карабкающегося по черенку муравья. Муравей оскальзывался, пыхтел, но явно не собирался оставлять это надрывное, но и чем-то приятное для него занятие. Наконец, оскользнувшись основательно – он повис, отчаянно уцепившись за черенок.

- Караул! – тихо пискнул муравей.

Отшельник вскочил и протянул муравью руку. Муравей вскарабкался на лист.

- Спасибо, мой добрый герой! - прослезившись, выдохнул он.

- Я не герой, - засмеялся отшельник. – Просто: вы оказались в недоразумении и я вам помог.

- Да-да, - муравей утёр слёзы. – Спасибо, мой скромный герой!

- Вижу, вам нравятся герои, - деликатно заметил отшельник. – У вас трудная жизнь?

- Понятно! Муравейник – не танцплощадка, попотеть приходится! – Муравей вскипел: - То – при-  
неси!.. Туда – сходи!.. Того – не делай!.. Собратья злобствуют! Начальство – поедом ест! – Огорчился. –  
Да ну их...

- Утешьтесь, - улыбнулся отшельник. – Я думаю, вы можете просто уйти оттуда.

Муравей обрадовался:

- А я и ушёл! – Умильно посмотрел на отшельника: - Возьмите меня с собой!

- С какой стати? – оторопел тот. – Я – отшельник, я иду один...

Тут он задумался. Собственные слова встряхнули его.

- А разве я помешаю? – робко спросил муравей. – Я – тихонько...

Отшельник промолчал. Он, наконец, понял, что именно встряхнуло его:

*«Всё, что приходит в мир – ты. Ничего, кроме тебя, в мире не происходит. Всё, что ты мо-  
жешь осознать, воспринять, чего можешь коснуться – ты.»*

- Ладно, - кивнул муравью. – Если хочешь – можешь быть рядом. Только зачем тебе это?

- Ха! – удивился муравей. – Как же без Наставника?

- Наставника... А что такое – Наставник? – Отшельник подставил щёку налетевшему тёплому  
сквознячку. Посмотрел на муравья: – Наставник, это то, чему предстоит быть промежуточным между  
тобою, твоей печалью и муравейником?

- Приблизительно... - стеснительно сказал муравей. – Я постараюсь не беспокоить вас зря, Настав-  
ник. Я постараюсь идти своими ногами.

- Ладно! ...Как знаешь.

Муравей присел рядом. Муравей и отшельник сидели – плечо к плечу – и, не мигая, смотрели на  
плывущих-мелькающих в звенящих солнечных волнах изумрудных листовых рыбёшек. Близкими по  
солнечной ряби – порхала в воздухе всевозможная крылатая мелюзга. Гудя, жужжа, трепыхая малень-  
кими перламутровыми крылышками, из сиятельной пучины вынырнул округлый глянцевый жук. Вы-  
нырнул, тщательно примерился – сел на соседний лист.

- Здрасьте! – Крылышки сложил. Усами качнул. – Мне бы – тоже...

- Что – тоже? – строго спросил муравей.

- Что, что... - передразнил жук. – То!.. Мне тоже Наставник нужен!

- Привет-привет! – сказал отшельник. - Надо же! И ты из муравейника сбежал?

- Из жукарника!.. – хмыкнул жук. Смущённо почесался. – Мне бы – того...

- Ну-ну, - ободрил его отшельник. – Чего?

- Тяжело мне! – не выдержал жук. – Устал!

- Вот как... - сказал отшельник.

- Как будто резинку ко мне привязали! – жук всплеснул лапками. – Я ж и сам... я сам пробовал...  
Поначалу – легко. Потом – труднее и труднее; чувствую, резинка натягивается... И – хлоп! – кубарем об-  
ратно! Кубарем!.. – в голосе жука послышались надрывные нотки. – Два раза пробовал! Все крылья  
стёр... А? Это ж надо...? Так устал, так устал! – дорога так тяжела...

- Вот как... - сказал отшельник, прикрывая глаза.

*«Не может быть усталости в дороге, когда – в дороге.»*

*Как только присел на обочине – усталость обволакивает тебя; усталость просачивается в  
тебя; усталость подменяет тебя собой. Вот: кажется тебе, что усталость именно из дороги; ка-  
жется тебе, что усталость именно от дороги; что устал ты в дороге, и усталость твоя неподъ-  
ёмна, и усталость твоя горька. И это правда; это именно твоя правда, тебя – сидящего на обо-  
чине.*

*...Ты легче пушинки. Ты слаще потоков мёда на устах умирающего от голода. И – ты только представь себе! – крепче Северного Ветра.*

**Единственный способ избавиться от усталости в дороге – дорога.**

*Эй! – поднимайся немедленно! Скорее отправляйся в путь!» ...*

- Хорошо, - согласился отшельник. – Оставайся с нами.

Муравей расцвёл. Обрадованно махнул жуку лапой:

- Держись, жучара! Не робей! Перевоспитаем!

Жук захохотал.

Отшельник удивлённо смотрел на своих внезапно появившихся друзей. ...Он их не искал. Он их даже не звал... Или? ...Не имеет значения! «Я рад им, - думал отшельник. – Я смотрю на них – и я рад им. Значит, я сумел порадоваться самому себе.»

...Когда он бежал, - тогда, в начале, - он смутно, очень смутно понимал, куда бежит... Просто: бежал, потому что умирал... потому что не мог дышать там, откуда бежал. После – раз за разом выдирая ноги из вязкого болотного месива – он вдруг почувствовал под ступнями твердь. Потом понял: твердь – она не под ногами, она в тебе, и только тогда, когда ноги готовы к дороге – дорога готова коснуться твоих ног. Ты эта твердь.

« А здесь – красиво... Впрочем, красота есть везде, во всём. Нужно только приблизить свой взгляд с той стороны предмета, события, явления, мысли, где приближение к красоте, где красота – взгляду твоему навстречу – очевидна. И помнить: именно здесь свершается дыхание; именно здесь жизнь, смерть и судьба идут рука об руку.»

По стволу просыпалась, снизу – вверх, барабанная дробь. Все посмотрели вниз. У подножия тополя на задних лапах стоял заяц и упорно, поставив уши торчком, выстукивал призывный марш.

- Тебе чего? – свесился вниз муравей.

- Стучу! – лучезарно оскалился заяц и тряхнул коротким хвостиком.

- Что, - прогудел жук, - других деревьев нет, что ли?

- Но вы-то – здесь. – Заяц прекратил барабанить. – Я к вам хочу!

- Это ещё зачем? – с подозрением спросил жук.

- Там, говорят, у вас в листе Наставник завёлся. – Заяц сморщил нос и чихнул. – Вообще-то, я к Дереву бежал. Но – вот... Вдруг вы куда-нибудь ушмыгнёте!

- Дерево Слов... - почтительным шёпотом сказал муравей. – Я тоже к Нему шёл, и – встретил тебя, Наставник.

- И я... - поддакнул жук. – К Нему многие идут. Слова... стихи... письма... Такое Дерево! – Жук смешался. – Мне бы вот тоже – письмецо...

Муравей развеселился:

- Вместе и пойдём! А? Милое дело!

Отшельник вспомнил: письмо... Листья, взмывшие сквозь лес... Буквы, буквы, буквы на снегу... слова... говорение...

- А где Оно? – спросил отшельник.

- Там, - показал жук на слабо различимый просвет. – Недалеко!

- Близко! – подтвердил заяц. – Ха! Весь этот лес – его дети! А дальше – Болота... и Чайный Домик...

– Помолчал. – Ну, так как? Можно мне к вам?

Все опять посмотрели на зайца.

- Очень нужно? – улыбнулся отшельник.

- Очень, - подтвердил заяц. – Куда ж без Наставника? – Печально качнул ушами: мне б только – разбежаться... - Торжественно воздел лапы кверху: - О! Прими меня, Наставник, в свои владения!

- Спятил... - шепнул муравей жуку.

- Я ни чем не владею, - сказал отшельник.

Заяц обомлел:

- Ничем не владеешь? Совсем ничем?

- Не «ничем», а «ни чем», - поправил его отшельник. — Это значит, что я не являюсь владельцем-хозяином: владельцем чего бы то ни было и кого бы то ни было.

- Любопытно! — наострился заяц. — И?

- Если я не являюсь владельцем, то и у меня нет владельца: *я ни чем не владею — ни что не владеет мной*. Я свободен.

- А мне — можно? — жалобно спросил заяц. — Я тоже так хочу!

- Можно, - спокойно ответил отшельник.

- Возьмите меня, - взмолился заяц. — Возьмите меня с собой!

Густые раскидистые заросли чуть качнулись, чуть шелестнули, и за спиной у зайца появился чёрный, с рыжими подпалинами пёс. Отшельник обрадовался.

- Возьми его! — рыкнул пёс. — Всё равно не отвяжется!

- Ой!!

Заяц, взвизгнув, мгновенно взлетел на дерево — почти до середины ствола, и, тяжело отдуваясь, закатив глаза, повис в развилке.

- Где он? — прохрипел заяц.

Пса уже не было. Пёс исчез.

- Ну и здоров же ты по деревьям карабкаться! — восхищённо прицокнув, сказал жук. — Редкая белка так сможет!

- Да что там — белка! — подхватил муравей. — Какая белка? — орёл!

Заяц, икая, мутным взглядом обвёл собрание.

Отшельник встал, оправил куртку, и — неожиданно резко — крикнул:

- А-а-а-а!

Муравей и жук в испуге шлёпнулись ниц. Муравей — на пузо, и голову лапами прикрыл. Жук — завалился на спину, - так и елозил-барахтался, ритмично подвывая. Заяц же было — без разницы, он ещё от прошлого не отошёл.

Отшельник потрепал муравья по плечу. Помог жуку перевернуться и принять более удобное положение.

- Страх, - спокойно сказал отшельник, - вполне естественное дело и смеяться над этим не нужно. Разбросанные в бесконечности души — истерзанные и одинокие — ищут прибежище в себе самих, надеются только на себя, и потому — наделяются совсем уж несуразной самоуверенностью! Наделяясь самоуверенностью — кичатся собой, возносят себя до небес, но по-прежнему — истерзанные и одинокие, маленькие, загнанные в угол-себя. Отсюда — страх; почти всё, что повстречается загнанной самовознесённой душе — вызывает её страх. И часто — из страха появляется желание ударить, обидеть, растоптать, чтобы хоть как-то оправдать, как-то утешить свой самовознесение. Это — падение души. Страх — рубеж, тоненькая грань, где дрожащая бесприютная душа озирается в поисках верного направления. Озирается — стремится доверить себя ТОМУ, кто один Истина и Реальность; довериться, избыть одиночество; возвысится по-настоящему, подлинно — в НЁМ. ...Разве можно смеяться? Ведь насмешка над страхом — тоже рождена страхом... страхом, одиночеством и безрассудной гордостью.

- Разве гордость — это плохо? — удивился жук.

- Гордость — чудесна, - успокоил его отшельник. — Вместе с Совестью, Состраданием и Мудростью — она наша опора, пока мы одиноки. А вот безрассудная гордость — гордыня — это ужасно. ...Гордость



двузначна: она позволяет испытывать уважение ко всему прекрасному в себе, поддерживая, и – неуважение ко всему в себе отвратительному, одёргивая. В гордыне же – ты слеп, ты глух; в гордыне: постамент, и монумент на постаменте, и надрывно вознесённая голова – дроглый ущербный комок слизи... и каждый завиток сквозняка – стальная пуля, бьющая насквозь. Гордость и гордыня – так рядом друг с другом, и вместе с тем – безмерно далеки.

- Спасибо, - поклонился жук. – Я всегда подозревал, что что-то во мне не так... Надо разобраться.

Отшельник посмотрел на висящего в развилке зайца. Помахал рукой:

- Привет! Ты ещё не передумал – к нам?

- Нет, - хрипло ответил заяц, - не передумал. ...Но висеть – неудобно!

- Ты хотел к нам – ты с нами, - засмеялся отшельник. – Не огорчайся. – Позвал: - Слезай, голубь!

- А вон тот, - заяц качнул ушами на муравья, - сказал, что я – орёл!

- Ну, до орла тебе, как гусенице до бабочки, - рассудительно утешил отшельник. – Может быть, помочь?

- Можно я его укушу? – попросил муравей. – Быстро слезет!

- Я тебе укушу!.. – опасно покосился заяц, со стоном выдираясь из развилки. – Кусатель нашёлся!.. Ишь...

Рухнул, пискнув, на листик.

- Какой ты заяц! – рассердился жук. – Ты слон!..

- Возможно, - польщённо отозвался заяц. Исподволь он проверил, на месте ли его хвост; хвост оказался на месте. Сообщил: – Моя младшая сестрёнка говорила, что в профиль я похож на леопарда!

- По деревьям-то скачешь – леопард обзавидует, - пробормотал в сторонку муравей.

- Чего? – не расслышал заяц.

- Говорю, - прибавил громкости муравей, - сестрёнка, должно быть, в темноте на тебя смотрела. Не на леопарда – на льва! – Заяц запунцовел. – Жаль только, - продолжал муравей, - что ушами – в осла пошёл.

- Это что же? – возмутился заяц. – Это – оскорбление?

- Перестаньте! – утихомирил их жук. – Укусы в меру – лечение, без меры – пожирание. Не безобразничайте!

- Он меня оскорбил! – зашёлся заяц. – Он меня ослом назвал!

- «Ослом» оскорбить нельзя, - рассудительно заметил жук. – Осёл – животное достойное, умное и весьма интересное. Кстати, смелое и терпеливое. Понятно?

- Понятно. – Заяц задумался. – Ладно! – махнул лапой. – Ослом так ослом! Какая разница?

- Молодец, - похвалил его жук.

- А я? – робко спросил муравей.

- И ты молодец. – Строго посмотрел на муравья: - Главное, постарайся не быть им только в профиль.

- Ой! – вскрикнул заяц. Муравей и жук повернулись к нему. – А Наставник где? Убёг Наставник!

Отшельник уже довольно далеко отошёл от тополя. Он шёл, не спеша, по воздуху, как идут по упругой спокойной тверди. И направление его было – к Дереву.

Жук, жужжа, кинулся вдогонку.

- А мы!? – хором крикнули муравей и заяц.

Отшельник обернулся. Качнул приподнятой рукой.

- Идите за мной! ...Ну же! – смелее!

И они – сцепившись лапками, моргая, часто дыша – ступили на воздух.

*...«Мы пишем письма. Изю дня в день, каждую минуту – сами того не зная – мы пишем письма; мы набрасываем строчку за строчкой, в лихорадке и трепете, на прозрачные заснеженные листы... И – то ли деревья проплёскивают под нашими пальцами, то ли облака... Прозрачные листы наполняются буквами, словами, строчками, ничуть не теряя прозрачности, прозрачностью наделяя нашу речь. Письма всегда доходят до места назначения. Письма всегда прочитываются. Но не всегда, тот, кто читает письмо – знает об этом, как и не всегда пишущий письмо знает, что он – пишет. Почти никогда.*

*Но письма-то! – письма знают, они всегда и всё знают, иной раз – даже самих себя.*

*Так получается: каждый, кто хоть раз подходил к зеркалу – пишет, и каждый, кто ждёт письмо – получает его, а это – все » ...*

«Так вот что! ...Это не Дерево Слов, - понял отшельник. – Это – Дерево-Слово!»

Огромная, опушённая листвою ветвь спускалась почти до земли. Кончик ветви коснулся его лица...

## ПЁС

...И там, где хребтовая снежная **наметь** проступала уж вовсе перепутанной и невзлазной, становилось холоднее всего, всего неприютней, строже, зыбче. ...Но и – выше.

Псу здесь нравилось. Ему казалось правильным стоять на этой невнятной вершине; именно сейчас и именно на этой вершине. Да и где же ещё? – вершины глотали одна другую, и вот – пожалуйста: лишь одна, вся в прослойках заглотов... лишь одна...

Псу здесь нравилось. Ему не хотелось уходить отсюда... не хотелось плакать... даже – не хотелось умирать. Он как-то сразу и вдруг перестал осознавать возможную смерть насущностью и лакомым придвижением, неразминуемой нуждой. Да! Из цветущего сердца – сила, спокойствие и прямизна озарили пса; спокойно и прямо упирались в снег его лапы, спокойно и прямо смотрел он в зиму; спокойны и пронзительны были мысли его, отчётливы и прямы желания.

- Эй! – крикнул пёс. – Эй!!!...

Всхлипнув, ударила в его лицо колючая звень позёмки, - заволокла, обсвистела, обстучала всласть сухими маленькими язычками мёрзлую шкуру; шуршула-метнулась к ушам, что-то шепча, в чём-то убеждая, настаивая, **виясь**. Колыхнулась, треснула под лапами шершавая корочка наста, намекая на бархатные топкие **глуби** за условной твердью своей, в **глуби** те зазывая...

Пёс чувствовал себя семечком в немерном, набухшем наливной морозной спелостью яблоке рассвета. О сжался, готовый выбросить из себя – вслед за взрывом мякоти, сока, света – ростки. Тело его сотряслось. Вздрыбнулась, вспенивая над собой ледяную коросту, шерсть. Взгляд напряжился, уподобясь лихорадочному трепету пальцев обвисшего в пропасть путника: трещинка... щёлка... упор... упор!.. упор...; крошево ногтей, кожи, крови; твёрдость и смысл.

...От перелеска, в паре тысяч бросков от **на**мети, плеснулся собачий вой. Не слитный... разногласовый... многий.

Пёс повернул голову к перелеску. Улыбнулся.

Бросок! ...И ещё девятьсот девяносто девять бросков. И ещё тысячу.

Чёрная с прорыжью молния... звезда... Так показалось, почудилось собачьей стае. Молния-звезда будто б врубилась в марево голода и тоски, вспенивая и плавя снег, накаляя до зелёного летнего румянца деревья, тревожа сухие травы.

- Привет!

Все молчали.

Чёрный, с рыжими подпалинами пёс поклонился, лицо глубоко опустив в сизую зыбь позёмки. Качнул хвостом.

- Привет вам, привет, братья и сёстры! Я пришёл просить вас о милости.

- О чём? ...о чём? – маленькая кудлатая дворняжка, цвета осеннего пепла, робко протянулась к незнакомцу. – О чём?..

- О милости, сестра. – Пёс смотрел теперь только на неё. – О милости понимания и действия. – Пёс уселся на снег, строго и прочно... явно... Да-да! – всем в стае показалось, что он сидел тут всегда. Пёс приподнял голову, глаза его светились. – Я долго, долго шёл к вам, братья и сёстры... Я так давно и долго шёл к вам!..

От горячего тела пса шёл голубоватый пар; смешиваясь с чернотой и рыжиной жёсткой короткой шерсти – вздымаясь, ширя пространство – пар ненавязчиво, но пронзительно колыхнул-искажил облик пса, наполнил светом и беглостью теней. Всей стае – всей, без исключения – вдруг показалось, что перед ними уселась на снег (так вот, запросто) летняя поляна, обильная – ярко, ярко, красочно! – всяческим многотравьем и многоцветьем, стрекочущая и звенящая во все стороны ползающей и летающей живностью.

- Ой!..

Стоявший с края длинноногий, с вислыми колтунами пёс, которого все почему-то звали странным именем: Подберёзовик, плюхнулся, смешно плеснув передними лапами, на лохматый хвост своей соседки.

- А-ай!

Но – смолкло. Из переднего ряда выступил, чуть прихрамывая, вожак.

- Кто ты? – обратился он к чёрному, с рыжими подпалинами псу. – Зачем ты здесь? – Обвёл незнакомца долгим и цепким взглядом. – Хочешь быть с нами? ...Ты сильный, молодой, - мы будем рады тебе.

- Нет, - чёрный пёс качнул головой. – Я пришёл говорить с вами... Говорить с вами *о любви*.

- Вот как... - вожак нахмурился. – Мы голодны, мы замёрзли... Мы пели – отчаянием и болью, - надеясь, что мир подарит нам хоть капельку тепла, может быть – пищи, а ты – ты оборвал нашу песню, и сделал это, чтобы поговорить с нами о том, чего не прижмёшь лапой к снегу и не узнаешь клыками, в чём нет ни сытости для наших болтающихся животов, ни угревной щёлки, где лапы могли бы отдохнуть, а глаза – прикрытые веками – смотреть только на себя. О том, в чём нет плоти и вида, чего, может быть и вовсе – нет, нет, нет!..

- Дурак! – хрипло выкрикнул стоявший дальше всех, очень и очень похожий на старого ежа пудель. – Ты дурак, Чёрный Пёс!

- Уходи. – Вожак повернулся к чёрному псу спиной. – Ищи тех, кому глупые разговоры важнее жизни.

- Нет, - голос чёрного пса был твёрдым и спокойным, - я буду говорить с вами.

- Да что же это такое, - заголосила старая болонка. – Он что, над нами издевается?!

- Да о чём, о чём?! – закашляло, заскулило вразнобой сразу несколько голосов. – Мы не хотим говорить об этой вот «любви»! Мы вообще ни о чём не хотим говорить!

- Ладно, - спокойно сказал чёрный пёс, - вы не хотите говорить о любви... Что ж... - давайте поговорим о чём-нибудь другом.

- Да о чём?! – не выдержав, крикнул вожак.

- Да о чём угодно, - ответил чёрный пёс. – О чём угодно из того, что важнее еды, мёрзнущих лап и усталости.

Все оторопели.

- А что может быть важнее этого? – недоумённо и очень тихо спросил вожак. – Ты, похоже и впрямь – дурак, Чёрный Пёс.

- Ой, он же сумасшедшенький...! – жалостливо залепетала крошечная, лишённая каких бы то ни было внятных очертаний собачонка.

- Напрочь корягой долбанутый, - печально согласился облезлый, хулиганистого обличья пёс.

Вся стая напряжённо глядела на самовольно возникшего здесь чокнутого говоруна. Каждый понимал: хромые лапы – а это, да ещё зимой, почти неминуемая смерть – ничего не значащее дело, по сравнению с хромой головой.

- А вдруг он бешеный?!? – испуганно шепнуло где-то назаднях одно сиротливое существо другому. – Вдруг с покусунюшками навалится!?

- Не бойся... - отшепнулись чуть в стороне. – Мы его, если что!.. ну уж!.. Ну, убежим, если что, и всё тут. А?

- Тихо! – прищурившись, рявкнул вожак. Повернулся к чёрному псу. - И что ты на наши головы-то свалился? Без тебя нам, что ли, бед было мало?..

- Ну какие беды! – мягко, но с ноткой тревожного волнения сказал чёрный пёс. – У меня есть драгоценность и я пришёл поделиться ею с вами.

- С нами?

- Со всеми.

- И что же у тебя есть такого, чем ты можешь поделиться со всеми? – насмешливо провизжала коротышка такса.

- Да! да! что же у тебя есть такого? – задиристо подхватила почти что вся стая.

Многим отчего-то стало забавно, а некоторым даже настолько забавно, что они почти что согрелись.

В глазах чёрного пса мелькнуло недоумение, но – тут же, недоумение гася – радость. Радость!

- У меня есть *смысл жизни*, - ответил пёс, и застенчиво и ликующе улыбнулся. – *Смысл жизни*, - повторил пёс, - ...я принёс его вам... всем.

Раздался дружный хохот. Некоторые собаки, чересчур уж обуянные смехом, завалились на спины, барахтая в воздухе лапами и заливисто хрипя.

Чёрный пёс удивлённо смотрел на стаю.

- Уф-ф... Ну ты даёшь! – вожак с трудом отфыркивался от смешинок. – Это уж, знаешь... - он укоризненно помотал головой, успокаиваясь и глубоко дыша. – Сумасшедший – и о смысле жизни!

Тут, не выдержав и снова захохотав, сам повалился на спину.

Чёрный пёс удивлённо смотрел на стаю.

...Смех стихал. Приятное, что ни говори, дело – всласть посмеяться, да поди не лето! – вдосталь не полакомишься. Смех стихал. Стих... Кое-где, правда, ещё пузырились всхлывания да пробулькивались тоненькие всхлипы, но то – не в счёт.

Смех утих.

Вожак вплотную подошёл к чёрному псу.

- А ты не обидчивый. – Одобрительно махнул хвостом. – Правильно, чего обижаться. ...Или... или ты на нас просто не обращал внимание? А? Был, как говорится, выше этого?

- Обращал, - тихо ответил чёрный пёс. И – ещё тише: - Иногда мне казалось, что вот-вот, ещё чуть-чуть – и я умру. – Голос его стал громче и твёрже: - Но я не умер, и по-прежнему хочу говорить с вами.

- Совсем дурак, - убеждённо сказал облезло-хулиганистый. – Даже обидно. Комар – и тот таких крякушек не наложит, хоть и пьяница.

- Комар не пьяница! – возмущённо заявила высокая мохнатая собака, в сумерках похожая на козу. – Ему надо!

- Ага, ты-то шерстистая... - буркнул облезлый.

- Ну, всё, хватит! – Вожак нахмурился и сузил глаза. – Нам ещё берлогу к ночи копать. Поесть сегодня – не поели... бывает... зато – посмеялись, тоже не каждый день удаётся...

Собаки стали подниматься со снега. Некоторые были очень слабы, и подняться им помогали соседи. Некоторые же – что казалось невзрачным – ещё сохраняли некоторый избыток сил, и, пока вся стая не онойлась к ходу, носились взад и вперёд, вздёргивая из наста плясые волны снежинок. Кто-то покашливал, отворачивая лицо от тугого долгого ветерка. Кто-то, должно быть, вспоминал – перебирая, шепча – давние рассказы бабушек и дедушек о собачьем рае...

- Прощай, - устало сказал вожак чёрному псу. – Не сердись. Мы смеялись, чтобы не плакать.

- До встречи, - в голосе чёрного пса не было ни усталости, ни печали. – До истинной встречи.

- «До истинной встречи», - хмыкнул вожак. – До истинной встречи с истинным псом... Ну что ж, до встречи, Пёс Истины! Но если при следующей встрече ты заставишь нас плакать, то вместо повернутых к тебе наших спин – узнаешь клыки на своей спине.

- Это не важно, - ответил чёрный пёс. – Доброй ночи у ваших боков! Тёплого снега под вашими лапами в завтрашнем дне!

...Стая – понурая дребёзглая вереница – размылась между деревьями, в кустах, в сугробных летящих межхолмиях. Чёрный пёс – удивлённый и внятный – долго смотрел вслед стае; неподвижный, - только чёрная с прорывью шерсть моталась в ветре, перемешиваясь с искрящейся шерстью зимы. А когда стаи, в размыве, не стало видно, пёс наблюдал – удивлённый и внятный, внимательный и спокойный – как следы ушедших, подёргиваясь, затягиваются позёмкой.

### **«Иви! Иви, малыш...»**

Пёс вздрогнул. Пёс опустил лицо в позёмку, глубоко втягивая ноздрями колючий скрипящий снег. Вперёд.

Ветер. Ветер окреп; ветер всё неотвязчивей, жёстче охлёстывал пса то с одной, то с другой стороны.

«Что ж, нужно укрыться от ветра...»

Пёс остановился. Спокойно, внимательно огляделся.

Полузанесённая железная бочка, лежащая на боку. Огромная бочка. Чуть подрить, чуть примять снег, и ночлег может быть вполне достойным... по крайней мере – не зависеть от ветра.

...Устроившись в бочке, чуть зарывшись в снег, пёс расслабился. Ему даже захотелось показать ветру язык, да делать этого не стоило, - пёс понимал. Ветер был другом. Излишне суров в иной раз – возможно, но надёжный и давний друг.

Пёс обвыкался в укромище.

«Помнится, мне уже доводилось житьствовать в бочках. В бочке... Та бочка была не железная – глиняная, и пахло там не снегом, но – снегом-морем... Да. И Псом Истины меня уже называли, полагая, что я сам себя так назвал, и не жалели издёвки и самого отборного презрения... Глупцы! Бедолаги... Им и невдомёк, как близко и под каким креном стоят их утлые жилища – их одинокие пристанища – у края бочки...»

Пёс закрыл глаза. Усталость... Как часто она прижималась, как беспомощна она была рядом с ним!..

Пёс закрыл глаза. Качнулся...

(- Эй, ты, голый идиот! хочешь заработать пару рыбёшек?

Здоровый, хмылкий... Должно быть, жрёт через каждый зевок, и всё – большими ломтями! ...Но зачем же так долбить ногою по бочке?!

- Ну, ты что, не слышал? Давай, вставай и помоги моим лентяям сгрузить тюки с палубы! ...Что тут, в вашем «прекрасном» городе, все такие лежебоки?

- Уйди, пожалуйста. Ты совершенно напрасно виснешь животом над моей крышей, - дождя нынче нет, и я в твоих услугах не нуждаюсь.

- Что? Что-о? ...Да ты наглец! – Бочку тряхнуло от удара. – Слушай, связка мослов, тебе одолжение делают, а ты лаешься?!

Бочку опять тряхнуло.

Вот дурак. Так, пожалуй, и бочку развалит, - придётся вылезать. Первый ученик сегодня; сам пришёл, – теперь, пока не отпущу, не уйдёт. Вот так. Палка отсырела, - хорошо, - тяжёлая, хлёсткая! Бей ремесленника с зада, торговца с головы! Хотя у них – что одно, что другое... Бей дурака! – покуда искрой не полыхнёт! покуда душа не затеплится...

Бочку тряхнуло.

- Ну, вылезай, бесстыдник! Работать не хочешь – дай хоть полюбуюсь, какой ты есть. А то всё болтают: Диоген... Диоген... Вылезай!

- Лезу, милый, лезу... А работать как раз хочу, так-то... за тем и лезу...)

Пёс, не открывая глаз, рассмеялся.

«Видишь дурака – помни: брат пришёл... пришёл за помощью...»

Да как!? Как...

Рассмеяние оборвав – плеснулся стон. Пёс, будто бы уже и засыпая, но – заворочался, вскрипываясь отяжелевшим боком в снег. ...Сколько их было, дураков... Сколько их есть! Как же им помочь, бедолагам?! как разомкнуть – вдосталь – объятия, чтобы вместились всё сиротское сонмище? лавина... Лечь под копыта – и не быть размётанным в клочья, нет! но – собрать и остановить, но – вне беготни – научить шагу, омыть и направить. О! – ...сколько раз под копытами, навзничь и вдребезги... Сколько раз! Сколько жизней... О!

А – сколько? Столько, сколько нужно.

*«Мне ковыль – на плечи – опахалом... Мне земля – к коленям – как дитя... Мне весна – горбыльным перекрестьем – перекрёсток, вросший в небосвод...»*

«Эй, сколько вас... Хватко и цепко вкрикиваетесь вы в жизнь, - а! а! а! – да так хватко и цепко, с таким усилием, что все силы в усилие и уходят. «Зачем?» «Как?» «Куда?» – не подходите... вот: не сближаетесь с этим и на прыжок улитки; вот: даже взгляд завзглядить – нет сил... вот: взгляд застрял в глазах, глаза – в голове, голова – на шее, и шея клонится, клонится, гнётся в ветре.»

...Широкая глиняная бочка, шероховатая, внутри же – гладкая, совсем как отшлифованная... Это я её отшлифовал, собою, - годы прошли. ...Когда мальчишки, играя, разбили бочку, я на мгновение потерял себя. Но только на мгновение! Я сумел вернуться к себе, почти сразу... но в тот промежуток, кажется, заплакал...

Пёс спал. Он не видел снов.

Сны собирались со всех сторон. Они стучали по ржави и мёрзлости бочковой спины. Они ныли. Они колобродили. Зазывали. Сердились.

Пёс спал. Он не видел снов. Но – видел, видел, видел себя: снег... железная бочка... обникшая влажная шерсть...; пёс взял себя – согревая – в свои ладони... – согревая... чуточку тревожа сопящий вздрагивающий нос тёплым дыханием, дыханием друга, - себя. Себя...

Сны собирались. Сны толковали – друг с другом – о том о сём. Сны больше не сердились на пса, - укладывались вокруг вперемеш-снежьевым угревным крошечьем.

...Разжмурит иная галка очи – холод... холод... а и не холодно; посмотрит: *с н е г ...*

Мир набухал и тужился, подобно огромному перезревшему апельсину, вдруг осознавшему себя роженицей. Мир переворачивался с боку на бок и загадочно – ох! – волнительно... – улыбался. Ах! что это? – да всё что угодно! ты только выбери.

Утро.

Пёс вылупился-выплыл из сна – клочковатый, сияющий инеем птенец; пасть разлепилась зевком; общёлком зубов – внимание. «Мир гораздо теплее, чем наши заботы о нём.» Мысль пришла следом за пониманием, - понимание пришло раньше. Именно. К этому пёс привык; привык давно-давно, из жизни в жизнь. Вот: разве возможно иначе? ...Да, возможно – о-го-го... – пока тебя нет... нет... нет вообще – пока, - как тех, с кем он вчера беседовал... Когда? Вчера... – было ли?

Нет.

Да.

Шажок из бочки, первый, - хрупкий толчок. ...Ни туч, ни ветра... ни пурги. О!: солнце! солнце, растущее из-за деревьев – игривый переливчатый бегемот, стесняющий все деревья в одну букву. Так! Так? Так! А сколько, сколько же должно быть букв, чтобы проступил изначальный смысл!?

Одна.

Пёс прочитал букву и обернулся: за его спиной росли крылья.

- Ты что, ополоумел?

Пёс поднял голову. По нижней ветке ближайшего дерева топоталась галка. Да топоталась не абы как, - что ты! – всполошено, возмущённо.

- Ты что? а? Ты что?..

Возмущённая галка никак – ну никак! – не могла развить мысль до окончательного восклицания, что и окончательно возмущало её, прямо-таки напропалую.

- А что? – слегка удивился пёс.

- Что!?! ...Это вот что... вот что это там, у тебя за спиной!?

- Крылья, - радостно ответил пёс.

- Крылья!?! – галка топнула лапой и бормотнула в воздухе клювом. – Ты что, птица? Ты – птица?

- Я – пёс, - спокойно ответил пёс.

- Что это у него? – раздался любопытствующий голосок. – Ну и чудеса!

На ветку, выше той, где сидела галка, измелькнулся с соседнего дерева пушистый комок. Белка. Измелькнулась; застыла; заторопилась быстрыми мелькающими глазёнками рассмотреть диковинку.

Пёс сделал несколько шагов, из каждого шага – распрямляя, расправляя крылья.

- Интересно! – Белка заприплясывала. – Ой, интересно!

- Ничего интересного, - хмуро сказала галка. – Этот зверь спятил. – Забеспокоилась: - Спятил! ...Ну ничего себе! Была бы орлом – морду бы ему набила!..

- За что? – обалдела белка.

- Ты что, дура, хвостатая? – на глазах непонятой галки навернулись слёзы. – Нам ещё летающих собак в лесу не хватало! Бегающих, прыгающих, твякающих – сколько угодно, а теперь ещё и летающие! – Галка нервически засуетилась – что клювом, что лапами, - дело шло к явной истерике. – Вот расплодится этот барбос, - тут галка не выдержала и зарыдала, - расплодится и сожрёт тебя! А уж там – чего уж тут! – скорость мало-помалу разовьёт, и до меня – и до всех! – доберётся!

И пёс и белка слушали дёргающуюся всхлипывающую галку с раскрытыми ртами. Во даёт! ...Впрочем – недолго: галка неожиданно замолчала, закачалась, и – в обморочной невнятице – рухнула на снег.

Пёс – в прыжок – бросился к ней. Подхватил балабольную истеричку со снега и стал встряхивать её, норовя привести в чувство.

- Добрался! – восторженно заголосила белка и захлопала в ладоши.

Галка – глаза приоткрывши, крылом дрогнувши – мутным взглядом обозрела происходящее, и, разумеется, обнаружила себя в лапах пса.

- Чудовище настигло меня!.. – простонала галка и снова запрокинулась в обморок.

- Э-ге-гей! – восторженно кричала белка, хлопая в ладоши всё непристойней и заливистей, да так, что снег, с конца ноября прочно закрепившийся на ветках, стал понемножечку осыпаться. – Э-ге-гей! Заходи справа! Лохмать ей уши!

Пёс, вздохнув, положил галку на снег и посмотрел на белку.

- Ты чего разоралась? – спросил он. – Чего шум-гам подняла, рыженькая?

- А холодно! – задорно сказала белка. – Надо же как-то греться.

- Но разве можно – так? Разве можно – так – греться? Это же гадко...

Внезапно – выплеснулась из облизь рухнувшей глубины усталость. Задрожали и подогнулись лапы, заиндевели кончики ушей, обмякли усы. Выплеснулась; обхлестнула, сотрясая тело; попыталась сковать... Да. На чуть-чуть...

Усталость не пугала пса. Слишком уж была она привычной, слишком уж давней спутницей... иногда – молотом, пригнетающим к наковальне, иногда – наковальней, распластавшей его на себе в ожидании молота, но – всегда! – пустяком, пустяшной угрозой, шелестящей, скрипящей тучей, которая совсем не туча, которая совсем мираж, и сердцевина – там, за сдувом миража – призыв и надежда.

Что же тут сделаешь? – ничего тут и не надо делать: так уж угораздило мир, так свело – гнуть тебя... ты не суетись, не тормозишь, не проси, чтобы гнуть перестал, ты – не гнишь.

(Мама... мама... Какое у неё красивое имя: Белая Гирлянда. Мама... Какая она юная! – но горечью стиснут взгляд и лица коснулись морщины... Мама...

- Мама, почему люди не летают?

Мама – сквозь слёзы – улыбнулась. Мама отвела взгляд и посмотрела на дрожащее пламя светильника. Долго смотрела... Вновь повернулась к затихшему на кровати сыну; поправила сползшее одеяло.



- Спи, мой маленький... Спи... Скоро погаснет – уснёт – огонь, скоро вспыхнут – проснутся – птицы... а ты всё не спишь...

- Мама, ну почему? Почему люди не летают?

- Слишком они жадные, сынок. Слишком жестокие. – Мама вновь отвернулась к светильнику – к дрожащему, мерцающему, засыпающему. – Тяжело им от земли оторваться; и в землю уйти – когда время придёт – тяжело. Не любят люди мечтать – просто так, даром. Не любят летать...

- Мама...

- Спи, Тхёпага.

- Мама, а почему люди жестокие?

- Почему? – В глазах матери мелькнул гнев. – Потому что это легче всего! Любить – труд, а ненавидеть – всякому бездельнику под силу! Беречь, лелеять, растить – зачем? – когда можно отнять, затоптать, разрушить... О, здесь упрашивать людей не надо!: они толпой бегут к тому, во что можно вонзить клыки, по локоть погрузить руки!..

Он сдвинул одеяло. Мама плакала, беспомощно уткнувшись в лёгкие прозрачные ладони. В дальнем углу беспокойно заворочалась под одеялом маленькая сестрёнка. Мама...

Он встал на коленях в кровати и крепко прижался губами к мокрой материнской щеке. Какая она юная! – как глубоко ей довелось коснуться горя...

- Не плачь...

Отца он помнил хорошо: весёлый, красивый... Постоянно куда-то уезжал, откуда-то возвращался. Возвращаясь – всегда привозил подарки: ему и маме и сестрёнке, которая была ещё совсем-совсем крошечной, но так замечательно умела радоваться. Каждый раз – к приезду отца – он придумывал какую-нибудь песенку, а то и сразу несколько. Оказалось: у него замечательный голос, а музыка и слова приходили сами собой, их даже не нужно было искать. Сами собой... И отец и мать были в восторге от своего необычайного сына: удивлялись, покачивали головами, весело тормошили его... а отец – высоко подбрасывал вверх, - высоко-высоко, выше самых высоких гор... И родственники изумлялись, и соседи... Их молодая семья была в селе самой знатной, самой богатой, вызывающей зависть и уважение. Достаток, полный достаток, и даже сверх того. Но никогда этот достаток не прятался по углам и мешкам: они щедро делились – едой ли, одеждой ли, кровом – с теми, кто просил их и даже с теми, кто не просил, но в помощи очень нуждался. Всегда... ..А потом – отец умер. Как только он умер – ближайшие родственники обобрали вдову и сирот до нитки, выгнали из дома, оставив им только ветхую хижину на окраине да малюсенький клочок земли... Почти все жители села одобрили этот разбой: кто-то – сам приложил руку, тяготея к поживе, кто-то – испытывая удовольствие от того, что можно смотреть с презрением и свысока на тех, к кому ещё недавно испытывали зависть. Теперь их семья стала самой нищей, самой ничтожной семьёй села. Издёвки, насмешки, оскорбления редкий день не стучались к ним в дверь. Обычным развлечением для некоторых сельчан стало отвешивание проходившему мимо Тхёпаге пинка – просто так, потому что проходил мимо... Иногда мальчику казалась, что его мама сойдёт с ума... А ему... а в нём, как ни странно, не возникало неприязни к обидчикам: глубокое всеохватное страдание приходило к ребёнку, - нарастающим звуком, призывом, - пронзительное и незыблемое, как заснеженное вершинье гор, стеснивших его село.

- Не плачь, мама...

- Я и не плачу. – Всхлипнув, она отняла лицо от ладоней; в глазах – сквозь слёзы – блеснул жёсткий холодный крик. – Я не плачу, сынок. – Мать чуть отстранила его от себя, крепко взяла за плечи: - Тхёпага, Мила Тхёпага, запомни: ты должен стать большим и сильным...

- Хорошо, мама...

- Ты должен стать очень большим и очень сильным. Ты должен наказать тех, кто растоптал нашу жизнь.

- Но, мама...

- Ты должен! – громче повторила она и строго посмотрела в глаза сына. – Обещай мне...

О, какая тяжёлая тишина! Какой тяжёлый мир... Какие же плечи нужны, чтобы нести на себе этот мир! – какие же нужны ноги, чтобы дойти...

- Хорошо... Обещаю...

Внезапно, мамины руки ослабли. Вскрикнув, она упала на присыпанный соломой пол; замерла.

Так уже было. ...И теперь он сидел на полу, положив мамину голову себе на колени; тихонечко напевал, гладил волосы; запоминал.

«Мама... мама... Я обещаю тебе больше, чем я обещал...: я обещаю тебе счастье... Мама... мама... И тебе, и – всем...»

Как долго... )

Вздвогнув, пёс – в одно проливное движение – расправил крылья. Первый же взмах – и тело стало горячим, лёгким. И всё вокруг – горячим, лёгким, простым.

Галка приоткрыла, и вновь торопливо закрыла глаза.

- Вставай, - улыбнувшись, сказал пёс. – Не ерунди.

- Не встану, - упрямо сказала галка, не открывая глаз.

- Это она спящую принцессу изображает! – хихикнула с ветки белка. – Ждёт, когда принц какой-нибудь целовать начнёт! ...Ага!! – завопила белка. – Вот и волки! – целая компания принцев! Сейчас целовать начнут!..

- А-а-а!!! – даже не подпрыгнув – галка свечкой взвилась к небесам. – Караул!!!

Через мгновение галка была уже в какой-то невероятной дали. Крохотное пятнышко, навзрыд улепётывающее от судьбы...

- Ну зачем ты так!... - вздохнул пёс.

- А чего она! – хмыкнула белка. Чихнула. Утёрла нос. – Покатаешь? Покатай, а!

И радостно уставилась на пса.

- Покатаю, малышка. – Пёс посмотрел на небо. – Снега сейчас не будет... но наверху – ветер, имей в виду.

- Ерунда! – беспечно махнула лапкой белка. Немного сконфузилась: - Только ты не очень высоко, ладно? Я ещё ни разу не летала...

- Я не высоко, - успокоил пёс. Мечтательно прикрыл глаза: - Мы с тобою поднимаемся над лесом... Мы посмотрим – мы только посмотрим! – сверху на лес, и позволим лесу посмотреть на самого себя нашими глазами, - увидеть себя таким, каким он никогда себя не видел... Прыгай!

Белка – с ветки на ветку, с ветки на ветку, - и вот она уже на спине пса. Уютно устроилась промеж крыльев. Лапками крепко вцепилась в шерсть.

- Ты только потихоньку...

Звонкий шелест, - звон! звон! лепечущая сирень! – белоснежные, с рыжими промельками крылья упруго качнулись, расправились, взмыли; высокие трезвонные паруса, - лёгкие, проливные! – сияющая память времени. Всё выше и выше. И вот он – лес: чёрное и белое; зелёные всплески сосен; пёстрое, рассеянное по веткам, льнувшее между стволами. Чуткие нежные верхушки деревьев порывисто трепетали в бурлящих потоках ветров; казалось: просторная быстрая река... и водоросли, выходящие из глубин... и мельтешащие рыбки, рыбы, громадные рыбины, - стайками и по одиночке, в разных направлениях, по разным делам... Так понималось: стоит подняться ещё повыше – и лес свернётся в пушистый

мягкий клубок, сверкающий и далёкий, - в тёплое, дорогое, дарующее приют и ласку... в маленький золотистый шар... в блёстку, среди многого множества блёсток мироздания, которую трудно увидеть и которую невозможно – невозможно совсем! – проглядеть. Что это? – дымка... дымка... Туман... Мираж...; и мираж – пребывание в нём... и мираж – рождение в нём... и смерть... но то – идущее сквозь – утверждено незыблемо, видится вне миража, но и – в нём, но и – во всём сразу...

Лес смотрел на себя, торжественный и внимательный. Лес смотрел на себя, и – от грани до грани – понимал, и – понимал внегранно.

- Обалдеть... - тихонько выдохнула белка, крепче вжимаясь в горячее тело пса. – Это ж надо...!..

Пёс молчал... Пёс молча парил над лесом... Нет, не пёс – Большая Белая Птица, драгоценная и родная, истряхивающая из светлого оперенья память снегов. Птица... Конечно же – Птица! Но и мерцанье пса угадывалось из неё... но и мерцанье любого-всякого зверя...

- Птица, милая Птица, - шепнула белка, - давай вернёмся, спустимся вниз. А то я с ума сойду!

Птица крикнула. Птица запела. Птица стремительно ринулась вниз, - сквозь, сквозь, - лес разворачивался и дрожал, лес благодарно распахивал объятия, радостно шёл навстречу. Вниз, вниз! ...Они плыли сквозь лес... сквозь водоросли, в цветении и извивах... над пёстрыми каменными горами... над снующими обитателями глубин... Большая Белая Рыба с рыжим хвостатым комочком на спине неторопливо и строго, мягко раздвигая препятствия и неясности... продвигаясь неведомо куда... неведомо как...

Здесь сталкивались и сплетались миры. Здесь мысли привольно хождения, как привольно ходят кони, не ведающие седла. Здесь чувства были чисты, и каждая нота, и обмельк всякоголика.

- Ах, Рыба, милая Рыба, - шептала белка, - мне кажется, что я уже сошла с ума. Но так хорошо! Хорошо...

Рыба качнулась, качнулась! Рыба ринулась – растренькивая паузы и чехарду – вверх, вверх! - хохоча, истягивая все струны, ударяя в колокольцы и колокола! Вверх-вниз!.. Вверх-вниз!..

Белка покатила с гладкой спины, - ткнулась в пышный сугроб. Целая куча холодных белых искр! Целая тысяча! Миллион миллионов!

- Уфф-ф...!

Белка отряхнула снег. Напротив – в двух прыжках от неё – стоял чёрный, с рыжими подпалинами пёс. Пёс улыбался. Пёс широко-широко улыбался, приветственно поглядывая на белку смеющимися глазами.

- С прибытием, рыженькая!

- Ага!.. – Белка фыркнула, стряхивая с усов снег. – Ну и дела! Ну и покатались!

Пёс поинтересовался:

- Всё ли в порядке? Не ушиблась ли? ...Хвост-то цел?

Белка оглянулась.

- ...Ой!

И впрямь: «ой!» Хвост был цел, - но не успел взгляд её добраться до хвоста, как уткнулся в крылья. Два маленьких золотистых крыла, лёгкие, как утренний сквозняк.

- Ну и ну! – Белка от неожиданности даже подпрыгнула. – Да я теперь не то, что орехи – звёзды собирать могу!

- Можешь, - подтвердил пёс. Напружинил лапы. Качнул хостом. – Мне пора. Мне пора, рыженькая. До встречи!

- До встречи! До встречи!

Долго стояла белка, - вглядывалась, провожала, - смотрела на бегущего...-летающего...-плывущего сквозь снег пса.

«...Он бежал, бежал, бежал, бежал. Он бежал сквозь леса и луга и улицы и дома и ветер, он бежал сквозь эхо, сквозь облака... Будто бы – плыл-струился, - вот как бежал! Отовсюду – солнце, да радуга, да иная сиянная живность, всюду – о! – невыразим, неизъясним, несказанен! Так, так: подошвами касался земли – не касаясь земли, а там, где бежанье свершилось – рассыпались сбитые следжавшиеся пласты, вспучивался-развеивался асфальт; обнажалось нутро земли, прекрасное, готовое ко всякому прекрасному изрождению, прекрасное в каждом своём желании. ...Вот! и то, что окружало его, наполняя весь мир, - алое-алое, с просыпью золота и серебра.

Я встретил его, и был очарован, и не мог удержать порыва окликнуть его, расспросить.

- Послушай! о послушай меня, бегущий! – кто ты?

Он не останавливался. Он продолжал бежать.

И я побежал вслед за ним, всем телом вжимаясь в скачущие линии-пружинки сиюсекундного бытия, в трепетный шлейф бегущего-несказанного. Да! – всем телом, и всем, что помимо тела, а потому услышал, - хоть и крохотного словца не было вопросу моему в ответ, - услышал, услышал! И прикоснулся к беседе» ...

Равнина. Гнутся травинки под снегом... под снегом... Под тяжёлыми зреющими семенами...

Лето. Звонкое, напитанное немыслимой синевой небо... Первые капли дождя... Октябрь...

Осень.

Пёс остановился. Пёс посмотрел в сторону горизонта и зажмурил глаза. Улыбнулся...

«... - Куда ты бежишь? – склонилась Цветущая Вишня к Кузнечику, шевельнула цветками. – Куда ты торопишься? Почему не озираешься по сторонам?

- О! о! – заторопился Кузнечик, - я бегу к озеру! К озеру! К озеру! ...Я мечтаю отразиться – и увидеть себя! О, я так мечтаю!

- Зачем? ну зачем, малыш? – ласково прошелестела Вишня. – Ты можешь остановиться здесь и дожидаться схождения ягод. Самая спелая ягода – будет твоя.

- О! о! – заторопился Кузнечик, - я бегу к озеру! К озеру! К озеру!

И бежал, и бежал Кузнечик.

Многих встречал он в бежанье. Тут была и Жёлтая Жаба, и Камень, и Облако, дремлющее над поляной. Все окликали его; расспрашивали; предлагали кто что мог – только бы утешить, обласкать странника, одарить его каплей покоя. Травы склонялись к Кузнечику, норovia докоснуться, обнять, - притянуть и прижать к груди.

Но – бежал, и бежал, и бежал.

...Ах, как мечтал он увидеть себя! – всегда он мечтал об этом... Вот как: отразиться! отразиться – и увидеть себя. А иначе... Мир был так плотно наполнен запахами, звуками, красками... заботами и надеждами... ознобом и памятью... – так плотно! – Кузнечик совсем заблудился, совсем растерялся, совсем опечалился и поник... И ещё – мир: один раз ему приснилось, что он – Кузнечик – мир... весь мир...

...Сколько бежал Кузнечик? – кто знает... Бежал и бежал. И добежал до озера.

И склонился.

И отразился, - весь, без остатка, до самого что-ни-на-есть мгновенного обмелька...

И склонилось озеро на Кузнечиком – глядяваясь, отражаясь... озеро над озером... глядяваясь, отражаясь – осознавая себя миром » ...

Море... Берег... Тихий стеклянный прибой...

Взмывный огромный камень на берегу; пёс подошёл к камню, и – в прыжок – коснулся влажной вершины. Возлёт.

*«...Я написал книгу, и Некто сказал мне, что моя книга – это всё, что знает человечество о дожде.*

*Разумеется. Так и есть.*

*Я написал ещё книгу. И ещё. И ещё много-много книг.*

*Именно так всё и возникло. И возник мир.*

*Как-то раз, растворяясь в дожде, я по рассеянности написал человечество. Мне стало стыдно. Стараясь как можно быстрее исправить случившееся – я написал знание.*

*...И – замер. ...И – всколыхнувшись собственным отражением – замер.*

*...Задумался» ...*

То ли шёпот... то ли бурчание... – но что-то елозило рядом с камнем. Что-то тревожило пса.

Он посмотрел вниз.

В щель – между песком и камнем, стараясь как можно теснее прижаться друг к другу – забились два жёлудя. Продрогшие, в царапинах и тревоге, жёлуди никак не могли решить: затиснуться ли им глубже в щель, совсем уж уйдя в песок, или выйти на береговой простор. Тут ведь как: выйдешь на береговой простор – и ты уже берег, ты уже скалы, ты уже море... Ты – всё. А иначе как? – никак! И предчувствие осознания – смущало странников, заставляло метаться вне внятности и решений, вне дороги, закутавшись в полумрак щелевой обочины.

Пёс спрыгнул с камня. Придвинулся ближе к мерцающим желудям, всматриваясь.

Они были прекрасны. Они были ужасны. Они не знали – какие они, и это настойчиво сбивало шаг, путая, разбивая следы.

Пёс вздыбил шерсть; блеснувший оскал... горящий взгляд... Пёс крикнул! Грозное рычание – всеохватный сияющий поток – смыло и берег, и скалы, и море; истаяли, разбрызнувшись капелью, песок и камень. Ничего...! – только щель, в которую забились жёлуди; и щель разверзлась – провал, яма – втягивая в себя, собой наполняя, из себя – наделяя прочностью и пониманием; исчезая, исчезая... Два жёлудя – два светлячка – взмыли и понеслись, вначале – поодаль друг от друга, но – сближаясь, сближаясь... И сквозь них, и вокруг них, и ими – неявно, но внятно и навсегда – проступала дорога.

*«...А птицы поют. А деревья колышут листвою. А тучи пляшут из ветра.*

*И горы стоят упираясь вершинами в звёзды. И хорошо горам. И хорошо звёздам.*

*Я же – о вас говорю, дорогие родные. Все вы мои родные, кто же ещё...*

*...Мне хочется понять: зачем вы? откуда вы? для чего? Мне очень хочется это понять. Понять, и уже не расставаться с пониманием, не теряться, не разделяться с ним.*

*Да нет! – я знаю: зачем, откуда, для чего... Знаю; но знаю не окончательно, не вполне. Не вполне... Это очень мешает смотреть на вас из знания, - видеть вас, видеть себя; это очень мешает знанию быть окончательно-и-вполне.*

*Я всматриваюсь в вас. Я непрерывно всматриваюсь в вас. До дрожи зрачков, до онемения бытия...*

*Я начинаю понимать. Ещё не всем собою, не вообще, но – чувствуя прикосновение, и неотвратимость прикосновения, и доверчивую и тёплую взаимность его.*

*Это – я. Мне хочется понять себя... Мне очень хочется понять себя... Это так просто»...*

Пёс неторопливо шёл по морю

Вокруг него вздымались и опадали волны. Упрямо гудели ветра. Шебуршились большие и малые морские жители.

Пёс не замечал всего этого. Пёс шёл по морю...

Вечер. Остров. Маленький посёлок на берегу. Сушатся, распаянные на высоких палках, драные сети. Лежат перевёрнутые – днищем вверх – лодки.

Пёс вспрыгнул на одну из них, прилёг. ...Распаренное, прогретое за день дерево. Острый запах смолы, соли, близких – примеченных ещё с моря – сосен.

- Рыжик! – в распахнутое окно ближнего к берегу домика выглянула женщина. Ещё раз позвала: – Рыжик! Где тебя носит? Немедленно иди домой!

Пёс рассмотрел на берегу маленькую девочку. Рыжую-рыжую! – похожую на белку. Девочка что-то строила в песке из круглых разноцветных камешков, и – ну это было очевидно! – совсем не собиралась прерывать свой увлекательный труд. Она только досадливо передёрнула плечиками, делая вид, что не слышит и приткнулась пониже к камешкам.

«Рыжик... - Пёс хорошо помнил это имя. Протяжно обернулся на горизонт: – Привет тебе, Рыжик...»

(«Рыжик, - просила мама, - принеси воды.»

Он брал кожаное ведро и торопливо бежал к ручью. Он знал, как обрадуется мама, когда он принесёт полное, по самый край, ведёрко, быстро и не капли не расплескав. Он сходит ещё и ещё раз. «Какой ты у меня сильный» - скажет мама, и вспыхнут золотистые песчаные искорки в её взгляде, и глаза потеплеют.

Сводные старшие братья – сами не лентяи, и если их попросить, охотно, без всяких препирательств сходят за водой. Но мама – робела: они были старше её. Нет, молодая жена отца старшим детям нравилась: весёлая, заботливая, работающая, но, вынужденные называть эту девушку матерью, постоянно конфузились – то смеялись, то, без особого повода сердились. Младшего братишку они любили, хотя и часто подшучивали над его – не по годами – тихими, уединёнными играми.

Игры... А это были совсем не игры. Впрочем, он привык, что взрослые всё, что избежало их понимания в поступках, словах и мыслях детей – называют игрой. Восьмилетнему же мальчику казалось – наоборот: взрослые играют, играют надрывно и тяжело, - всю свою жизнь не могут остановиться. Ну разве не так? Он видел! В поте лица своего они целыми днями занимались тем, что не приносило никакой радости, никому, а если и приносило – то это были скорее промельки удовлетворения, так же не схожие с радостью, как несхож сладкий пирог с весенним рассветом. Они очень серьёзно, с почти благоговейным трепетом, относились к деньгам – медным, серебряным и золотым металлическим ломтикам, похожим на раздавленный овечий помёт. Мальчик слышал даже, что некоторые люди из-за денег настолько сходят с ума, что готовы быть обманутыми или обмануть, быть обиженными или обидеть, быть убитыми или убить. В его семье, конечно, таких сумасшедших не было, но серьёзность, прижатая к металлическому овечьему помёту – это так мало увязывалось с разумом и глубиной! Правда, в общине, где они последнее время жили, к деньгам относились значительно легче, и часто делились с теми, кто в них нуждался. ...А ещё – взрослым очень нравилось играть в начальников и подчинённых. Некоторым – нравилось начальствовать, подчинять, руководить, даже если они этого не умели. Другим – слушаться, подчиняться, выполнять указания, с готовностью или недовольством, но – покорно, угодли-

во. И те и другие получали видимое удовольствие от выбранного ими состояния, а вот радости в них – не было. ...И – война.

Все вокруг обожали рассказы о войнах, побоищах, стычках. О смельчаках-одиночках, о сшибающихся армиях и покорённых землях. О великих, прославившихся жестокостью и кровавыми победами, полководцах. Даже его, только рождённого, назвали в честь одного из легендарных полководцев, когда-то, в древности, бывшего вождём их народа – Навина. Так советовал сельский рабби. Так полагалось. Этот Навин раздобыл тем, кого он вёл за собою, страну, где они и по-сейчас живут. Он без колебаний убивал, разрушал, сжигал; его солдаты грабили и насиловали, и их предводитель полагал это делом праведным; его войско стирало с лица земли селения и города – безвыборочно уничтожая тех, кто иначе жил и думал. Он хотел, чтобы у его народа ни в чём не было недостатка, в том числе – не было чужаков, которые, разумеется, стали чужаками, как только народ Навина поселился на их земле. Он был невероятно жесток, и жестокость его была страшнее, чем меч в его руках. Мальчик не понимал горения и восторга взрослых – слушающих или излагающих – от рассказов о тех, кто приносил другим только ужас, горе и боль. Странно получалось: чем больше и большему количеству людей принёс какой-то человек горя, тем больше он был прославлен, тем большее вызывал восхищение. ...Мальчик не видел больших войн, но как убивают и насилуют – он видел. И не хотел, чтобы это случилось с ним или с кем-то из его родных. Вообще – ни с кем. ...Мальчик чувствовал своё имя как бы запятнанным, измученным, - и часто беседовал с ним, утешая, успокаивая, обещая всё переменить и всё исправить. Он знал: имя верит ему, имя верит в него, имя готово ему и себе помочь. Из знания – сияющего и прекрасного – рождалось высокое горячее дыхание, переполнявшее мальчика.

Ну а его игры... Разве это были игры? Какая же это игра – поговорить с соломинкой о дожде...? Расспросить бабочку, что видела она, что встретилось ей по дороге, какие новые мысли попросились к ней в голову, что хорошего случилось в её жизни...? и: не надо ли чем помочь? Покачать на ладонях залистый утренний ветерок, расспрашивая его о вчерашнем дне...? Какие же это игры? ...Мальчик раскладывал на полу – в сарае, в самом дальнем и тихом уголке – сухие травинки, камешки, глиняные черепки, располагая их в необычном, понятном только ему, порядке и сочетании, - слыша и слушая, наблюдая и позволяя наблюдать себя, понимая и – это было самое чудесное! – будучи понятым. Да, его понимали; не всегда, - но его понимали! ...Так он сплетал и расплетал мир. Так мир сплетал и расплетал его. Так они учились смыслу друг друга, дыханию друг друга, истине и верным шагам.

Когда вечерело, через щёлки в стене – в сарай приходило розовое и багряное, загадочное, говорящее. Знамением и прорицанием привносился протяжный, многозвончатый крик сверчка. Жизнь сворачивалась в пушистый мягкий клубок из прогретой у очага козьей шерсти. ...Прячась за деревьями, за спинами тяжёлых каменных хижин – в селение приходила тишина. И – из тишины – отчётливее закреплялись в пространстве голоса людей и животных, дребезжанье колёс по бугристой прокалённой земле, робкие просвисты вечерних птиц в кустарниковых чащах; из дворов – скрипы, плески, стучанья... топотанья... потрескивание костерков... тугие сильные переборы вещей и событий... Что это? Шевелятся, повизгивают тонкие канаты, скрепляющие каждый кусок бытия, каждую его крупинку, - рыболовная сеть, шелестящая в сквозняке...

«Рыжик, где ты? Малыш!...»

Только мама называла его так. Только её голос был таким, что хотелось смеяться и плакать – одновременно. Только мамины шаги он узнавал задолго до того, как она собиралась шагнуть, - и вслушивался, и слышал, и подпевал им, тихонечко постукивая себя по коленям, покачивая головой, улыбаясь.

«Рыжик! ...Ну куда ты опять спрятался? ...Мы ужинать садимся!»

Мама знала, где он, но не хотела врываться в его мир, не хотела ничего расплёскивать; понимала: её сын очень хрупок... все талдычили, какой у неё красивый, выносливый, сильный мальчик, а она — понимала: хрупкий, очень хрупкий, почти стеклянный...

«Рыжик, мы ждём тебя!..»

Мама ушла в дом.

Мальчик встал; постоял немного, позволяя затёкшим ногам обрести подвижность и лёгкую поступь; распрямился, — поклонился своему миру, приветствуя-и-прощаясь. «До завтра...»

Он выбежал на улицу — и замер. На улице были звёзды.)...

Пёс смотрел, спокойно прищурясь, на мерцающий звёздный поток. Его усталые, натруженные долгим бегом лапы чуть гудели, рассеивая по телу мурашки и звон, призывая к покою, к пусть небольшому, но обязательному отдыху.

Пёс смотрел на звёзды. Звёзды смотрели на пса.

Они были давно знакомы друг с другом. И какие тут могут быть церемонии? Между старинными друзьями всякие церемонии — суэта... Звёзды тоже просили пса — отдохнуть, приблизиться к ним из сна.

И он согласился. Вдохнул; закутал в лапы лицо; закрыл глаза...

...(Даже внешне — он очень отличался от всех остальных детей в округе. Они — смуглые, черноволосые, он — светлее, и волосы были не тёмные, а — тёмно-рыжие. Мама рассказывала, что когда он был совсем-совсем маленький — он был совсем-совсем рыжий, ярко-рыжий, почти как апельсин. К восьми годам волосы немножечко потемнели, но зато рыжие точки, рассеянные по всему лицу, остались прежними; их даже стало больше, и как-то раз — из жаркого полуденного марева — младшая сестрёнка восхищённо заявила, что его лицо похоже на небо, только на небе звёзды — ночью, а у него — днём. И с тех пор старшие братья и сёстры стали именовать его, добродушно поддразнивая, «небесным мальчиком». Постепенно, это стало почему-то угнетать его, мешая видеть самого себя — так, как он привык себя видеть.

«Небесные мальчики очень нужны поднебесному миру, — утешил его отец. — Не огорчайся». - «Зачем?» - «Ну а как же? — спокойно удивился отец. — Людям нужно помнить о небе, и тогда они, возможно, будут чаще вспоминать о земле. Небо прекрасно. И если небесного человека не обидят, он сможет стать самым прекрасным, что только есть на земле!» - «А если обидят?» - «Тогда он уйдёт к звёздам, и трудно будет найти его среди звёзд, потому что все они прекрасны...»

Это сказка, он понимал. Да. И понимал, что сказка — то, что существует на самом деле, а то, что считается существующим на самом деле — того нет... по крайней мере, пока в том, что считается существующим, не появится сказка.

Отец его был очень стар. Почти как дедушка, и даже — как прадедушка. Он очень любил рассказывать сказки. ...Вся семья рассаживалась, где кому удобнее, чаще — за длинным растрескавшимся столом. Мама всегда садилась поодаль, в шкуру, постланную на полу; о, как хорошо было чувствовать её тонкие, сильные, родные-родные руки — прижимающие к себе, мирно дремлющие на плечах... ощущать прикосновение — украдкой, исподволь — тёплых губ на виске, мягкой горячей щеки, трущейся о рыжие пряди любимого сына... Отец вёл рассказ неторопливо, вдумчиво, никогда не делая долгих пауз и всегда сохраняя удивительный, присущий только его речи, колышавшийся плавный ритм, схожий с морскими волнами... с барханами, текущими-перетекающими с места на место, в правильном дальнем ветре — бредущими по пустыне... Отец рассказывал о странствующих кораблях, принимающих людей в дивный певный полёт, о говорящих птицах... О многом. И — почти никогда — о сражениях или царях. Ему это было не интересно.



А мальчик... – он крепко-крепко тискался в круглые мамины колени, как будто терял их, как будто они были уже далеко...

«Иисус, не ёрзай. Сиди спокойно, - с ненастоящей строгостью окликал его отец. – Будь внимательнее, малыш...») ...

«Мария... Мария... Маша...»

Мир... И звонкий и бесшумный шар... и чёрно-белое верчение... клубок миража, избегающий прямого взгляда... ищущий его...

Лёгкая судорога прошла по телу пса. И – судороге вослед – угроза... помощь...

«Мара...!»

Пёс насмешливо напряжился из сна, и густые ветви дерева Бо качнулись над ним.

...Что это? Жарко и сухо. И нет здесь ни капли воды.

Он облизнул спёкшиеся губы.

Здесь живут, толпятся, желают. Здесь требуют и обливаются слезами. Здесь отворачиваются и ропщут. Вот они – миражи... Их тела растрескались и поникли, и всё, что изъязвлено трещинами – мерцает взглядом... О! – они очень хотят пить, но совсем не знают об этом. А вода... воды – нет.

Пёс осмотрелся. Железо, да камень, да груды стёкол... вот – кипящая пышущая резина... Изломанная земля – в разверстыях, промятастях, морщинах... На земле – обтрёпанный суховеет – бумажный свёрток, до половины выпавший из шуршливого пластикового пакета... Тетради... Пёс подошёл к ним.

«Ах, мой добрый, мой милый мальчик Семён! – вот и пригодились твои тетради... О, как же они нужны! Спасибо...»

Пёс сдавил лапами тетрадный свёрток, скручивая, вжимая его в землю. Тетради умалились... затрещали... набухли... Взлопнулись! И из земли – с трудом, но радостно расчищая себе тропинку – забил родник! Заструился, зажурчал, расплеснулся – раздвигая обломки, осколки, ржавь! Побежал! Побежал! Полетел!

Пёс окунул, глаз не зажмурив, лицо в родник: омылся; напился вдосталь. Посмотрел, роняя капли в сухую землю, на радостный лёт родника. Качнул головой:

- Доброй дороги, малыш! Доброго, долгого терпения...

Родник зажурчал, запел!..

*«...Из леса выходят скворцы и козы, из леса выходят медведи и лисы, еноты, бобры, снегоиры... Выходят деревья... Сегодня к моей поляне прибрёл дуб; он сокоснулся с омывающими поляну берёзами, неслышно встал между ними...*

*- Здравствуй, Наставник, - сказал дуб. – Я слышал, ты принимаешь всех...*

*- Здравствуй, Прекрасный и Сильный, - ответил я ему. – Мне некуда принимать... но – только благодарить, тех, кто хочет быть рядом...*

*- Я рядом хочу быть, - сказал мне дуб.*

*- Благодарю... » ...*

«Лето... Как часто нам кажется, что времена года не схожи одно с другим...»

Вот: цветы. Огромные жёлтые цветы.

Пёс с интересом принюхивался к ним.

«Подсолнухи – в лесу. Это очень красиво!»

Подсолнухи росли на самом краю полянки, возле берёз. Бело-чёрно-зелёные берёзы и жёлто-чёрно-зелёные цветы. И странно, и дико, и хорошо! На самой же полянке, обступая со всех сторон давным-давно остывшее костровище, росли ромашки. Много-много ромашек. Целый океан!

Привалившись боком к просевшей стенке шалаша, пёс любовался, неторопливо и бережно облизывая красоту.

...Со стороны ручья послышался затяжной отрывистый лай. Пёс приподнял голову.

На поляну выскочило сразу несколько десятков собак; выскочив – замерли, увидев пса. К ним присоединялись всё новые и новые собаки, и вскоре поляну обступила целая толпа, - разношёрстное бродячее собрание, по-летнему миролюбивое, удивлённое.

Толпа расступилась. На поляну вышел вожак.

- О-го-го! – вожак захохотал. – Так вот это кто! Пёс Истины!

Пёс, не вставая, чуть приметным кивком – поклонился.

- Давненько не виделись! – веселился вожак. – Рад! ...Ты совсем не изменился!

- А вот твоя стая – изменилась, - спокойно заметил пёс, внимательно оглядывая обшарпанную сутлившую вольницу.

Вожак, унимая смех, обернулся на стаю.

- Да. Много изменилось...

- Много, - согласился пёс.

- Нас стало больше, - сказал вожак.

- И – меньше, - заметил, вставая, пёс.

Вожак нахмурился:

- Ты о чём, Пёс Истины? Когда становится больше – не становится меньше!

Собрание собак согласно загомонило.

- Я почти не вижу тех, кто был с тобой зимою. – Пёс подошёл ближе. – Где они?

- Остались в зиме... Где им быть...?

Глаза вожака затуманились. Стало заметно, как сильно он постарел, обмяк. Очевидно, это был последний год его верховодства в стае; возможно, и последний год жизни.

- Какими они остались в зиме?

- Голодными и больными, - отворачиваясь, буркнул вожак. – Им было совсем не страшно: они устали жить...

Стая забеспокоилась.

- Эй, а ты-то кто такой!? – затыкал юный, нахального вида бульдог.

- Это Пёс Истины, - шепнула старая, похожая на унылую козу, собака. – Я его помню...

- Ну и что!? – не унимался бульдог. – Чего он лезет!?

- Он сумасшедшенький... - старая собака жалостливо посмотрела на пса.

- Я его живо в разум вгоню! – надулся бульдог, принимая свирепую позу.

- Оставь!.. – отмахнулся вожак.

- Какое там! – бульдог вошёл в раж и воинственно подскочил к псу. – Взбучку! Взбучку устрою!

Пёс коротко дунул и визжащего, размахивающего лапами бульдога кубарем унесло в лес. Откуда-то из лесных глубин послышались жалобные, перемежаемые сердитыми выкриками завывания.

Стая, оторопев, попятилась, раздаваясь по сторонам.

- Умеешь! – одобрительно усмехнулся вожак. Понизил голос: - Правильно. У меня на этого забияку сил уже не хватало... Давно пора.

Пёс промолчал.

- Ты красивый, - мечтательно сказала лопухая овчарка. – Оставайся с нами!

- Нет. Я не за этим вас ждал.

Так ты нас ждал? – удивился вожак. – Но мы здесь случайно!

- Нет.

- Нет? – Вожак оживился: - Мы недавно узнали, что здесь какой-то Наставник завёлся. Вот. Прибежали полюбопытствовать! Летом и на диковинку можно время потратить, - не так скучно ждать зимних слёз... - Вожак пристально посмотрел на пса: - А ты, я вижу, хочешь с нами поговорить?

- Да.

- О чём?

- О том, о чём вы не стали слушать меня той зимою, - улыбнулся пёс.

Вожак прицокнул языком.

- Ты точно сумасшедший! ...Не обижайся, я был бы рад твоему приходу в стаю. Я стар; нам нужен новый вожак. Ты мог бы им стать! Но – сумасшедший...

- Я – за! – твякнула лопаухая овчарка и стыдливо потупилась.

В стае задёргались, загомонили. Возник суетливый обмен мнениями. Стало шумно.

- А мне – интересно! – выступил из толпы клочковатый облезлый дог. – Я тебя помню! – Умными, чуть слезящимися глазами дог внимательно уставился на пса. – Ты тогда хотел с нами о чём-то говорить. Я так и не понял – о чём? Мне интересно!

- Пусть остаётся! – раздалось сразу несколько голосов. – Чего там! Пусть говорит!

У края поляны, прихрамывая, остановился бульдог. Тоскливо озираясь, он несколько раз перетряхнулся, пытаясь избавиться от налипшего на него лесного мусора.

- Ну как ты? - хмыкнул вожак. – Живой?

- Хвост где-то потерял... - мрачно заявил бульдог. Посопев, неуверенно добавил: - Это возмутительно!

Стоявшая рядом с ним длинноногая сутулая собачонка громко хихикнула:

- Да у тебя и хвоста-то никогда не было! Что ты врёшь?

- Моё дело! – огрызнулся бульдог. Рассудительно пробормотал: - Может – и не было... но если бы был – с ним могла случиться неприятность!

Смешки и хихиканья слышались со всех сторон.

И – смолкли. На поляне стало тихо-тихо. Даже бульдог забыл про свой несуществующий хвост и грузно шлёпнулся на то место, откуда хвост мог бы расти.

- Ну ничего себе... - выдохнули откуда-то из задних рядов.

...Пёс смотрел на стаю. Стая смотрела на пса. Над спиной пса, осверкиваясь, высоко и просторно расцветали лёгкие светлые крылья.

Вожак откашлялся.

- Это уже чересчур... - Заволновался: - Не мне тебе говорить – сумасшедший ты или нет. Решай сам!

Собаки заперешёпывались, загудели. В некоторых голосах – слышалось восхищение, в других – недоумение и забота, а в каких-то голосах – проплёскивал страх...

- Я тебя помню! – Из галдящей толпы, проталкиваясь, выбралась маленькая лохматая собачка. Пёс кивнул ей. – Кажется, я тебя никогда не видела... А я – помню!..

- И я тебя помню, Елизавета.

- Ты знаешь, как меня зовут... - изумлённо пролепетала собачка по имени Елизавета.

Она молча подошла к псу и, зажмурившись, покачивая головой, легла рядом.

- Оставайся с нами, - высоко задирая брови, попросил дог. – А?

- Оставайся!.. Оставайся!.. – забормоталось с разных сторон.

- Нет, - громко сказал пёс. Стая затихла. – я не останусь с вами. Но: я ждал вас.  
- Зачем? – робко спросил дог.  
- Чтобы вы остались со мной.  
- И мы будем летать?.. – еле слышно прошептала собачка Елизавета.  
- Будем, - твёрдо ответил пёс.  
- Я когда-то уже летала...  
- Ты летала, малышка, - подтвердил пёс. – Тебя держали над облаками любящие руки. Теперь – ты полетишь сама.

- А где же Наставник? – нерешительно промямлило из толпы беспородное лохматое существо. – Мы, вроде, к нему шли...

- Его здесь нет, - ответил пёс. – То, что вы видите, - костровище, зола, шалаш, - это кокон. Бабочка вышла из кокона и улетела.

- Все летают... - пробормотал кто-то, явно ошарашенный. – Сговорились они, что ли...  
- Вы остаётесь со мной?  
- Я остаюсь... - пискнула собачка Елизавета.  
- Я тоже остаюсь, - спокойно решил вожак. – Пусть. ...Только – зачем?  
- Мы станем **дорогой**.  
- Дорогой? Какой дорогой?  
- **Дорогой**.  
- Я не понимаю, - сказал дог. – Но я остаюсь с тобой. – Широко улыбнулся: - Хочется узнать, о чём ты говоришь!

- И я, - неожиданно встрял бульдог. Засмутился.  
- И я...  
- И я остаюсь...  
- И я...

Через несколько минут вся стая определилась: они остаются с псом. Правда, что же такое означало – остаться с псом, никто толком не понимал. ...Впрочем, никого это уже не смущало: стало легко; даже самые старые и больные собаки почувствовали небывалую лёгкость.

- Что теперь? Куда? – удивляясь собственной беззаботности, спросил вожак.  
- Теперь – бег, - сказал пёс. – Теперь – бежать! Вам нужно научиться звать крылья!  
- Бежать, так бежать, - засмеялся маленький, похожий на старого ежа пудель, переживший в стае уже десять зим. – Я готов!

- Вперёд! – крикнул пёс. – И если кто-то отстанет – не бойтесь: можно потерять того, кто идёт впереди, того, кто идёт позади; можно потерять всех – и остаться совсем одному, - но крыльев потерять нельзя. Они не теряются. Они всегда там, где ты. Вперёд!

- Вперёд! Вперёд! Вперёд!

...Тихонько зазвенели, перебирая листьями, подсолнухи. Качнулись, - провожая... встречая...

На рассвете первого дня весны из леса выехала повозка, влекомая задумчивой белой лошадкой. Выехала – и остановилась на придорожной опушке.

Лошадка вздохнула, мотнула головой, переступила передними копытными лапками... Казалось, ей не так уж и важно – куда. Но, осматриваясь, справа она увидела: город... В сырости и расплыви – он проступал-клубился из чёрных, продёрнутых крупными снежными кляксами полей, из обтрёпанных скудных рощ, никнувших у его кромки, из низкого тёмного неба... Лошадка фыркнула; лошадка ещё раз мотнула головой и, выволоча повозку на дорогу, направилась в сторону города.

- Эй!.. – зашуршал брезентовый полог, из полога – старичок: бородёнка длинная, редкая; взъерошенная шевелюра; насупленные непроспатые глазища. – Эй, куда это мы! а? Тебя куда понесло, оборотка ты этакая?

Лошадка удивлённо обернулась к повозке. Махнула хвостом (было такое впечатление, что она пожала плечами, но вот – махнула хвостом...). Старичок вылез из повозки по пояс, заозирался.

- А!.. Вот оно куда. Городок-городочек, поселеньице... Вот оно... Ну-ну... - Он зевнул. – А я посплю ещё. Отчего же не поспать?.. Вот ерунда!..

Старичок зевнул ещё раз и шустро нырнул под брезент. Некоторое время там слышались ещё какие-то стуки и бряки, потом – стихло.

Повозка медленно плыла по осевшему в слякоть туману; покачивалась; отблёскивала матовой головокружной зеленью на каменной ленте дороги. А рядом плыл, покачивался, отблёскивал-мельтешил ветерок. То – обмахнёт повозку, то – наскочит на неё, затеребит, обалабонит, то – кошечкой – уляжется на крыше: лежит, мурлычет. Забавный...

Лошадь идёт. Повозка плывёт. ...Долго ли им добираться? Городок – рукою подать! – ...годы могут пройти... может быть – месяцы... кто его знает? Не о том забота; а забота: поспеть туда и тогда – куда и когда суждено. Да и то – забота ли?..

Вот. Вот и главная нота рассвета.

Вот и городок. И первая улица городка – в домишках неровных, в палисадниках и канавах – улица прямая, без всяких препон исходящая к улицам прочим, впускающая туда.

...Не было такого дня – независимо от времени года и погодных условий – когда дядя Гриша не выволакивал бы на прогулку Елизавету. Ежеутренний (как, впрочем, и ежевечерний) ритуал выполнялся неукоснительно, вне поблажек и недоумений, не меняясь и не откладываясь, не считая редких, всегда неожиданных исключений. Дяде Грише, разумеется, иной раз жуть как не хотелось выползать из-под одеяла, напяливать успевшую отвыкнуть от него за ночь одежду, вытряхиваться из квартиры и коллобродить – ну как дурак! – по улице. Жуть! Но раз уж взялся ерундить, делать это надо было строго и пунктуально, без всяких там отнекиваний и сопений.

Елизавета – маленькая лохматая собачонка, проживавшая у дяди Гриши третий год – пробуждалась всегда натужно, затяжисто. Она поскуливала, изумлённо поматывала головой и, в ответ на воздействия извне – крепко влипала лапами и пузом в пол, пытаясь уцепиться зубами за коврик, на котором так сладко, так безоглядно спалось и с которого её теперь непонятно зачем гнали. Елизавета чувствовала: дяде Грише этот ежеутренний гулёж – до лампочки, ей – так и вообще до люстры, с целым миллионом лампочек! Но, тем не менее...

Впрочем, гулялось легко. Елизавета обнюхивала и покусывала всё, что, привлекая и будоража внимание, обещало оказаться съестным; с любопытством разглядывала голубей; прислушивалась к окрестным звучаниям. Дядя Гриша сосредоточенно потягивал сигарету, лениво и расслабленно наблю-

дая набухающий потрескивающий разворачивающийся утренний мир. ...Вот: невысокие обшарпанные дома, в дреме и тайне... зыбкие, почти подмигивающие... Вот: подвижные тени деревьев на стенах... из стен растущие... стены вздымающиеся... Вот: розовое, жёлтое, голубое – щебет птичий раздвинув, раздвинув трепет листвы – шагнуло с небес... Вот: лошадь...

Елизавета негромко, но противно тявкнула. Дядя Гриша встряхнулся.

Лошадь? Откуда в городе лошадь? За без малого пятьдесят прожитых здесь лет с лошадьми дяде Грише доводилось встречаться не часто. Последний раз – лет двадцать назад, не меньше. Вот! Поди ж ты...

Лошадь стояла, потряхивая ушами, и спокойно смотрела на дядю Гришу. Елизавета тявкнула ещё раз, погромче.

- Цыц, ты, фисгармония!

Дядя Гриша нахмурился. Аккуратно положил в оказавшуюся поблизости урну докуренную сигарету. Растерянно засопел.

Лошадь – как лошадь... А вот рядом с лошадью – довольно невнятное старомодное сооружение. Балаган, что ли? Балаган... Зачем он здесь? Невысокий... Станный такой. Шатёр – не шатёр... не поймёшь что! Сбоку, подпирая балаган, приткнулась повозка-фургон... Лошадь неторопливо подошла к фургону и вытянула из него – сочно подшмыгнув губами – клоч сена. Вытянула; улыбнулась.

- Дела-а... - протянул дядя Гриша.

Елизавета негромко тявкнула, соглашаясь.

...Балаган был неподвижен, да... но и – подвижен. Балаган – так казалось – приплясывал на месте. Балаган был весь в шорохах – шуршал, потрескивал, шелестел... – шорохами окутан, шорохами переполнен, - шорохи заплёскивая по сторонам, и, будто бы, наполняя каждую оплёснутую сторону нездешним неведомым ароматом. Он жил так, как живёт всякое дерево, и с деревом был схож, и от дерева неотличим, хотя внешне – не похож ни на что, и уж меньше всего – на дерево. И шуршал... шуршал... каждым листочком шуршал, - вот: весь облеплен – от пяток до макушки – множеством исписанных бумажных листков. Большие листки, небольшие листки, совсем крошечные... Утренний ветерок мягко тербил их, и – в ветерке – шёпот, шёпот, шёпот... почти угадываемая речь.

Дядя Гриша поёжился. Дядя Гриша прищурился; выпустил из рук елизаветин поводок и пришагнул ближе к балагану.

Что это? Он уткнулся взглядом в ближний к себе листок, пытаясь понять: что? что это? Кружево... кружево... кружево...; тонкое многоцветное кружево, щедро льющееся из сиятельной спелой белизны листа. Рисунок? Да, конечно! Но и не рисунок, - речь. Вот: буквы, слова; строчка за строчкой...

*«На рассвете появился зверь.*

*Это был очень маленький зверь. Только глаза его были большими. Большими-большими. Большие глаза зверя, умеющие шептать в тишину.*

*...Он всегда появлялся на рассвете. Вечером, ночью ли, днём, - но на рассвете. Так ему нравилось. Так он умел. Так ему мечталось. Появлялся – и распрямлял тонкие лёгкие крылья, мягкие, как тополиный шёлк. Зверь взмахивал крыльями, и – ...нет, не летел, но – овеивал лётom воздух. И лёт – мгновенно, всепроникающе – веялся! веялся! веялся! – веялся во всякую подставленную горсть, во всякий терпеливый призыв, наполняя и озаряя вдосталь. ...И кто-то ещё взмахивал крыльями. ...И ещё... И ещё...*

*О!: из рассвета – прямо, никуда не сворачивая, всё шире и внятней оласкивая крыльями мир! Ах!..»*

Неожиданно – в налетевшем ветерке – листок дёрнулся, отделился от стены балагана и, выписывая залиvistые кренделя, понёсся по зевающей утренней улице куда-то в даль, в тихие сверкающие глубины маленького городка. Елизавета, весело повизгивая, кинулась за листком вслед.

- Стой!

Дядя Гриша, весь изогнувшись, попытался ухватить мелькнувший мимо него поводок. Куда там! Промаяхнувшись, дядя Гриша потерял равновесие и неловко шлёпнулся на асфальт.

- Тьфу ты! – Он встал, отряхиваясь и сердито поглядывая по сторонам. – Вот шальной организм!

Елизаветы уже не было видно. Вот как! Впрочем, она, вероятно, свернула за листком за угол. Ну надо же! Надо было её возле лошади привязать, пусть бы та научила её сено есть... пусть... Ага!

- Вот сено она сегодня на обед и получит, - негромко бурчал дядя Гриша, продолжая отряхиваться. – Сено, а не кашу с мясом! Раз такая быстрая – значит, почти лошадь... Вот-вот!..

Неожиданно его тряхнула мысль: он же не дочитал! он так и не дочитал... Как же так? «...взмахивая крыльями...» Не дочитал... Дядя Гриша никак не мог понять – вцепиться и понять – почему прочитанное на листке было так важно для него, так необходимо... Не мог. Но важность и необходимость ощущал отчётливо, звонко. А вот – не дочитал! Что же делать?

- Что же делать? – спросил дядя Гриша у лошади.

Лошадь шмыгнула носом и вполне отчётливо подмигнула.

Дядя Гриша вздрогнул. Нерешительным шагом, то и дело оглядываясь на лошадь и балаган, он зашагал к повороту, за которым исчезли листок и Елизавета. Быстрее. Ещё быстрее. Оглянулся. ...Ему ещё никогда не подмигивали лошади! Ему даже жена – бывшая и ныне забытая – никогда не подмигивала, если уж на то пошло. ...Быстрее. Так, кажется – сюда... Опять оглянулся. И только теперь он заметил над неширокой обшарпанной дверцей балагана крепко натянутое серое полотнище с почти неотличимой от него и заметной только издали надписью: ТЕАТР ПИСЕМ.

(- Дядя Гриша, не хочу я твой яблочный пирог, - лениво говорила ему жена, потягиваясь под одеялом. – Ну сколько – сколько! – можно говорить? Ну, зану-уда...

Это она придумала ему прозвище: «дядя Гриша», а следом – так стали именовать его все, и знакомые и соседи. Пусть...

- А чего бы тебе хотелось, солнышко? – робко спрашивал молодой дядя Гриша. Я – пожалуйста...!

- Ты печёшь эти пироги по утрам вот уже целую неделю! – не слушала его жена. Мне – надоело!.. Понимаешь?

- Ну, хочешь – пудинг? – Он присаживался на краешек кровати. – Пудинг, а? Я в бабушкиных записях, недавно, такой рецепт нашёл...

- Да отвяжись ты от меня со своим пудингом! – в капризном голосе избыточно выпавшейся женщины появлялись истеричные нотки. – Сам его ешь! ...И вообще – уйди отсюда! – виснет тут с утра, подумать не даёт! Вот что-то приятное снилось... снилось... а из-за тебя – забыла...!

- Может, музыку какую включить? – вставая с кровати, нерешительно поинтересовался дядя Гриша. – Если хочешь – давай включу...

- Я хочу, чтобы ты денег побольше зарабатывал! - Жена сердито отбрасывала одеяло. – Поменьше надо на небо пялиться, балда, и побольше смотреть – как люди живут! А то ведь с тобой или с голоду умрёшь или со стыда соришь!..

- А как они живут? – тихо спрашивал дядя Гриша.

- Как люди! – назидательно отвечала жена. – Не как олухи! Ты на себя посмотри: утро только началось, а он жене уже все нервы истрепал!..

Дядя Гриша негромко вздыхал, махал рукой и уходил на кухню.

- И нечего махать рукой! – кричала вдогонку жена. – И не кури там!..

...Надо же – вспомнилось... Почти пятнадцать лет прошло, как жена его сбежала – по направлению к метрополии – с заезжим ухватистым инженером, добычливым и вальяжным. ...Не вспоминал он её, забыл... Только-то и осталось – прозвище: «дядя Гриша»...)

Переулки, дома, дворы – всё это уже не выступало по сторонам, но – мелькало, обныривая и пропадая за спиной. Дядя Гриша бежал. Самого себя он ощущал несущимся с откоса мотороллером, хотя – разумеется – никакого откоса не было, да и бег образовался плавный, почти бесшумный.

Ни Елизаветы, ни листка... А, да что там! Ни о Елизавете, ни о листке дядя Гриша больше и не вспоминал. Другое увлекло его, заслонило, вскружило голову: бег. Бежалось как-то необычайно легко, необычайно уверенно и умело. Человек и бег – одна непрерывная струна, натянутая между неведомым пунктом «А» и ещё более неведомым пунктом «Б». Давным-давно дядя Гриша не чувствовал себя так: он и бег – ливень... ливень... он и бег – облако, скользящее по твёрдым звонким верхушкам луговых трав... Давным-давно... – с детства.

Кто-то окликнул его из окна. Бестолково суетящаяся возле бочки с молоком знакомая продавщица – приветственно махнула рукой. Переходящий через улицу огромный, персиковой окраски кот – выгнулся и зашипел.

Мимо... Мимо... Мимо...

Ветер... город... жизнь... - один плотный упругий поток... один бесконечный сон... верчение; восхождение...

«Куда же это я бегу?» - мимолётно озаботился дядя Гриша, но тут же о заботе и позабыл. Хорошо-то как! Ну как хорошо! А вот и...

Хлоп! Бега больше не было. Бег улетучился, как изныривает из внезапно открытой ёмкости воздух. Дядя Гриша остановился, с трудом утряхивая взбаламученное дыхание, хватаясь руками за грудь; остановился – привалился к фонарному столбу. Прямо перед ним, приветственно колышась в утреннем сквозняке всеми краешками, всеми верёвочками, всеми-многими листочками-письменами возник давешний балаган. Не совсем было понятно, как – разойдясь в беге, напропалую шлёпая по городу – он снова оказался на площади, там, откуда и отправился, мельтеша, вдогонку за Елизаветой и выскользнувшим из рук листком. Смутно он помнил: вне зависимости от того, какие пробегались улицы, дворы, переулки – бегание только удаляло его от площади, и уж никак не разворачивало обратно. Никак! А впрочем...

- Ты что-нибудь понимаешь? – сипло спросил ещё не отдышавшийся дядя Гриша у лошади.

Лошадь утвердительно дёрнула ушами и удивлённо посмотрела на дядю Гришу.

Тот вздохнул:

- Мне бы теперь понять...

Полог балагана, качнувшись, раздвинулся вширь. Из медово подсвеченного полумрака выступила – нет, выплыла! – громадная улыбчивая тётка.

- Что не заходите, кормилец? – басом воскликнула тётка.

- Какой я вам кормилец... - ошарашенно промямлил дядя Гриша, теснее прижимаясь к фонарю.

- А как же!?! – гаркнула тётка, расплёскивая объятия. – Покормишь – вот и кормилец, а нет – так проходи, даром.

- Нет у меня ничего, - виновато сказал дядя Гриша. – Разве что – это...

Лихорадочно шаря по карманам, он наткнулся на старую засохшую баранку и, робея, протянул её.

- Радость-то какая! – закричала тётка. – Какая баранка! Нет, ты видала?

Лошадь одобрительно кивнула головой.



- Какая замечательная баранка! – продолжала лучиться тётка. – Ещё несколько посетителей – и обед! ...Ну, заходи, чего встал?

- Куда? – почему-то испугался дядя Гриша.

Лошадь, заржав, весело перетряхнулась и повернулась к дяде Грише хвостом.

- К себе, - хмыкнула тётка. – Куда же ещё...

Дядя Гриша непонятливо дёрнул бровями.

- В театр, лапонька. Видишь, написано: «Театр Писем». Вот и заходи, если пришёл. Нам – угощение, вам – представление!

- Это что ж, для меня одного...? А другие зрители? – Потоптался. – Вам зрителей нужно дожидаться. ...Сейчас, правда, рано – утро ещё, но часа через два, три... Вы подождите! У нас бродячий театр в диковинку, народ подтянется. Соберутся!

Тётка улыбнулась:

- Мы зрителей подбираем, а не собираем. Ты заходи, не елозь. Все на месте, только тебя и ждут.

У входа раздалось знакомое тявканье. Из балагана – наружу – высунулась Елизавета; Елизавета непривычно внимательно поглядывала на дядю Гришу и довольно махала хвостом.

- Лизка, где ж тебя...! – бросился дядя Гриша.

Елизавета нырнула вглубь балагана.

- Стой! – нырнул он следом. – Стой!..

## 2

Он стоял в центре площади, по щиколотки в снегу, и сухая шершавая позёмка оплясывала его стояние.

Рядом крутилась Елизавета. Она весело потягивала, - то отбегала, то возвращалась, - всячески пританцовывала перед дядей Гришей, явно призывая последовать её примеру.

Дядя Гриша в танец пускаться не стал. Не до танцев, собственно говоря, ему было. Дядя Гриша потряс головой, охлестнул себя пару раз по щекам, и – на всякий случай – протёр глаза. Ну и что? А? ...Где? – где то, во что он вошёл? а то, куда он вышел – что это? ...Впрочем, город свой дядя Гриша узнал. Да-да, это он... Только... - только к лету всё шло, а тут – зима. И странная зима!

...Вечер. Знакомо выплёскиваются из площади улицы, переулки, - выплёскиваются-множатся, растекаясь. Горят фонари. Клубятся из света фонарного извивные строгие ветви деревьев... обледеневшие провисшие провода... А людей – нет. Нет... Да что там! Вот: здание за зданием, - кирпичные многоэтажные хижины сиротского табора, - но ни в одном окне не видно света. Снег не убран, - лежит себе пушистым покровом, где придётся, мерцает. Нет птиц, нет собак, нет кошек... Возле – во-он того – продуктового магазина каждый вечер отирается целая компания кошек! Нет ни одной...

Пар изо рта – клубами. Воздух плотный. Видать, мороз! – и мороз не шуточный. Да вот только – всего и есть на дяде Грише, что ботинки летние, лёгкий плащ, накинутый поверх рубахи, домашние брюки... А – не холодно. Совсем.

- Где все? – сурово спросил дядя Гриша Елизавету.

Елизавета посмотрела удивлённо: мол, надо же какие глупости спрашивает! – но крутиться вокруг не перестала.

Дядя Гриша набрал побольше воздуха в грудь и закричал что есть силы:

- Лю-ди! А-у-у-у! Лю-ди!!!...

Взвыв, взвилась от домов, из улиц, из сиятельных гулких сугробов вьюжливая волна, - вспенилась о дядю Гришу, заволокла, обтеребила.

- Лю-ди! – ещё натупливее закричал он, отплёвываясь от снега. – Э-гэ-гэй!!!

И вдруг – побежал; побежал, размахивая руками, что-то бессвязное бормоча, пугаясь. То и дело – падал... но – вставал, снег утирая с лица, - продолжал истощный бегливый галдёж.

Мощный, пришедший с небес удар ветра опрокинул дядю Гришу – поволок, поволок! – втиснул в сыпучие россыпи, придавил – удерживая – стопою. И оттуда – из ветра, из снега, из ледяной карусели – растреснул громовым раскатом голос:

**- Занавес поднимается!**

Шелестя, лепетали снежинки, - тысячью тысяч, - мириадами... бредом... пургой...

**- Почтеннейшая публика, занавес поднимается!..**

Дядя Гриша – сжавшись в комок – замер.

Бредил ли, спал ли, сознание ли отпускал погулять в невнятное погулянье... Понять бы! Очнулся – тихо вокруг.

Город. Город его лежал сквозь лето. Город его дышал.

Медвяные талые запахи, треньканье и лепетанье, цветущая пряная морось... Но – тишина. Движение, движение, движение. По-во всюду двигалось, перемешивалось, вспыхивало, мелькало; но и – не двигалось: перемешивалось – не перемешиваясь, вспыхивало – не сгорая, мелькало – не измелькиваясь вовсе, кажущейся незыблемостью дразня. ...Будто бы – то, а приглядишься – это... Вглядываешься, привыкаешь: это! это... Вгляделся – то, ни что иное...

Город его развёртывался, развёртывался, развёртывался... Город его становился всеми городами сразу... и крошечными деревеньками, и истылыми воющими мегаполисами... горными хребтами, степью, пустыней, лесом... морями, озёрами, реками... свистящими на резинке из детского кулачка звёздными системами и пылящими в песочнице под июньским дождём галактиками... Город свивался и развивался, беспрестанно меняясь, - беспрестанно меняя всё, что наполняло его, что грудилось ворохами бессчётными... что было помимо него, но и – в нём.

Дядя Гриша менялся вместе с городом; вместе с городом переполнялся обличьями и обличья избывая; вместе с городом: нераздельно в нём, но и – наблюдая со стороны. Вроде бы – с места не двигался, а вроде – меры не найти охваченным и истреplенным расстояниям. Где при этом была Елизавета – он бы сказать затруднился: иногда он угадывал Елизавету в пролетающей мимо птице... в плывущем на утлой лодке сквозь шторм мужчине... в покосившейся набок башенке с черепичной крышей... в качнувшейся грозди рябины... в сверкающей капле дождя... «Лизка, - иной раз хрипел он, - где ты? Иди ко мне...» Но Лизка проносилась, проносилась...

...Щелчок.

Дядя Гриша снова в своём городе, и только в нём – вне иных, уводящих, личин. Но всё здесь замедлилось, затруднилось.

Никакого фургона не было. Дядя Гриша немедленно – с площади – двинулся по направлению к своему жилью. А – никак... Будто бы – недалеко, но никак не истрачивалось расстояние, хоть и шагал он быстро, почти бежал! И люди...

Так показалось: всё население высыпало на улицы. Никто не теснился, - толчее не было ни малейшего начинанья, - а все тут как тут. И дядя Гриша бежал, огибая, лавируя, наступая на чьи-то ноги, ударяясь о чьи-то сумки. Бежал, бежал... покуда не понял всю бессмысленность, нарочитую бессмысленность своего бегучего хода. И тогда он остановился. И присмотрелся...

Кого-то он знал, кого-то – нет. Никого не знал... Знал всех, каждого... На мгновение ему примерещилось, что мечется он в огромном, зеркальном изнутри, шаре. И зеркальное покрытие – не ровно: шерховатости, впадинки, выпуклости...; и отражается он соответственно – разнолико, размазанно, ис-

кажённо... Вот: все, кто вокруг... все, кто вокруг, тех, кто вокруг... и так далее, и тому подобное – он. Но то ли он мечется в шаре, то ли шар мечется вокруг него... – не остановить взгляда!

Дядя Гриша, руки воздев, потряс кулаками над толпой. Никто не обратил на него ни малейшего внимания. Разве что... Нет, показалось. Какой-то старичок подмигнул ему из-за афишной тумбы и тут же скрылся. Незнакомый...

Дядя Гриша, в изнеможении, опустился на оказавшуюся поблизости скамейку. Тихонько застонал, расслабляясь, прижимая спину к упору. Так получилось: он как бы вышел из толпы, сошёл с вертящегося круга в парке аттракционов; отсюда – из внетолпья – всё было заметнее, отчётливее, яснее. Понятнее...

Город и город. Всё как обычно: и дома и деревья и люди и живность всевозможная, обыкновенная для каждого города... И – не обычно: тени... тени теней... одни сплошные символы, лишь чуть – в одно кисейное касание – прикрывавшие души. Вообще: что угодно в одно касание: смыслы, понятия, желания, стремления, кошмары, надежды... Можно было вшагнуть насквозь, игнорируя расстояния и преграды, - не вставая, не совершая и малейшего шевеления... Повсюду – искры, искры, искры... ливень искр, снегопад! Слова и образы, музыка, сокровенные издвиженья, - всё погружено в искры, омыто, приподнято над запрокинутостью и вздором, - письма... письма... письма...

Дядя Гриша окаменел. Лицо студенисто дёргалось. Руки тряслись на коленях, умоляя его спрятаться – ну хоть где-нибудь! – на небесах, под землёй... пусть даже – под скамейкой!

Дядя Гриша удержал себя. И вновь – всмотрелся...

Вот: Письмо коснулось дома. И стены дома распрямились. И крыша овеялась парусами, кутая в паруса ветра. Дом приподнялся на цыпочки... дом вдохнул в полную грудь...

Вот: девушка, уткнувшись лицом в письмо, заплакала – громко, навзрыд... И – засмеялась, радостно, облегчённо. И взмахнула листком. И взлетела!

Вот: кузнечик, забравшись в конверт, понимает самое главное. И зелень его легка. И Луна обнимает маленького бродягу – напевает ему колыбельную.

Вот: незабудка склонилась к письму – прижала к корням. Возросла! Окрепла! Весь мир приютился в корнях крошечной незабудки. И было миру тепло. И не тревожился он понапрасну, а – верил и знал.

Вот: ... Вот: ... Вот: ... Вот: ... Вот: ...

Вот: вот они – слова-образы-и-музыка-и-издвиженья! Вот оно – Дерево-Слово! Корни его – внемирны, ствол его – всё мирозданье, ветви его – повсюду. ...А и нет Дерева! – можно пройти насквозь, но теперь – очевидно: есть, никуда не денешься... никуда и не нужно деваться, разве что – прижаться покрепче...

Дядя Гриша почувствовал, что кто-то ткнулся в его ноги, затеребил. Елизавета!

Поднял её. Прижал покрепче. Закрыв глаза.

*«....Однажды вечером, однажды утром с небес сошла Птица и уселась на ветку возле моего окна.*

*- Привет-привет! – прощепетала Птица. – Позволишь войти?*

*Я встал. Я расщёлкнул створы. Я распахнул окно, приглашая Птицу посетить наш дом.*

*Она вошла.*

*О, она никогда не покидала дом! – всегда здесь была. Так же сидела на табуретке, поджав под себя левую лапу. Так же полоскала мордочку в чашке с чаем, выбулькивая со дна стайки блестящих пузырей. Ничем не стеснялась, ни откуда не испытывала беспокойства, - всё знакомо, давно знакомо, давным-давно знакомо...» ...*

## Письма...

*«...Кресло так надёжно, так призывно скрипнуло... Ох!*

*...Я уютственно – крепче, крепче – втёрся в кресло. И беззаботно стало пояснице моей, стало тепло спине, приятно плечам. Слева – журнальный столик, и чашка чая на нём, и книги облизь чайного пара. Справа – люстра, шкафы, ковёр... широкий коричневый коридор, мерцающий чуть, замерший в медленной проливи ниспадающих ниц одежд... письменный стол – упорная верная терпеливая горсть. Спереди – телевизор. И телевизор включён. На экране тревожные парящие музыканты, строго отблёскивающие инструменты... звук – чуть-чуть, - и музыка Глюка неспешно – шурша, распрямляясь – и так осторожно! так близко! – наполняет комнату.*

*За окном – осень. За окном осени – я, обмявший кресло, закрывший глаза, облокотившийся лицом о музыку.*

*Не раскрывая глаз – я протянул руку к чашке... к чаю... Рука никак не могла ошибиться: здесь были не вёрсты, а сантиметры, и чашка стояла на этом самом месте – изо дня в день – годами. Рука никак не могла ошибиться, но вот ведь: не коснулась горячего стекла, - погрузилась в шорох и влагу.*

*Я открыл глаза. Столик был завален жёлтой, красной, бурою осенней листвой, и все окрестности – на сколько хватало взгляда – в листве, и лёгкий, едва заметный запах прели омывал мою руку, тёрся в неё, вжимался прохладным носом новорождённого щенка. Телевизор был выключен, музыканты канули, но музыка – музыка так прочно, так неизменно наполнила комнату, что стоило лишь пошевелиться – и гроздьё сверкающих лепетных звуков разбрызгивались по сторонам сияющим изобилием, и тут же стягивались обратно. Так: где – ты, где – музыка? – поди разбери! Да и зачем разбирать...»*

*Человек очнулся. Человек огляделся по сторонам. Человек смотрел на заваленную листьями комнату. Не было ошеломления во взгляде его: всё привычно, всё так и должно быть... всё так знакомо! Вот: чашка... всё так и должно быть: сухие стенки облеплены старой разъярошенной паутиной, на дне – семена неведомых трав... возможно – событий... возможно – ветра... Стопа книг обрушена; верхняя книга раскрыта, и сверкающие строки перемешаны с осиновою, с ясеновою листвой.*

*Зазвонил телефон. Человек нехотя, упираясь руками в подлокотники покинул кресло. Неторопливо, с наслаждением шаркал в разноцветном, шуршащем, льнущемся. Коснулся телефона. Снял трубку.*

*- Алло, Медвежонок... Где ты? ...Привет!*

*«Какой знакомый голос... Кто это? Откуда?»*

*- Привет... А у меня – всё листвой завалило...*

*- ...?*

*- Просто кругом – листва! А?*

*- Медвежонок, ты меня не узнал...*

*- Узнал! - «Какой знакомый, знакомый голос...» - ...А кто ты?*

*Протяжно, противно заныли частые гудки. Тот, кто звонил – положил трубку. Наверное, потерял, наверное, выронил то, с чем звонил. Сейчас, должно быть, елозит по полу возле телефона, ищет...» ...*

*Дядя Гриша, не раскрывая глаз, покрепче притиснул Елизавету. Елизавета благодарно потёрлась о рукав.*

*...«...и осень, осень, осень... ...и зима, зима, зима...*

Я вышел из дома, и – побежал, побежал... в осень, в зиму! – закутываясь (да!) в них, барахтаясь в них, переполняясь ими.

Ты знаешь, они – одновременны и прекрасны, особенно если выбрасывать-выхохатывать во все попадающиеся по дороге урны – броском, осыпью легчайшей – тучное насадное многоножье-многоличье, - уличную шерсть, человековые перетопты. Не ударяться – нет! – не спотыкаться о визгливые сумерки витрин и рекламных расплясов, не оскальзываться, не падать... А – так: скользить в облесках стареющего ноября – в декабрь! в декабрь! – зачёрпывать – ах! – груды сиянные своих отражений; омыться-облечься рассыпушками льда и солнца, перезвонами льда и луны; скользить-вглядываться. Да-да-да!

Бежать, бежать, бежать. Бежать взаправдашне! Бежать мимолётно, но – насущно, касаясь проливью пальцев и жизни тонкого картона кирпичных стен – улиц – улиц – трепещущих локонов города. Бежать, бежать, и, остановившись, - понимание: вот: в е т е р ...

...Ты смотришь в небеса, в небесах – деревья: они высокие, их лица добры и чудесны. Ты смотришь в землю, там – облака; облака прятаются и ищут, взгляды их смешливы, взгляды их горячи, - отовсюду весёлые мордочки. Смотришь вдосталь, и ещё – столько же, и ещё – в запас. Смотрением своим – шарик воздушный! – между землёй и небом, на пронзительных пенных руках горизонта.

...Ах! – пляшут на карнизах медведи!

Ты не замечал?

Вот: пляшут на карнизах медведи! Пляшут, пляшут – и на карнизах и на облаках. Пляшут, бренчат на гусях, звонят в колокольцы, дуют-раздувают в пёстрые лопотливые свирельки. ...Вот: наплясались; расселись по ветвям древесным – думать-передумывать мир.

...Стоит ли тебе прохлаждаться?

Нам...» ...

«Иви, Иви, малыш!..»

«марево... марево... месиво... : что же мне делать с тобой?

нам

.....

рты разинуты... но – беззвучье

ты проходишь мимо разинутых ртов

мимо выпученных невидящих глаз

за тобой захлопываются тысячи калиток

и тысячи калиток распахиваются

(это игра)

возникают-и-изникают смерчи

моря-океаны чередуются с гроздьями гор

(это игра)

это игра

марево... марево... месиво...

это игра и ей всё равно и ей невозможно без каждого из играющих

это игра и дорога в сторону-прочь – слеплена из карнизов

(что же нам делать с тобой)

...это уже – не игра

...это – карнизы

.....

**вот мы и делаем»**

...«...Каждая дорога каждого города, каждая тропка каждого внегорода – скрученный исстылый вопль. Позёмка, сухая, звенящая – из каждого времени года; позёмка сбивает следы в неопрятный огромный ком, и из кома – полозьевый след, призрак следа, - вихрящиеся короткие ленты на всемирном шесте. Ленты дёргаются и щёлкают, ленты отрясают избыток оскомины и наваждений, ленты скорбят и ликуют... Здесь каждой персоне – время и место, столь же недолговечное, но имеющее промежуток.

Слышишь? – мир людей дрогнул и занемел. То – занемелость сбитого в пропасть прыжка, сбитость свою несущего изначально и нерасторжно, в сбитости – истекаемого, но из истекаемости – слепленного вновь. Вот: текущая кровь густа, переливна, далее – полупрозрачные хрусткие шарики, трущиеся блескучими боками о шершавые языки изморози, далее – ветер и мёд, несомые бережно, но и истрясываемые всюду. Слышишь? – мир людей вздрогнул и возроптал. Возроптал, стиснул чугунные кулачки, залопотал плаксиво и горестно. ...Но – не удивился. Не улыбнулся. Не приник. Даже – не попытался посмотреть в зеркало...

...Ты посмотри в окно, посмотри! За окном – зеркало...

Вот: вне лишних движений – лишь наклонившись – выудить от стоп горсточку милой пыли, - дунуть в ладонь – с ладони, - обвеять зеркало – на мгновение закрепить фигуры... и преломление фигур... и зрящность текущих имён...»

К-ПШС«З»

«из ЛЕТОПИСЕЙ ЧАЙНОГО ДОМИКА НА БОЛОТАХ» (фрагмент)

- В слове «чай» живёт печаль. А ещё она живёт – в лужах и парусных кораблях... !Не ходите по лужам, не заглядывайтесь на парусные корабли и не пейте чай, - и вам гарантирована положительная, обеспеченная моральным комфортом и всяческими сладостными благами жизнь. ...Вы, конечно, можете проигнорировать моё мнение, несмотря на его разумность, и, я бы даже сказал, выстраданность...

За столом хихикнули.

- Да-да, именно выстраданность! – вскинулся с сердитым оживлением Страус. – И я не вижу ничего смешного! ...Почему вы хихикаете!?

Никто больше не хихикал. Как же так? – взяли и обидели!.. плохо это.

Обидевшемуся тут же придвинули блюдечко с малиновым вареньем, а сидящая по соседству старая толстая Жаба – ложку свою тщательно вылизав и продув – Страусу её торжественно вручила. И Страус сразу перестал обижаться. И стал пить чай, заедая каждый чайный прихлёб вареньевым услаждением.

- А что вы думаете, - вновь заговорил он, - вот я, например, всегда мечтал быть антилопой. ...Не то, что – быть страусом хуже, а так: хочется и всё тут! Но, - Страус закатил глаза вверх, голос его стал глух и тяжёл, - я пью чай, а посему: не стать мне никогда антилопой! никогда...

- Вот ведь трагедия! – заперешёптывались Зелёные Мыши на дальнем конце стола. – Такой видный мужчина – и такая трагедия!..

- Да! – громко рявкнул Барсук. При этом он энергично махнул лапой и скувырнул на пол кружевную шляпку, в которой лежали конфеты. – Сплошная хреновина!

*И все как-то сразу озадачились, как-то сразу погрузнели, задумчивыми стали, тихими... И поданные на стол чайники с горячим кипятком – тут же – стали остывать и покрываться изморозью.*

*Видать, печаль пробралась...*

*.....*

*А Страус встал из-за стола, натянул поглубже кепку и вышел во двор. Он посмотрел на туман, закутавший в себя Болота, и закричал в туман, далеко-далеко вперёд вытягивая – будто б малый росток возжелавший проникнуть к звёздам – шею.*

*...А сидящим в Домике показалось, что это кричатся волшебные слова на языке антилопьем, не ведомом никому из собравшихся. Эти слова антилопам очень нужны: без них они никогда не могли бы превращаться в страусов.» ...*

*(конец фрагмента)*

Город не обращал на дядю Гришу ни малейшего внимания. Он и был им – дядей Гришей, но в отличие от того, кем он был – знал о том. Город истягивался, растряхивая геометрическую вязь; квадраты, круги, треугольники, загадочные многоугольные фигуры – пороша, сухая трескучая позёмка, электрическая лампочка на запачканном известью потолке, осознающая себя солнцем... Истягиваясь – утверждал намёк на линию: тонкая царапина, призывающая к соединению всякий разобщённый фрагмент в правильном внефигурье.

...Но город был. Возносились кварталы; дрожали сомкнутые асфальтом корни деревьев; под ярким светом фонарей – игнорируя свет – толпились личины. Где-то здесь свершались дикие дела: приходили люди, и уходили люди... – и не знали люди, зачем они приходят и зачем они уходят. Где-то здесь засовывали руки в карманы, чтобы украсть или отдать, испытывая и в том и в другом – тоску, отчуждение, покорность. Где-то здесь падали на колени – сокрушаясь, выпрашивая, сожалея; и колени были разбиты, и колени были грязны... – звёзды не отражались в них.

...Но города не было. Но: горстка взвихрённого праха, крутящаяся грозная воронка, поднимающая в мыслимое и вероятное линияющую хрупкую скамейку, со стёршимся инвентарным номером... Дядя Гриша сидел спокойно. Спокойно дремала в гнезде его рук Елизавета. ...И колени их были чисты, и звёзды не чуждались приблизиться к ним.

*«...И сказал Огурец – Луне:*

*- Всё из несуществующего возникает и, осуществлённое, - не существует... Но, несуществующее, - почему?*

*- Нет, нет... - отвечала Луна, - это лишь зыбь... зыбь...*

*- Но почему, почему? и откуда? – волновался Огурец. – Ах, мне так надоело болтаться между землёй и небом! – пожаловался он.*

*- Нет, нет... - отвечала Луна, - это лишь зыбь... зыбь...*

*- Но почему, почему!?!*

*Огурец волновался, руки вздымал к луне.*

*А луна светила, светила...*

***И было – всё... » ...***



Все, кто направлялся к Домику, вначале Домика и не видели, а видели: ...море... лес... болота... то ли отмель, то ли островок посреди болот... а на островке – ярко горел костёр.

Свет костра виден был отовсюду, – из любой дали, при любой погоде. ...И всяк добравшийся сюда – больной и одинокий (попросту – заплутавший...) – понимал: он ДОМА.

Шли... летели... плыли... ползли...

.....

...А сразу за Болотами – начиналось море.

Посреди Болот стоявший Чайный Домик – стоял на пузырьчатом высоком пригорке, и море (оно перемешивалось с горизонтом, как заварка с кипятком) видно было очень хорошо. Смотреть на него нравилось всем.

В пору туманов на чаепитие наведывались чайки; рассказы их были сбивчивы и невнятные, но это никого не смущало. Да ведь и так всё ясно!: уж если в руках чашка с душистым напитком, а речь кувыркается и не находит себе опоры, то повествование может быть только о тумане. Слушали чаек внимательно, – никто не возился, не выпрашивал себе лишнюю конфету и не падал под стол для пущего удовольствия и интереса. Разве что – встанет иная зверюшка, тихонько подойдёт к окошку, откроет форточку – да и выцепит лапкой снаружи комочек тумана; посмотрит, понюхает, облизнёт разок-другой – и сунет комочек себе в чашку. А там уж, прихлёбывая чаёк с туманом, вернётся к столу – дослушивать.

Пару раз забредали заморские водяные с дальних островов. Они сидели строго и молча, зато хвосты их, усеянные ракушками и разноцветными корешками кораллов, смешливо подрагивали, постукивали, то и дело карабкались по шторам, но тоже – не говорили ни слова.

...И многие другие собирались здесь, в Чайном Домике, где приветливо потрескивали угли в жаровнях, где все были добры, все были интересны друг другу.

А за окнами – похлопывали Болота, ласково и светло. А за Болотами – шипело, накренивалось море, непременно к чему-то готовясь, но ничего – ничего! – не говоря наперёд. ....

(конец фрагмента)

Письма... письма... письма...

«...Послушай, послушай! эй! – никогда не мой полы, нет! Не суматошьясь веником, не шваркай тяжёлой разбухшей тряпкой во всякое место. Вот: разберись в следах; приглядишься, принюхайся, прикоснись к каждому следу. Им необходимо это. Это необходимо тебе. Нет никого в том пространстве, где люди неосмысленны и неосторожны в неистовом затирании, кому это не было бы нужно.

Следы копошатся, причудливо вьются, загадочно переплетаясь... Следы копошатся, шелестят, шелестят, шелестят внемными осмысленными телами, вытягивают тонкие стремительные руки к памяти, к эху, к ветрам... Следы вступают в ветер, и ветер – отныне – на темечке прозрачном твоего жилища, и из ветра – речь.

Всё, что насущно тебе, всё, чем осыпаны-облеплены спина твоя и затылок, всё, что исподволь повелительно-жалобно указывает тебе со всякого указующего возвышения – твоё поспешанье в-туда-и-так – тут, здесь, сейчас.

О, так отведи тряпку! Так отложи её, и дай – в высыхании – насладиться ветром!... О!: ветром... ветром... судьбой...

Вот: из мусорного ведра грохочет будильник. Будильник предъявлен ведром, ведром осмыслен. И на каждой цифре дрожащего циферблата – твоё время.

(Центр Мироздания проступает там, где осознаётся.

*Это – задачка идущему верно.*

*Не стоит разыскивать месяц в небе. Даже если приложить лесенку ко всякому небесному месту – месяц ты не найдёшь; а и не плачь, - зачем утруждалась и утруждала? Месяц ищи в лужах.*

*Хочешь прямо стоять, - стой. Но только осознай прямизну своего стояния.*

*Месяц – повсюду. Подушка жёлтому лебедю. Изнанка твоих карманов.*

*Если грязь на твоих рукавах – к чему твоя хижина у водопада? К чему на крыше вертится флюгер?*

*Умоешь лицо – полотенце минуй. Оно поприветствует тебя!)*

*Говорю: бровям – взлетанье. С того ли крылья?*

*Может.*

*Может быть и так.*

*...Да.*

*Говорю. Каждое слово делится на два.*

*Молчу. Слова неделимы. Бусинки. ...Пока не переполнят нить.» ...*

*Письма... письма... письма... письма... письма...*

*«Я сидел на скале и плакал... плакал... А и вовсе и не понятно: в откуда? с чего?; но вот – плакалось, приходило откуда-то из-за спины туманом, моросью светлой. Казалось, вроде и зря: не о чем, не из-за чего... а вроде и нет, не зря, - теплело.*

*Так день прошёл, и ещё день... и прошёл век. Так. Совсем не желалось вставать, покидать место это (славное!), совсем не хотелось делать долгих движений, трепать подошвами плоть земную (да...) (всякую...). Прочно вселся.*

*...Но... - но! – но посмотрел я со стороны (ах! – это я смотрю со стороны!): нет меня; внимаю: ...только тень моя – позёмкой – взметнулась, брызнула со скалы... разве? – развеялась... (а и не было её)...*

*...Далее: вот и не стало нужды плакать. Вот как!*

*Что-то переменилось.*

*Поднялся – поднялся! – я со скалы. Нет меня, - подняться было легко. Поднялся, и – полетел.*

*Я полетел в истинную сторону. Туда и лечу.*

*Ч т о - т о п е р е м е н и л о с ь » ...*

*...И не день прошёл и не боль... И не зверь пришёл и не снег...*

*Человек на камне лежит, человек на камне дрожит, и рисует на камне тень – своей руки...*

*...Теперь – так:*

*К-ПШС«З»*

*«из ЛЕТОПИСЕЙ ЧАЙНОГО ДОМИКА НА БОЛОТАХ» (фрагмент)*

*- Не пытайтесь вместить водопад в кофейную чашку, - умоляюще шепнул Окунь Белой Сове. – Не пытайтесь – и всё тут! И водопад, рванувшись к сосуду, которому наполниться не помешало бы, не обретёт для себя вместилища, и кофейная чашка своего малого объёма никак не наполнит, потому что сила потока в её – чашкиных – масштабах настолько мощна и стремительна, что разве только пара-тройка брызг где-нибудь на донышке и останется.*

- Э, голубчик... - пробулькала набранным в рот чаем Белая Сова, - водопад-то всё равно имеет место. А уж то, что перед ним вместо впадины, достойной обратится морем, оказалась вдруг маленькая кофейная чашка – это неудачливо, это грустно, это больно, наконец! – но что это меняет? Водопад-то низвергается! на то он и водопад.

- Да, но ведь может быть и такое: водопад, вместо брызг на дне чашки – оставит от чашки одни осколки, включив их в брызги собственного шлейфа!

- Или порежется о них, - тихонько проговорила Сова. – Порежется и умрёт... И сколько нуждающихся в нём погибнет тогда от жажды – я сосчитать не берусь. Если я выложу для счёта все свои перья – и тогда не берусь, нет...

- Ну уж странно вы говорите! – загорячился Окунь. – Гибель многих и гибель одной чашки здесь равны! не бывает осколков много или мало, бывают просто: осколки. ...По малости своей чашка могла и не понимать, что перед ней такое, но водопад, водопад! мудрый и сострадающий в многогонесомости своей – он-то мог утишиться!!

Белая Сова вздохнула и успокаивающе похлопала Окуня по встрёпанной чешуе.

- И мудрый, и сострадающий направляет свои шаги туда, куда им предопределено быть направленными, прекрасно понимая, что может раздавить подошвами своих ботинок муравья или сломать ветку, продираясь сквозь кусты. Ему плохо от этого, ему больно, сердце его плачет... но что он может сделать? – идти-то надо.

- Это куда же?!?! – гаркнул Окунь совсем уж ни к месту.

- Эй, куда вы там собрались, - стало раздаваться со всех сторон, - не стоит! не стоит! оставайтесь с нами.

- Да они там что-то про чашки болтают, - рыкнул из глубокого кресла Муравьиный Лев. – А я так понимаю: коли ты чашка, то под носиком чайника тебе будет куда как уютно... Эй, кому чайку!!

- Да тут не в уюте дело...

- Да тут как раз в уюте дело: если бы нам не было уютно всем вместе, - что бы мы здесь делали?

- Эй, кому чайку!..

- Торт сюда! Торт!.. ...

Распахнулись дальние двери, и дюжина рослых ящериц (в сиреневых колпаках, надвинутых на глаза и в розовых нахвостных лентах) внесли огромный торт. Высокий и круглый – он был сделан просто, без всяких витиеватостей и кренделей. Без всяких там финтифлюшек и узоров. Только поверху, крупными печатными буквами из ванильного пломбира шла надпись: **«способность и проявленность быть Мудрым и Сострадающим так редко соединяются с возможностью быть Мудрым и Сострадающим, что об этом и говорить не стоит» ...**

Никто ничего больше и не говорил. Все ели торт, макая сладкие тяжёлые куски в блюдечки с мёдом. И пили чай.

(Когда торт уже доедали – выяснилось, что надпись давным-давно растаяла. Ха! – это вовсе никого не удивило: пломбир – штука такая: зазеваешься, а его уж и нет...)

(конец фрагмента)

Дядя Гриша задумчиво посмотрел на скрипнувшую дверь продуктового магазина.

...Из магазина, весело улыбаясь, вышла кошка. Она толкала перед собой сырный шар. На сыре было написано: «Да здравствуют кошки!»

Кошка огляделась по сторонам, подмигнула сыру и облизнулась.

«Но: сны... сны... сны...

То – олени приходят и просят напиться воды, а вода, что просят олени, у коленей оленьих журчит. Им ведь только черпнуть языком! Но – просят напиться, просят... и в горсти черпаю я сколько могу и даю оленям. Радостны лица оленей! Желанно рты раздвигают, - бормочут, бормочут в воду, - в горстях моих. То – устрицы тянут золотные щели домов врозь снегопаду и солнцу. И верть возникает; так: надо всем возникает. От верти – теперь – соединенье. То – набухает водой горизонт, а в иной раз – зноем. Но – милосерден и чист, - прежде своего нетерпенья. Но: просыпаешься – пробуждаешься, да! – так понимаешь: так... так... так...

...Из подтекающего крана падают на дно ванны капли. Падают, дробясь, пламенея. Падают одна за одной, друг за другом. Падают, чередуясь малым промежутком, и имеют обличье одно. И звук имеют один: неотличный... но и чем-то различный, чем-то неповторимый – невыразимым чем-то, невероятным...; но звук имеют один.

Стук капель – монотонный, заунывный, знобный – угнетает, где-то – местами – опрокидывает и гневит. Пляшет на цыпочках вокруг тебя; грозит обезумьем, или иным каким, соседствующим с этим, недугом. ...Ох, до чего неприятно!

Вот...

...Вот: соберёшься, поднатужишься – прямее, прямее! – и так представишь: и вовсе это не капель звук, но – капель. Или – дождь. Или – опрысь звончальная, необъятная, впененная в плечи твои волной... облаками...

Так! И вовсе не угнетает, а наоборот – придаёт бодрости и песенности, даёт возможность – сейчас, да! – просторно вздохнуть, выпрямиться. Протягивает в глубоких горстях задумывательность, одаривает вдосталь со всех сторон, и вспять своих подарений требовать не норовит.

Так! Отсюда – ход.

...И хожу я и хожу: то – зажмурившись хожу, то – с распахнутыми напролёт глазищами. Хожу, и хожу, и так замечаю: всего у меня много, прямо-таки навалом! По сторонам – на все четыре стороны – оглянусь: отовсюду много. Голову вверх задеру, - много и там. Вниз – ох! – и внизу, и внизу – ох, как много! ...Важный хожу, важный, как влажный песок на подошвах усмешливой рыбы. Важный хожу, и будто бы даже продрагиваюсь от радости. Дрожу. Дрожу...

Дрожу... Дрожу... Озноб, перемещающий лихорадку во всякий предел. Озноб... озноб...; важный, и из важности – спотык, намёк на сближенье камней и лица: о, как мало у меня всего! как же...

Отсюда – улыбка.

...Перемещаюсь (теперь – легко, но и далее... далее... далее...) к вершинам чисел и слов. Здесь котята – сиянные котята – лижут солнце, овёс, молоко. Я проскакиваю по шерстиночным верхушкам жмущих сосцы лапок, и взметнувшись – взметнувшись! – разворачиваюсь в чёрный, омытый созвездиями лист. И я. И котята. И прочее...

Теперь мы вместе.» ...

Дядя Гриша понял, что слова больше не танцуют вокруг него. Слова были в нём.

Приятное – безоглядное – тепло колыбели... Розовые в утреннем солнце верхушки трав... Мама машет ему рукой с другого берега реки, и каждый взмах руки её – крепнущие контуры моста... прочность и краткость переправы... близкое и нерасторжимое, никогда не покидающее никого.

...Елизавета мирно посапывала, зажевав краешек рукава. Тело собаки дышало теплом, напоминая приплёснутую к очагу лужицу парного молока... густого белого молока... белого-белого, как чистый бу-мажный лист, готовый ко многому, но знающий – ещё больше...

«из ЛЕТОПИСЕЙ ЧАЙНОГО ДОМИКА НА БОЛОТАХ» (фрагмент)

...И вот тут, когда все собравшиеся уселись поудобнее, поёживаясь и тиская нетерпеливо тонкий фарфор чашек, - случилось событие... Редкое событие случилось!: стоявший посреди стола Большой Медный Чайник – заговорил... ..

.....

«Мороз ли в ласку тебе... облака ли...

Жёлтые искры календулы – икры отталкивают, заставляя бежать. И никакие мысли не смеют играть в нечестные игры – обгоняя друг друга, друг друга отпихивая от вибрирующей воронки воплощения. Только тлеющий лай исчернелых в младенчестве стручьев гороха – щёлкает в спину, подобно щёлканью в сердце хронометра Давних Дней...

.....

...Тело Шута спало. Но к вроденебытию его примешивалась жёсткая колкость, влипшая в неподвижные рёбра, - так тело Шута ощущало ПЛАНЕТУ.

Оно было голодное, это тело... Редко Шуту удавалось попросить еды так, чтобы у кого-то и впрямь возникло желание накормить его. Слишком уж он и жизнью и речами своими отличался от остальных обитателей этих жилищ. Он был попросту противен многим из них, и – лишь немногим – смешон.

Телу очень мешала планетовая колкость, очень утомляла. Тело даже боялось, что она войдёт в резонанс с голодом и продавит хрупкую корочку вроденебытия, призывая ширящимся разломом возвращенье души.

Душа была обильна и ярка. ...Много лет прожив вместе, произрастая друг другом – тело любило её... и – тяготилось ею. ...»

.....

- Ни-и-ичего не понимаю, - тихонько пропищала одна из Зелёных Мышек. – Это он про что?

На неё зашикали со всех сторон, а старая Жаба и вовсе – локтём толкнула.

Зелёная Мышка порозовела и, засмутившись, сунула мордочку в чашку.

- Ни-и-ичего не понимаю... - немножечко гулко, но совсем уже тихо донеслось из чашки.

Жаба кашлянула, и пихнулась ещё раз.

.....

«...ему невыносимы были мальчишки, секущие гибкими прутьями стебли полыни. Невыносимы были девчонки, обрывавшие с полян цветы для венков-однодневок...

- Ты не любишь детей, - строго сказала ему Супруга Булочника. – Ты так уродлив и глуп, что вообще не можешь никого любить.

- Это неправда... - тихо отвечал Шут.

- Нет, это правда! Самая истинная правда, правдивее некуда. Заруби это себе на носу, дурак!

Шут посмотрел повнимательнее на Супругу Булочника и понял: сегодня она не позволит ему быть сытым, - не даст ни одного хлебца.

...Пора уходить. Вот-вот появится сам Булочник, и тогда он, наверное, побьёт Шута. Булочнику очень нравилось, как тот смешно – ну очень смешно! – закрывается от побоев руками...

Вот-вот вернётся. Пора уходить... » ...

.....

- А сам Шут смеялся?

Маленький и круглый, как пампушка, Воробей вопросительно уставился на Чайник.

Укоризненно посмотрели на Воробья собравшиеся. Все. Тот покраснел, обмяк как-то, уменьшился...

- Он, что ли, взаправду его бил?..

- Глупенький, всё в этом мире взаправду, и всё понарошку, - мягко сказала Белая Сова. – Так уж заведено... так вышло.

- А пусть он Чайник не перебивает, - с неожиданным надрывом выкрикнул через весь стол Мотылёк. – Ну что это такое, в самом деле! Вот перестанет рассказывать...

- Тихо! Тихо! – Медведь гулко хлопнул лапой по подлокотнику. – Если Большой Медный Чайник начал говорить, то его уже не остановишь, пока не выговорится. Но перебивать его и впрямь не стоит. ...Тихо!

.....

«...душа шута любила тело, жалела, но и тяготилось им. Ей много где доводилось бывать: и в несказанно прекрасном... и в ужасном, невероятно ужасном!.. Всё это было переливчато, ослепительно, как блики солнца на перламутре озёрной раковины во время отлива.

Никак душе не удавалось сделать так, чтобы тело сопровождало её, а потому – приходилось летать в одиночку.

Но не было одиночества в летаниях этих. Там, в той реальности, где душа была вместе с телом, одиночество часто окутывало её нестерпимо-горчащим дурманом, являясь неотделимым и неделимым спутником тамошнего бытия. А здесь – нет. Частенько, в тех краях, куда доводилось забираться душе Шута, она встречала своих родственников, близких и дальних; родные души радовались её появлению, всегда с восторгом соглашались сопровождать, и вообще – быть рядом. Им было хорошо. Ах, как им было хорошо!» ...

.....

- А каково было телу!?! - угрюмо мявкнул Морской Кот.

- Тело попросту было, - рассудительно перебил его Окунь. – А это уже что-то...

- Голодное и одинокое... да ещё с планетой под рёбрами – шутка ли! – это по-вашему «что-то»? – Морской Кот от возмущения даже позеленел.

- Я вот о чём задумалась, - застенчиво проговорила Щука, - если одно голодное тело съест другое голодное тело – насытится ли оно? или останется по-прежнему голодным?..

- Да цыц, вы!! – рявкнул Медведь, хлопая по подлокотникам уже двумя лапами разом. – Цыц, вы, чешуйчатые! Хватит нести ерундень. Налейте себе чаю, возьмите по куску пирога и слушайте дальше. ...А то ведь сил никаких нет – перебивают и перебивают!

.....

«...сырость от льющихся дождей и вышедшей из берегов реки становилась уже вовсе неприличным делом. С этим соглашались все обитатели жилищ. Они размахивали руками, топали ногами и всяческими другими способами выражали своё негодование. При этом большинство обитателей почему-то искоса поглядывало на Шута.

Шут этого не замечал. Ему нравился шум дождя, нравились тускло поблёскивающие лужи с упруго тренькающими пузырями. ...Босиком носился Шут по лужам и вспоминал, вспоминал, как в детстве нашлаёвывала его за такие шалости мама. ...Он носился взад и вперёд, весь обмотанный, будто б коконом чудесным, шелестящими стайками брызг. И рождался из кокона – Кокон-Чуда – многократно, и не умирал ни разу. (Мама, это он помнил, никогда не шлёпала больно, а всегда так, что становилось смешнее и веселее. Даже, пожалуй, ещё веселее, чем бегать по лужам!)

Внезапно пришла тишина. Она прикоснулась плюшевой еловой лапой к затылку Шута, и он, замедленно вытянувшись зорким пылающим маяком, увидел: жилища остались далеко позади, они

почти слились с горизонтом: в этом многоруком и скользком месиве камней и небес мокли запасы еды, заботливо устроенные обитателями жилищ, мокли запасы одежды и разумности... Но, говоря откровенно, голодного, вовсе раздетого и глупого Шута такие вздоры-кошмары интересовали мало... не интересовали совсем... Обитатели это чувствовали, и заранее осуждали и презирали своего беспутного, бездельного постоянно сожителя.» ...

.....

- А что, если... - начала была некая крохотулечная Букашка. ...

- Цыц!! – свирепо шепнул Медведь.

.....

«...и миновали дожди. Река вошла в своё русло. А запасы – высохли.

По этому поводу обитатели жилищ решили устроить Карнавал...» ...

.....

- Ур-р-ра! Карнавал!!! – заорал Медведь.

Все обалдели. Некоторые даже испугались. Те что поменьше – спрятались в чашках, те что побольше – с грохотом засуетились под столы.

И как-то так в этой суматохе вышло, что Большой Медный Чайник, которому, видать, на роду было написано опрокинуться – опрокинулся...

Опрокинулся Чайник, замолчал.

- Выговорился...! – ахнулось из угла.

- Уболтался, носатый, - с добродушным пониманием проговорил Бобёр.

Чайник подняли, протёрли, подышали на него на всякий случай, а потом дружно посмотрели на Медведя. Медведь (от сраму и конфуза такого прикрылся он уголком скатерти – с одной стороны, и блюдечком – с другой) виновато помаргивал.

- Да, удружил, пень волосатый, - задиристо процедил Комар. ...

...Но – разом вспыхнули угли во всех жаровнях; из чайников повалил пар. Взвыли, тонко и хлюпотно, трясины за окнами.

Все успокоились. Расселись, где кому было место. (Некоторые – облизнулись.)

**Время Чаепития**, которое никогда не может быть отложено, пришло.

.....

(примечание: Комар, некоторое время спустя, извинился перед Медведем, пообещав впредь не обзывать.

После этого они обнялись и расцеловались.)

(конец фрагмента)

Письма... письма... письма... письма... письма... письма... Может быть – свист бегущего облака... Может быть – имена...

К-ПШС«З»

«из ЛЕТОПИСЕЙ ЧАЙНОГО ДОМИКА НА БОЛОТАХ» (фрагмент)

((к вопросу «о вечном» - «стихийные явления и чай. их взаимодействие.»)

лирический доклад Майского Жука)

«Круглая жёлтая Луна, высоко поднимая ноги – на цыпочках – подобралась к мышинной норе. Позиралась... : тишь да безмятежность вокруг... Луна выпростала из мягких складок своего халата тоненький лучик, и, вздохнув смешливо, пустила его в нору.

- Это ж по какому такому праву! – раздался грозный вопль. – Это кто ж тут позволяет себе выкрутасничать!..

Из отверстия норы показалась мышинная физиономия, похожая на плюшевый конус с проволочками-антеннами по краям. Физиономия с явным неодобрением оглядывала Луну.

- Ну, и в чём дело!? – Мышь нехотя выползла и, подбоченившись, насупила брови.

- Я – Луна, - сказала Луна, и поклонилась.

Мышь молча ждала продолжения.

- Я просто немножечко пошалила, вот и всё. Почему вы так рассердились?

- Я спала! – заорала Мышь. – У меня завтра трудовой день! Нашла время для шалостей...

Луна заволновалась, даже побледнела немного.

- Но как же... поймите! – я могу только ночью. Я – ночное существо.

- А я – дневное, - сурово отрезала Мышь и полезла обратно.

...Спустя некоторое время из норы послышалось равномерное сопение. Луна вздохнула. Прошлась взад-вперёд по полянке и вновь подобралась к норе: сложила ладошки подобием рупора и пронзительно мяукнула. Мяукнув же – спряталась за дерево.

- Да я тебя!.. У-у-у!! вот как возьмусь! – с дикими воплями, и тряся в высоко поднятых лапах сучковатой дубиной, Мышь молнией вылетела на поляну.

Остановилась. Кота не было. Была Луна, которая робко выглядывала из-за дерева.

- Твоя работа!? – спросила Мышь.

- Моя... - виновато всхлипнула Луна.

- И чего ты на мою голову навязалась?.. – Мышь отбросила дубину, села на траву и пригорюнилась. – Что тебя здесь, прикармливали, что ли...? Или, может, ты смысл жизни таким образом ищешь?

- Да нет... просто шалю, - сказала Луна.

- М-да... - буркнула Мышь, - природное явление в аномальном ракурсе...

- Чего? – не поняла Луна.

- Стихийное бедствие, вот чего, - пояснила Мышь. - Сие ни дубиной ни разумом не осмыслить.

- Ух ты! – сказала Луна. – И что ж теперь?

Мышь посмотрела на неё, устало махнула лапой и полезла в нору заваривать чай с брусникой (для себя и для Луны)... ..ибо: с незапамятных времён известно: **стихийные явления оборению и осмыслению поддаются только за чашкой чая.**

...Через полчаса Мышь позвала загрустившую Луну к себе в гости, и они вместе уселись чаёвничать.

Гостья за столом не шалила и вела себя вполне благопристойно.»

(конец фрагмента)

...Дети на площади прыгали и смеялись. Делали они это так увлечённо, так громко, что казалось – площадь подпрыгивает следом, ни в чём не желая отставать от скопившейся на ней мелюзги. Дети задорно распевали только что появившуюся песенку:

«дядя-тётя – почтальон!

дядя-тётя – почтальон!

он солому ест с лошадкой

и ночует под палаткой!»

- Вот сорванцы, - покачивал головой старичок. – Ну что за дети? Нужно петь не «под палаткой», а «в палатке»! Получится, конечно, не очень складно, но – сами виноваты...

А дети не слушали и продолжали горланить по-своему. Им так нравилось.



- И солому я не ем, - убеждал старичок. – Ни-ни! ...Я – баранку ем!

Он достал из кармана маленькую круглую баранку и с хрустом надкусил её...

Но дети не слушали. Но дети прыгали и смелись. И площадь прыгала. И лошадь с повозкой. И даже старичок, крепко вцепившись в надкусанную баранку, чтобы уберечь её от упадания-пропадания, подпрыгивал, заливисто хохоча и пугая диковинными пируэтами степенно встывающих в день прохожих...

...«- Эй, вы кто? вы кто? – крикнула гусеница. – Эй, кто вы, прекрасный и могучий незнакомец? Как ваше имя?

- Я... я – Медведь-Сидящий-На-Дереве.

- Ха! Вот ерунда! Ни на каком вы дереве не сидите, – рассмеялась гусеница.

- Вот как...

- Это ж очевидно!

Гусеница покатывалась со смеху, всеми-многими лапками придерживая трясущееся булькающее пузо. Медведь ей очень понравился: как же! – такой любезный и весёлый кавалер.

- Вот как... - улыбнулся Медведь-Сидящий-На-Дереве. – Видите ли, вы этого просто не видите, а происходит это потому, что вы это не видите. – Медведь широко зевнул и сладко развалился на пригорке, запрокинув руки за голову. – А видите вы, видите ли, и – не обижайтесь... только то, что видите.

- А... Что? – гусеница перестала смеяться и выпучилась на Медведя. – Как это? ...Да вы о чём, мужчина!?

- Видите ли... - начал было снова Медведь.

- Что!? – гусеница упёрла лапы в бока и надула щёки. – Опять!?!?

- Да ну тебя!.. – сказал Медведь-Сидящий-На-Дереве и, повернувшись на бок, заснул» ...

К-ПШС«З»

«из ЛЕТОПИСЕЙ ЧАЙНОГО ДОМИКА НА БОЛОТАХ» (фрагмент)

рукопись Ежа (найденная в чулане) –

« П Т И Ц А »

«Жила-была на свете Птица.

Жила себе и жила, и вовсе не знала, что она – Птица. Никто не говорил ей этого, а зеркала в квартире не было. ...Да что там зеркала! – квартирка была такой маленькой, что негде было даже взмахнуть крыльями... даже взмахнуть!.. а не взмахнув – как узнать о их существовании?

Так прошло полжизни. Птица переменила за это время много желаний и надежд. Она хотела быть машинистом паровоза и изобретательницей вечного двигателя, знаменитой певицей и хранительницей прочного уютного домашнего очага. И ещё много-много разного.

Что-то из всего этого получалось – и Птица радовалась. Что-то не получалось – и Птица печалилась. Но радовалась она или печалилась – и то и другое равно не наполняло её до краёв, казалось не настоящим. Ни что не приносило удовлетворения, светлого или мрачного, не вызывало облегчённого вздоха.

Прошло ещё полжизни. На рассвете, когда засыпают звёзды, к Птице пришла Смерть; она ласково взъерошила измятые тесными платьями, усталостью, временем птичьи пёрышки и шепнула: «ты – ПТИЦА!..», и повела за собой.

.....

И явилась Птица в следующую жизнь. Явилась маленьким, скучным для окружающих человечком, который вовсе ни к чему не стремился, вовсе ничего не хотел от жизни, кроме одного: быть ПТИЦЕЙ.

Хотел он этого днём и ночью, - за едой, на работе, в кругу семьи. Хотенье крыльев, полёта – пронзительное, неотвязное – заставляло его быть небрежным в исполнении долга служебного и долга супружеского, чем заслужил немало тумачков и всяческих назиданий.

...Иногда человечек просыпался среди ночи и отправлялся на кухню. Супруге он говорил: «Я иду попить воды. Как только напьюсь воды – я сразу вернусь». - «Не забудь включить свет, а то захлебнёшься» - презрительно отвечала супруга и поворачивалась на другой бок.

Человечек, в кухне оказавшись, света не зажигал, воды не пил. Он становился посреди кухни и начинал прыгать вверх, стараясь подпрыгнуть как можно выше, задержаться в воздухе как можно дольше... Иной раз, подскочив слишком высоко – ударялся головой, облысевшей и исцарапанной, о потолок. ...Но боль от ударов не угнетала и не разочаровывала его: «Если хочешь взлететь, - шептал себе под нос человечек, - надо быть стойким».

Бывало, проживавшие этажом выше и этажом ниже – жаловались на ночной шум. Они знали, что их сосед по ночам, прыгает и советовали вздыхающей супруге сдать этого «неугомонного придурка» в сумасшедший дом. Супруга вяло отказывалась и приводила свои резоны.

.....

...А всё-таки – сумасшедший дом не миновал человечка, - в нём он и оказался.

...Туда и пришла за ним Смерть. И повела за собой...

(там вовсе не было потолков!)

.....

Забрезжило, будто в прозелени подводной – карманного фонарика луч: н о в о е р о ж д е н и е ...

.....

И родилась ПТИЦА, которая знала, что она – ПТИЦА. И могла ею быть как никто другой.

Прекрасная П Т И Ц А !

(А вот была ли прекрасной у неё жизнь – не знаю. Не было времени узнать. Своих дел невпроворот.)

.....

**по кругу рождений и смертей, становясь то белым, то чёрным, то огромным, то крохотным, - вертелось обезумевшей лёгкой юлой п т и ч ь е п е р о »**

(конец фрагмента)

«я не помню какая страна на континенте к северу от меня

я не помню какая страна на континенте к югу

мне совершенно плевать что там на востоке и на западе

: мир гораздо проще чем он кажется несмышлёнышам

ах эти несмышлёныши разделяющие вдох и выдох на две половинки!

я даже так скажу: мир прост

...сизые сизые губы – мёртвый лимон

мёртвость – это усмешка

раздвигается – в колокольчиках вся! – розовая сверкушка отпускная округлость плода

«я и ты – четыре руки» - говорит жемчужина

«я и ты – две руки» «одна и одна рука»

«ох...» - говорит бык

и быку хорошо известно что именно отсюда начинается линия

здесь ей надёжно  
...пляшет пляшет лимон выявляя округлость главного  
пляшут заюшки и мухоморы  
так: выявляя бесплотность главного  
главное  
и ещё и ещё проще!..  
...я даже так нарисую: мир прост  
и поэтому на листе бумаги вам не обнаружить ни одной линии ни одного пятнышка краски  
да!  
лист можно потревожить огнём ножом или влагой  
ах! –  
тревога – дорога...  
**...вот и нет листа**  
**вот это ему и было нужно» ...**

«...Иви, Иви, малыш!»

Большая Белая Рыба всплыла из глубины и коснулась чешуйчатым боком прохладных ступней...  
Колыбель из любви и начала... тихие звёздные качели, падающие вперёд и назад, вверх и вниз...

...«...Сугроб возвысился. Сугроб возрос над крошечным кирпичным баракком и покрыл его.

Это был второй мир. Мир, в котором отсутствовал, просто и мягко, кирпичный барак, но – зато – присутствовал снег, разлапистый и нежный, бескрайний и вопиюще белый.

Всякая незавершённость, в мире прежнем – крикливая, раздирающая, отошла к началам своим, неназойливо смазываясь, сливаясь-слепляясь с собственной тенью. Выдох – оборачивался снегом, и вдох – снегом; и снегом оборачивалась мысль; и всякое действие, вошедшее в снег, оборачивалось снегом, незамедлительно, тут же, ни мгновением не попятив сияющей белизны.

...А впрочем... (и это замечилось, и отмечилось в соответствующем столбце) вот: замелькали крошечные фигурки; замелькали обильно и нервно; замелькали крошечные фигурки с лопатами и следами, и следы, опережая трясошное паденье лопат, первыми разбивали снег.

Это был третий мир. Мир, сплошные одежды которого были разомкнуты на полосы, а полосы – на бахрому. Мир, в котором крошечные фигурки мелькали настолько быстро, что всякое – фигурковое – желание порождало сквозняк. ...Сквозняк теребил... поднимал... раздувал во все стороны бахрому, обнажая незавершённость. И там, где незавершённость отчуждалась от собственной тени – возникала боль.

Боли было очень много. Боли было настолько много, что последнее место, где она могла найти прибежище – была она сама. И боли не хотелось быть. Совсем.

.....

...Я запахнул форточку, и только тут – только тут! – обнаружил, что форточки – нет, и не было, а только – нерастворное большое окно, закреплённое в стену, похожее на обледеневший парус. И окно закуталось в занавеси. И вздрогнуло, и вздохнуло. И посмотрело на меня.

«Ты понял?»

Ну конечно же! Как не понять!: мы – думали друг для друга и друг из друга, не разделяя себя на два обособленных бликующих в бесконечности штриха. Мы – думали, и, думая, порождали друг из друга и друг для друга форточку. Вот как! Потому что – умеем; да и всякий сумеет, если хоть на чуточку забудет о себе; ...а и забудет о себе, а и станет – всем, всем-всем, сразу.

«Ты понял.»

Нет.

Да.

Я обнял окно. И замер » ...

К-ПШС«З»

из ЛЕТОПИСЕЙ ЧАЙНОГО ДОМИКА НА БОЛОТАХ» (фрагмент)

- Ну не плачьте, - уговаривала Ласточка Морского Кота. – Ну, хотите – я вам подолью чаю? хотите? ...Ну не плачьте, не плачьте, пожалуйста! ...Ах, как мне вас жалко!..

Все, кто был поблизости от них, хлопотали, закружились, заахали: успокоить плачущего – дело нешуточное!..

Дремавшая в кресле, как раз насупротив происходящих событий, Белая Сова – проснулась.

- Да что с вами такое, голубчик!? – встревоженно спросила она. – Что случилось?

Морской Кот, уже несколько успокоенный всем этим переполохом, ответил честно:

- Взгрустнулось мне, братцы и сестрицы. Просто взгрустнулось.

- И всё?.. – спросили его.

- И всё, - подтвердил Кот.

- Бывает, бывает, - сочувственно закивал Медведь. – Это всё от излишнего увлечения философией.

Собравшиеся (не исключая Белую Сову) вполне с этим согласились.

.....

...Густо шурша плотными отсыревшими сумерками – тяжело обрушивался и вздымался маятник большущих Болотных Часов. Ровно и мягко светили лампы; их свет, прохладный и чуточку напевный, вплетался в каждую щёлку Домика, в каждый завиток чайного пара, в каждый отзвук.

Приближалась ночь. Она приближалась неторопливо и многолапо; её приближение предваряя – в крышу торопливыми робкими пальцами стучал дождь. Возле самых дверей, не приближаясь вплотную, но и не отходя далеко, топотался Северный Ветер.

.....

За столом становилось оживлённей.

- .....да что вы, что вы, - возмущённо втолковывала Изумрудная Цапля Барсуку, - будьте же логичны! Иной раз: малое, влипая в большое – порождает контраст и становится больше большого, значительнее. А иной раз: в большое влипнув – малое теряется, исчезает вовсе... Тут заведомой системой и не пахнет; сплошная околесица!

- Ну уж вот это вы бросьте, - пыхтел Барсук. – Всё имеет запах, всё пахнет!

Барсук привстал, лапами в стол упёршись, и демонстративно покрутил носом.

- Вы только принюхайтесь! только принюхайтесь! Будьте добросовестны, и система вмиг поймёт, что её выследили и выдаст себя испуганным шевелением. Вот тут-то мы её и накроем! Вот тут-то...

- Кого вы накроете – это ещё знаете ли... - влез в разговор маленький Тополиный Ленивец; свесившись с люстры он ехидно сморщил мордашку. – Вполне возможно, что сидят они вместе: система и околесица. ...А кого вы из них накроете, это знаете ли.....

.....

(из рукописей Ежа)

*«...И приблизилась Золотоглазая Кошечка к окнам Домика, не мытым давно. Загодя, с заботливостью утвердительно, были приготовлены чистые тряпки, мыло и ведро горячей воды.*

*Да почти ничего в них и видно-то не было, - вот какие грязные!..*

*...Но задумалась Кошечка, затомилась невесть от чего... Уселась она, боком к ведру прижавшись, зажмурилась...*

*! И тут окна заговорили! заговорили! заговорили:*

*«Глупенькая, мы вовсе не грязные, не замызганные, не тусклые! Твоя суета – напрасна, как и всякая другая суета... напрасна... напрасна... напрасна...; ваши беседы, ваши мысли, ваши чувства, росплески чая, дыхания ветров и печного дымка – вот они! все здесь, в нас...*

*Глупенькая! стоит лишь заглянуть, заглянуть, заглянуть, и каждый из вас увидит всё самое родное, близкое, желанное!*

*Взгляни, золотоглазенькая, взгляни..... »*

*К одному из окон Кошечка подошла, взглянула на него робко... А потом уж и не робко, а недоверчиво и радостно!..*

*О н а – У В И Д Е Л А*

*...Он что – заснул? Вроде бы – нет...*

*Дядя Гриша, не открывая глаз, стиснул руками голову.*

*Вот: привязали к колоколу, и мотают, мотают!.. БОМ! БОМ! БОМ!*

*«...и травы травы оплетут побитый молью рельс*

*и моль войдёт в свои права*

*и сдвинет все узлы*

*и травы будут оплетать побитый молью рельс*

*покуда будут оплетать*

*покуда – здесь – узлы*

*...и в спины молнии войдут*

*и изойдут из спин*

*и тем расправятся узлы*

*и тем – покуда – здесь:*

*теперь расправятся узлы*

*держаний – вне – теперь*

*покуда молниям – терпеть и быть спиною спин*

*...ручьи обрящут покрова двенадцать раз подряд*

*и изойдут двенадцать раз: спиной, узлом, ключом*

*и моль ударит в рельс плечом*

*и звоном изойдёт*

*: двенадцать раз ударит моль, и звоном изойдёт*

*...как будто – ширь, она близка*

*и терпелива ширь*

*её приподнята постель над городом-ключом*

*покуда нынче на холмах*

*и в том – она – теперь*

*замочной скважиной – терпеть – истаявшим узлом*

*...пребудет – ширью – в серебре – из серебра – свинья –*

*пребудет – ширью – в серебре – из серебра – дракон  
и город-ключ – из серебра – и серебро сольёт  
покуда слово греет рот  
и сказано теперь » ...*

Появился и окреп запах недавнего дождя... лесной прели... мёда... Запах цветов и света... Дурманящий запах зреющих ягод...

Где я? Что я? Почему я? Так много вопросов! – один вопрос... В дяде Грише больше не было ни одного. Вот. Потому что не было и его... Так? ...А кто же был? Вот он, пожалуйста, на скамейке сидит...

Нет, он не спал. Ни мгновения не спал. Но перемена была такой внезапной, такой незаметной, что трудно было соединить его натянутое напряжённое бодрствование и нынешнюю очевидность: вот он... он уже не там, но ещё и не здесь... не-там-и-не-здесь – вдосталь и безущербно понимались им, и принимались вполне, и виделись гранью.

...Он почувствовал, как заворочалась, зевая, Елизавета. Она всегда просыпалась долго и нехотя, а если её не трясли, могла, проснувшись – заснуть опять. Но сейчас дядя Гриша услышал её бодрое и окончательно пробуждённое потягивание.

...Глаза открывать не хотелось. Его нынешнее состояние было куда более явственным, чем привычная явь. Казалось: откроешь глаза – и заснёшь; шагнёшь в бытие – шагнёшь в сон... жить-сновидеть, до хруста, до хрипа, до испарины на воспалённых изломах души... прожить – от рождения до смерти – не родившись... утоляя жажду, выпить стакан воды – и быть выпитым, и не утолить жажду, так как стакан – пуст, и не наполнить стакан – так как стакана нет; и не набрать горсти песка, чтобы выплавить стакан, так как сокровищница песчаная – пустыня – рождает лишь миражи...

Елизавета залаяла.

Дядя Гриша открыл глаза и тихо ахнул...

Он по-прежнему сидел на скамейке, но сама скамейка поменяла место: теперь это было облако. Скамейка стояла на облаке. Ножки скамейки почти целиком погрузились в текучую вихрящуюся облачную вату; и ноги дяди Гриши тоже – почти до колен. Елизавета бегала по скамейке, пытаясь, перегнувшись, лизнуть облако, но вниз почему-то не спрыгивала.

Вокруг – можно было разглядеть ещё несколько десятков облаков, со стоящими на них скамейками и с сидящими на скамейках людьми. На некоторых облаках – стояло сразу несколько скамеек, с оживлённо беседующими друг с другом сидельцами. На одной из скамеек поблёскивал самовар.

Их облако оказалось совсем небольшим, и, не вставая, дядя Гриша внимательно оглядел окрестности.

Лес. Необозримый сияющий лес. Удивительно, но был он таким разноликим, таким пёстрым, что от восторга перехватывало дыхание! Все деревья, все растения, - всё, что дядя Гриша когда-либо видел, о чём слышал или читал! Всякая травинка, всякий цветок! Прежде он и вообразить бы не смог, что подобное может возникнуть в одном месте, стать одним лесом... Теперь и воображать не нужно, просто – смотри.

Облако зависло неподалёку от самой серёдки леса, от самой его сердцевины. Отсюда, сверху, это было понятно сразу: все растения имели отчётливый, чуть уловимый наклон – сюда, в сердцевину, и от того весь лес – на сколько хватало огляда – напоминал цветок, торжественный и неописуемо пышный. Цветок пульсировал, трепетал, перемешивал краски и блики, рождая общее всем лепесткам ликующее движение.

Сердцевиною же леса была просторная светлая поляна, почти целиком запорошенная листвой. И – Дерево.

«Всё. Приехали, - подумал дядя Гриша. – Тут я и останусь.» Елизавета насмешливо смотрела на него.

- Тут я и останусь, - твёрдо сказал он.

Всем сразу сказал – и Елизавете, и скамейке, и облаку... И Дереву.

...От земли, будто бы исторгнутый из глубин, поднялся сильный ветер. Ветер подхватил с поляны листву, перемешал, – воспарил: к облакам! к облакам! Листья возносились всё выше и выше, разлетались всё шире, всё дальше... А ветер становился крепче и крепче. Он прихватил, перемешивая с листвою, облака, и погнал, и погнал...! Дядя Гриша уцепился одной рукой за скамейку, другой – прижал Елизавету; собачонка слабо попискивала... А ветер не унимался! А ветер взывал, растрепливая волосы, тормоза одежды, отдирая скамью от облака, и облачных путешественников – от скамьи! Ветер рычал, визжал, звенел! Ветер гремел!..

Когда и в какой момент их стряхнуло с облака – дядя Гриша не помнил. Осознал он себя только в свободном, замедленном полёте. Под плащом, вцепившись в рубашку, дрожала Елизавета. Рядом – порхали, кувыркались, парили листья, разноцветные, большие, так непохожие на привычную древесную листву... и – похожие, очень похожие, совсем-совсем такие, какими принёс их дядя Гриша из детства – какими помнил – живые, лепечущие, настоящие...

...Дядя Гриша и не подозревал, что умеет летать. А высота-то! – высота какая... Внизу – только облака...

Умеет?

«Почему я лечу? – раз за разом, упорно крутилось в его голове. – Почему? Как у меня это получается?»

Встречный поток воздуха набивался в рот, в ноздри, заползал под одежду. Шалея от высоты, дядя Гриша замер, хотя поначалу пытался делать руками и ногами какие-то то ли летательные, то ли плавательные движения. Однако, довольно быстро понял, что свершение лёта не зависит от каких бы то ни было дёрганий-маханий, и все усилия направил только на одно: удержать Елизавету, не дать ей выпасть из-под плаща и кувыркнуться непонятно куда. Елизавета сидела тихо, вытаращив свои и без того выпуклые глазёнки. Ни дёргаться, ни крутить головой, ни даже тявкать она не пыталась.

Внизу, на одном особенно ретивом облаке, промелькнула знакомая скамейка.

«Почему я лечу? – чуть не рыдал дядя Гриша. - Почему?»

И – ни с того, ни с сего – вспомнил...

(...Апрель! Как давно это было...

Апрель. Набухающее весеннее солнце. Тает снег; совсем недавно он был повсюду, его было много – высоченные горы снега, - теперь он тает. Везде, где есть хоть какой-нибудь склон, бегут, бурля, расталкивая лёд и мусор – ручейки, ручьи, реки... На берегу одной из таких рек пятилетний мальчик Гриша отправляет в плавание корабль. Красивый корабль! – целый час пристраивал Гриша к плоской щепке веточку мачты, нацепливал, дома ещё припасённый, лоскутный парус, пристраивал обгорелые спички – матросов, которым предстоит вести корабль в неизведанное и суровое.

Корабль накренился. Корабль покачнулся. Корабль поплыл, перекручиваясь в водоворотах, стучась о тяжёлые снежные комки, спотыкаясь на ледовых порогах. И вот – он уже вышел на широкую воду. Здесь неглубоко, но кораблю это совсем не страшно: опытный судостроитель предусмотрел всё, опытные матросы на местах, - нет никаких причин для волнения и тревоги!

Показались две молодые женщины. Женщины шли, вперебой болтая, по улочке, поднимаясь навстречу весеннему судоходному потоку. Они мельком, со снисходительной брезгливостью, посмот-

рели на чумазого, обляпанного мокрым снегом мальчугана, и одна из них, вряд ли понимая, что делает, но совсем о том не беспокоясь – наступила на кораблик...!

Огромная, в расфуфыренном сапоге ножища, зависла над кораблём – над парусом, над мачтой, над отважными умелыми матросами, - зависла и опустилась...

В этот момент Гриша изо всех сил представил себе, что – всё хорошо, ничего не случилось и случиться не может, что кораблик цел, невредим и дальние странствия его по-прежнему впереди, там, куда он непременно – непременно! – поплывёт... Куда он плывёт... Куда он и сейчас плывёт...

Нога, опустившись прямёхонько на корабль, оставила его целым – целым и невредимым. Нога прошла как будто бы насквозь. Так: и нога и кораблик – туман; две бесплотных фигуры просочились друг сквозь друга, и, минуя нелепое столкновение – разошлись, отправившись каждая своей тропой. Нога потопала вверх, сопровождая три остальные ноги, а кораблик – поплыл... Поплыл!)

Так вот почему он летел! Он просто не хотел падать! Не хотел падать...

И не упал.

Дядя Гриша только теперь понял: он вовсе не летит, - он просто не падает; завис, высоко, над облаками, и крутит его и вертит насмешливая воздушная чехарда... и может так вертеть всю жизнь!

Осознание подобной возможности пришло как второе ошеломление. Мысль: «Вот так! вот так болтаться всю жизнь! всю жизнь!» вытеснила из него страх падения.

И дядя Гриша стал падать.

Падал он медленно, мотаясь, крутясь, то вздёргиваясь, то проваливаясь. Так падает слетевший с ветки лист... вне страха и вне сомнений, спокойный, начинающий особенную, отличную от прежней, жизнь... сам по себе...

...Упал.

Нет, не упал – мягко приземлился на заваленную листвой поляну... в листья лицом зарывшись, почти заснув...

### 3

Аплодисменты! Аплодисменты! Аплодисменты!

Пошевелился; приподнял голову. «...А где Елизавета?»

Аплодисменты! Аплодисменты! Аплодисменты!

Дядя Гриша протёр глаза; поморщился. Тело стонало, гудело, но повреждений никаких не ощущалось... Не было повреждений. «Легко отделался... Так мог грохнуться!..» С трудом, упираясь руками в пол, встал на четвереньки; с четверенек – сутуло распрямился. «Это не поляна...»

Да, никакой поляны, заваленной листвой, здесь не было. А была – сцена. Стоял дядя Гриша на маленькой, ярко освещённой округлой сцене, сбитой из щелястых досок. Сверху (не разберёшь – откуда) лупили два небольших прожектора. Впереди – в сумерках – угадывался уютный зрительный зал, до последнего сиденья полный зрителями.

Дядя Гриша поклонился.

Аплодисменты! Аплодисменты! Аплодисменты!

Дядя Гриша понял, что он принимает участие в какой-то пьесе. Возможно, он и есть пьеса... Во всяком случае, зрителями его появление было принято вполне ожидаемо и вполне благосклонно.

Укрыв глаза козырьком ладони от изводящих избыточным светом прожекторов, он всмотрелся в темноту зала. Моргая, всмотрелся в сотни разномастных затылков...

Зал оказался развёрнут: зрители сидели к сцене – спиной. По их напряжённым спинам угадывалось крепкое внимание, даже – тщательность просмотра. Их взгляды были направлены куда-то в тем-



ноту... Дядя Гриша почувствовал, а почувствовав – понял: взгляды не минуют сцены; там, в темноте, сцена никуда не девается, - она попросту не может никуда деться. А ещё... пауза слишком затянулась, и он должен (почему?) продолжить выступление!

Дядя Гриша откашлялся... Растерянно обвёл глазами сцену... На сцене лежал древесный листок, разлапистый, похожий на кленовый. Лежал он совсем рядом, и дядя Гриша, нагнувшись, поднял его.

Слова... слова... слова... То ли по листку, то ли из листка – прожилочками, шершавостью едва уловимой... Слова... слова... Он снова откашлялся.

- Всё равнозначно! – Не понимая, что именно он читает – старался читать с выражением. – Всё иллюзорное-бесконечное множество тел-образов, разумов, душ – равнозначно! ...Но из каждого условно-конкретного личного «я» («я») и общего «я» («мы»), определяющего себя точкой отсчёта, критерием и мерой мироздания, доступные этому «я»-«мы» – обмелки бесконечного множества воспринимаются в состоянии неравенства. Вот, например, человек; человек, как точка отсчёта, мера, критерий, «венец творения»: под себя: человек – умный, кошка – неизмеримо глупее, кузнечик – совсем дурак, а уж о ромашке – и говорить не стоит, о камне – даже не заикаться... И так далее, и тому подобное!

Аплодисменты! Аплодисменты! Аплодисменты!

На сцену из кулис выскочил барсук.

- Здесь стихи читают? – озабоченно поинтересовался он.

- Не знаю... - Дядя Гриша развёл руками: - Я сам тут, как слива в горчице...

- Бывает, - кивнул барсук. Внезапно возмутился: - Никто ничего не знает! – Сердито потопал к противоположным кулисам. – Никто!.. Ничего!..

Скрылся. Зрители в зале занервничали. Нет, никто не вскочил, не засвистел, не затопал ногами, но... – какое-то шевеление пронеслось, хриплый обездвиженный тряс...

Дядя Гриша перевернул листок. На обратной стороне рисунок: смешной человечек старательно листает букварь. ...Страницы букваря задвигались, зашелестели... замелькали... свились в вихревую возвысину... в столб... в ствол... На листке проступило изображение дерева. Изображение поползло, набегая, увеличиваясь, раздвигаясь... Вышагнуло из листка...

*«...Дерево, как дерево. Высокое дерево, раскидистое, красивое. Но, если подойти поближе, если не отвернуться, если смотреть – становилось понятно, что это Дерево-Слово.*

*Дерево Слов... Оно не прикладывало никаких усилий к тому, было таким, как есть, - словами. Слова появлялись как-то так – само собой: выступали тонкими обуквленными штрихами на поверхности листьев, может быть – просеиваясь из облаков... или – иссвечивались нитяными высокими струями, пухля листовую плоть, из глубин земли... Листья раскачивались, закручивались, струились, - сосукиваясь, трепетно касаясь друг друга, друг другу о многом шепча. Их изумрудное обморочное клубленье походило на сон. Этот сон не был чем-то конкретным, но – всяким; как таковой – сон... И из сна-себя – тёплые лёгкие пальцы, заплутавшие в нечёсаной гриве рассвета... бредущие наугад... знающие дорогу...*

*Слова не отяжеляли ветвей и листьев, не клонили ствол. Они любили существо, которое рождало их и рождалось с ними. Слова приходили неотъемлемой явью, равной со всем прочим, необходимой, - без чего Дерево было бы немисливо и незавершённо. Они не отделяли себя от Дерева, – даже не задумывались об этом! – пробуждались, набухали, росли, расцветали точно так же, как и все прочие неотъемлемости древесного организма. Учились слышать. Дышали. И – в паузах между вдохом и выдохом – наполнялись сутью.*

*Дерево тоже – училось. Училось; и было – везде, везде-везде, вообще-повсюду. Где-то – оно проступало фонарём, где-то – поездом, где-то – утренней лужей на асфальтовых устах города... по-*

лыню, поднимающей в высоту степь и эхо... водопадом, прочно связующим горы и землю... песней ночной пичуги... И не сочтёшь всего! Да и кому это нужно – считать то, что счёта не просит и ничего не имеет для того, чтобы быть сосчитанным? Драгоценно другое: Дерево училось.

Любой, кто хотел знать о нём – знал. Любой, кто хотел появиться возле него – приходил. Это можно было сделать не когда угодно, но тот, кто хотел знать – когда, - знал. Вот:

...Наступал день, и всякая разная живность собиралась к Дереву, осиливая расстояние до него из далёкого далека: кто – ползком, кто – бегом, кто – лётком, кто – самым обычным шагом. Они рассеивались вокруг, - прижимаясь к стволу или, наоборот, отодвигаясь подальше, чтобы иметь возможность видеть Дерево в целом; замирали... ожидали падения листьев.

И листья не заставляли себя долго ждать: что уж тут, зачем? – время пришло, время знакомое допрежь, приятное, с телом круглым и верным... стремительным... Закручивались-тренькали на ветке последний раз, вытягивались в струнку, вытряхивая из себя крылья, - ах! – скользили на землю.

А было их – вдоволь. И из них – всякое-всякое, самое необходимое, что кому в надобность, в намёк, в призыв: слова... слова... слова... вот: ломтик текста, вне начала и вне конца... вот: сказка, имеющая продолжение в прижавшем сказку к груди... вот: стихи... молитвы... имена... подробные карты... внятное увидание... письма, письма, письма... Ох! – многое... Кто – подбирал один листик, кто – целую охапку. А одна дама – огромная, толстая, с густыми весёлыми космами во все стороны, - и-их! – с добродушным пунцовым ртом, приходившая особенно часто к Дереву, да, видно, издалека – колыбелила-складывала листья в большую сумку, а сумку наполнив – ещё и в карманы юбки, просторной, как колокол.

- Так... так-так... - бормотала она, оглядывая-оглаживая свои сокровища. – Ну-ну... Так-так... Будет ли толк?.. Ну уж, конечно... А то – что же?.. Куда же?.. Так-так...

Похлопывала себя по животу, жмурилась, жмурила губы. Вроде бы – довольная, а вроде бы – печаль на щеках и у глаз, румянцем нездешним, жгучим... Странная дама.

Как-то раз, один барсук, валявшийся на земле под Деревом, прижимавшийся к ней, прижимавший к себе один единственный листочек, - мохнатый барсук, с шелковистым коричневым взглядом, - спросил её:

- Куда тебе столько?.. Неужели тебе не хватит одного листка? Ох! тут ведь и одним листком – всю жизнь...!

- Хм... - Дама поставила сумку возле барсука и, немножечко растерянно, улыбнулась. – Да мне бы – пожалуй... Но ведь ни одного листочка не останется! – всё разойдётся.

- Куда? – с любопытством спросил барсук.

- В руки, - ответила дама. – По крайней мере, в те из них, что сумеют протянуться навстречу. - Помолчала. – Я – почтальон, малыш. Я собираю в сумку письма, - доставляю письма по адресу.

- Вот оно как... - протянул барсук. – Вот оно что... А что, сами они не могут прийти сюда? Тогда и ты могла бы взять листочек! А? Для себя!

- Не у всех рук есть ноги, малыш, - рассмеялась дама. Прижмурила, устало качнувшись, глаза. - Если уж честно, если по правде говорить – рук, у которых есть ноги, совсем чуть-чуть.

Она погладила барсука по голове, вскинула сумку на плечо и, широко ступая большими ногами, двинулась в путь. Сделав несколько шагов – обернулась:

- Полным-полна моя сумка. Но – опустеет. Потом снова – наполнится. ...И это будет продолжаться, пока память листьев не переполнит сумку, не перехлестнёт через край – изливаясь потоком... верным – соединяющим всё – направлением. И тогда я смогу отложить сумку в сторону. ...А ты – беги малыш. Беги. Съешь листик – и беги. Тебя ведь очень, очень ждут...

*Говорила она это уже на ходу, удаляясь, и речь её почти не слышалась – доносилась...*

*- Кто, тётянька? – закричал барсук, чихая от неожиданности. – Кто? Кто меня ждёт?*

*- Те, кто ещё не знает об этом! – донеслось издалика. – Беги!..*

*...А тут белки – белки! – подскочили. Где-то загомонили дельфины. Забормотали старые камни. ...Ах, и зашумело вокруг! Засияло! Запраздничалось! ...» ...*

...Барсук врезался в дядю Гришу, чуть не сбив его с авансцены – вниз.

- Нет, точно здесь! – уверенно заявил барсук. Громко возгласил: – Сейчас буду читать стихи!

Набрал побольше воздуха в грудь, сосредоточился...

## КАЛЕЙДОСКОП

### 1

- Извините...

Как был – в плаще, залепленный снегом... А куда? Капитан растерянно затих, потирая ушибленное плечо. Врезаться в ножку стола – это не в слона, конечно, но – тоже не блеск...

Что это? Комната... Маленькая, причудливых очертаний, очень уютная... Посерёд комнаты – круглый стол, покрытый тяжёлой старинной скатертью. На столе – большой серебряный чайник, исходящий парком, чайный сервиз. Стулья. Рядом – большой пузатый буфет. На стенах – по синим, с тонким зелёным рисунком, обоям – картины. Мерцающие глаза кошки из-под хрупкого глубокого кресла в дальнем углу комнаты...

Бахрома на скатерти неспешно покачивалась: взад-вперёд... взад-вперёд... взад-вперёд...

- Вы не очень сильно ударились?

Девушка... Та самая. Капитан заморгал.

Девушка подошла, и, чуть подобрав просторную длинную юбку, опустилась на колени; коснулась его плеча.

- Вам больно? – Поющие хрустальные глаза девушки были совсем рядом. О, она так хотела помочь! Ей – и это понималось сразу – самой было больно за своего не слишком удобно приземлившегося гостя. – Может быть, вам трудно встать? Я поддержу!

- Нет, что вы! – Малость посопев, поёрзав, Капитан выпрямился у стола. – Спасибо...

Девушка живо вскочила с колен. Пододвинула стул.

- Садитесь!

Капитан неуверенно посмотрел на свой плащ. Перевёл взгляд под ноги: на полу вокруг него образовалась целая лужа вперемешку с мокрым снегом.

- Садитесь! – настойчиво повторила девушка. – А плащ – давайте, я повешу его на балконе, пусть сохнет. – Взяв тяжёлый плащ, она засмеялась: - Вот удивительно, в прошлый раз вы пришли весь мокрый, теперь – по уши в снегу! Какая у вас интересная жизнь! Наверное, вы путешественник?

- Почти, - скромно согласился Капитан. – Хотя, как когда; чаще – мячик: куда бросят – туда и носит! – Усмехнулся: - Иной раз так понесёт, что...

Окончить фразу он не успел. На балконе что-то рухнуло со страшным грохотом. Девушка охнула и уронила плащ на пол.

В комнату – на четвереньках, растряхивая снег – вполз Семён Семёнович. Заметив людей – быстро поднялся на ноги.

- Семён! – радостно заорал Капитан. – Милый ты мой! – жив, не унесло!

- Ага!.. – то ли закивал, то ли задёргался в могучих объятиях друга Семён Семёнович. – Да отпусти, раздавишь ведь...

Капитан не отпустил – бережно усадил его на стул. Обтряхнул со спины снег.

- Знакомься, Сеня! – Восторженно посмотрел на девушку. – Это она, добрый человек, бутербродами нас оделила. К ней и попали!

Семён Семёнович привстал со стула и поклонился.

- Благодарствуйте, сударыня, - церемонно и чуточку торжественно сказал он. Смутился: - Вот очки я где-то потерял... Вижу плохо...

- Да тут они! – Капитан поднял с пола плащ; вытащил из кармана – сунул в руку Семёна Семёновича очки. – Держи! – Понаблюдал, как Семён протирает очки вытасненным из-за пояса краем рубахи. - Ну и летел ты, доложу... Красиво летел! Чистый голубь!

Девушка опомнилась. Затормошилась:

- Садитесь. Садитесь поудобнее. Я вам сейчас чаю налью. – Спихватилась: - И пироги у меня есть! Минуточку!..

Весело убежала на кухню.

- Такая девушка!.. – поёжился Капитан. – Чудо...

- Красивая? – Семён Семёнович надел очки и стеснительно огляделся. – Здесь хорошо...

Капитан восхищённо вздохнул.

- Красивая – не то слово! Тут другое... Из неё красота! И вокруг неё – красиво! ...Что там! – сам рядом с нею себя красотой чувствуешь, на себя удивляешься!..

- Надо же... - удивился Семён Семёнович.

- И добрая, - Капитан покачал головой. – И впрямь: настоящей красоты без доброты не бывает.

- Это правильно.

- Вообще: вся она настоящая какая-то... Понимаешь? Настоящая! Прямо оторопь берёт.

Девушка вернулась в комнату. Смешливо посверкивая хрустальными глазами – водрузила на стол огромную вазу, доверху наполненную пирожками.

- С чем пирожки, хозяйшка? – примериваясь разливать по чашкам чай, спросил Капитан.

- Со всем! – послышался довольный ответ.

- Ого! – Напоследок наполнил свою чашку. – Слышал, Семён? Повезло нам! – Обернулся. – Да что с тобой!?

Семён Семёнович был неподвижен; так неподвижен, как не бывает неподвижен камень. Лицо его побледнело, почти побелело, и только глаза, воспалённые и сияющие, намекали, что он ещё жив, что он, может быть, больше чем жив, что он, возможно, только начинает жить, но не изведаль пока радости первого шага. Но радость предчувствия – да. И лежащая на скатерти рука его, так и не добравшаяся до чашки, начала понемногу подрагивать, первыми теплыми волнами пробуждаясь к жизни. Девушка тоже смотрела на Семёна Семёновича, ласково, внимательно, протяжно... из памяти...

...Та девочка на балконе. Он ходил возле этого балкона несколько лет, и смотрел, смотрел... Он почти взлетал к балкону, и возможно – взлетел бы наверняка, если б осмелился! Ни разу – ни словом, ни жестом – не намекнул о своём присутствии. ...Когда девочка уехала – он умер. Так показалось. Так казалось всю его жизнь. ...целых четыре взгляда, - оттуда! с небес!.. – вот и всё что у него было (кро-

шечный флакон кислорода в немыслимых бездонных глубинах!)... И – никогда не разыскивал, даже не помышлял: подобная мысль показалась бы ему святотатством. ...Сколько же лет прошло? – двадцать? двадцать пять? Для него... А она – совсем юная! Ей не больше двадцати... «ГОСПОДИ, да будет воля ТВОЯ»

Капитан посмотрел на девушку, на Семёна Семёновича. Хотел что-то сказать... Раздумал. Встал из-за стола, и, прихватив пирожок, на цыпочках, осторожно, очень стараясь громко не дышать, вышел на балкон.

Она его узнала. Семён Семёнович почувствовал это! Узнала... Но они никогда не встречались... они не сказали друг другу ни одного слова! ...Сколько же... Какой он теперь старый, куда старше своих лет... и спина его согнута, и душа измята...

Она совсем не изменилась...

Семён Семёнович на мгновение закрыл глаза.

Он снова видит её. Она рядом. Возможно ли это? *Такое* – разве бывает?!?! ...Можно открыть глаза – и коснуться взглядом. И снова закрыть, и снова открыть... и снова – коснуться.

Он открыл глаза. Лицо девушки было совсем рядом... где-то там, далеко-далеко... совсем близко... О, как она смотрела на него! Как она на него смотрела!

- Я почти каждый день ходил к балкону, - прошептал Семён Семёнович. – И когда ты уехала – я ходил туда...

- Я знаю, - шепнула девушка.

- Я так тосковал!.. – прошептал Семён Семёнович. – Не было дня, чтобы я не помнил тебя!..

- Я знаю, - шепнула девушка.

- Всё, что я встречал в своей жизни – я сравнивал с тобой, - прошептал Семён Семёнович. – Каждое дерево, каждый цветок, каждую птицу, облако, мысль... Каждую капельку собственного ничтожества и собственной красоты – я всё сравнивал с тобой! Я не мог дышать, когда тебя не было рядом... но я дышал! а тебя – не было рядом! – и разве я хоть когда-нибудь дышал?

- Я знаю, - шепнула девушка.

- Я сошёл с ума... - прошептал Семён Семёнович. – Я сошёл с ума и стал кем-то другим, совсем-совсем другим. Я подходил к зеркалу – и зеркало не отражало меня, оно отражало кого-то другого...

- Я знаю, знаю, знаю, - прошептала девушка.

- Но откуда, откуда ты знаешь! – закричал Семён Семёнович не разжимая губ, и заплакал, и почувствовал острую боль в спине – там, откуда растут крылья.

- Я люблю тебя, - сказала девушка.

Острая боль разорвала спину. Кровь, мясо, кости – всё вдребезги! Показались кончики крыльев.

- Я люблю тебя, - сказала девушка.

Крылья качнулись запрокинутыми парусами над измученной головой.

- Я люблю тебя.

Девушка ничего не сказала. Ничего не сказал Семён Семёнович. Как-то так получилось, что *они* были всегда.

*«Он бегал по городу и искал дождь.*

*Он заглядывал в окна, стучал в квартиры, вбегал в магазины, учреждения... Дождя нигде не было. Иногда ему доводилось почувствовать сырость или увидеть мокрое пятно, но всякий раз оказывалось, что это что-нибудь другое, сырое и мокрое, но к дождю отношения не имеющее. Один раз ему даже подарили бутылку воды, предлагая тем самым отвязаться, оставить в покое, удоволь-*

*ствовавшись хотя бы этим. Он медленно вылил воду из бутылки на землю, и, пока вода лилась, пытался увидеть-рассмотреть дождь. Дождя не было.*

*Он плакал. И слёзы падали, капля за каплей... Падали... Это было почти начало дождя, но начало не переходило в продолжение, а слёзы заканчивались, и упавшие ниц слезинки растворялись, таяли, - уходили, торжественно иссверкиваясь падающими в небо звёздами.*

*Он открывал и закрывал краны. Но дождя не получалось. Получались обрушение и исчезновение.*

*Однажды он даже нарисовал дождь, и, поместив рисунок на большой лист, повесил его на стену. Но это был очень тихий дождь. Он беззвучно падал со стены, беззвучно пропадая, рассыпаясь беззвучно и незаметно, и – возвращался обратно, безубыточно оставаясь на листе. И это был не дождь.*

*Когда человек умер – стояла сухая безветренная погода. Пыль лежала холмиками, холмами, целыми озёрами, необозримыми от края до края, неподвижными и глубокими. Растрескавшаяся земля тихонько поскрипывала, равномерно и стойко дыша...*

*И вознёсся он. И вознёсся он на небеса. И это были небеса дождя» ...*

«Вот как... - дожёвывая пирожок, думал Капитан. – Вот оно как... А почему? Потому что шагнул; выбрал шаг – и шагнул. Может, он и не знал – куда, сердце знало. – Вздохнул. Утёр губы. Старательно, более чем следовало, обтряхнул руки. Выпрямился. – Теперь, должно быть, моя очередь... И?»

В комнате было тихо. Тихо-тихо. Но Капитан чувствовал: там всё нормально... Прекрасно! Там – чудо.

«Вот оно как, - млея, подумал он. – Вот оно как бывает... - Глубоко вдохнул тёплое летнее утро. – Будет и у меня.»

Облокотившись о балконные перила, Капитан выглянул во двор.

Никого... Пусто.

Медленный солнечный полдень. Мягко царапают карнизы голуби. Лениво оскальзывая размытыми запятыми порхает бесщётная трепетная мелюзга. Переливаются – рассыпаясь в шелест – листья... До чего же много листвы! – изумрудное море, волна к волне! Сюда бы лодку... ладью... целый фрегат! И чтоб – штурвальное колесо. И – натянутая бечева горизонта, доверчивая, близкая, - натянутая навстречу... Одна рука – на штурвал, другая – к горизонту... Только бы силы хватило! ...И кто посмеет сказать, что судьба не бывает в пригоршнях?!

Капитан широко распахнутыми ноздрями втянул качнувшийся из листвы ветерок.

«Закурить бы!» Снова, придирчиво всматриваясь в закоулки, оглядел двор.

Во дворе никого не было. Впрочем, и двора, как такового, не было. Деревья росли так густо, так раскидисто и высоко, что взгляду, помимо них, оставалось совсем немного: несколько маленьких пятнышек небесной голубизны... несколько асфальтовых лоскутков у подъезда... половинка соседнего дома, и, от соседнего дома – приземистая обшарпанная арка, протянутая неизвестно куда...

Из-под арки послышались бодренькие шажки. Человек. Человечек! В диком пёстром балахоне, в панамке, с большущей пухлой сумкой через плечо – человечек направлялся куда-то по своим делам, и так получилось – шёл он мимо подъезда.

- Сударь! – негромко окликнул Капитан.

Человечек остановился.

Капитан перегнулся через перила:

- Добрый человек, извините, что обеспокоил... Нет ли у вас закурить?

- Есть! – Человечек снял панамку и задрал голову вверх. – Тебе как? – туда бросить, или сам сюда соизволишь?

Капитан вздрогнул. Изумлённо задрал брови. Ну и ну!

- Арнольдych!

- Так точно, ваше благородие, - щёлкнув каблуками, отрапортовал Арнольдych. – Тебе курево с какой руки забросить? – с правой или с левой?

- Можно с обеих, - засмеялся Капитан. Оглянулся на балконную дверь. – Погоди, сейчас сам спрыгну!

Второй этаж – пустяки! Ему приходилось прыгать и с третьего, правда, внизу был сугроб... Ерунда! Капитан зашагнул за перила, и, внимательно высмотрев место приземления, спрыгнул. Удачно спружинил, но – равновесия не удержал, покатился прямо под ноги старичку.

- Кузнечик да и только! – довольно сказал Арнольдych, помогая Капитану подняться. – Не расшибся, прыгучий мой?

- Ничего! – Капитан бодро обтряхнулся, отёр платком поцарапанную руку, и, в знак того, что всё обошлось благополучно, подпрыгнул.

- Молодец, - порадовался за него Арнольдych. Протянул трубку и кiset: - Кури! Заслужил!

Капитан поспешно набил трубку, достал зажигалку, прикурil. С первой же глубокой затяжки – сильно закашлялся.

- Ну и табак у тебя!..

- Обыкновенный, - пожал плечами Арнольдych. – В одном королевстве разжился... - Обмелькнулся лукавым взглядом на Капитана. – Оно, конечно, за нутро берёт, спора нет. Да только в несурзизцах государство у них погрязло! – как упрекнёшь? Народец тамошний – горюны да печальники: без начальства жить не могут, а короля себе – никак не найдут. Маются!

Капитан с подозрением покосился на улыбчивого старичка.

- Ну-ну...

Арнольдych придвинулся поближе и доверительно понизил голос:

- Был один, и тот – сбёг... В народе шептались – уши у него, мол, слабые, корону удержать не могли! Вроде как, предлагал ему придворный кузнец уши железные выковать, но тут выяснилось, что и голова – слабая, железные уши не потянет... нет...

Капитан снова закашлялся, сильнее прежнего.

- Экое недоразумение! – посочувствовал Арнольдych. – Не получится из тебя воздушного шара, - не держится в тебе дым! Могу морковку дать.

Капитан промакнул платком заслезившиеся глаза и сердито посмотрел на ехидника. Поинтересовался:

- Ты, смотрю, из бригады-то ушёл?

- Ушёл, - подтвердил Арнольдych, лучезарно поглядывая на собеседника.

- Выперли?

- Не-е... Сам ушёл. Лодыри они: к чаю – не дозовёшься, больше двух пряников за один присест – не сдюживают. Как с такими работать? Тунеядцы, уж ты не спорь. Слабаки! ...А тамошний-то король, - Арнольдych опять понизил голос и опасно оглянулся по сторонам, - ладно бы сам сбёг, так он ещё и премьер-министра похитил! ...Слух в народе прошёл: сожрал супостат главу правительства! А? Умял роту!

- Ну чего городишь!

- А чего? ...Да-да-да. Рассказывают, - Арнольдych вытаращил глаза, - на пиру король так лопал, так облизывался! – жуть! А премьер-министр – он грустный сидел, не кушал. Предчувствовал... Каково?

«Врезать бы ему!..» - тоскливо подумал Капитан, отворачиваясь от Арнольдychа.

- Ты – другое дело! – Капитан ощутил лёгонькое похлопывание по плечу, вроде как – птичьей лапкой. – Ты у нас – молодец! Не жрун! – Капитан обернулся. Арнольдych жалостливо и умильно сощурил глазки: - Вон ведь как отощал, родимый... Что ж ты? Ай-яй-яй! Небось, глина нежирная попалась?

- Что?

Только тут до Капитана, наконец, полностью дошло, что Арнольдych, существо загадочное и ехидное, всё про них с Семёном знает. Что он... Что... Что же это такое!

- Ах ты, издеватель, - вскипел Капитан, - швабра ты старая! Что ж мы, мотаемся тут, долбимся о всякий угол... - Ухватил Арнольдychа за грудки. – Да я из тебя сейчас всё вытрясу! Ты у меня всё расскажешь!

Замерцали окрестности, затряслись. Тренькнуло. Перемигнулось, - ах! – море... Солёные брызги врезались Капитану в лицо. Он выпустил старика. ...Волны, волны кругом! Деревья, кусты, трава, асфальт, стены зданий, летний дрожащий воздух – всё стало волнами! Где верх, где низ... – что там! – пучина... «Как же я не захлёбываюсь?» - судорожно мелькнуло в голове. Огромный пенистый вал накрыл Капитана с головой. Повалил! Поволок!

- Арнольдych!

Арнольдychа не было. Была... Большая Белая Рыба, с сумкой Арнольдychа на хвосте. Невиданная! Капитана охватила оторопь. Умевший, до нынешнего дня, плавать только в пруду – он не смог подняться на волне и хлебнул – вдосталь! – солёной воды. Забарахтался.

- Арнольдych! – захрипел он.

Рыба с интересом смотрела на Капитана. Широкие сияющие глаза были внимательными и тёплыми. Капитан, не выдержав, заорал на Рыбу:

- Где Арнольдych!?

...И Большая Белая Рыба с хохотом ушла в глубину.

Капитана накрыла следующая волна. Теряя воздух, беспорядочно дёргая руками и ногами, он стукнулся о дно...

*...«Люди пришли в мир, и его не заметили.*

*...В этом мире пляшут черешни. И собаки высоко вздымают на розовых языках солнце. И колотят жуки в барабаны. И цветут ручьи.*

*И многое, многое, многое. И совсем не так, как люди видели это всю свою жизнь.*

*...В этом мире снега галдят журавлиными косяками. И смотрят моря в рассвет; что им в этом? но вот ведь – смотрят. И поют и вздыхают огни. И льнутся и жмутся к ладоням ветра расрёпанными мордашками...» ...*

Сухо. ...Да. Это было не дно, а обыкновенный асфальт. Не было ни моря, ни Рыбы, ни Арнольдychа... а так – всё как прежде. Вот и балкон, откуда он только что – и десяти минут не прошло – прыгнул. Двор...

У ног его, на асфальте, дымилась трубка. Рядом лежал кисет. Капитан, чуть придерживаясь за поясницу, нагнулся и подобрал их.

- Надо же, не раскололась, - пробормотал он. – И кисет сухой...

И? ...Он стоял и никак не мог взять в толк: что? зачем? почему? Растерялся.

«Как там Семён говорил?» Машинально вцепился зубами в трубку, стиснул кисет. Решительно огляделся по сторонам. «Вперёд!»

А куда? Тут только и стало заметно, что двор – он не только двор, но и не поймёшь что... Действительно: дом был как дом, арка как арка, и половинка соседнего здания – та, что виделась с балкона –



тоже, а вот другая половинка – вздор, ерунда, аляповато раскрашенная подделка! Да и остальное... Теперь Капитан рассмотрел то, что не смог поначалу заметить за высокими пышными деревьями и густым кустарником. Все строения, за исключением дома, арки и соседней половинки – были ненастоящими. Театральные декорации, вот что! Даже пейзаж, видневшийся вдали, многообещающе раскинувший панораму обширного и пёстрого населённого пункта – воспринимался как нечто нарисованное, как самый обыкновенный театральный задник, необычайных масштабов, но вполне заурядного качества. В некоторых окнах он заметил фанерные силуэты людей, выполненные в натуральную величину.

Капитану вдруг стало страшно.

- Эй!.. – попытался крикнуть он. Крика не получилось – получился писк. Откашлявшись и прочистив горло попробовал снова: - Эй! Люди! Кто-нибудь!

Никто не отозвался. «И?»... И – что? ...Капитан набрал побольше воздуха в грудь и заорал изо всех сил:

- Э-э-э-эй! Э-гэ-гэй!!!

И тут же ощутил, как кто-то теревит его за штанину.

Посмотрев вниз, Капитан увидел сидящего рядом с ним барсука. Барсук почесался.

- Ты чего орёшь? – спокойно спросил барсук. – Тебя обидели?

Капитан попятился.

- Н-нет...

- Тогда не ори, - предложил барсук. – Ночь на дворе!

- Ночь? ...Кажется, день. Вон, солнышко какое...

Барсук шмыгнул носом и посмотрел на солнышко. Потом – на Капитана.

- Это тебе, именно, кажется, - спокойно сказал барсук. – Со мною тоже иногда бывает. Не огорчайся! – Попросил: - И не ори. Ладно?

- Ладно... - Спыхватился: - Погоди! Как мне попасть в город?

- Куда? – удивился барсук.

- В город! Туда, - Капитан махнул в сторону декораций рукой. – Там раньше был город, а теперь – ерунда, театр какой-то. Но я там был! Как же попасть?

- А зачем? – ещё больше удивился барсук.

- Ну... Куда-нибудь нужно попасть. Так ведь?..

Барсук укоризненно покачал головой. Вздохнул.

- Дело твоё. ...А билет у тебя есть?

- Билет?

- Ну да. Как же без билета – в Музей?

- В какой музей?

- В обыкновенный! Билет нужен.

- Какой-то бред! Я уже оттуда – сюда – приходил! Случалось...

- Оттуда – сюда: пожалуйста. А вот отсюда – туда: только с билетом.

- Где я его возьму? – Капитан развёл руками. – Что за билет?

- Билет? Обычный билет: *добровольная неосмысленность*. Он должен быть внутри тебя. Тогда и в Музей попадёшь.

- Ничего не понимаю, - простонал Капитан.

- Бывает, - успокоил его барсук. – Ты, я смотрю, так нервничаешь! Может быть, тебя утешить?

Капитан промолчал.

- Понимаешь ли, - тут барсук застеснялся, - я всегда по ночам стихи пишу. Вот и сегодня, минут за пять до того, как ты заорал, стишок появился. Могу прочитать.

- О чём стишок-то? – печально спросил Капитан.
- На острую тему, - важно ответил барсук. – О классиках и современниках. Маленький. Прочитать?
- Давай...

Барсук забрался на лавку, стоящую возле стены дома, и встал в позу.

- О Классиках и Современниках! – провозгласил он.

Капитан безнадёжно махнул рукой.

- и смотрят Классики на нас  
и в классики играют  
«мы любим вас!» - мы им кричим  
они не понимают  
...не понимают вообще  
и даже больше: в о о б щ е  
и даже вовсе: в о о б щ е  
...и в классики играют

Барсук умолк и замер на лавке.

- Интересно... - неуверенно промямлил Капитан.

Барсук поклонился.

- Утешился? А то, может, тебе балладу какую прочитать? Я могу!
- Не надо, - твёрдо, но стараясь не забывать о вежливости, отклонил предложение Капитан.
- А то – я могу... - взгрустнул барсук.
- В другой раз, - пообещал Капитан. – Мне бы – выбраться...
- Выбирайся, - пожал плечами барсук. – Кто тебе не даёт?
- Но как?!

Барсук осмотрелся. Заметил арку.

- Да вот хоть туда. Беги, малыш!

Капитан тоже посмотрел на арку.

- И что там?  
- Я-то откуда знаю! – обалдел барсук. – Ты ведь идёшь!  
- Ладно. Пока...

Стараясь не оборачиваться, Капитан медленно зашагал к арке.

- Доброй дороги! Доброй дороги! Доброй дороги! – раздался за его спиной целый хор. Даже не хор – гул. Следом – растреснулся гром: гуденье, дуденье, барабанный грохот.

Капитан обернулся. Весь двор был заполнен великим множеством барсуков. Барсуки толпились между деревьями, сидели на ветках, выглядывали из кустов. Барсуки трясли флажками, дудели в трубы, восторженно стучали в барабаны. Те же, у кого лапы были свободны, напутственно махали этими лапами Капитану вслед. Некоторые – плясали.

Капитан опрометью кинулся под арку.

Прыжок... Другой... Ай!.. Не сумел удержаться!.. И вот он уже летит, вопя, в какую-то немыслимую пропасть, с ужасом замечая внизу облака, и там – под облаками, далеко-далеко внизу – тоненьку полосу железной дороги... бегущий по рельсам, крошечный такой, поезд...

Кричанье ему уже не помогало, и поэтому – не переставая кричать – Капитан крепко-крепко закрыл глаза.

A!-a!!!!

...Чья-то сильная беспокойная рука резко тряхнула его за плечо.

- Мужчина, вам плохо!?

Капитан открыл глаза. Он сидел на лавке, в вагоне. Рядом стоял высокий сутулый старик и тревожно сверлил его маленькими колючими глазками. Неподалёку – по краешкам лавок – приткнулись две пожилые женщины; женщины о чём-то быстро перешёпывались, испуганно поглядывая на крикуна.

- Вам плохо?

- Извините... - Капитан отёр рукавом вспотевший лоб. – Это я задремал... Приснилось что-то... Извините.

Старик сердито нахмурился. Густые кустистые брови вздыбились, зашевелились. Женщины на лавках умолкли.

- Изволили задремать – так дремствуйте! – наставительно сказал старик. – А кричать зачем? ...Вы, молодой человек, к валерьянке прикладывайтесь. Да! А к водке – ни-ни; с водкой – завязывайте!

- Да я непьющий, - слабо запротестовал Капитан. – Так получилось...

- Получилось у него! – пробурчал старик, возвращаясь к себе на лавку. Обернулся; зыркнул сурово: - А уж если до рюмки добрался – закусывай плотнее! И это... в поезд не лазь. Не лазь в поезд! Сиди себе под яблонькой и воздухом дыши!

Постепенно старик угомонился. Женщины, встав, перебрались на несколько лавок подальше. Больше в вагоне никого не было.

Капитан посмотрел в окно.

Осень... Похоже – сентябрь. Зелёные листья только слегка, самыми кончиками тонких трепещущих лапок коснулись желтизны и багрянца. Лес... лес... Провода... Опоры высоковольтных линий, отемнелые и блескучие после недавнего дождя... Лес... лес... лес... Случайные избёнки, покосившиеся и шальные... Девочка у шлагбаума, в ярком жёлтом плаще, с полосатым мячиком в руках; девочка помахала пробегающему поезду рукой... Снова – лес...

Руки у Капитана дрожали. «Вот ведь! Чего только за последние дни не случилось, а всё – не привыкну... Привыкнешь тут!» Обтёр замызганные руки о замызганный плащ. Поднялся и вышел в тамбур. Женщины – искоса – проводили его подозрительными взглядами: опохмеляться пошёл, болезный...

Поезд подрагивал, постукивал, погромыхивал. Поезд дребёзгло и мягко подпрыгивал, умело перемещая своё неуклюжее огромное тело по тонким извивным рельсовым нитям. Здесь, в тамбуре, Капитану стало спокойнее. Он нашарил в кармане трубку, кисет, зажигалку; закурил. «Ерунда со мною происходит, - устало подумал он. – Изю дня в день...» Поезд замедлил ход.

Станция. Остановка. Двери открылись. В тамбур вкачнулся свежий прохладный ветерок. Мимо – на выход – протопал высокий старик. Выйдя на перрон и подшмыгнув на спине рюкзак – он сурово угрозил Капитану пальцем. Капитан – в ответ – показал язык.

Двери закрылись. Натужно набирая скорость, поезд последовал дальше... Всё дальше и дальше... Куда? «Куда я еду?» - вяло мелькнуло в голове. Мелькнуло – и погасло. Не хотелось ни думать, ни ощущать... Просто: ехать, перемещаться, подпрыгивать вместе с поездом, безоглядно и навзничь смотреть в окно... в мир... И Капитан ехал. И Капитан перемещался. И рассеянно посасывал трубку, не замечая, что она давным-давно погасла. И смотрел в окно.

Сумерки... По небу бредут облака; бредут, бегут, летят. Чистые, белые, плотные, похожие на умытых утренних снеговиков. А одно облако – на большую белую птицу...

Вот: облака летели; облака становились меньше и меньше, потихоньку отлетая в сторону. И только большая белая птица летела рядом с поездом, не отставая и не обгоняя, сопровождая свистящий и грохочущий механизм.

Мимо проплыла рощица. На опушке стояла лошадь и что-то жевала. Капитану показалось, что, не переставая жевать, лошадь кивнула ему.

Скрипнула дверь межтамбурного переходника. В тамбур вошёл контролёр.

- Ваш билет.

Капитан хмыкнул. Хотя что-то знакомое... Оживился:

- Опять билет! Прямо помешались все на этих билетах!

Контролёр насупился:

- Я вас не понимаю. ...Билет предъявите, пожалуйста.

- Нету, - Капитан сожалеюще развёл руками. – Нет, и не было.

- Понятно. – Контролёр деловито пошуршал в сумке, что-то отыскивая. – Будем платить штраф!

- Не будем. – Капитан широко улыбнулся. – Денег тоже нет.

- Вы издеваетесь?

- Ну что вы! – Капитан вздохнул. – Признаться, даже при наличии денег – билета бы я не купил и штрафа бы платить не стал. В силу убеждений. Понятно говорю?

- Безобразие! – с достоинством сказал контролёр.

- Кому как...

- В таком случае, вынужден вас задержать, - официальным тоном заявил контролёр. – Вот так!

Капитану стало скучно.

- А штаны не лопнут? Мелковат ты для таких выкрутасов, касатик. Сгонял бы лучше за подмогой.

- Правильно! – облегчённо сказал контролёр. – Там, в первом вагоне, наших человек двадцать едет, все – по обмену опытом! Далеко не уходи, скоро вернусь с коллективом: будем тебя через рукоприкладство перевоспитывать!

После чего гибко шмыгнул сквозь межтамбурье, грозно прогрохотав дверями.

Сунув трубку с кисетом в карман брюк, Капитан снял плащ, обмотал его вокруг пояса и завязал на животе. Засучил рукава. Приготовился.

«Идёт жизнь! Под моё нынешнее настроение, двадцать человек – тьфу...»

Поезд снова замедлил ход.

Послышались топанье и шумные голоса.

Поезд остановился. Входные створы разошлись по сторонам. «Повезло!»

Из межтамбурья высунулось сразу два контролёра.

- Брысь! – гаркнул Капитан.

Представители коллектива испуганно скрылись. Капитан прыжком выскочил на перрон.

Поезд пошёл. В вагоне обозначилась толчея: салон захлестнула целая толпа контролёров, уставившихся на сбежавшего безбилетника через стекло. Контролёры что-то возмущённо кричали, показывали кулаки, - всячески выражали негодование и сулили, несомненно, многое. Капитан, лучезарно скалясь, прощально помахал рукой.

Поезд, погудев, потянулся в бег. Но ещё какое-то время мелькали его огни, - из темноты, обступившей станцию, виднелись они далеко и долго, и взгляду были приятны. Красивые, красивые огни.

«Однако, прохладно...» Капитан развязал, обтряхнул и надел плащ, тщательно застегнув его на все пуговицы. Осмотрелся.

«Знакомые места! – надсадно толкнулось в нём. – Куда это я? Где?...» И впрямь – знакомые: станция, перрон, станционный зал ожидания... Последний раз он видел это совсем по-другому: развалины, запустенье... рельсы, заросшие высокой травой... разгуливавшие по перрону птицы... А теперь – как в первый, памятный крепко, раз. «Меня ссадили с поезда... Я вздремнул... Потом – с сумкам и переко-

шенной физиономией появился Семён... Последний поезд мы пропустили... А! – так это и был последний поезд! Сейчас я выпрыгнул из поезда на который мы не успели тогда!»

Капитан вихрем ворвался в пустынный зал ожидания. Догадка оказалась верна. На календаре, висящем возле кассы, те же самые год, месяц, число; судя по часам и расписанию – последний поезд только что ушёл. Приехал! Капитан плюхнулся на знакомую лавку и отрывисто, нервно захохотал.

Хохотание оборвав – заплакал.

«Иви! Иви, малыш...»

*...«в этой башне башне башне затишье и сырость  
запах роз и оливок  
запах ветхих и ярких платьев  
(аквариумные рыбки разбивают стекло и уходят в сторону водоёмов  
и заря им – в спину  
и плавники их красны красны и истекают красным)  
(фрески меняются местами  
они свешивают лохмотья яркие с парпетов на парпетах стоят и смотрят)  
запах лозы потерявшей упругость  
зеленоватый отсвет  
голуби голуби роняются на песок ударяются языками перетекают с места на место  
в граните в ониксе в мраморе но литаврами в кафель где трещины указывают направление  
шлёпанье босых ног:*

*голые письма волчками вертятся на полу*

.....

*...что стоит сказать:*

*не умеющий падать теряет границы.*

*это хорошо.*

*сказать:*

*не умеющий раскрыть ладонь – рождается безголосым и зыбким.*

*во что прохождение его?*

*но вот ведь – приходит и усаживается удобно...*

.....

*...затишье и сырость*

*и затишье и сырость и сырость и сырость*

*разбитая чашка*

*усталая кошка*

*пируэты еловых шишек штор изумрудов*

*так и есть:*

*на раскрытой ладони умещаются все ответы*

*но они незаметны; так и есть:*

***просто – ладонь***

***раскрытая каждой пылинке имеющая продолжение» ...***

...Ночь. Сидеть на лавке, закрыв глаза, это так приятно. ...Да, он стал другим; совсем-совсем другим. Даже Капитан не узнал бы сейчас Капитана. Даже дети – его дети... Ха! Они, возможно, закричали

бы: «папа, папа!» - и кинулись бы сквозь него... ...А уж королём – ни-ни, и не предложили бы! Капитан усмехнулся; помотал головой...

...Тик-так, тик-так, тик-так. Как вошёл – приметил, не примеченные в прежние посещения часы. Ходики. На стене, над кассой: кошачья мордашка, с бегающими по ней стрелками; маятник раскачивается, глазищи – вправо-влево, влево-вправо, - золотистые, с лукавинкой! Тик-так, тик-так, тик-так... За окном – ветер, ветер... тонкая дождевая морось всвистывается в стёкла окон... А здесь: тик-так, тик-так, тик-так. Тиканье часов уютно полощется в застенной непогоде, играет с нею. ...Котёнок опрокидывает лукошко с шерстяными клубками; взять увеличительное стекло, присмотреться к какому-нибудь клубку: множество изогнутых, искажённых, извивающихся тончайших ниточек обвеивает главную нить, - ураганы, молнии, проливные дожди! – сжатые в шар, намёки, события, непогода... А котёнку – только бы поиграть: катает клубки, подбрасывает, волочит, шутиливо втискиваясь зубками и коготками; наиграется – уляжется в них, свернётся колечком, засопит...

Тик-так, тик-так, тик-так...

...Зашумело, вспенилось Дерево – высоко разбросило ветви, раскрикивая птиц и ветра. Тонкими сильными пальцами коснулось солнца, и звёзд, и всякой пылинки – вне граней и вне границ, - объяло, затормошило. Вот: понеслись – пунцовая, кружась – облака; залопотали травы; вспенились, захохотали дожди, наполняя то, что должно быть наполнено, обходя то, что следовало обойти.

Дерево стронулось; Дереву надоело стоять на месте, и – в длинном кошачьем прыжке – лёт, лёт, лёт! Дуновенье...

Промчалась, переборно цокая копытами, устремлённая мерцающая лошадь. За лошадью – встряхиваясь, раскачиваясь из стороны в сторону – летела просторная дребезжащая повозка... фургон... Занавеска, скрывающая вход, моталась по ветру, и из оттуда – из бездонной фургонной глубины – спокойно светили звёзды...

*«Ты – щепка в реке. Ты плывёшь по течению. И пока ты плывёшь по течению – ты неотделим от него; ты и есть – течение. В притихших – окрест течения – водах ты встретишь щепку, листик или соломинку, и докоснёшься, и увлечёшь за собой.*

*Остановись! Замри! О! как много нужно сил чтобы остановиться! Чтобы наперекор течению – остановиться. Чтобы приподняться над. И осмотреться. И осознать:*

*По обе стороны – берега; значит – это река. Это река; вот почему тебя так бурно несёт! – ты оказался в течение реки. Это течение; не волен ты – совсем не волен! – в дороге своей, покуда плывёшь по течению, покуда ты не отделим от него.*

*Ты можешь набраться сил; ты можешь уйти в притихшие воды и оставаться там... Как долго? Долго! – пока другая плывущая в течение щепка не докоснётся тебя: ...и докоснётся... и увлечёт за собой... Найдёшь ли ты силы вновь покинуть течение? – ох, как это трудно! – как много нужно сил... Ты знаешь: пройдёт время – вновь появится плывущая в течение щепка и докоснётся тебя, или – плеснутся воды, - перебросят из притишья в стремнину... тебя...*

*Ты это знаешь. Ну конечно же ты это знаешь! Ты знаешь, знаешь, знаешь: всё, что тебе нужно – исток реки; именно там все вопросы и все ответы, именно там начинается река. И именно там река заканчивается. Хоть очень многие будут уверять, что это не так, - но именно там река и заканчивается. ...Тебе известно, где находится исток: течение так внятно, так очевидно указывает направление! ...Эй! эй! – развернись!*

*Вот ты и плывёшь. И волен в дороге своей. И есть у тебя дорога; теперь-то только – именно теперь – она и появилась. ...Это трудно. Это почти невозможно. Но только так и возможно – и разве может быть трудно?*

*Плыви! Как бы далеко ни был исток – с каждым новым гребком ты учишься плавать»*

Время...

Он открыл глаза, и взглянул и всмотрелся и увидел: ночь.

Совсем не спал. Ни секунды. Но: отдохнул; хорошо отдохнул; встал. Тело благодарно постанывало, неспешно стекаясь и стягиваясь в бодрствующий, готовый ко многому организм. Ни надрыва, ни излома – ничего; так понималось: несколько часов на не слишком удобной лавке никакой измятости не привнесли, что прежде – было бы немыслимо. А нынче: бодрость. Свежесть и бодрость. И что-то ещё, неугадываемое, имеющее прямашую натяжность струны, фонарное обличье светильника, взмывшего на высокий шест, порывистое дыхание вереска...

В зале было темно. Темно и тихо. Чуть размывая темноту, от дальнего окна – к кассе, мягко дымилась полоска лунного света.

Капитан встал.

...Вот оно что! – на стене не было часов. Ходиков. Он сразу понял: чего-то не хватает, недостаёт, что-то отсутствует... Тиканье часов! – без него тишина стала сплошной.

Неразбавленная поступью времени тишина... Капитан стиснул лицо ладонями; выпрямился; прислушался... Время никуда не делось. Время присутствовало. Оно только переместилось, немножечко – просветью – обнажив корни бытия, там, где корни, минувая взрастание-цветение-угасание сразу и изначально сливаются с кроной. Капитан почувствовал, как тишина наполняет его, заплёскиваясь в каждый уголок, – напивая, очищая глубины образа для дивного и простого.

Отняв от лица руки – вздохнул. Облегчение! Замирательный стиск предшажья... ..Мотнул головой, и, доставая на ходу трубку, двинулся к выходу.

Дверь... Коснувшись ручки, Капитан заметил большущий пальмовый лист, крепко вклепавшийся в дверь. По листу, едва угадываемые в лунном отсвете, брели буквы... Он щёлкнул зажигалкой. Свет пламени коснулся верхних, означенных крупно, строк:

**«Формула-пособие для никогда не ходивших в школу сусликов, зябликов, безбилетников и прочей живности. К вопросу «О ...» ...»**

Нагревшаяся зажигалка обожгла пальцы. Капитан, ойкнув, тряхнул рукой, гася огонь. Но буквам вполне хватило недолго плясавшего пламенного язычка: казалось, они вобрали в себя свет пламени, и, пульсируя, затрепетали – освещённые изнутри – по всему листу.

**«а) ЕДИНИЦА совершенна. (АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ)**

**б) как проявление самодостаточности присутствует и невозможная возможность ЕЁ отсутствия (именно: существование-несуществование).**

**в) так появляется 0 (ноль). (Условная Реальность)**

**г) ноль, будучи лишь невозможной возможностью, но тем не менее: «будучи», – наделён, как «будучи», *самостью*. *самость* реагирует на свой статус невозможной возможности, проступая как **закон самосохранения**. проступая – отражает ЕДИНИЦУ, порождая сам факт противоположности; порождая ЕЁ противоположность. отражая-порождая – становится центром.**

**д) становясь центром – воспринимает ЕДИНИЦУ как множество.**

**е) воспринимая ЕДИНИЦУ как множество и осознаваясь центром – воспринимает себя как целое, как единственную реальность.**

**ё) но: будучи лишь невозможной возможностью отсутствия ЕДИНИЦЫ – ноль способен осознать себя целостным только в статусе мнения, но не в статусе данности.**

**ж) порождая это противоречие и сам будучи противоречием – стремится к осознанию себя целостностью в статусе данности: к осознанию себя ЕДИНИЦЕЙ и к изникновению себя как ноля.**

з) стремление к осознанию себя ЕДИНИЦЕЙ – воспринимается **самостью** положительно. Стремление к изникновению (себя как ноля) – отрицательно.

и) возникает **противоречие-закрепление**:

*всяческое множество, существующее-и-несуществующее, возможное-и-невозможное – сразу, одновременно-одноохватно.»*

Капитан поморгал, вчитываясь. Сунул трубку в карман, и, решительно сопя – толкнул дверь. Дверь скрипнула. Капитан вышагнул наружу...

Ночь. Светлая ночь. Высокая полная луна – пухлая, как спелое яблоко на невидимой ветке, звонкая, как соки, бродящие в яблочной спелости...

Станция увиделась такой, какой они застали её с Семёном при втором посещении. Всё заросло, просело, задышало, покрылось трещинами и влагой, закуталось в невидимый перезвон. Только станционное здание, за порог которого шагнул Капитан, осталось прежним. ...А ещё – здесь были люди... и люди и звери и птицы, - повсюду! Они стояли, лежали, сидели, – совместно и поодиночке, - неподвижные, но и не замершие – развёрнутые внимательными взглядами в сторону зала ожидания. Точнее – в сторону крыши.

Капитан поднял голову. По крыше, стеснившись боками, расплеснулся кошачий народец: кошки, коты, котята... Капитану, моментом, даже померещилось, что, где-то с краешка, между ними затесалась пантера. ...Посередке крыши, удобно устроившись у антенной загогулины, в просторном шляпном гнезде сидела чёрно-белая кошка. Давняя знакомая! Это ж её они с Семёном порывались напоить молоком! Да... А шляпа? – его шляпа... Ну да, его! ...Кошка, привстав и потоптавшись, устроилась в шляпе поудобнее.

Капитан ухмыльнулся. Знакомые, куда ни ткнись, твердили, что шляпу он завёл зря. Не идёт ему шляпа! Вот, действительно, удумал! ...Оказывается, не зря. Пригодилась.

А кошка... Кошка будто бы и задремала: глазки прикрыла, усами дёрнула, откинулась-прислонилась к загогулине. Будто бы... А только – все на неё смотрели: и кошачий народец, и замершие – по станции да вокруг – разнообразликовые существа. ...Вон там, на перроне – целая стайка юношей и девушек... Бобёр на скамейке... Две стройные, склонённые друг к другу цапли... Старички и старушки, - кто как: кто с поклажей, кто так – налегке... Лошади... Голуби... Змеи... Слон со сбитыми бивнями... Строгая упитанная корова в драной соломенной панамке... А там, чуть поодаль – ...непривычные, необычные существа... незнакомые, странные...

Вдалеке, на противоположном перроне, у перил – Капитан различил Семёна Семёновича и девушку, крепко прижавшихся друг к другу. Он хотел крикнуть им, помахать рукой... Но, неожиданно как-то, понял: не услышат... не увидят они его... их здесь нет... Именно так: они – здесь, но их здесь – нет...

Вот как получалось: все слушали кошку. Кошка возлежала в шляпе, неподвижная, беззвучная... и вместе с тем – говорящая. Говорила. Говорила вовсю! Сразу для всех, но – каждому по-отдельности. Сквозь голову Капитана просеивались всевозможные обрывки, куски и кусочки, капли и целые проливные дожди. ...Кошку слушали. Кошку слышали. К ней обращались.

До Капитана – примерился да пригляделся покуда – дошло не сразу и понято было с трудом: все присутствующие здесь находятся кто где... Где угодно! Они – здесь, но они – и там. Так, как видит их он, они ни друг друга, ни себя не видят. Для каждого – кошка была с ним: в его мире, в его жизни, в привычной среде. С кем-то – она шла рядом по улице; с кем-то – в лесу или в горах; с кем-то – в жилом помещении, своём или чужом, обжитом или заброшенном. Так, например, он увидел, - подобие качнувшейся вспышки! – что девушка и Семён по-прежнему сидят за столом, рядышком, а кошка – говорит с ними из неподалёкового кресла...



Да и вообще! Как это выходило – Капитан вмышляться да разбираться особо не стал, - но стоило ему на ком-то задержать взгляд, тут же и становилось понятно: как, где, что. Вспышкой! ...Вот муравей, созерцательно замерший на перилах: в шумной компании зверей, насекомых, птиц он идёт по тропке лесной за невысоким худым человеком, одетым в ветхие замызганные лохмотья; кошка сидит на плече этого человека, и, поворотясь, взглядом – назад, говорит она со всей компанией, но и – именно с муравьём. Вот мужчина, взора с кошки не сводящий, неудобно и беззаботно влипший в развилку дерева: он плывёт, тяжело загребая, на лодке, по широкой, в клочьях утреннего тумана реке; напротив него, на задней скамеечке, сидит кошка, и – говорит! Но что интересно! – Капитан видел его в лодке, рядом с кошкой, а сам человек (и это тоже наблюдалось Капитаном) осознавал себя парящим над облаками... после – летящим вниз, вниз, вниз... Вот: две женщины, молодая и пожилая, вставшие робко у здания с надписью «**почта**»... Вот: корова, плывущая сквозь густые, сквозь извивные заросли водорослей... Вот: ... Вот: ... Вот: влажно блеснувшая гроздь аметистов, - целый мир, - и кошка-пылинка коснулась наверхия одного из кристаллов... Вот: мчащийся сквозь сосны ветер, и кошка-ветка оглаживает ветер, встряхивает его, смотрит в глаза... Вот: маленькая рыжеволосая девочка выкладывает круглыми камешками на берегу морском силуэт кошки; объясняет: «ты будешь самой лучшей на свете! ты будешь начинаться и заканчиваться всегда, когда сама того пожелаешь»; смеётся, хлопает в ладоши, - велит кошке встать и говорить с ней... Вот: стая бродячих собак, всех мастей, возрастов – запалённо несётся по пыльной растрескавшейся земле... стая растянулась – растянулась на километры... на десятки километров... на сотни километров... на столько километров, сколько нет в стае собак! Многие собаки, роняя пену и слёзы, бегут поодиночке, но – не прерывают бег; поднимается, хрипит, завывает над стаей пыль, сплетается в клубок... Из клубка – вытанцовывает, позёвывая, кошка: выгибается дугой – испускает ворохи искр, и каждая искорка – каждой собаке, и каждая искорка – коснувшись собаки – рождается крыльями...

И многое!.. И куда ни посмотри!.. И на ком ни задержи взгляд!..

В какой-то момент Капитану бы заорать; застонать; застонать и рухнуть, вбиваясь затылком в жидкую грязь, в корни, в приемное колыбельное нутро земли... – пропасть, сгинуть!.. Но – растряхнулся, опомнился, - протянулся смятённым вопящим рассудком в кошачью речь.

Обрывки... обрывки... обрывки... Всё – для них... А что для него? ...Что для него – он возьмёт сам! Приспособит!.. Он сумеет...

*«дили-дон-... дили-дон-... дили-дон-... дили-дон-... дили-дон-... дили-дон-... дон-... дон-... дон-... дон-... дон-...»*

*«Тысяча лет отделяет тебя от того, что было тысячу лет назад. И этот барьер непреодолим! ...По крайней мере, до тех пор, пока ты оставляешь для себя, как непреложный факт, эту самую – тысячу лет...» ...*

*дон-...*

*«О! Ну что ты, что ты! ...Хотя бы дорасти до того, чтобы не убежать от собственной памяти...» ...*

*дон-...*

*«...ты выпил воды из прозрачной посуды. Так ты утолил жажду. ...Но не возжелал пить воду и дальше, владеть ей всегда; не возжелал жажды и безжаждия – пошёл своей дорогой...» ...*

*дон-...*

*«...Условной Реальности самопробывание – круговое, непрерывное, цикличное движение – гораздо отчётливее воспринимается не как **творение** и **разрушение**, а как **свёртывание** и **развёртывание**. Или: волны, зыбь, - всюду и сквозь всё, - опадает и поднимается дышащая бесконечность...»...*

*дон-...*

«Всё иллюзорное бесконечно меняется. Все проявления подлинного – неизменны. Так просто их различить...» ...

дон-...

«Стыд... Ах, ну что же может быть постыдного-то, постыдного вообще? – постыдна только глупость.

Глупость, она же – невежество.

Мир ни добр, ни зол, ни порочен, ни свят. Мира нет. Мир разворачивается из каждого, кто хоть сколько-нибудь осознаёт себя собой; а если и не осознаёт себя собой, нисколько, - мир разворачивается из него... Он таков, каков ты. Ты таков, какой ты есть, каким ты являешься-пребываешь. Ты являешься-пребываешь таким, каким ты позволяешь себе быть.

А каким ты позволяешь себе быть? – пожалуйста, посмотри на себя... в себя...

В невежестве, всякое прикосновение ко всякому проявлению мира – мыслью, словом или поступком – неизбежность порока.

Невежество постыдно. Постыдно всякое прикосновение его. Постыден и результат.

Постыден и мир, в котором-из-которого-которым ты являешься-пребываешь, так как мир таков, каков ты. И если ты себе позволяешь быть глупым – мир постыден.

Эй! Ты понимаешь? ...Нужно умыться. Умойся скорее!..

...Очищение. Уход от постыдности-невежества-глупости – очищение. Ежедневное, ежеминутное, ежемгновенное. И если ты твёрд – очищаясь (даже если падаешь, но смотришь на это, как на вновь дарованную возможность встать) – ты увидишь как расцветает мир.

Когда ты позволяешь себе быть чистым – ты являешься-пребываешь чистым. Чист мир.»...

дон-...

«- Привет тебе! – сказала Жёлтая Смородина – Оазису.

- Хм... - улыбнулся Оазис.

- Вот мы и встретились! – взволнованно пролепетала Жёлтая Смородина.

- Хм... - улыбнулся Оазис

- Это так замечательно! – воскликнула Жёлтая Смородина и радостно засмеялась.

- Хм... - улыбнулся Оазис.

Ну как после этого было им не обняться?» ...

дон-...

«На **да** или **нет** – не обладаешь ты волей. Но обладаешь ты волей – подойти, войти, - слиться с ВОЛЕЙ. ОНА и решает истинно...» ...

«Малыш, малыш, - шевельнулось в нём, - ну куда ты, малыш...»

Нет, как и то, что ему удавалось уловить, это не было речью в голове, но – знание сказанного. Обличья знания – он уже понимал – могли меняться, перебегать с места на место, оскальзываться в невероятных прыжках, сохраняя при этом суть, и в развёртывании сути – смысл. Но в него приходило именно так. Почему? ...Какая разница? Значит, то было его одеяние, его лодка, его крылатый пёс...

- «Вернись, вернись, ты не всё понял...» - «Я понял!.. Я всё помню...» - «Ты помнишь, но ты не понял...» - «Я...» - «Вернись к листку, малыш... А потом – мы ждём тебя... Мы тебя ждём...»

Капитан засуматошился, заметался. Ах!.. Что это? Что это? ...Дрёмные качели... – и стынь и жар... Нет! Нет! Нет! ...И стынь и жар и прель и милые сердцу сквозняки! – долой ушибленность!.. ...Вот: ливнекрут-свиристун на темечке задрожал... – взорвалось, запорошило лежалыми кучами! – драгоценностью одарило! – стоит ли огорчаться? Эй!.. Э-гэ-гэй!.. Ах...

Не успела рука ручки двери коснуться – всё тело её настигло. Быстрее! Едва распахнуть успел! а нет – так насквозь...

Запыхавшись – обрадованный, перетрясанный – сквозь тамбур входной!.. Вот он, пальмовый лист; буквы светятся, трепещут, почти подпрыгивают: вот-вот – и осыпят тебя, завьюжат, заволокут жемчужной пылью...

...Текст был другой. Капитан помнил прочитанное. Да, он похож... но он – другой. Прежний – чем-то напоминал формулу, нынешний – беседу... или нет... или...

«...

1

В Условной Реальности приближающейся к слиянию с АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ (а значит – и – к самоизникновению) **самоосознание** проступает как **закон самосохранения**, и слияния (и самоизникновения) не происходит.

В Условной Реальности удаляющейся от слияния с АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ (направление – к самонедостаточности) **самоосознание** проступает как однозначная самонедостаточность, и – рождается направление к истинной самодостаточности: к слиянию с АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ, самоосознание себя АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ.

2

Но почему же не происходит слияния? –

Условная Реальность закрепляется разделением и противопоставлением; и здесь: направление к АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ – **добро**, направление от НЕЁ – **зло**. Но: направление к АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ неизбежно, в силу само собой разумеющейся **самости** Условной Реальности, рождает **отторжение-удаление**, а направление от НЕЁ – рождает **притяжение-сближение**. И значит: то и другое направления являются попеременно то добром, то злом, заключая – одновременно – в себе и добро и зло.

...И добро и зло – иллюзия.

Условная Реальность – иллюзия. Условная Реальность – разделение и противопоставление: добро и зло, чёрное и белое, большое и маленькое, и т. д. и т. п. Условная Реальность – то, что воплощает **это**, и Условная Реальность – то, что **этим** воплощено.

Условная Реальность – в силу того, какова она – не может: а) самоосознаться самодостаточностью; б) слиться с АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ. ...ни того, ни другого...

3

Как же быть? – ни того, ни другого, так как **то** и **другое** разделено и противопоставлено...

Но: если обойтись без разделения и противопоставления, то – **то** и **другое** соединятся; окажутся одним и тем же; они – одно. Самоосознаться самодостаточностью – это и есть слияние с АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ, – это и есть самоосознаться самодостаточностью.

Как же быть? –

Так: будучи ничем – самоосознаться ничем; не будучи – не быть.

(...кто ты? – ...нет меня...

...нет и того, кто задал этот вопрос...

...нет и вопроса: «кто ты?» ...ничего нет...)

Так: когда нет того, чего нет, не было и быть не могло – есть то, что есть: АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.

Осознаться иллюзией – что может быть проще? что может быть сложнее? – здесь: разделение и противопоставление; следует обойтись без этого.

Как? –

*Вспомни, кто ты есть, - ты и есть Условная Реальность, ты и есть то, чего нет.*

*Вспомнить «кто ты» и забыть «кто ты» – одно и то же. Обрести «кто ты» и избыть «кто ты» – одно и то же. Обретая-избыв – ты то, что есть: ЕДИНОЕ » ...*

...Капитана скрутило, перетряхнуло, приподняло...

Ох!..

По чуть-чуть расправляясь, окунув в ладони лицо, он стоял неподвижно, размытый, почти больной; выздоравливающий. Так лошадь, которая ищет маму, смотрит, подёргивая ушами, в туман... истяннутая, прямая, взмытая маячным вымпелом... и маму находит... ...Капитан видел себя канатоходцем, которому посережь маршрута сказали, что он – птица; зачем ерундить? зачем теревить ступнями канат? – ты лети! И он выпустил из рук балансир. И замер. ...Но птицей стать – ещё не успел, а балансир – уже выпустил...

«Иви, Иви, малыш...»

...Первое, что Капитан увидел, распахнув дверь: он.

...Свет луны был таким ярким, что солнечный день показался бы рассветными сумерками. Свет присутствовал повсюду. Возлежал на всём и во всём. Но и его не хватило бы!.. Но – хватало... Казалось: в нём и не было особой нужды... просто: понравилось Луне светиться; понравилось – и всё тут! – и засветилась, засветилась!.. А и так: свет или тьма – не имело значения. Но вне света и тьмы – отчётливость. И – из этой отчётливости – Капитан чуть было не рухнул навзничь в поисках безотчётливого забытья – спасительной паузы, укрывающей без-оконным, без-дверным коконом.

...Со всех сторон на Капитана смотрел он, он самый – Капитан. Капитанов было много, очень много, - неисчислимо.

Дверь, ерошисто обдав сквозняком, захлопнулась.

Капитан, вздрогнув, обернулся. ...Ни двери, ни зала ожидания... – только он... только вопиющая немыслимая озеркаленность, возвращающая ему – его. Озеркаленность окружила-заплеснула со всех сторон! О!.. Вверх подними голову – и там... И вниз... Повсюду был Капитан; куда ни направь взгляд, как ни измётывайся – равное повстречанье: взгляд-и-взгляд. Трудно! Тяжело! Почти невыносимо!.. Так получалось: до донышка, и – дальше, дальше – сквозь дно – и дальше, дальше... Капитан попробовал закрыть глаза, но оказалось, что озеркаленность дышит и изнутри; как ни стискивайся, как ни стискивай веки: взгляд-и-взгляд.

Капитан топнул ногой. И ещё. И ещё! Затряс над головой сжатыми кулаками! Закричал! – закричал! – внеголосьем бесшумным, навзрыд, без остатка разбрызгивая нутро!..

Дрогнула зеркальная сфера, вспенилась, потекла. Потекли Капитаны... и ещё потекли Капитаны... и ещё Капитаны... Капитаны... Капитаны... Капитаны... Локоны тумана, подрагивающие в сквозняке... Расплывная проплесь в окно... Золотистый излёт мгновенья! – мгновенье! – и Капитан увидел всех. Всех-всех-всех. Все существа-предметы-понятия-явления-действия-определения-...образы... образы... образы... образы... в прошлом, настоящем и будущем... – ах, это одно и то же!.. Мгновение замерло. Мгновение приподнялось на цыпочки. Мгновение распахнулось. И Капитан – !.. – смог внимательно рассмотреть бесконечность:

Это был он. Все-все-все – он. Всё. ...Вся бесконечность – он.

Мгновение взметнулось!

Зеркало обмелькнулось окном... Зеркало стало окном. Капитан мог смотреть-заглядывать, так, как если бы он смотрел с улицы в окно дома. ...И он – смотрел:

Мальчик. Маленький шестилетний мальчик. Мальчик сидел на полу, на коврике, прижавшись спиной к дождю... Мальчику не было дела, что кто-то заглядывает в окно. Мальчику не было дела, что кто-то вокруг куролесит. Головою склонившись в ветер – он рисовал тишину...

И Капитан понял: он по-прежнему смотрит в зеркало.

## 2

...Покачнувшись на краю сцены и с трудом удержав равновесие, дядя Гриша оглянулся на зал.

Зала не было. Был лес. Дремучий, непролазный – именно такой, каким он представлялся маленькому Грише из книжек. ...Вслушиваясь в папин голос – всплывая – Гриша видел круглую медовую луну, безмолвно танцующих на широких светлых полянах лесных обитателей, и, распознав в шуршнущих страницах гулкий крик филина из тяжёлых еловых лап – юркал с головой под одеяло, закручиваясь, заматываясь, прислушиваясь, – стараясь не потерять тропку, по которой шёл. Иногда он чувствовал, как под одеяло, приподняв краешек, забираются гномы, чтобы держать с ним совет о неотложных и важных лесных делах: топ-топ-топ... – он сразу узнавал эти крошечные уверенные шажки, и незамедлительно начинал готовить пещеру к приёму чащобных гостей...

То, что теперь увидел дядя Гриша – было так похоже... так похоже!.. Только Луна не медовая – серебристая, продёрнутая по блескучему кругу тоненькими полосками несущихся облаков. Ветрилось. Могучие, сплетённые ветвями деревья порывисто, обмахиваясь листвой, раскачивались – потрескивая, гудя. Высокий осенний лес – то замирал, стихал, стеклянно стряхивая листву, то вновь облачался в одно, без конца повторявшееся, упорное и причудливое танцевальное движение. Вне изысканности и разнообразия – суровый дремучий схлест всё равно был интересен, а постоянно повторявшееся движение – волнительно и сулило многое, указывая измашистой монотонностью на до сих пор не раскрытую загадку... возможно – драгоценную, возможно – для кого-то – самую главную...

Далеко-далеко, внизу...

Прочно примостившись у края сцены, на корточках, голову вперёд наклонив – дядя Гриша видел высвеченные Луной груды валежника, цепкий шебуршистый кустарник, склонённые сильные травы, терпеливо ожидающие снежных шатров. Отсюда... откуда-то отсюда шёл наливной, но совсем не размашистый яркий свет. Что там – дяде Грише никак не углядывалось, да к тому же из-за спины – мешали, сбивая обзор, занозистые прожектора.

- Гражданин!

Громкий суровый оклик заставил дядю Гришу чуть качнуться над краем. Он обернулся. За спиной стоял давешний барсук; барсук стоял, негодующий, одной лапой упёршись в бок, – вытаращено и дерзко оглядывал дядю Гришу.

- Вы в своём уме, гражданин!? – барсук шлёписто топнул лапой. – Вы что делаете!

- А что? – дядя Гриша немножечко растерялся. – Я разве мешаю?

- Он ещё спрашивает! – возмутился барсук. – Сам тут расселся, а сам – спрашивает! ...Если вы слушать пришли – так ступайте в зрительный зал; если выступать – скорее мотайте в костюмерную и живенько переодевайтесь барышней: будете делать вид, что собираете цветочки на лужайке...

- Зачем? – опешил дядя Гриша.

Барсук неожиданно улыбнулся:

- Мне фон нужен, – застенчиво сказал он. – Жалко вам, что ли?

Дядя Гриша, не вставая с корточек, нерешительно пожал плечами:

- Не жалко... – Нахмурился. – Вы извините, но я не актёр. И потом – мне интересно: что там... Посмотрите! – там что-то светится...

- Раз интересно – значит интересно!

Барсук добродушно махнул лапой: мол, чего уж!.. А лапою другою – мягко толкнул дядю Гришу.

Равновесие на краю сцены оказалось довольно шатким: лёгкого толчка вполне хватило, чтобы сидящий – ухнув – полетел вниз.

Не успел дядя Гриша как следует испугаться, как уже рухнул в кучу слежавшегося подопревшего хвороста. Хворост был обильно перемешан с листвой и это значительно смягчило падение. На излёте, притормаживая, его окоснулись – хлестнув – пышные хвойные ветви.

Источник так заинтересовавшего его света присутствовал рядом: лампа. Обыкновенная настольная лампа, стоявшая на заваленном листьями, ветками и сухим мхом небольшом письменном столе. Лампа спокойно светила, невзирая на отсутствие каких бы то ни было вилок-розеток-и-проводов, явственно не нуждаясь в этом. Стеснившиеся вокруг, заветренные, подвижные ели – широченными нижними ветвями укрывали лампу от резких, от хмурых воздушных порывов и от налетающего то и дело – набегам – мелкого сеющего дождика. Дядя Гриша поднялся, отряхиваясь, с валежниковой перины – подошёл к столу. «А где же стул?..» Стула не было.

- А кресло по лесу гуляет! – хихикнул кто-то из-за ели.

- Как – гуляет?.. – осторожно спросил дядя Гриша, пытаясь высмотреть и разглядеть собеседника.

- Ножками! – так и не опримеченное существо хихикнуло ещё громче.

- А – зачем?.. – дядя Гриша, притаив дыхание, раздвинул еловые лапы, но так никого и не увидел.

- Умеет! – довольно заявило существо, судя по голосу – прямо-таки распираемое восторгом.

Вскоре послышался хрусткий топот, шебуршание, смешливое бормотанье... и то и другое – удаляясь от места беседы.

Дядя Гриша задумчиво присел на край стола.

Свет в лампе несколько раз мигнул. Лампочка стала ярче.

Дядя Гриша прислушался. ...В лесу кто-то скулил. Кто-то, постанывая, куда-то карабкался, учиняя настойчивый, но не сильный шум. Дядя Гриша взял со стола лампу, и, то и дело спотыкаясь, - отправился в сторону надсады и беспокойства.

Оказалось, это совсем рядом. В буреломном сушняковом завале копошилась крохотная лохматая собачонка, упорно стараясь пробраться сквозь. Она оскальзывалась, повизгивая, на мокрых стволах, падала, царапаясь о сучки, и снова карабкалась, из-сильно прокладывая тропу. Дядя Гриша – в наклоне – приподнял, крикнув, один ствол и, ухватив собачонку за загривок – вытащил её из завала.

- Ой! – радостно пискнула собачонка, болтаясь в крепко держащей её руке. – Привет...

- Елизавета! – дядя Гриша, млея, прижал мокрый косматый комочек к груди. – Нашлась! - Елизавета согласно чихнула. – Ох, да ты же совсем замёрзла! ...Идём!

Он пошагал обратно, к столу. Здесь уже стояло, вернувшееся с прогулки кресло; заляпанное грязью, довольное, с прилипшей к отсыревшей спинке хвоей – кресло стояло широко и прочно, призывно распахнув подлокотники. «Подтягивается народ... - проскочило у дяди Гриши. – То ли ещё будет...» Он смахнул со стола весь накопившийся мусор, водрузил на прежнее место яркую, попыхивающую жарком лампу, и – к лампе, на обогрев – посадил на стол Елизавету. Собачонка прижмурилась, размякла, - благодарно придвинула к ламповому теплу мёрзлую спину.

- Как в лес-то тебя занесло, кроха...? – расстроенно спросил дядя Гриша.

Он уже привык к тому, что Елизавета умеет говорить. Это совсем не казалось странным. И, разумеется, расспрашивая, беспокоясь, он без сомнений и твёрдо ожидал ответа.

- Ничего, так бывает, - кротко улыбнулась Елизавета. – Как хорошо, что мы встретились! Я скучала по тебе... Целый год скучала!..

- Год!? – ошалел дядя Гриша. – Как – год?!?

- Так бывает, - прошептала Елизавета. – Теперь мы увиделись. И ты помог мне! – я уже совсем выбивалась из сил...

- Всё! – решительно сказал дядя Гриша. – Сейчас мы пойдём... и куда-нибудь – уж это точно! – выйдем. Тебя накормить нужно!

- Нет, - качнула головой Елизавета. – Я бегу. – Виновато посмотрела на друга. – Я продолжу бег.

- Какой бег!?

- Мой бег. А потом – будет Дорога.

- Бред какой-то... - Дядя Гриша беспомощно плюхнулся в кресло. – Я не отпущу тебя! ...Нет, давай так: я пойду с тобой!

Елизавета помотала головою.

- Незачем... Кто-то становится Дорогой, кто-то шагает по Дороге, но идут они – вместе. ...И мы встретимся! По-настоящему!

Дядя Гриша устало поник в кресле.

Лампа светила ярко. Ярко-ярко. ...А теперь она стала ещё ярче. От мокрой шерсти Елизаветы поднимался голубоватый пар. Шерсть лоснилась, сохла – к ней возвращалась прежняя летучая пушистость. На спине – она даже поблёскивала...

Дядя Гриша прищурился.

Ламповый свет ещё поярчел... Мгновение! – и лампа засияла всецветно, запереливалась, расцвела! Мгновение! Мгновение! Мгновение! – вспышка! – лампа растаяла... Но свет никуда не делся: над спиной Елизаветы поднимались два лёгких светлых крыла, и крылья сияли – светили, ярко-ярко, но совсем не тревожа, не обижая взгляд, а – так: освещая.

Перегнувшись в кресле, разинув рот – дядя Гриша рассматривал Елизавету.

Она прошла по столу, всё время оглядываясь – не переставая любоваться появившейся драгоценностью. Глаза её сияли почти как крылья. Ах! это не крылья пришли – это она стала крыльями!

Дядя Гриша потёр лоб. Сглотнул.

- Теперь ты улетишь... - то ли понял, то ли спросил он.

- Ну что ты! – Елизавета прыгнула со стола к нему на колени. Потёрлась мордашкой о плечо. – Не улечу! – полечу! ...До встречи!

И, не успел дядя Гриша хоть что-то сказать по этому поводу, как стремительная сверкунцовая молния – мелькнув в верхушках деревьев – исчезла, оставив его в полной темноте.

Аплодисменты! Аплодисменты! Аплодисменты!

Вскипели прожектора.

Сцена! ...Он сидит в кресле, посреди сцены. Рядом – прифранченный, зачем-то напавший на шею галстук-бабочку – стоит недавний барсук, и, стараясь изо всех сил, залиvisto хлопает в ладошки. Из зала же – ничего, ни одного хлопка; в зале была тишина.

Немного ещё пошумев, барсук, наконец, прекратил назойливое стуколапье. Он подошёл к болезненно морщившемуся на прожекторное буйство дяде Грише и, потрепав его по колену, тихо сказал:

- Это были твои последние аплодисменты. ...Спасибо, что не бросил ни чем тяжёлым. Очень приятно, правда-правда!

Щёлкнув, погасли прожектора. И – в переход щелчку, без всякого упреждения – осветился зрительный зал. На этот раз, зал расположился как следует: разворотом кресел – к сцене... лицами – вперёд...

Наверное, именно этого дядя Гриша и ждал. Всю жизнь ждал.

Здесь были все. Все-все-все. Всё.

Здесь никого не было кроме него.

### 3

- Ну вот... - Отшельник вздохнул. Глаза его радостно заблестели. – Вот и Дорога. Пришли!

А вокруг него гомонило, верещало, пиликало на разные голоса. Все восхищённо рассматривали дорогу. Она была такая красивая!

- А ты не ошибся? – строго спросил медведь. – Это именно **та** дорога? Это – **она**?

- Как же можно ошибиться? – удивился отшельник. – Ты посмотри...

- Точно, - подтвердил заяц. – Тропок – их не сочтёшь, и узких и широких... А Дорога – она одна. ...Тут и зайцем не нужно быть, чтобы понять!

- Ну-ну!.. – добродушно засопел медведь. – Ты тово... Не очень-то...!

- Наставник, я поближе посмотрю! – пискнула, прыгивая со страуса, мыш, по имени Изольда. – Можно?

Отшельник кивнул.

Мышка со всех ног кинулась к дороге. ...Ойкнула. Замерла боязливо.

У обочины, расслабленно, подпёрши голову ладошкой, возлежал из травы старичок. Ножками подёргивая, глазками поигрывая, он нюхал склонившуюся к нему ромашку, восхищённо и бережно оглаживая белоснежные лепестки.

- Эй, - окликнул старичок, - Изольда! – Приветственно качнул рукой. – Глупенькая, ты чего испугалась? Ай-яй-яй!

Весело засмеялся.

- Ух ты, вы меня знаете... Здравствуйте! – Изольда засмушалась. – А вас как зовут?

- Хоть горшком назови, только в печку не ставь! – решительно заявил старичок, и развеселился уже окончательно.

- Извините, вы кто? – поинтересовался медведь.

- Да-да, кто вы? – поддакнул гусь. – Вот ещё! – а пусть он ответит!..

- Это пёс, - спокойно сказал отшельник.

Стало тихо. Не все поняли, о чём говорит Наставник, но всем, как самого лакомого блюда, очень захотелось тишины.

Отшельник подошёл к старичку. Присел, осторожно раздвинув траву, рядом. Доверчиво улыбнулся:

- Мы пришли.

- Молодцы, мои маленькие...

...Все смотрели, широко распахнув глаза, и никак не могли понять, где заканчивается старичок и начинается дорога... или наоборот... Это было такое одно и то же!

### 4

...Букв становилось всё больше и больше. Они наполнили дорогу, перемешались, засверкали. В этой лавине присутствовало дыхание, присутствовали направление и смысл. Буквы были похожи на неисчислимые стада золотых рыбок, отправившихся в очевидную для них сторону... с очевидной для них целью... на великий и сокровенный нерест...

И мама и бабушка – ах! – широко раскрытыми глазами наблюдали чудесный поток. Ну что за диво! Что за красота!.. Странно, но в созерцании буквенной плыви – к ним пришёл покой. Всё, что саднило, тревожило, что изводило – ушло, сгинуло. Стало очень просто.



И ещё – появилась радость.

...А буквы плыли, плыли... А буквы вплывали в дорогу, сливались с дорогой... становились дорогой.

Да! Перед женщинами – сверкающая и умытая – лежала Дорога. И такая, такая...! Так хотелось ступить на неё! Только почему-то было боязно... Только...

Что-то произошло... Кто-то показался на дороге...

- Мама! Мама! Мама!

- Иви, малыш...

- Бабушка!..

- Ивушка... Ивушка мой!

...На обочине, стоя на коленях, две женщины, заплаканные и бледные, причитая – прижимали к себе смеющегося ребёнка. Он гладил маму и бабушку по голове. Успокаивал, объясняя, что всё хорошо, что они – вместе, что за ту тысячу лет, что их не было дома – он совсем не успел испугаться, тем более, что прошло всего пол дня. Он говорил им хорошие и тёплые слова. Он тормозил их. А глаза... – глаза его были такими светлыми, радостными, сияющими! ...И истосковавшиеся, измученные женщины – поверили; всё стало правильно и прекрасно! Всё...

- Мур-р-р...

У обочины появилась кошка. Кошка кивнула, приветствуя и знакомясь.

- Какая она... - покачала головой мама. – Красавица!

- Неужели из нашего двора? – удивилась, утирая слёзы, бабушка. – Пойдите-пойдите, где-то я её видела...

- Мур-р-р...

В голосе кошки чувствовалась непонятная женщинам настойчивость.

- Идёмте!

Мальчик ухватил маму и бабушку за руки и потянул на Дорогу.

- Куда, Ивушка? Куда?

- Ну идёмте, идёмте же!

...И тут, наконец, им всё стало понятно. Всё.

## 5

«Я не сейчас ослепла, - думала она, дрожа. – Я всегда была слепа... Судорога! – безумная, кошмарная судорога, растянутая на жизнь!.. Хочешь встать – скользко, ноги не держат. Заругаешься, заругаешься!.. Землю ощупаешь – нет, не скользко, - просто: ноги не держат... слабые ноги... в забвенье укутанные...» Она согнулась, сжимаясь, всё заворачивая и заворачивая в руки лицо, как если бы руки были бескрайними, как если бы были они просторнее неба. «Стыдно... Стыдно-то как!» Её трясло, её крутило, её взрывало, медленно, исподволь, как взрывается одуванчиковый пух. Но не рождалось рыдания, но слёзы – не появлялись... Вот: трясётся желе на ладони; маленький дроглый шарик, замигательно истягивающий себя к солнцу... к себе! «Я одна... Я совсем одна... Даже осмысленность – и та оставила меня, вытекла, как вода колодезная из растрескавшегося ведёрка... Только на дне... где-то там, глубоко-глубоко во мне – на дне... лужица маленькая только-то и осталась...» Не покидая рук, спрятавшись и укрывшись, разомкнула – в одно усилие! – стиснутые веки: прямо перед глазами, билась, расцветиваясь, взмываясь, голубая жилка на натянутом занемевшем запястье.

Сколько она так стояла? – всю жизнь... может быть, немножечко больше... А стояние длилось, длилось... Ей казалось, что так вот стоять назначено впредь, навсегда... Стоять и стоять... «Даже деревья – летают...» - мелькнуло в ней.

- А-ууу! ...Тебе не надоело? – прозвенел неподалёковый голосок.

«Это кошка... Она не ушла!»

А следом – другой голос, детский, требовательный и простой:

- Идём с нами.

Оказалось, что прочное, сплетённое руками убежище способно рассыпаться мгновенно. Мгновенно! О! вот почему: руки этого так просили! – они были способны опередить мгновение!

Женщина подняла голову.

Женщина подняла голову и посмотрела вверх.

Женщина увидела стоящего на Дороге мальчика. Чуть поодаль, но – рядом, рядом, перебирала лапами кошка.

- Идём с нами, - сказал мальчик.

- Идём с нами, - сказала кошка.

И кого только не было рядом с ними! Все были.

Была и она.

\*\*\*\*\*

...Ветер взошёл... ветер... Долгий просторный ветер... А зеркало – было всегда.

...И возникло – просто так – Большое Белое Существо. И подошло к зеркалу. И посмотрело в него.

Вот оно: Большое Белое Существо. Вот они: два Больших Белых Существа. Зеркальная гладь заплясала, перемигнулась, тренькнула... Вот они: два Больших Чёрных Существа. Зеркальная гладь заплясала, перемигнулась, тренькнула... Вот они: два Больших Бело-Чёрных Существа. Два Больших Чёрно-Белых Существа, идущие сквозь то, что никогда не мыслилось и сквозь то, что мыслит само себя. Сквозь тьму-и-свет. Сквозь разделение-и-слитность. Сквозь наслаждение-и-страдание. Сквозь... Зеркальная гладь заплясала, перемигнулась, тренькнула... Вот они: два Больших Серебристых Существа, и взгляд у них один, и нет во взгляде ни глубины, ни дна, потому что он – прост.

Зеркальная гладь заплясала, перемигнулась, тренькнула...

Растворилась. Не стало зеркала... а и было ли? ...Заплясало зеркало, перемигнулось, тренькнуло, растворилось... – размылось, всё собою напивая, во всём пребывая...

Вот: кошка с золотистым взглядом. Вот: чёрный, с рыжими подпалинами пёс. И сидели они напротив друг друга. Рядом.

- Ты готов? Ты готов стать дорогой?

- Я готов стать домом. Родным домом.

- Ух ты! – обрадовалась кошка.

- Только из дома и может развернуться дорога, - подтвердил пёс. – И то, что держит дорогу: четыре стороны света. И светильник... Как без светильника в дороге? Он очень нужен!

- Ты будешь домом, - согласилась кошка. – А я – пойду рядом.

- Ты рядом иди, - согласился пёс.

- Ты долго бежал, - улыбнулась кошка. – Ручейки, речушки и реки пыли идут за тобой. В каждой пылинке – зреют крылья.

- В каждой, - подтвердил пёс.

- Время схождения зёрен, - улыбнулась кошка. – Они не замёрзли, они не засохли.

- Вдосталь тепла в твоей шерсти, - подтвердил пёс. – Вдосталь влаги в твоём дыхании.

И кошка сказала:

- На тонком стебле качается шар с семенами. ...Круглый и крепкий шар. Высокий и хрупкий стебель.

И пёс улыбнулся:

- Не такой уж высокий – бывает выше. Не такой уж круглый – бывает круглее. Не такой уж хрупкий: связью семян и корней слеплен надёжно. Не такой уж крепкий: время придёт – легко распахнётся.

- Нам пора, - напружинилась кошка.

- Нам пора, - напружинился пёс.

- До встречи, Иви, - трепыхнула усами кошка.

- Иви, до встречи, - дёрнул ушами пёс.

### МАЛЬЧИК, КОШКА, ЧЕТЫРЕ СТЕНЫ, ПОЛ И КРЫША

Жил-был мальчик. И вокруг него были четыре стены, а внизу – пол, а сверху – крыша. И жила-была – рядом с мальчиком – кошка. Вокруг кошки были четыре стены, а внизу – пол, а сверху – крыша, и рядом – мальчик.

И однажды сказал мальчик кошке:

- Мы живём с тобою неправильно.

- Почему? – удивилась кошка.

И сказал мальчик четырём стенам, а внизу – полу, а сверху – крыше:

- Мы живём с вами неправильно.

- Почему? – удивились они.

И заплакал мальчик. И плакал он долго. И слёзы его были мокрыми. И слёзы его были прозрачными. И вообще – были.

Тогда сказала кошка, тогда сказали стены и пол и крыша:

- Мы живём неправильно. Мальчик плачет. Мы не плачем. Мы живём вместе, но получается – так непонятно... – мы живём по-отдельности: мальчик плачет, а мы не плачем. Это неправильно. Мы живём неправильно...

- Мы живём неправильно, - сказала кошка.

- Почему? – удивились в кошке каждое пятнышко, каждая чёрточка, каждая капелька. Они чувствовали, что кошка права, но не понимали – почему.

- Мы живём неправильно, - сказали стены и пол и крыша.

- Почему? – удивились в них каждое пятнышко, каждая чёрточка, каждая капелька.

- Да, мы живём неправильно, - подтвердила кошка, подтвердили стены и пол и крыша.

И всё стало понятно.

И сказал мальчик:

- Давайте станем одним целым.

- Да, - сказала кошка.
- Ну разумеется, - сказали стены и пол и крыша.

Шаг один – и готово.

Но задумался мальчик. И думы его были долгими. И думы его были прозрачными, - очевидными для всех, кто был рядом. Да и вообще – были, это не вызывало ни у кого никаких сомнений.

И сказал мальчик:

- Там, где нас нет, - мы здесь, - многие есть другие. Многое есть другое. И всё это – мы. Именно мы. И ни кто другой, и ни что другое.

- Да, - сказала кошка.
- Разумеется, - сказали стены и пол и крыша.
- Шаг, и ещё, и ещё. И ещё. И ещё шаг. И мы придвинемся ближе, - сказал мальчик.
- Но шаг бывает только один, - удивилась кошка.
- Разумеется, - подтвердили стены и пол и крыша.

И заплакал мальчик.

И крикнула кошка. И дрогнули все четыре стены и обратились четырьмя дверями на все четыре стороны света. И крыша взвилась – обернулась светильником. А пол – дорогой.

*То ли птица, то ли рыба, то ли зверь. То ли дерево, то ли камень. То ли горсть земли, то ли горсть воды, то ли горсть огня, то ли воздуха горсть.*

И пошёл мальчик на все четыре стороны. И пошёл он по дороге. И светил в дороге ему светильник, - всякую ночь светил, а особенно ярко – днём.

И бежала рядом с мальчиком кошка. А кошка бежала так: высоко задирала хвост, мурлыкала-напевала, топорщила врозь усы. След в след.

Тысячу лет шёл мальчик... И тысячу тысяч лет... И ещё...

А четыре стороны всё ширились и углублялись. А дорога всё не кончалась. А светильник всё светил и светил. А кошка бежала рядом. Да. Не сворачивала кошка на обочины, не отставала, но и не обгоняла мальчика, - рядом всё время бежала. Рядышком. След в след.

...А мальчик шёл. А мальчик шёл и шёл. А следом за ним – высоко поднимая ноги – тенью касаясь лица позади идущего – вереницей долгой и дальней шли тысячи лет... и тысячи тысяч лет... и ещё...

Пыль поднималась до самого горизонта... Вот... Именно так получалось: только пыли и удавалось добраться до горизонта... и всех увидеть.

А и лето было, - в разнотравье, копошении и стрекотанье. А и осень, - в осиянности и простоте, чавкающая, обвеянная дождями. И зима – зима! – в снегах и полыни, в свисте и поцелуях. И весна, - ах, ну конечно! – покрывало летящее с плеч.

Они оплясывали хороводом мальчика. Каблуки звенели; колокольцы! колокольцы! – гулкий надсадный хрип... Они оплясывали хороводом и мальчика, и кошку, и дорогу, и все четыре стороны света, и сияющий надо всем и во всё светильник. Их лица менялись. Они смеялись и плакали. Они умоляли; они уговаривали остаться, - разделить с ними их пляску, их игру – нескончаемую игру!.. их гордость и одиночество.

- Вы неправильно живёте, - шептал мальчик.

И кошка кивала утвердительно. И дорога встряхивалась и звала. И четыре стороны света вымелывались дальними золотыми окошками. Ярче, ярче разгорался в ночь, но особенно – в день, светилник.

Мальчику верили. Верили. Да. Следовали за ним; будто бы – чуть в стороне, но – рядом, рядом. След в след.

И встретился мальчику по дороге кузнечик: маленькое треугольчатое существо, с длинными изумрудными ногами. Кузнечик сидел на обочине и кушал суп.

- Почему ты здесь, на обочине? – спросил его мальчик.

Кошка кивнула.

Кузнечик удивился:

- Где же мне ещё быть? Моя кастрюлька полным-полна и ложка ещё не высохла.

- А когда она высохнет, то что тогда?.. ты очень огорчишься? – поинтересовалась кошка.

- О! – пригорюнился кузнечик. – Когда она высохнет – она растрескается, и я не смогу культурно и с удовольствием кушать суп.

- Вот глупости! – засмеялась кошка.

- Нет, вовсе не глупости! – рассердился кузнечик. Потом фыркнул и рот его растянулся в широкой лучезарной улыбке. – Но она не высохнет! Как только моя кастрюлька опустеет – я поставлю её на огонь и сварю новый суп.

- Не сваришь, – подал голос огонь, сидевший на обочине неподалёку. – Я уйду с мальчиком.

- Как же так!? – ужаснулся кузнечик. – Ты не смеешь! – закричал он, прыгая и размахивая во все стороны ложкой. – Ты не смеешь, не смеешь!

Огонь ухмыльнулся и, с ленивой молниеносностью выплеснув из себя жаркий оранжевый язык, облизнул кузнечиковую ложку. Ложка – тут же – высохла и растрескалась.

- Вот ты значит как... - ошарашенно проговорил кузнечик и упал в обморок.

Когда кузнечика общими силами привели в чувство и дали хлебнуть тёплого молока из кошачьей фляжки – ложки уже не было: она окончательно рассыпалась и ушла в землю. Кузнечик всхлипнул.

- Ты неправильно жил, – улыбнулся мальчик. – А ложка твоя – устала. Она ушла, чтобы встретиться с тобой иначе, – так, чтобы это было по-взаправдашнему... и так, чтобы никогда не расставаться.

И кузнечик поверил. И кузнечик сразу поверил. И утешился. Он вдруг понял: ничего ведь страшного не произошло! Наоборот: теперь ему не надо будет без конца готовить и кушать суп, теперь он сможет пойти по дороге, вместе с мальчиком и кошкой, на все четыре стороны света, – к туда, где ему давно мечталось оказаться, где можно любить, не оглядываясь по сторонам, потому что стороны, в которые ты мог оглянуться – *ты*.

- Идём! – крикнул кузнечик. – Ну, чего вы медлите! Идёмте скорее!

И первый запрыгал по дороге. Чуть поодаль от мальчика и кошки, но – рядом, рядом. След в след.

И встретила мальчику по дороге лягушка. Толстая и пупырчатая, как лимонад в лампочке.

Лягушка сидела на обочине и с мрачным выражением очей оглядывалась по сторонам.

- Почему ты здесь? – спросил мальчик.

Лягушка удивлённо задрала брови кверху, но ничего не ответила.

- Ты кого-то ждёшь? – поинтересовалась кошка.

- Комара жду, – угрюмо прогундосила лягушка и шмыгнула носом. ...Огляделась. – Сыро, – пожаловалась она. – Крайне неблагоприятная для общего состояния организма погода. Крайне...

- А зачем ты ждёшь комара? – снова поинтересовалась кошка. – Он твой друг?

- Он мой завтрак, - досадливо сказала лягушка. – Вот ведь! – провела лапкой под носом и чихнула, - до самого ужина досидела, а ещё – не завтракавши... А? Куда это годится, я вас спрашиваю?!

- И ты ждёшь кого-то – страдаешь от сырости целый день, простужаешься, наконец! – только для того, чтобы съесть? – не поверил мальчик.

- Ага, - подтвердила лягушка. – И не «кого-то», а – комара.

Лягушка прошлындрила, понурясь, взад-вперёд по обочине. Закашлялась. Ещё раз – тоскливо – огляделась.

- Послушай... - начала кошка.

Тут лягушка, шлындраючи, внезапно споткнулась и, разозлившись до невозможности, заорала во всё горло:

- Я ему, паразиту, морду набью, прежде чем съесть! Порхает с утра до ночи по одуванчикам, вертолёт носатый, а ты – тощай, изводишь! У-у, изверг!

- Ты неправильно живёшь, - сказал мальчик.

- Плевать, - сгрубила лягушка. – А уж изверга-то дождусь. Космы-то ему мелкой волной позавиваю!

- Ты неправильно живёшь, - сказал мальчик. – Идём с нами.

- Идём! – сказала кошка.

Тут загудело что-то, завывало... и из леса, что начинался совсем неподалёку – рукой подать – от обочины, выкатился, бурно размахивая крыльями-парусами, огромный комар. Он был размером со слона! А уж зудел, - целому стаду слонов не снилось, что можно такой тарабам устроить!

- Ой... - шёпотом сипнула лягушка. – Ой, мамочки!..

Комар подлетел к обочине и грузно, поднимая пыль и сквозняки, примостился поблизости от беседующих.

- Ну что, заждалась, зелёная?

- Да ну тебя, охальник, - отмахнулась лягушка. – Да на что ты мне теперь? Где ж это видано, чтобы приличное животное себе в рот такой небоскрёб пихало! – Оглядела комара. Языком причмокнув, завистливо полюбопытствовала: - Где ж это ты так расстарался, родимый? Отъелся-то – где? Эх разнесло, в год не заплюёшь!

- Нигде не отъедался, - улыбнулся комар. – Сидел я, понимаешь, под одуванчиком... полдня сидел...

- Не надуло нигде? – заботливо осведомилась лягушка. – А то сыро нынче...

- Да не-е... Сидел я, сидел, и грустно мне стало... тоскливо так...

- Надуло поди... Так я и знала! – жалостливо покачала головой лягушка.

- Да не-е... Ну что ты всё время перебиваешь! – дослушай... Сидел я, сидел – и прям разобрало! Что же это, думаю, такое: гоняешься за пропитанием целыми днями, - того и гляди прихлопнут; гоняешься, гоняешься, натрамбуешь в пузо чего ни попадя... а за день так крылья натреплешь – что и не понятно: сыт ты или не сыт? а если и сыт, так хорошо это или плохо? Все мы, зелёная, за счёт чужих жизней кормимся. Вот оно как...

- Понимаю... - вздохнула лягушка.

- Так-то... Спать лёг, - проснулся – начинай всё сначала. Хоть и не просыпайся! – нахмурился комар.

- Ох, понимаю...

Пригорюнилась лягушка, подпёрлась лапкой.

- Ну вот! – взор комара прояснился. – И захотелось мне – аж уши захрустели – быть сытым, без всяких пауз, раз и навсегда.

- И...?

- И – пожалуйста!

Комар радостно погладил свой круглый – огромный! – и очень симпатичный животик.

- И что – есть не хочется? – изумилась лягушка.

- Ни капельки! – восторженно ответил комар. – Да... Ты извини, я с мальчиком пойду, а то вдруг всё обратно начнётся. Ну и вообще...

- А я тоже пойду, - решительно топнула лапой лягушка. – Во как!

- Молодец! – сказал мальчик.

- Ещё бы! – сказала кошка.

- Правда, пойдёшь? – заморгал комар.

- А то! – лягушка одним решительным смелым прыжком оказалась на дороге. – Идём!

И запрыгала, запрыгала лягушка. И запрыгала лягушка по дороге. Вперёд! Вперёд! Капельку поодаль от мальчика и кошки, но – рядом, рядом. След в след.

И уткнулась дорога в лес, в густой непроходимый лес.

Но двинулся мальчик сквозь лес, а вместе с ним и кошка, и дорога, и четыре стороны света, и те, кто рядом. А светильник сиял, сиял...!

...Но миновал мальчик лес. И пошёл дальше. А вместе с ним – те, кто рядом. След в след.  
И лес.

И уткнулась дорога в пустыню, в знойную бескрайнюю пустыню.

Но двинулся мальчик сквозь пустыню, а вместе с ним и кошка, и дорога, и четыре стороны света, и те, кто рядом. А светильник сиял, сиял...!

...Но миновал мальчик пустыню. И пошёл дальше. А вместе с ним – те, кто рядом. След в след.  
И пустыня.

И уткнулась дорога в гору, в высокую необлазную гору.

Но двинулся мальчик через гору, а вместе с ним и кошка, и дорога, и четыре стороны света, и те, кто рядом. А светильник светил, светил...!

...Но миновал мальчик гору. И пошёл дальше. А вместе с ним – те, кто рядом. След в след.  
И гора.

И уткнулась дорога в океан, в бурный, все края облизывающий океан.

Но двинулся мальчик через океан, а вместе с ним и кошка, и дорога, и четыре стороны света, и те, кто рядом. А светильник светил, светил...!

...Но миновал мальчик океан. И пошёл дальше. А вместе с ним – те, кто рядом. След в след.  
И океан.

Ах, и во что только дорога не утыкалась! – и сверху, и снизу, и справа, и слева... Что только не протягивалось препятствием! – но: обретало хождение, след в след.

Для того и возникают препятствия – ни для чего иного! – чтобы перестать ими быть, и обратиться – да уж это точно – чем-то другим, может – попутным ветром.

Ах, и куда только дорога не поворачивала! – и вверх, и вниз, и вправо, и влево. То – изгибалась по тому, что поддерживало её, извиваясь-сплетаясь, подобиая юной, в каждом движении – озорной, лиане. То – закрепляла твёрдые однозначные углы; вот: маленькая пуржливая проливь немигающих

взглядов; вот: поворот за поворотом, - монолитная стенковая складушка... но вот поди ж ты – в рассып-  
**ки**, в полное изникновение-перемену! будто мазнулась мягкая кисть по узорам пыльным, - шелест и  
удивление, слепок лазурного следа рассыпанный в звёзды. То – обрывалась, обрывалась истошным  
провалом, - смыкалась в мост. То – взвивалась и застывала на горном пике, сливаясь с него родниковой  
узкой лавиной, дорогой-опрометью. А то – ...

Вместе с дорогой поворачивал и мальчик. А вместе с ним и кошка, и четыре стороны света, и те,  
кто рядом. А светильник светил, светил...!

И проступил, протянулся по обочине город. Справа. Слева – туман, туман... Ах, и что за обочина! –  
жесть да камня, - стена до самого неба.

Посмотрел мальчик налево – и увидел туман. И всё, что возможно увидеть в тумане – увидел. А  
всё, что увидеть никак не возможно – туман показал ему сам.

Посмотрел мальчик направо... И увидел многих шум, многое торможение, многую боль и  
несуразицу. Копошились, стонали, добивались, громоздили, растворялись... растворялись... и – возни-  
кали вновь. Что-то сплеталось и расплеталось, возносилось и упало, раскалялось и индевело, - ох! -  
облекалось то в дым, то в пар, оплёскивалось росой и желчью... Ох! ...Там мелькали существа очень по-  
хожие на него, мальчика, но и – не похожие вовсе...

- Эй... - позвал мальчик. – Остановитесь, послушайте меня... Эй!..

- Э-э-эй!!!... – возникло-подхватило тысячегорлое эхо; запрыгало-замельтешило, ударяясь об углы  
зданий и улиц, об покатые жестяные бока машин, об суетливые и размытые в пространстве и времени  
ушные раковины. Возникло; промчалось сквозь; изникло, будто б и не было его... будто б ничего и не  
было.

Мальчик опустил голову. Мальчик повернулся к кошке.

- Кажется, они не слышат меня...

- Возможно, - кошка пожала плечами. - ...Ну конечно не слышат! – чему ж тут удивляться? – Она  
насмешливо махнула лапой: - Там такой тарарам!..

- Да уж... - сказал мальчику туман. – Что уж... Я уж и сам... Ах, ну что им туман! – они движутся по  
раз и навсегда проложенным колеям, они и в тумане так, будто б меня и нет... Они полагают, что сами  
прокладывают свои тропинки своими собственными шагами, а колеи – им поддакивают, поддакива-  
ют... А колеи – бесконечны, и бег в них – пронзителен, неостановим.

- Вот как, - строго сказал мальчик и посмотрел на город. – Ладно.

Мальчик сложил ладони рупором и крикнул:

- Иди за мной!

Что-то треснуло, что-то вспрынуло, застонало. Посыпалась ржавчина. Взметнулась и засверкала  
пыль.

Не стало обочин. Так. Встретились туман и город; встретились, соединились, многолапо прижа-  
лись к дороге.

- Ну идёте же, - засмеялась кошка.

Ох, что же там... Город... Туман... Но идти – идти, иначе – некуда, иначе – незачем. Вот. Ах! омовен-  
ье прозрачное, многолапье пружинистое, зовущее... Вот: не утыкаясь в спину, но – рядом, рядом. След  
в след.

И уткнулась дорога в небо, в беспредельное тёмное небо, в беспредельное светлое небо.

Но двинулся мальчик сквозь небо, а вместе с ним и кошка, и дорога, и четыре стороны света, и те,  
кто рядом. А светильник сиял, сиял...!



...Но миновал мальчик небо. И пошёл дальше. А вместе с ним – те, кто рядом. След в след.  
И небо.

И уткнулась дорога в смутное.

И уткнулась, и лизнула смутное, и обернулась, и позвала.

И приблизился мальчик к смутному; сблизился – дыхание в дыхание. А вместе с ним и кошка, и светильник, и четыре стороны света, и те, кто рядом. Ярче-яркого разгорелся светильник – освещая, до капельки освещая, до самого последнего обмелька.

Ах! – ну чего здесь только не было: чёрное-и-белое, большое-и-маленькое, низкое-и-высокое, широкое-и-узкое, доброе-и-злое, сильное-и-слабое, умное-и-глупое, явное-и-тайное, поименованное-и-безымянное... многое, многое, многое...

- Это так похоже на меня, - вздохнуло болото.

- И на меня, - сказала пустыня.

- И на меня... И на меня!.. И на меня!.. – слышалось со всех сторон.

Ни шаг шагнуть... Ни крылом взмахнуть...

Но... засмеялся мальчик.

Но двинулся мальчик сквозь смутное, а вместе с ним и кошка, и дорога, и четыре стороны света, и те, кто рядом. А светильник сиял, сиял...!

...Но миновал мальчик смутное. И пошёл дальше. А вместе с ним – те, кто рядом.

И смутное.

И уткнулась дорога – качнулась! взмыла! – плеснулась о горизонт.

И коснулся мальчик рукой горизонта, и погладил его.

- Привет, - сказал мальчик.

- Привет, - сказал горизонт.

И посмотрели они друг на друга. Долго смотрели... – целое мгновение! – куда же дальше? И обрадовались.

- Идём с нами, - сказал мальчик.

- Я – дверь, - ответил горизонт. – Как мне идти?

- А ты – попробуй, - шепнула кошка.

- Возьми – и попробуй, - подтвердила дорога.

- Я – дверь, - удивился горизонт. – Здесь всё кончается и всё начинается, и дверь – граница всему.

Как я могу развернуться-свернуться в себе самом?

- Можешь, - шепнула кошка.

- Можешь, - подтвердила дорога.

- Это так просто, - сказал мальчик.

- Ах...! – выдохнул горизонт. – Теперь – ну само собой разумеется!: я так давно ждал, чтобы кто-то сказал мне об этом!: можешь... так просто... - Горизонт замерцал, выказывая и освещая каждую свою частичку. Задумался: - Всё равно... – я так не уверен!.. так странно мне...

Но двинулся мальчик сквозь горизонт, а вместе с ним и кошка, и дорога, и четыре стороны света, и те, кто рядом. А светильник сиял, сиял...!

...Но миновал мальчик горизонт. И пошёл дальше. А вместе с ним – те, кто рядом. След в след.

И горизонт

привет!

и —

(здесь-то и начинается книга, которая закончилась именно там, где каждому — место для шага) —